

ISSN 0130-7673

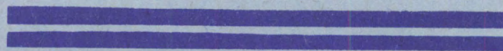
Н О В Ы Й  
М И Р

12

Н О В Ы Й  
М И Р

1984

12



1984



# НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1984 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЯНКА БРЫЛЬ—Проблески, рассказы. Авторизованный перевод с белорусского Инны Сергеевой	3
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ — Найти Героя, отрывок из поэмы. Предисловие Владимира Гусева	34
СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ — Стихи	38
ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ — Совка, повесть. Предисловие Валентина Распутина	41
ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ — Стихи	90
МАГДА АЛЕКСЕЕВА — Дорога в Городок, повесть. Предисловие Даниила Гранина	92
АЛЬФОНСАС МАЛДОНИС — Из новой книги, стихи. Перевел с литовского Д. Самойлов	131
БОРИС ШИШАЕВ — Заступники, рассказ	134
АЛЕКСАНДР НАУМОВ — Стихи	149
В. ПЕСТЕРЕВ — В один осенний день, рассказ	150
ТАТЬЯНА АНДРОНОВА — Стихи	159
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ — На войне. Из дневников и писем родным. Публикация Ц. Воскресенской	163
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ОЛЕГ ЛАРИН — Берег сюжетов	176
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
АРСЕНИЙ ГУЛЫГА — Университетский город	198
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
В. МЕЩЕРЯКОВ — Загадка Грибоедова	209
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО — Незаживающая память	220
ЯКОВ ВАРШАВСКИЙ — Действующие лица. Заметки критика	226

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ССРС»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
	237
<b>Л. Левин.</b> На много лет вперед...	
<b>И. Питляр.</b> Живые души.	
<b>Елена Юкина.</b> Достоинство человека.	
<b>В. Кантор.</b> «Парижские письма» и их автор.	
<i>Политика и наука</i>	
	251
<b>А. Грунт.</b> «Побеждены в масштабе всероссийском...»	
<b>О. Алякринский.</b> Америка крупным планом.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Андрей Мальгин.—Юрий Леонов. Желуди для красной конницы ♦	
Владимир Славецкий — Марк Соболев. Напоминание. Книга стихов и прозы. ♦	
С. Николаева — Г. Трефилова К. Паустовский, мастер прозы. ♦	
Ст. Рассадин.— М. В. Сабашников. Воспоминания. ♦	
Анна Илупина.— А. Солодовников. Ольга Лепешинская. ♦	
С. Яковлев.— А. В. Калинин. Культура русского слова. ♦	
Николай Горбачев.— Семен Борзунов. Михаил Алексеев. Встречи. Книги. Размышления ♦	
Павел Сиркес.— Игорь Петрянов, Валентин Рич. Для жатвы народной. Документальная повесть. ♦	
И. Бочаров.— Л. Н. Кутаков. От Пекина до Нью-Йорка. Записки советского ученого и дипломата	257
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1984 ГОД	265
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

---

---

ЯНКА БРЫЛЬ



## ПРОБЛЕСКИ

Рассказы

### *В шестнадцать*

1

**В** нашей местности издавна в почете были лошади. Старинное, при панах волостное, местечко Мир в двенадцати километрах от нас славилось не только полуразрушенным княжеским замком да былою известностью двойной неписаной столицы — цыганской, на всю Европу, и нищенской, не на всю ли Беларусь, — но еще и конскими ярмарками. По понедельникам бывали кирмаши — базары обыкновенные, — а дважды в год, на весеннего и зимнего Николу, полугодовые, весьма многолюдные, с купцами из дальних мест. В те времена шутили: «Ну и кирмаш был, браток, — что ни пан, то собака, что ни мужик, то свинья!» Хватало, конечно, и панов и свиней, однако больше всего было лошадей. Теперь, сквозь даль годов и километров, вижу и слышу те ярмарки на Николу. На всех шести трактах, что сходились в местечко, вижу тележную или санную череду фурманок с крестьянским товаром, с лошадьми, бегущими вприпряжку, а в огороже, как называлось место, где эти фурманки теснились потом, позадирав бессчетные свои оглобли, слышу прибойный неугомонный, безостановочный человеческий говор, беспомощный визг и вереск свиней, когда их взвешивают и проверяют, здоровы ли, а сильней и громче всего — заливисто-призывное ржание жеребцов, беспокойных, конечно, на весеннего Николу.

Лошадей у крестьян покупали не только сами крестьяне или приезжие торговцы, гуртовщики, но и купцы военные, ремонтёры. Цены у этих были шальные: годные в кавалерию кобылица или жеребец стоили в три раза дороже хозяйственных, артиллерийские — в два раза, даже обозные и то раза в полтора. Отбор был очень строгий, однако рисковали многие, и кое-кому везло. А князь, который владел не только историческим замком, но и несколькими крупными поместьями и вблизи и вдали от Мира, в центральной усадьбе рядом с замком держал конный завод. Жеребцы были разных пород, от арабских и английских паничей до дебелых арденов, до шведов и местных тягловых, которых больше всего чтили основательные, не охочие до риска хозяева. Если уж приплод от них и не пройдет по высокой цене для армии, так либо себе, либо на продажу выкормится надежда в плуг да в телегу. Князь князем, но жеребцов держали и зажиточные крестьяне, и слава о том или ином производителе шла далеко, заботливые

мужики не ленились вести кобылу за десять, пятнадцать, а то и больше верст, с ночевкой в той деревне.

Я готов просить прощения у множества печальной памяти бедняцких и ледащих коняг — заезженных, недокормленных, исхлестанных узловатыми кнутами, в ссадинах от палок по сухоребрице, по костистому крупу, кривоногих от непосильной работы, с запалом, с мокрецом, полуслепых и совсем слепых мучениц да мучеников, но... Но и справных, ухоженных лошадей было тогда немало. И не только в поместьях, фольварках и у крестьян побогаче. Бывало, и небогат хозяин, а кобылу свою так холит, что сытая ложбинка у нее по всей спине, и кнутом над нею ни разу не щелкнет, а только все лаской да уговором.

Я подрастал, а наш Василь уже всерьез принимался за хозяйство. Мать только сѣять ему не давала, святой этот труд с торжественной важностью совершая сама. Я же был все еще на подхвате, больше по дому матери помогал, и только когда возили навоз да на косьбу, на жатву, на картошку и меня брали в поле. Тогда уж и я управлялся с лошадью как взрослый, почти как полноправный хозяин — во всяком случае, так мне, подростку, казалось.

У нас в ту пору была не какая-нибудь лошадь, а гладкая, быстрая кобылица. И с нею связано два случая.

Свалил я в поле навоз и возвращался через соседский двор, что против нашего. И не сидел, как полагалось, на телеге, положив боковые доски сухой наружной стороной кверху и свесив босые ноги между передним и задним левыми колесами. Я фанабери́сто стоял на коленях сзади, даже посвистывал весело и не заметил, что доски под моими коленями на рытвинах сдвигаются вперед и вот-вот достанут до задних ног кобылы. Так и случилось, когда я с нашего поля через выбоину на загуменной дороге сиганул с возом на соседово пригуменье. Кобыла испугалась и понесла. Тогда это бывало часто — лошади больше всего пугались редких машин на большаке, а то шарахались и ни с того ни с сего, и это было так интересно, так страшно нам, деревенским ребятам. Я был уже не ребенок, я пытался удерживать ее вожжами, откинувшись назад, отчего доски еще больше сдвинулись к ногам кобылы. Мы неслись по пригуменью, по огородной дороге и по двору так бешено, что я не успел испугаться. Заметил только, как сосед, бравый дядька Роман, махая перед собою каким-то обломком, вкинулся к воротам, сумел притворить одну половину, а сам метнулся вбок, к стене. Кобыла прорвалась с передком в узкий половинный проем ворот, а зад телеги зацепился колесом за веревку, оторвался и отлетел налево, а я — направо. Лицом и грудью на твердую землю уже не грязной улицы и — первый раз в жизни — как будто обеспамятел.

«Как будто» потому, что я помнил и теперь помню — тогда по горячим следам, а сегодня с давно по-родительски взрослого моего расстояния, — как я лежал на земле, как меня приводила в сознание наша строгая, суховатая мать. Она стояла на коленях рядом, подхватывала меня руками под голову и плечи, целовала и плакала:

— Миша, сыночек, не надо! Не на-до!

А я, кажется, улыбался, приходя в себя, мне было хорошо, я был счастлив своей еще детской радостью. Тогда было так, и сегодня это не просто по-стариковски трогает меня, я теперь то «не надо» слышу и понимаю иначе...

Таким было прощание с детством.

Другой случай.

Василь наш заболел, не вставал уже четвертый день. И вот я сам как хозяин повел кобылу к жеребцу. На князев двор.

Мы уже оттуда возвращаемся. Я сижу на телеге, передо мною в стороне лежит ненужный кнут. А кобылица, заметно успокоенная, то

идет ловкой, спорой поступью, то легко, стремительно рысит, только тронь вожжой или чмокни, а то бежит и по собственной воле, особенно если с горочки. Еще и пофыркивает весело.

А я переживаю свое совсем недавнее, всего три километра назад, волнение.

Когда я после всего зашел в князеву канцелярию, чтобы выписать справку, меня направили к столику, за которым сидела молоденькая паненка. В то время всякий, кто был чисто одет в будний день, казался и назывался паном. Паненка была смуглая, в белой блузочке, низко вырезанной над грудью... А мне — пятнадцать. Я много работал, но и читал немало. Среди случайно найденных книг попадались и такие, где было не все понятно, хоть и тянуло к этой заманчивой, таинственной непонятности. Женщина была еще где-то далеко — та, что станет моей, — однако представлять то наше, что когда-нибудь придет, было или волнующе сладко, или по некоторым ассоциациям противно, или опять поэтично, таинственно и радостно. Счастье росло в моей душе, полнокровная молодость исподволь пробивалась мужественной силой, а со стороны глядя — был я и стеснительным немного, прыщеватым, и ничего себе парнем.

А смуглой да полногрудой паненочке это было как будто вовсе неинтересно. Она писала, заполняла бланк, на котором я сквозь неожиданную лихорадку волнения и какого-то стыда видел крупные печатные литеры: *swiadectwo rokgucia*<sup>1</sup>. В моем воображении еще так свежо и бурно жило недавнее зрелище красоты и силы, а теперь на то, что было, горячей волной шло впечатление новое. Я стоял над столом, молодой долговязый растревоженный оболтус, и, когда она, оторвав взгляд от бумаги, спросила, как моя фамилия и как зовут мою к л я ч<sup>2</sup>, еле припомнил, еле вымолвил такое простое, никогда еще не писанное: Каштанка...

Следующей весной у Каштанки уже был жеребенок мастью в родителей, потому что и его панич-папаша, англичанин «огер Джон», как стояло в свидетельстве, был тоже каштановый.

Шестьдесят пять лет — это много. Проще окинуть их взглядом от конца до начала, несравнимо трудней, сложней жить день за днем, иногда не считая их, а иногда дробя на минуты, на секунды. Под снарядами в окопе, в бессонной тревоге за жизнь кого-то из самых близких... Я многих близких пережил, немало походил да поездил, поплавал да полетал, повидал всякого, в том числе, конечно, и хорошего. И среди всего этого мне иной раз светло и горячо вспоминаются наши бескрайние луга в пышном цвету, тихая, чистая речка — мои истоки. И в этой речке, в медлительной, ласковой в полуденную жару воде плывет наша быстрая красавица, наша труженица Каштанка. Счастливо, вольно плывет, только пофыркивает над водой, вытянув крутую шею, храпом словно пригубливая ту воду, словно трогая ее осторожным поцелуем. А рядом с нею плывет ее первенец. Такой еще робкий, что мне пришлось пихнуть его с берега в воду, такой беззащитно дрожащий, а уже так хорошо, сразу так свободно, сам по себе умеющий то, чему мы, люди, с малых лет и порой долго учимся.

С поводьями в руке я плыву рядом с маткой и сыном. Тоже счастливый.

## 2

В те дни, когда я давно уже перестал быть ребенком, но очень далеко было мне до счастья отцовства, любил я водиться с соседскими детьми. Они это чувствовали, и от них было, как порой говаривала

<sup>1</sup> Справка о покрытии (*польск.*)

<sup>2</sup> Кобыла (*польск.*)

моя мать, не отбиться, если бы и хотел. А я, конечно, не хотел. Они помогали мне и работать и есть, охотно и ночевали бы со мною, особенно летом, на сене, если бы их не звали да не гнали домой.

Их было трое. Володя, самый младший сыночек бравого дядьки Романа, осиротел еще тогда, когда этого не сознавал. Мать ему кое-как заменяла сестра Люба, девушка с ленцой, и он, со стороны посмотреть, был неухоженный, с невытой, нестриженной головой, вечно голодный, веселый нравом, умный пятилетний мальчик. Второй была Валя, тоже сирота, только без отца. Четыре года и худенькая, но уже не от недосмотра, а по своей природе. Светлые волосы и большие синие глаза. Хорошо все запоминала и, в матушку свою, была голосистая. Попросишь — она и примется петь. Со всей детской искренностью да серьезностью, и громко, словно пташка, которой это нужно, совсем не обращая внимания на то, слушают ее или нет. Песни были взрослые, мамины, и это трогало преждевременностью, несоответствием такой худышке. А третьим был Толя, счастливый первенец Проньковой Зоси, нашей молодой соседки. Счастливый не только потому, что у него были и мама, и тата, и бабуля, а потому, что мама такая, как ни у кого другого...

Но это уже мысли не его — мои.

Толе было два с чем-то года, в тройке моих друзей и помощников он был маленьким даже для Володи с Валею, мы все так и смотрели на него, веселого, шустрого, черноглазого баловня. И Володя и Валя вполне серьезно думали, что далеко ушли от возраста нашего младшенького, и вместе со мной, а порой и с Василем и с мамой снисходительно и довольно посмеивались над его все новыми и новыми проказами. То он кота схватит обеими руками за уши и вкусно раз и другой, а то и третий, если успеет, чмокнет в самую сонно-муркотливую, недовольную такой лаской мордочку. То он, обедая в компании со мной, Володей и Валею, из одной миски черпая картофельный, забеленный молоком «бульон», вдруг бросит ложку на стол — и шась в миску опять же обеими руками. Потому что там мелькнул, перевернулся и исчез в белом красный сладкий кусочек морковки, и как же не схватить его самым надежным способом, хотя кусочек тот и не единственный. А сколько вопросов у него, бесконечных и милых, докучных и все-таки потешных: «А это што, ха? А почему это, ха?» И свое, неповторимое словотворчество. «Толя, что же ты больше не ешь?» Он снова за ложку и радостно: «Я ешь!» Гвоздь он называл тика, а молоток — тюка, что так изобретательно шло от тюканья тем молотком. Вместо «люблю» — любу м, вместо «не могу» — мугугу. И снова какое-нибудь: «Мися, ха? Ты словишь мне в е ра б е я?..»

Я был уже на шестнадцатом году, но радовался жизни вместе с этой тройкой, многое видя как бы их глазами, а чтобы выразить свои чувства, пользовался и тем, что уже давно испытано и придумано, что мне известно стало из книг и от людей, но пользовался и тем также, что хотелось сделать мне самому. Где не хватало к стихам мелодии, подбирал. И складывал для малышей, а потом для себя записывал стишки про кума-воробья, про скворца на березе, еще про какую-то радость. Пусть те «произведения» мои и не годятся, чтобы их здесь повторять, но тогда они и слушателям и автору нравились. Дети запоминали их, Валя лучше, Володя хуже, и этой славы мне хватало. А детям — игры. Как хватало палочки вместо коня и тому, кто едет, и тому, кто смотрит.

Толя до нашей самостоятельности еще не дорос, ему было интересно и весело и с ней и без нее. А я, снисходительно любясь им или беря его на руки, часто ловил себя на том, что люблю не просто славным мальчиком, но сыном ее, даже через него — ею самою...

Тем милее, и мучительней, и стыдней, и опять-таки — больше всего! — тревожней стало это для меня после одного случая. Даже не со мной случая, а с Василем.

Он был уже юношей, кавалером, ходил к девушке в соседнюю деревню. Со мной по нашей давней привычке он делился всем потаенным, которое, впрочем, дошло у него тогда всего-навсего до поцелуев. И он не понимал, видно, что своими рассказами не зрелости мне прибавлял, а моему одиночеству тревог, мук, зависти, жгуче-тоскливого ожидания. Я не знал, как у него, а у меня в моем потаенном было и такое, что оставалось только моим, и поделиться этим даже с ним, не просто братом, но и другом детства, было нелегко. Скажем, после той прошлогодней растерянности в князевой канцелярии я рассказал Василию про паненочку и мое смущение, однако не все рассказал. Не признался, что за нею, смуглой да полногрудой, в том мудреном, и чистом, и нечистом волнении стояла для меня другая, несравненно милейшая — моя она, соседка Зося, которая потом еще более ярко и счастливо мучила мое воображение... И того не скажешь даже ему, Василию, что мне порой, взяв маленького, щелбательного Толю на руки, хотелось поцеловать... ну, не просто его и не так, как целуют маленьких, как я, кстати, никогда не целовал Володю или Валу, а через него, Толика, — е е, опять же е е, его маму.

Она вышла за Проньку из дальней деревни. Тогда молоденькая, застенчивая, теперь и пополневшая и осмелевшая в доме и с людьми. После Толи погодком народилась девочка, и Зося снова стала пригожей, молодой, как раньше, и в новой зрелости, со своей навеки данной милой, совсем детской улыбкой, которую перенял от нее — и так хотелось, чтобы навсегда сохранил, — ее Толик.

В понедельник после очередного похода к своей Зине Василь не о ней рассказал мне, а рассказал... о м о е й... о Зосе... Не думая, что еще раз задел потаенное.

Василь шел Романовым двором, потом по огороду, а потом, что-то заметив, остановился под вишней.

Что же он заметил? Да ничего необычного. Было погожее послеобеденное время, воскресенье, славная пора, передышка между сенокосом, который закончился, и жатвой, которая вот-вот начнется. Пожилой, как мне всегда казалось, Пронька своей спокойной и важной походкой шел со двора к пригуменному сеновалу. Не заметив Василя, открыл половину ворот, вошел туда, исчез, а ворота остались приоткрытыми.

Сюда же, оказывается, шла и Зося. Будто оторвавшись от незаконченного в доме дела, а может, нарочно не слишком торопясь («Потерпит, уж очень ему загорелось», — словно разгадав ее мысли, сказал мне Василь), она шла за мужем в отдалении. На свежее сено, на вольную волю, потому что где ж там — в людной хате да среди бела дня...

Сеновал изнутри заперла она. А прежде чем затворить, пока совсем не сошлась щель меж двумя половинками широких серых ворот, Зося усмехнулась. Заметила под вишней Василя и усмехнулась. Как взрослому, который понимает что к чему, однако моложе не только Проньки, но и самой ее: хоть ты, мол, уже и парень, да счастье такое, как наше, привычное, спокойное, тебе еще недоступно...

— На третьего, видать, была закладка, — закончил свой рассказ Василь.

И это показалось мне, как теперь вспоминаю, грубоватым. Я завидовал и мучительно ревновал.

И вот тогда, в те дни, со мною случилось страшное, из-за чего я вообще все это вспоминаю.

С рассвета я был в поле, допахивал пар под жито на осень, вернулся в самое пекло, выпрягал из плуга Каштанку, а мой младшенький приятель вертелся возле меня один, без Володи и Вали. Прибежал, потому что был как раз на улице. И не помогал мне со своими беско-



нечными «што это, ха?», а с чего-то сильно расшалился. Сначала он, хсхоча, бегал вокруг жеребенка, который тоже притомился на пахоте, то рыская там, то тащась рядом с маткой за плугом, и был вяловатый, даже потный. Потом Толя забегал вокруг Каштанки и меня. Я с чего-то задумался и не заметил, как он, вильнув, скакнул кобыле под живот и, выскочив с другой стороны, радостно, победно крикнул:

— Мися, гляди!

Я виноват был, что не остановил, не пожурил его, и он, словно разыгравшись между ножками стола, шмыганул под Каштанку снова. И уже не просто под брюхо, а из-под брюха промеж задних ног. Усталая, злобная от мух кобылица капризно дернула ногой, и Толя отлетел от нее — упал рядом с плугом. Я рванулся к нему, а Каштанка с не снятым еще хомутом — от нас. Как будто в страхе: чего натворила!.. Малыш — на земле, под ногами — зашелся в плаче, залился кровью... На мой истошный крик прибежал сам Пронька, потому что в хате у нас никого не было. Он молча перехватил Толика с моих рук и рысцой понес к себе.

А я, не помня уже не только о кобыле с жеребенком да о плуге среди двора, ни о чем не помня, побрел почему-то к гумну.

В пустом, приготовленном для новых снопов одоньеще, от мышей застланном душисто-горькой полынью, я вяло лег лицом в эту полынь и, ничего не видя, не слыша, повторял:

— Я у-бил че-ло-ве-ка... Я у-бил че-ло-ве-ка...

Повторял и цеплялся за эти беспомощно длинные слова, как будто веревочкой, кое-где перетертой, протянутые над уже черной бездной, повторял и словно у них, у слов этих, просил пощады.

Должна была прийти Толина бабушка, своевольная старуха по прозвищу Во-всем-моя-команда, и проклясть меня последним проклятием. А я даже не шевельнулся бы на своей полыни.

Должен был прийти важный Пронька, отец, и убить меня на месте. И я не подумал бы защищаться или звать на помощь.

Должна была прийти сама Зося, и у меня не хватило бы ни духу, ни сил, чтобы встать и снова упасть к ее ногам, ноги ей целовать...

Никто не шел.

Хоть бы уж мать наша пришла наконец, но она у тетки Агаты, своей сестры, что тяжело захворала в своих Несутычах.

И пришел мой Василь, что ездил с дядькой Романом в Мир продавать вишню и вот — как же кстати! — вернулся.

Василь тоже много читал. На днях он из какой-то, как всегда случайной, книги (теперь не помню уже из какой) вычитал прозвище для меня, еще одно, не злое и только наше, смешное для нас двоих.

— Ганс-бублик, — сказал он, — не плачь! Толя живой. Только по лбу немножко шкрябануло. Вставай!

Тогда я и заплакал.

...Какое счастье! — я не убил его, он и сегодня живет, только с еле заметным рубчиком, шрамиком на умном лбу математика. Мы встречаемся редко, но всегда с радостью. И ни разу за сорок лет не встретились в нашей деревне, где уже никого у нас обоих не осталось, все здесь общаемся, в городе, да и то больше по телефону. Отношения у нас солидные, ведь и ему уже за пятьдесят, но и сегодня у меня, как когда-то с Василем, есть только свое, потаенное. Не скажешь же ему, что подростком я был влюблен в его мать, теперь давно уже бабушку, которая доживает свой век при одной из деревенских дочек.

Был влюблен... А разве оно — все это — совсем-совсем прошло?.. Вот и сегодня я не тот свой ужас вспомнил, а не раньше ли всего ту улыбку, пусть и не мне, из ворот, что затворялись изнутри...

Почему оно, это воспоминание, которое изредка посверкивало

прежде, в более молодой памяти, теперь повторилось, словно совсем не поблекнув от времени?

Вчера видел я мальчика на руках у молоденькой и молодостью своей привлекательной матери. Мы стояли в магазине самообслуживания в очереди в кассу. В правой руке молодой хозяйки, что стояла передо мной, была металлическая корзинка с хлебом, маслом и пакетом молока, а на левой она держала малыша. Его темная головка над ее плечом была повернута личиком ко мне, а мать не оглядывалась, и лица ее я не видел. Только профиль мелькнул раза два.

Малыш, который пока что знает, видно, одно-два-три первых слова, так пристально приглядывался ко мне и смех так мило мелькал в его глазах, что я невольно подмигнул ему. И он наконец улыбнулся. А мне припомнилось вдруг еще подростком встреченное у Лермонтова: «Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка». И любовь к детям, любовь отцовская, самая счастливая, вся разом, будто солнечный, крупнозернистый дождь на листья и траву, обрушилась на меня.

Молоденькая мать даже не улыбнулась. Мне это вчера вроде и не нужно было. В конце концов, лица ее я так и не увидал, а улыбки мальчика, подаренной мне, не видела она.

Зато через улыбку, чистую и свежую улыбку ребенка, как ни странно, а то и неуместно, нескромно покажется кому-то, я снова увидел ту милую матушку, нашу деревенскую соседку Зосю, увидел почти по-юношески взволнованно, сегодня, кажется, все-таки чисто.

### «А-я-я-я...»

Под обрывом, у самой реки высятся старые, прочно укоренившиеся ольхи, широко и низко оплывают листвою вербы, пестрят белым да зеленым три самые храбрые березы, темнеет, поблескивая шишками, одинокая ель. Дальше, выше от воды, берез больше, попадают даже сухопутные красавицы сосны. Под деревьями таится густая, жгучая крапива, буйно, гроздьями, краснеет калина, стоят по-молодому забавные рябинки с несмелыми ягодами и прямой острроверхий куст можжевельника. На самом краю высокого обрыва сосен больше. Хозяином расселся солидный, на возрасте дуб. Зеленым облаком возносятся под голубое небо липы, опустив ветви, уже без цвета, над гладкой тропой в траве.

Там, наверху,—заборы, садики с ульями, светлые окна, гряды, благодатный простор еще совсем зеленого картофельника, за которым дорога, в жару пыльная, а за дорогой — лес.

Остановившись на тропе спиной к лесу, хорошо смотреть сверху сквозь деревья на Неман, который, хоть и не даром зовут быстрым, поблескивает так спокойно, словно бы и не плывет. За рекой — луга и за ними, на окоеме, пуца. Луга выкошены в самую пору, месяц назад, и уже хорошо за это время подмалеваны отавой, на которой застыли в спокойном ожидании порыжевшие уже стога, что будут перевезены на ферму зимой. Кое-где виднеются темно-зеленые островки еще малорослого дубняка и дубы-одиночки. У стогов и деревьев петляет река то в лозьяке, то открыто, словно нарочно играет, чтобы сверху было смотреть весело.

Росно и солнечно. Над самой излучистой, самой капризной петлей реки вздымается дрожащий туманец — пар не пар, дымок не дымок,— как будто где-то там потихоньку варится ранний завтрак.

Деревья на обрыве и ближние деревья на лугу затихли в покойноторжественном созерцании, смотрят друг на друга и молчат. Молча стоят обильные стога. А на одном из них, ближе всего к Неману, бело-черно-красным обозначается скромный бывалец аист. Еще два стоят

на светло-зеленой отаве, каждый наособицу. Тоже просто стоят да смотрят. Тот, что на стогу, даже крылья сложил как-то наперекос, опустив их, расслабившись в полном отдохновении. Потом он не выдержал такого долгого молчания — задрал трудолюбивый клюв и радостно заклекотал. И тут же ему отозвались друзья на лугу — ближний, а за ним и тот, что подальше.

Ах, сколько радости!..

А потом снова торжественная солнечно-розовая тишина и простор. И ввысь и вширь.

...Городской рыбак, которого сразу издали узнаешь по сообразной одежке и обстоятельной снасти, рассчитанной на ту большую рыбу, которая должна же наконец пойматься, стоял на высоком берегу, сойдя с тропы на самый краешек зеленого обрыва, где иногда останавливаюсь и я. Он направлялся куда-то дальше, тут он просто встал, застыл, залюбавался счастливым августовским утром. Подходя к нему, я уж хотел было поздороваться, но он опередил меня. Показалось, что и поджидал с откровенно приязненной улыбкой, хоть и незнакомый, что и в улыбке этой было изумление: «Хорошо здесь у вас!..»

Разговорились. Тоже минчанин. Рабочий-электросварщик. Через год и восемь месяцев на пенсию. «По-бабьи, в пятьдесят пять лет», потому что у них, электросварщиков, вредная профессия. Получит сто тридцать два рубля. И подсчитал уж, видно, давно, как солдат, который к концу долгой службы знает, сколько ему осталось часов да минут. Теперь он на больничном. Астма. Спросил у доктора, можно ли хоть на рыбалку поехать, ведь все равно, где таблетки глотать, и доктор позволил.

— Поброжу, подышу, переночую где в стогу. А завтра зять приедет, заберет.

Я поддерживаю его радость, спрашивая:

— На «Жигулях»?

— Ага, осенью купил.

— И тесть небось немного подкинул?

Он улыбается:

— Хлопец хороший. Пусть живут на здоровье. Не жалко, если все путем, если не охламон какой или алкаш.

Астма у человека началась не вчера, не позавчера, и все он уже знает — и о Мисхоре и о Величке. Больше того — даже и об известной певице, которая побывала уже в той польской Величке, в соляном аллергологическом санатории, глубоко под землей, а что до Мисхора, так она, оказывается, и на гастроли летает все больше из Крыма, хотя сама и не тамошняя. Говорит он об этой все еще свежей знаменитости как о знакомой или даже близкой, сначала называет только по фамилии, а потом она уже просто Соня. Гляжу на его простецкую, совсем не городскую, все еще деревенскую искреннюю улыбку и прикидываю: где же тут виновата их общая астма, а где голос ее, хорошо знакомый и мне, ее молодая, непобедимая радость? И спрашиваю:

— Вы что же, знакомы?

— По телевизору, — опять улыбается он. — Люблю послушать, посмотреть.

— И я люблю. Когда народные.

Мы молчим, заглядевшись на реку и заречье. А потом я — неожиданно, но кстати — вполголоса повторяю дальний запев, светло мелькнувший в памяти:

Ветерочек парус гонит,  
От разлуки сердце стонет...

Вижу тот белый парус на волнистом безбрежье весенней, широко разлившейся Волги. Родственник тому, который и в моей душе порой одиноко и ясно белеет в морском голубом тумане.

— Петь любите? — улыбается рыбак. — Может, и в ансамбле каком?

— Нет. Припомнилось одно...

Что припомнилось, я не рассказываю, потому что не расскажешь так, как оно быстро и ярко мелькнуло в памяти. Почти через полвека с тех дней, когда я только-только входил в юную пору.

Этот же Неман, но не солнечным августовским утром, а торжественно-белым морозным рассветом. Река подо льдом, на льду много снега, дорога хорошо наезжена, лошади дружно бегут друг за другом — налегке, весело, да и греются бегом. Я мягко сижу на мешке с сеном, снизу не холодно, кожух, шапка и сапоги надежные. А к тому же и молодость, что начинается, тайная радость или гордость раньше времени повзрослевшего работника, хозяина, ну и поэта глубоко в душе, которому всегда все в новинку да необычно. И белое русло, что виляет меж кустами, не совсем спрятанными под снегом, и деревья, что снизу, от снега, мрачно вздымаются к самому небу над тобой. И первый знак нового дня — огневая полоска зари над далеким гребнем леса, зари несмелой еще, которая то ли мерещится тебе, то ли вспоминается с позавчерашней поездки. Такой же, в пущу за дровами. С чувством таким же волнующим, сторожим. Так и кажется: вот-вот-вот оно придет — что-то давно желанное, хорошее! Даже и копыта так выстукивают: вот, вот, вот!..

Лошади как легко взяли рысью, так и отпустили, постепенно перешли на шаг — сначала один или одна (чей там нынче мерин или кобыла чья?), а потом и все, весь молчаливый порожний обоз. Пусть пройдутся. Еще не поздно, хоть и не близкий путь.

И тут за мною сзади и сбоку послышалось мягкое и быстрое скрипение снега под лаптями. Дядька Михаль, сосед, который ехал следом, догнал мои сани и бухнулся-сел у меня в ногах. Человек он молчаливый, если не сказать угрюмый, и работающий, полная хата детей — молчи да соображай, как их на ноги поставить. А тут ему загорелось чего-то, как мальчишка к мальчишке прибежал. Ни своего закурить, ни моего курнуть, потянуть разок-другой, потому что мы оба некурящие. Поговорить о чем-нибудь важном? Нет, он сидит и молчит.

Молчал недолго. А помолчав, не говорит начал, а вдруг, как и я теперь, при случайном встречном, запел. Приглушенно, можно сказать, безголосо. И не песня это была, а только отрывочек ее, один запев — с тем самым белым парусом на Волге.

Что за диво, с чего?

Очень просто, если оно просто: вчера дядька Михаль заходил к нам вечером и я, разняв наушники детекторного радиоприемника, угостил его песней. Из самой Москвы, через границу...

— Соня, сдается, этой не поет, — говорит рыбак.

— Нет, это старая. Была такая Ольга Ковалева. Собирала и исполняла русские народные песни. А эту, что я начал, написала сама.

О белом парусе на Волге я вспомнил еще и потому, что на днях в радиопередаче он появился передо мной в поистине народном рассказе о той известной певице, что была сначала, задолго до Октября, маленькой русской Ольгушкой, личико которой выглядывало с печи в избе, когда она зачарованно слушала, как пел, работая у окна, ее дядя Яков, деревенский умелец-скорняк. Девочка слушала и, словно в предчувствии своей великой судьбы, заплакала от любви к людям — впервые от всего чистого детского сердца. Так она потом вспоминала.

— И я люблю, когда Соня не модное что-то, а украинское или молдавское. Слышали?

— Ну.

— О чем она поет, когда по-молдавски, не понимаю. Но очень оно как-то весело. Слово от большой радости. С эстрады сойдет в зал,

идет легко по проходу и шнур ведет за собой меж людьми. Микрофон в руке, а все равно руки нет-нет да и поднимет. В ладоши хлопает, да уже не песню, а только один припев. Слышали? «А-я-я-я! А-я-я-я!» Так не споешь, не повторишь. Руки голые, тонкие, с лица бледная, а глаза горят, светятся. И так смеется, улыбается, что и самому... И люди все, что в зале, все за нею в лад то «а-я-я-я!» и так хлопают. Даже хочется самому запеть, если бы мог. Как это хорошо, когда человек веселый! Вы это слышали?

Он не спрашивает, а переспрашивает. И так по-свойски, по-деревенски улыбается. И я еще раз говорю, что слышал, что весело было и мне.

Не добавляю лишь, что хорошо не только когда человек, который может петь, весел. Хорошо, когда он мужествен, когда ты знаешь, что это далось ему не просто так, а через страдания. Мне кажется, что это понятно нам обоим и без слов.

Мы молчим и глядим.

И я жду давним, юношеским ожиданием, что за рекою, на стогу и на покосах, почуяв нашу радость, вот-вот защелкают-заклекочат в ясное небо аисты.

## Гипноз

Кряжисто-толстенький, сыто-загорелый под выцветшей на солнце кепочкой, он сидит на лавке у зеленого заборчика. На асфальте рядом с его кирзачами стоит пустое ведро, внутри испачканное красным соком. Смородина только что продана неподалеку отсюда, на длинном столе под навесом, где торгуют кое-чем с огорода, из сада, из леса. Перевалило за полдень, не жарко. Людей тут, на поселковой автобусной станции, немного, автобусов — и его и моего — еще нет. Есть время поговорить, да и тянет поговорить, потому что встречаемся мы не часто.

— Здоровье, спрашиваешь. Какого ты, братец, хочешь в моих годах здоровья? Семьдесят шестой. Ежели где трюхи скоком, дак после выйдем боком. Но не возьмешь, чтоб ему пусто было, из часовни старую хоругвь да не пойдешь, сам по себе по живому голоса. Держусь, покуда держится. К доктору, можно сказать, совсем не хожу. Поздороваемся — так только на улице. А до Чмута<sup>1</sup> не пойдешь — помер. Какой, спрашиваешь, Чмут? Я и сам, братец, мог бы стать таким Чмутом, как он. Мой дядька был в Америке, в Канаде. Еще при царе уехал лучшей доли искать. А при Польше прислал мне книгу про гипноз. По-русски напечатана. Я еще в войске тогда не служил, только-только в возраст входил. Всю зиму читал ту книгу. И сам начал практиковаться. Три пальца вот так наставлю или просто в лицо кому-нибудь уставлюсь, глаза выгаращу — гляжу, как он моргает. А уж дальше мне самому смешно — засмеюсь! И сорвал сеанс. Не у каждого оно получается. А Чмут наш без книги, а тоже каким-то гипнозом лечил. Сам, может, класса два и прошел, но умных слов нахватался да и разливается, братец, так, что люди верят, особенно бабы. Часослов читал в церкви. Я говорю: «Ты же титлов не знаешь, как же разбираешься?» «По памяти». Память у него была. И всюду он лез. «На войне, — говорил, — и офицеры меня боялись. Как это можно — выступил я раз, в Германии дело было, уже Берлин был взявши, — как это можно, чтобы наши доблестные воины, не только рядовые славяне, но и командный состав, лобзали губы фашистским медхенам да ффравам? Что это за разврат!..» Вот, братец, как. А то приходит раз к нему одна молодлица. За двадцать

<sup>1</sup> Плут, пустомеля (белор.).

пять, считай, верст. Вона куда молва дошла! И это уже не в старые времена, не при панах, не в оккупацию, а лет с десятков тому назад. Наша баба, колхозно-совхозная. Просит, чтобы дал ей чего такого, чтобы свекровь померла. Чмут сначала взял ее на гипноз, в глаза ей уставился, не провокация ли какая. А потом берет конопель, щепотку из своего разного припаса. Растер те конопели, воду ими в бутылочке закрасил и говорит: «Три раза в день брызгай старухе на постель — через три дня помрет. Но смотри, чтоб в дороге ни разу не оглянулась!» А где ж ты, братец, видел, чтобы баба за двадцать пять верст ни разу не оглянулась? Или машина какая сзади, или собака, сдохнуть бы ей, или просто так, потому что нельзя. Приходит она потом снова. Лекарство все вышло, а свекровь живехонька. Чмут уставился на нее да как гаркнет своим гипнозом: «Что, оглядывалась?» Бабу в дрожь кинуло. «Дядечка, только один-единный рачочек. Дайте лекарство, дядечка, чего ни скажете, не пожалею». «Мое средство,— говорит он,— во второй раз не действует. Ступай». Так она и потопала. А однажды еще было...

...Слушать чужое, а думать о своем — это можно. А записать вот так, сразу под двойным напряжением, нельзя. А думал я... или, вернее, вспомнилось мне, пока слушал, такое.

Маленького меня мать послала в соседнюю деревню к бабе, что ворожкой помогает. Нашей корове стало худо. А мама сама пойти не могла. И брат старший куда-то уехал. Или, может, надо было, чтобы пошел не взрослый кто, а маленький, так сказать, с полным доверием. Это уже сегодня я так думаю. А вспоминать приятно с грустной теплотой пожилого человека ту мальчишескую гордость от важности такого поручения. Что это худо нашей Кухарке и что это мама послала меня. Да еще и новость, неожиданность какая — не пасти иду, как всякое утро, не по стерне, не по траве, а по гладкой тропинке обочь шоссе, в другую деревню, в люди!..

Была у меня с Кухаркой провинность. Правда, и кара и покаяние сразу же последовали. 1 апреля надо было обмануть кого-нибудь, с утра не терпелось, а дома была одна мама. Она топила печь, а я вбежал со двора да с порога будто в полном перепуге: «Кухарка упала возле хлева, ревет!..» Мама — на двор. Кухарка стоит себе, жвачку жует, на первое солнышко жмурится. Мама еще на ходу развязала фартук и давай меня в хате завязками хлестать. Кричал я, что это обычай такой и что больше не буду, но свое получил. Завязки не только жгли, особенно если по ушам да по рукам попадали, но и неумолимо говорили о том, что я все еще мал и глуп, хотя и перешел уже в пятый класс и книжки всякие взрослые читаю.

Кухарка, когда она хорошо наестся, когда ее так напасешь, что бочка бочкой идет, уже издали, к воротам подходя, остановится и замычит. Маму зовет с подойником. А мама, если она дома, слышит, откликается: «Иду уже, иду!..» Парное молоко было, конечно, вкусным и само по себе. Если же его пить не из кружки, а в миску налить, крошить туда черствого хлеба или творогу положить, так это уж будет — ну!.. Сбивать масло в высокой, столбиком, пахталке дело было нудное и чаще всего мое. Только сметану, что выступает из пахталки, хорошо слизывать с пальца. Сначала густую, потом все жиже и наконец с крупинками масла. И вкусно и радостно — сбил! Добрый ломоть хлеба со свежим, мягким, кисловатым на вкус, сверху присоленным маслом, какой-нибудь Робинзон или Чичиков (дочитать их, жуя) — оплата на месте, и такая щедрая!..

И вот Кухарке нашей худо...

Пришел я к той бабе, про хату ее расспросивши, а баба стоит у печи. Я поздоровался, рассказал, как мне было велено, что к чему. В печи огонь горит, а баба, старая уже, босая, ноги грязней, чем у меня, обеими руками оперлась на ухват рожками вниз и глядит мне в самые очи. И пока говорил и когда уж кончил. Видать, тоже гип-

ноз. Глядела-глядела, а потом правой рукой цап себя за нос и шлеп перед собой на неровный неметеный пол. Чуть не под ноги мне — целым утиным шлепком.

— Добра,— сказала после такой точки.— Я соли дам. Поможет.

Помогло ли, не помогло — не помню. Тем шлепком этот поход в моей памяти и кончается.

И еще.

Я уже был парнем, когда к старшему брату прицепилась рожа и мне пришлось везти его к знахарке в другую деревню.

Там уже баба была не старая, довольно гладкая. Деревни наши по соседству, можно сказать, что знали всё обо всех, если не всё, так очень многое. На мужике своем она ездила, говорили, оседлав его сразу после свадьбы. В глаза ему будто бы и беззлобно говорила: «Все ж село, все-то люди ведают, что ты дурак!..» — а то и при ком-нибудь: «Все ж село, все-то люди...» А у мужика только и греха что нравом тихий, молчун. И работник безотказный при пани своей, и на бабское. Натура у бабы — не живет, а вроде присматривается, топорщится, ждет наскока, неизвестно от кого, от чего обороняется, забегая без причины да без надобности наперед.

Но гипноз у нее был угодливо-ласковый. Шептала, заговаривала она не таращась, а с зажмуренными глазами. И как заяц может спать с открытыми, так она с зажмуренными видела все. Не только то, что ты улыбаешься, но и то, о чем ты думаешь и что будешь думать завтра.

Сначала она пошептала над больным, потом над куском домотканого отбеленного полотна, который я привез, посыпала полотно ржаной мукой, снизу подхватила им братово красное опухшее лицо, опять с чувством и проникновенно пошептала, закрыв глаза, и с той же льстиво-хитренькой улыбкой, с какой встречала нас, не выдержала, обратилась ко мне на «вы»:

— Что ж вы приехали ко мне? Вы ж в это не верите.

— А я не приехал, я брата привез.

То ли так я сказал, то ли иначе — хорошо не помню. В памяти осталось главное: как я, младший, закутывал дома брата на семь лет старше себя в длинный кожух, как помогал ему, совсем беспомощному, сесть, а потом прилечь в санях, как гнал по белой тихой дороге, как радовался, что деревья тогда стояли в празднично-нетроутном инее...

Одно было очень давно, другое тоже давненько.

А совсем недавно, не в старорежимной деревне, а в сегодняшнем городе с гипнозом случилось и такое.

Хороший парень, замученный еще студенческой язвой, перебрал всякие способы лечения, разузнал где-то о «чудо-женщине», что тоже помогает. Прилетела она с самого юга, чуть ли не из тех краев, где объявилась легендарная Зора, которая лечит якобы только по очень высокому разряду. Эта Зора, другая, ничего за лечение не берет. Может и обидеться, если вздумает платить. Так предупредил меня хороший парень сначала по телефону, а потом и при встрече.

По доброте своей он позвал не только меня. Когда я пришел, у него уже были несколько человек. Кто знакомый, с кем-то он меня потихоньку познакомил, а остальным я только поклонился, будто в церкви, торжественно. В боковой комнате за дверями шло лечение.

Вскоре и я дождался очереди.

Женщина была уже в годах, но взять гипнозом, пожалуй, еще могла бы. Смуглая, полноватая, как говорится, все при ней, с открытым, добродушным лицом и черными большими глазами. Показалось, что цыганка, но потом она о себе кое-что рассказала. И что

«вовсе не цыганка», и что лечение ее — от деда, который многим помог, и что ученому брату не нравится ее новое занятие. А для нее это радость, если человеку поможет.

— И вам помогу. Пройдет все. Даже тут же, сразу почувствуете облегчение.

Говорилось это в уютной комнатке с полкой книг, с письменным столом и большим светлым окном, за которым далеко внизу и еще дальше на три стороны простиралась пестрая картина городской окраины.

Женщина принялась за лечение. Я был ласково усажен в кресло, мне было велено ни о чем не думать. Она стала передо мной, легкими плавными движениями маленьких ладоней с подвижными пальцами без маникюра на расстоянии как бы оглаживала меня от головы до ног, от ног до головы, то одну только больную ногу, то снова всего и шептала, шептала... Глядя своими черными большими глазами так твердо и на диво простодушно и доброжелательно.

От такого дружелюбия, к тому же, как уверил мой молодой приятель, совершенно бескорыстного, мне было... просто приятно. И не жаль, что тащился сюда, дав согласие по телефону, не веря, что лечение поможет, только из любопытства и потому, что казалось неудобным хорошему парню отказать.

Это не все, что я почувствовал, вспомнил за те минуты, когда должен был ни о чем не думать.

Вспомнился август сорок четвертого, командировка в Минск, самая первая в моей жизни служебная командировка. Приехал я из своего городка не один, а с товарищем, я временный редактор, он секретарь районной газеты. Время у нас было, побродили по городу, зашли в парикмахерскую, что притулилась в каком-то бараке у кирпичных развалин. Мой товарищ сел первым и удивил меня, попросив молодую женщину: «Прежде всего, дорогая, помоем голову». Он был старше меня, городской, бывалый, из окруженцев, а мне, деревенскому, голову мыли только в детстве — мать, а так все сам. Потом моего товарища брили, делали ему массаж. А я тем временем внутренне готовился к такому же полному блаженству. Это нынче понятие «командировка» связано с автобусом, поездом, самолетом. А тогда мы долго шли пешком в сторону столицы, куда над нами не сжалился какой-то случайный грузовик. Сначала потели на жаре, потом пылились в кузове, и помыться очень хотелось. К тому же я был молод, ласка женских рук, проворных, пока они мыли да полоскали мою чуприну, и нежных, когда делали массаж, принималась с тайным волнением.

Теперь, в комнате на окраине, руки «чудо-женщины» не прикасались ко мне, однако они и издали волновали, наводили на воспоминания. Не только интимные — больше, соответственно возрасту бывало-мудрые или вроде этого.

Вспомнилась маленькая отдельная палата в далеком черноморском санатории, скрученный радикулитом еще один мой друг, давний, надежный, много старше меня.

За два месяца перед этим он овдовел, тяжело, замкнуто переживал свое одиночество, и мы, ближайшие друзья, уговорили его поехать со мной. Полечиться и ему не мешало, хотя он об этом сначала и слышать не хотел. Восемь лет панской тюрьмы, всю войну в пехоте разведчиком, жена долго болела, самому уже под семьдесят, а он: «Клин вышибают клином». Искушался холодным утром (югом, но ведь конец октября), и обложил его острый радикулит.

Санаторные медсестры тоже в белом, как и больничные, но на курорте люди меньше лечатся, больше отдыхают, иногда не по возрасту молодо. И медсестры эти не очень-то умеют и не слишком любят ухаживать за тем, кому вдруг занеможет по-настоящему.



Мой друг был человек веселый, мог дружелюбно шутить, знакомиться—об этом знал уже и медперсонал. А когда скрутило его, так только кое-кто из знакомых заглядывал, чаще всего в непогожий день. Сестры менялись, однако их заботы о больном были казенно-приблизительными, все больше с бумажками да чуть ли не с позыванием у телефона. Несколько раз заходил доктор, тоже дежурно констатировал течение болезни, кое о чем расспрашивал, кое-как обнадеживал. А человек лежал да корчился в стареньком спортивном костюме, ночью наедине со своим одиночеством, днем всем, кто заходил, демонстрируя свой оптимизм, с каждым разом все меньше похожий на правду.

Как-то утром, когда я, как обычно, постучался к нему в палату, послышался женский голос:

— Нельзя. Немного подождите.

Ждать пришлось долгонько. Потом оттуда вышли две в белом. Одна, с посудиною и охапкой белья, прошмыгнула по коридору, другая остановилась передо мной. Поздоровалась с покойным, светлым выражением на приятном лице, всей сутью своей белоснежно-чистая.

— Вы из тридцать пятой? Друг ваш тяжелый, но помаленьку все наладится.

После этих слов последовали «нечистые», которые совсем не показались мне такими:

— Кишечник надо было освободить. Столько дней...— Она с укором покачала головой.— Помыть его надо было, постель переменить. Заходите.

Чуда, конечно, сразу не произошло. Передо мною он обычно не считал нужным улыбаться, если ему горько. А тут улыбнулся— все-таки чистый, в чистой постели— и скупое, но без досады сказал:

— Вот человек... Присядь.

Может, оно и не очень тактично было, но через неделю, когда мы уже собирались уезжать, приятель, все еще лежащий, настоял, а я не смог отказать и от него предложил ей денег... В вестибюле, один на один. Сказать, что женщина очень удивилась, не скажу: видно, такое уже бывало. Произнесла, правда, «зачем это?», а я ответил, что он очень просил не обижать его, принять.

— Что ж...

Она взяла те розовые купюры, положила в карман халата, и мы еще постояли, поговорили.

Я не ошибся— она была тут новенькая, не только в этом корпусе, а вообще в санатории. До этого работала в онкологической больнице, за двадцать лет насмотрелась всякого. Муж на ответственной работе, сын уже кандидат. А о себе:

— Ну что сказать? Просто свою работу люблю.

На прощание я протянул руку. Она подала свою— маленькую, теплую и чистую после всего «нечистого» и трудного, что ей так часто, много приходилось и еще придется делать. Поцеловав эту руку, я, чтобы скрыть счастливую растерянность, соврал:

— И это по его просьбе.

...Нечто похожее, немного похожее я чувствовал и теперь, сидя перед «чудо-женщиной».

Когда она переставала шептать да водить руками и спрашивала: «Что, теперь полегче?»— я, глубоко затаив улыбку, говорил: «Ага, полегче». Так повторялось раза три. А потом мы с этой светлой чудачкой мирно, дружески распрощались. Я и поблагодарил ее так— за доброту.

Что-то в этом роде сказал я потом и хозяину, выйдя в прихожую. А из другой комнаты в ту, где оставалась женщина, был приглашен

следующий. Еще один почтенный товарищ, которого, кстати, раньше не было. Наш общий с хозяином знакомый, не только литератор, но и ученый, доктор аж философских наук. С виду — дай бог каждому, но тоже с какой-то бедой да с улыбкой, всегда у него полной веры в бескрайнюю безоблачность, а теперь словно бы немного виноватой, что ли, а больше всего проступало в ней, что и он, разумеется, попал сюда только из чисто профессионального любопытства...

Вспоминаю все это, а монолог на лавке у зеленого заборчика все еще длится. И тема все та же — про Чмута.

— Встретил я его раз, — рассказывает мой знакомец весело, — года три назад, так он, братец, едва уже хвост волочит. «А где ж гипноз? — спрашиваю. — Что ж ты сам себя не полечишь?..» Он рукой махнул. Только хоругвь, чтоб ему пусто было, бери да шагай... Стой, братец, это же мой автобус!

Монолог оборвался. Рассказчик чуть не подскочил, схватил ведро, пожал мою руку — все еще крепко — и заторопился к автобусу. Хотя тот только что остановился и, сразу двумя дверями вздохнув, открыл душное нутро навстречу уличной свежести. Пассажиры выходят — кто совсем, а кто проветриться да размяться. Новых собралось немного. Нам еще можно было бы и постоять, потому что и автобус стоит. Однако знакомец мой знает, что о месте надо похлопотать загодя... Сел да машет мне рукой. И на прощанье, и чтоб шел я себе на лавочку ждать своего.

Ну что ж, бывай! Может, и встретимся еще. Без хоругвей, на самогипнозе, без нитья.

## *Силуэтом*

Дружной компанией на двух машинах едем по летней Литве. Привал над Неманом. Он тут шире, чем у нас, даже под Гродно, — разлегся поодаль, ниже шоссе, поблескивает, словно совсем не движется, не плывет.

На самом берегу — одинокое жилье, похоже, что рыбака. На фоне водного простора оно темнеет силуэтом. Потом из дома вышли трое — хозяин, хозяйка и гость — после угощения. Догадаться об этом нетрудно, потому что прощаются они в обнимку — и раз, и два, и еще раз. Только говора почти совсем не слышно. Наконец хозяин с хозяйкой возвращаются домой, а гость — силуэтом на самом срезе зеленого берега — шествует своей дорогой. И вдруг останавливается, словно стоит и думает: «А чего я, собственно говоря, взял да ушел? Можно ведь у добрых людей и еще посидеть...» Об этом мы, конечно, только догадываемся. А человек возвращается в дом. И вскоре происходит совсем обратное. Из дверей на госте, можно сказать, выезжает, притом довольно быстро, сама хозяйка. Немая картина озвучивается. Что кричит — не разберешь, просто на языке наших братьев слышен женский высокий возмущенный вопль и значительно более низкая мужская втора...

Выставила, отогнала, вернулась в дом. Может быть, и заперлась там, остальное договаривая мужу.

А недавний сердечный гость, так опозоренный во втором акте приречной идиллии, стоит на фоне все той же солнечной воды и уже не только понасу<sup>1</sup>-богу, но и нам, проезжим людям, выражает свое возмущение. Что это именно так, а не иначе, мы догадываемся по его повороту лицом к нам, по руке, время от времени вздымаемой

<sup>1</sup> Господин, здесь — господь (лит.).

то к небесам, то к нам, словно с арены к самым высоким рядам трибун. Кричит он, судя по всему, что-то вроде: «Что ж ты, глупая баба, срамишь меня? Видишь, на нас глазают курортники!..» Слово «курортникай» мы как-никак понимаем. К тому же явно в расчете на нездешних он вдруг подкрепляет свой монолог общесоюзным, особенно контрастно сочным среди непонятных слов выражением.

Не первый раз за девятнадцать лет вспомнилось это снова. Даже с заголовочком притчево-поучительным, будто для короткого телеспектакля: всему своя мера.

## *Поскрипывание*

Первый послевоенный пленум белорусских писателей. В самом конце незабываемого сорок пятого года. С участием гостей из Москвы, Ленинграда, из соседних братских республик. Кто уже в штатском, а кто в военном еще, без погон, а то и с погонами. И только один в кожаном пальто: видать, на соответственной должности. Молчаливый и лысый.

Гостей было много, а наш союз малочисленный, и сопровождать гостей обязали также и молодых. Мне с моим товарищем достался как раз этот кожаный. А мы в партизанских обносках. Привезли гостя на вокзал, проводили к вагону. Он молчит, мы тем более. А на перроне неожиданно встретили одного из работников аппарата Союза писателей, анекдотично толстого, довольно остроумного хозяйственника, который из далекой эвакуации вернулся тоже в кожаном балахоне, изношенно-шершавом, сально лоснящемся на животе.

А все-таки наш почтенный гость пожал руку только ему и в вагон отправился таким маёром, будто нас с товарищем и в помине не было...

Он и теперь жив, и пусть ему, как говорится, господь пошлет многие лета. Потому что и пишет товарищ, если верить рецензиям, хорошо.

Лучше бы, конечно, подняться над этим мелким фактом, уже не однажды вспомнив его да посмеявшись, подняться и читать его книги, зрело сообразив, что и сам ты, чего доброго, был когда-нибудь, и не раз, таким или похожим на такого, а самому незаметно. Хорошо бы посмеяться над этим вместе с ним, потому что чувство юмора у него вроде имеется. Я заметил это в одном солидном застолье в его родном городе, где нам через тридцать пять лет довелось заново знакомиться.

Не посмеялись. И читать его прозу, хочешь не хочешь, мне все еще мешает поскрипывание той кожанки.

## *Звонок*

На встрече известному артисту задали и такой вопрос: «Ощущаете ли вы бремя своей популярности?» Артист засмеялся, даже озадаченно поднес руку к затылку и, не переставая широко улыбаться, рассказал об одном телефонном звонке.

Звонок был, конечно, в тот день не первый, однако очень поздний. Ни днем, ни ночью покоя нет!.. Артист прозаически вылез из-под одеяла и, что-то соответственное бормоча, подошел к телефону:

— Междугородная? Кто? Ну Миша, ну и что?.. А, это ты, Сергей! Что там у тебя?

Тут наш знаменитый гость весьма натурально изобразил на лице ту свою ночную радость. У него ничего не просили, никуда не вы-

зывали, не приглашали, не хвалили. Сергей, оказавшись в далекой командировке, крепко загрустил, и ему просто захотелось услышать живой дружеский голос.

Как это хорошо — просто дружеский голос!

Известность — она у всякого своя, кто сколько заработал. Разных звонков тоже бывает больше или меньше, как у кого. Но чтобы порой опостылеть — хватает их каждому.

Один звонок, тоже довольно поздний, не столько меня рассердил, сколько вначале очень удивил.

Друг с войны, славный мужик, с которым мы встречаемся редко, а пишем друг другу только под Новый год открыточку, вдруг звонит по междугородному из далекого райцентра, ночью...

— Здоров!

— Здоров!..

Что-то должно случиться важное: или в Минск «к хорошему врачу» надо самому либо кому-нибудь из близких, или поступать в институт кто-то собирается, или перевести кого-то с одной работы на другую, или поставить какую-то родственницу в очередь на квартиру... Нет, ничего подобного. Спрашивает, как живу. Рассказывает, как живет. Вполне весело, нисколько не торопясь. «Во размахнулся,— думаю.— Рублей на пять накукарекает. А то и до десятки доберется...» А он тем временем еще вопросик:

— Как тебе, браток, международное положение нравится? А? Вот паршивцы!..

И так далее. На полную катушку. Глядишь, вот-вот и к внутреннему перейдет. Чудеса да и только. А потом наконец и разгадка. И радость. Потому что звонит он — просто так.

— И я уже, браток, на пенсии. Не строю больше. Дома сидеть не захотел, чего там высидишь. Тоска заест. Сторожем теперь в нашей конторе госбанка. Сажу себе и думаю: дай позвоню. Телефон на столе. По справочной твой номер дали. Охота словом перекинуться.

Охота, браток, а как же. Спасибо, что позвонил. Хоть раз за тридцать девять лет. И еще когда-нибудь звякни. Телефон-то под рукой, да еще и казенный. А ты все ж таки на заслуженном отдыхе.

## *Тепло*

Между лесом и полем по летней песчаной дороге медленно проществовало черно-белое молчаливое стадо коров. Одна при одной, одна за другой, осанисто-полные, гладкие, щедрые. И молчат будто о чем-то общем, и никогда не скажут о чем. Пока постоял, пропуская их, еще раз за столько лет припомнилось давнее. С осени тридцать девятого года, с польско-германской войны.

Двенадцать дней начиная с рассвета 1 сентября наш батальон морской пехоты просидел в окопах к востоку от Гдыни, на границе с территорией «вольного города» Гданьска. Несколько раз, особенно в самом начале, мы отбивали вражеские атаки, а то все горбились под жутким артиллерийским огнем то с суши, то с моря.

Наверно, просто грешно так вот спокойно, коротко, сухо писать о том, что тогда творилось в душе и днем и ночью... Но я скажу лишь об одном. Как нас потом сняли с восточной линии обороны, как мы дождливой ночью без шинелей, под тяжестью станковых пулеметов долго и молча шли по широко раскинутому по холмам, задавленному затемнением городу на его западную окраину и дальше — в черное поле с черными деревьями. Угрюмая, мокрая, зябкая ночь все не кончалась. Настороженно изредка отзовется далеким стрекотом пулемета, одиноким разрывом гранаты, размеренно-однообразным стоном портового маяка, молча отсвечивает там и сям близкими и далекими пожарами...

До рассвета, когда нас поднимут в наступление, которое кончится не последним разгромом, оставалось немного времени. И нас неожиданно без шума остановили в какой-то усадьбе.

На свежей, чистой соломе в длинном коровнике лежало много спокойных, теплых коров. Какой была эта солома, какими были коровы — этого мы, измученные, окоченевшие, каждый со своей думой, не увидели, а скорей почувствовали, улегшись, попадавши, между ними. Довольные, только и думая, как бы наконец согреться и других не разбудить. Хотя и не спали они, коровы, а только молча непрерывно, мудро жевали. Такие далекие от человеческих странных забот.

Недолгим было оно, как мы вскоре, в рассветной полутьме, убедились, это необыкновенно уютное тепло...

## *Натюрморт*

Деревенские соседи. В прошлом подпольщики, потом партизаны, которым было тогда по двадцать с небольшим. Теперь один из них подполковник на пенсии, а другой после отхожих заработков обыкновенный колхозник, хозяин дома, младший по стажу пенсионер.

Сосед принес соседу корзину яблок. Подполковник удивленно смеется:

— А я тебе принесу корзину своих!

Уйма нынешним летом этого добра, люди не знают, что с ним делать. И никто не помогает.

Втроем мы рассуждаем об этаккой бесхозяйственности, а корзина стоит на чистом, охристом, освещенном солнцем полу. Обычная самодельная корзина из местной приречной лозы. Уже давно не новая — много потаскали в ней всякого, во всякую погоду, и первым делом картошки. А яблоки — я надкусываю одно — такие свежие, большие, краснобокие, сладкие. И захотелось сказать о ней что-нибудь, об этой корзине, полной яблок. В расчете на того, кто вырастил их, кто корзину сплел, я говорю как можно проще:

— И поглядеть на такое приятно.

А сосед, малоизвестный мне человек, с виду простецкий, неожиданно добавляет:

— Ага. Натюрморт!

Это звучит не как определение — как одобрение. Только не хочется согласиться с тем, что это «натура мертвая». Ну ладно работяга корзина — она старая, без конца то мокла, то сохла, ну ладно половицы — тоже иссохшие, еще и забытые краской. Но ведь солнце, что светит так щедро и весело, но яблоки, что рдеют в солнце, — словно живые!

Потом, когда сосед ушел, хозяин рассказал:

— Какой был славный парень! Ранней весной сорок второго, скрываясь дома, мастерил мину, а она возьми да и взорвись. Себе покалечил ногу, мать немного задело. Как ни страшно было, повезли в район в больницу. Зондерфюрер услышал и так заинтересовался, что сам приходил на хлопца поглядеть. Володя был без сознания, так немец матушку его допрашивал через переводчицу. Мать придумала: мол, разбрасывали в поле навоз и что-то, чтоб ему, взорвалось. «Больше ничего, паночек, не помню...» Медсестра, когда раненый пришел в себя, велела ему говорить то же, что и мать говорила. Когда же он немного оправился, посоветовала лучше всего сбежать домой. Он и сбежал — до леса два километра кое-как дохромал, а там с подводой повезло... В партизанах товарищ здорово мины мастерил. Из самолетных бомб тол выплавлять додумался и такую мину собрал, что взрывалась не под платформой, которая шла спереди, а под самым паровозом. А стали немцы две платформы

спереди пускать — он и на это мину выдумал!.. Теперь-то мы знаем, что не один он был такой изобретатель, делали это и в других бригадах, а потом мины нам присылали, проносили через фронт с Большой земли. Знаем. Но сначала-то мы были сами по себе, с самого глухого низу, с самой бедной бедности начинали. И вот такие умельцы...

Подполковник рассказывает, увлекся.

А полная яблоч корзина, освещенная солнцем, стоит посреди хаты. Натура живая.

## *Переправа*

Нынче здесь обыкновенный брод. Коровы на ту сторону то бредут по воде, то немного плывут, когда ее прибывает. А ребяташки из приречного поселка, встречая их в полдень и вечером, ловко и весело пользуются лодкой.

— Дед, бабушка сказала, чтоб ты сказал, можно мне с Инкой поехать в лодке за ихней Кветкой. Дед, мы с Инкой будем в лодке плыть, а корова сама поплывет. Так вот носик высунет. Я видела!..

Внучке седьмой год, она совсем городская. Торопится с просьбой, даже спотыкается на словах, словно говорит вприпрыжку. И дед, который родился и вырос в деревне, не баловницу свою, а бабушку, что стоит поблизости на том же зеленом дворе, весело укоряет:

— Что ж это ты, Семеновна, хочешь лишить внучку такого воспоминания?

Сам дед вчера под вечер, когда в одиночестве сидел у реки, вспоминал о другом. Далеком и невеселом. Когда он здесь партизанил, когда на этом бросе была у них переправа.

На трех фурманках ехали они всем взводом от пуши сюда, на эту сторону, в более отдаленную деревню. В сумерки это было, поздней и мрачной осенью сорок второго года. Еще до реки не доехали, как из кустов вышел мужчина, дал знак остановиться, взял первую лошадь под уздцы, еще раз показал жестом, чтоб молчали, и, подойдя к фурманке, тихо сказал: «Хлопцы, дальше не едьте — засада». Он был мокрый до самых подмышек. Никому из них не знакомый.

И сегодня уже, сколько ни ищи, ни спрашивай, не узнаешь, кто это был. Не поблагодаришь за жизнь — свою, сына, внучки, — за всех товарищей, кто еще ходит или дышит. Не поможешь тому человеку, если он еще жив, ни медалью какой, ни справкой о связи с партизанами.

Из народа вышел, в нем и растворился.

## *Читая...*

В жизни то заурядные будни, то какой-нибудь праздник. Будней несравнимо больше. Человек надевает то каждодневную, рабочую одежду, то, изредка, праздничную.

Что до солдат, то в войну им не до праздника. И только наивно-му или недалекому человеку военный шик может казаться неизменным. Будни войны некрасивы, ее действительность омерзительно безобразна.

Ту войну, что кончилась в моем детстве, первую мировую, я представляю по рассказам и описаниям.

Рассказов бывших участников наслушался я раньше, чем читался описаний той войны художественных и не художественных, раньше, чем увидел отображение ее на фотоснимках и рисунках, в документальном и игровом кино.

Из описаний самых поздних по времени их прочтения и самых сильных по подтексту и явному, такому значительному содержанию назову книги двух в идейном смысле полярно противоположных авторов. Первый — Эрих фон Людендорф, знаменитый генерал, который был одной из самых надежных опор кайзера Вильгельма, а потом и подпоркой дебютанту Гитлеру. Второй — Евгений Викторович Тарле, всемирно известный советский ученый, историк и публицист, глубоко эрудированный, с блестящим литературным стилем. У первого автора — «Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг.», у второго — «Европа в эпоху империализма. 1871—1919».

Фотодокументы, опять же последние по времени моего с ними знакомства, — в журналах того времени, разные по своей осмысленности, или, верней, несмысленной относительной объективности. На пожелтевших страницах — будни русских и союзных солдат: французских, английских, американских, а также, хотя и в меньшем количестве, солдат вражеских — немецких, австро-венгерских, турецких. Тех, кого заставляли убивать друг друга массово и поодиночке, чернорабочих войны, людей трудовых низов, раньше или позже взятых на войну; всюду и все они, несмотря на старания фотокорреспондентов пригладить, приукрасить их ненормальный быт, — всюду и все они выглядят на своих позициях совсем непарадно, обыкновенно и, несмотря на неполную меру правдивости, — реально.

Больше всего будничности в раненых, калеках, пленных — в людях, освобожденных от дурмана дисциплины.

Как это легко и просто было: на каждого солдата делать карикатуру, нашим художникам на вражеских, а вражеским на наших!.. А ведь реальность их трудностей и мучений невозможно вообразить, не испытав этого в той или иной мере самому. Разве только мать почувствует своим сердцем. Вспомним извечное, всенародное: «И мой ведь там...» Разве только истинный художник, одаренный силой сердечного проникновения в глубинную сущность жизни, сможет представить или самых близких, или себя самого в грязных, холодных, голодных, вшивых окопах, под огнем артиллерии, под пулями в чистом поле, в муках ранений, на смертном исходе... И у мастеров слова слишком часто получается не совсем то, что надо, чтобы по-настоящему вообразить ужасную правду войны, далеко не всякий имеет право сказать о себе, как сказано у Мицкевича: «Мне имя — Миллион. За миллионы несу страдание свое». Однако об этом надо думать и заботиться, ибо иначе наше слово будет пустоцветом, пустым колосом.

Даже когда война имеет разумную цель, когда она справедлива, солдату, простому человеку, надо это понять. А дурная война? «Почему я должен страдать, гибнуть черт знает где и за что?!» Какого мужества можно тут от него, ни в чем не повинного, требовать?

...Людендорф о турецком геноциде в Армении:

«Своим непротестительным отношением к армянам Турция сама себя лишила рабочей силы, такой необходимой ей сейчас для постройки железных дорог и обработки земли».

Какая бесхозяйственность! Так и вспоминаются освенцимы второй мировой. Тогда уже другой фельдмаршал, другой Эрих и фон — Манштейн — изрекал:

«Во вражеских городах значительной части населения придется голодать. Нельзя, руководствуясь ложным чувством гуманности, что-нибудь давать военнопленным или населению, если они не на службе у немецкого вермахта».

Снова Людендорф:

«Рейхстаг смягчил дисциплинарные наказания. У ответственных лиц был отнят таким образом самый действенный способ дисципли-

нарного наказания — строгий арест был заменен подвешиванием. Это наказание было, разумеется, невероятно суровым... однако полная отмена его оказалась пагубной».

Читая это, я вспомнил рассказ о пытках в польской дефензиве: «Один человек подвешен, а двое, которые его подвесили, стоят и смотрят. И полагают, что они вершат правое дело. И когда это кончится? Видимо, никогда: в человеке столько зверства!..» Говорил это один из моих незабываемых друзей, известный наш журналист Якуб Миско, которого и били разными способами, и подвешивали, западно-белорусский подпольщик-коммунист, многолетний узник санационного режима, человек, который потом стал отличным солдатом, оборонял Сталинград, брал Берлин.

Вспомнился мне также случай в Княжеводицах на Гродненщине, когда эту большую красивую деревню над Неманом расстреливали и жгли солнечным июльским днем сорок третьего года. Только за то, что эта деревня была самой ближней от железной дороги, где партизаны подорвали гитлеровский эшелон. Тихий старик, который чудом уцелел тогда, рассказывал нам — для книги «Я из огненной деревни...» — все, что живо в его памяти. Между прочим, и это, что в книгу нашу не вошло:

«Один немец, молодой солдат, не захотел стрелять в людей, так какой-то ихний старший подвел его к сосне и поставил лбом к дереву — стой, мол, так. И тот стоял до конца, пока они все не собрались уезжать. Я лежал в кустах и сам этого не видел, это мне потом подводчик с Лунной рассказывал. Людей-то гнали в подводчики, чтобы добро убитых вывозить».

У старика тогда убили жену и детей. Со второй женой детей не нажили. И душа его полнится только воспоминаниями, печалью о тех, кто когда-то, уже так давно, был. Мы не наводили его на международные, общечеловеческие проблемы — он сам вспомнил того молодого немца, говоря об ужасном горе, своем и чужом.

Нелегко проникнуть в душу того солдата, юноши у сосны, хотя я и знаю немного Германию 1939—1941 годов. Это должны сделать прежде всего сами немцы, писатели, кому из них дорого звание истинного сына своего народа. А я думал все время о другом: как это трудно — дышать, плывя против большого грязного течения, как это страшно — быть одиноким в черной ночи колоссального, чуть ли не всеобщего озверения. О чем он думал, тот юноша, упершись лбом в сосну?..

У Людендорфа еще и такое: за уклонение от работ привязывали к деревьям — или просто так привязывали, или вниз головой.

...Кайзер Вильгельм и царь Николай называли друг друга братьями, по-родственному подписывались в письмах «Вилли» и «Ники». Какими же ничтожествами оказались эти братья, когда их столкнули с высот власти!.. Тарле, опираясь на свидетельства очевидцев и документы, рассказывает о зловонно-гнусливом бегстве в Голландию напыщенного жестикулятора Вилли, который потом оправдывался книгой мемуаров — «ненужной, скучной книжкой, лживой с первой строки до последней». А о Ники вполне убедительно свидетельствует он сам в своем екатеринбургском дневнике: «Отстоял обедню... колос дрова... в Петрограде все еще беспорядки...»

Как это приятно — посмеяться над тем, кто вчера был богом, а сегодня числится обычной серостью или даже дрянью! И как это плохо, если люди смеются над этим потом и так, будто бы они, смеющиеся, тут ни при чем, что для них все равно, что было, и что есть, и что будет!..

...Кстати (замечание через шесть лет), книгу Людендорфа (большеформатную книжищу издания двадцатых годов) прислал мне «только почитать» Павел Нилин, с которым мы немало побродили,



беседуя, по летнему побережью Юрмалы. Я отослал ее, с интересом и пользой прочитав на подходе к своей повести «Рассвет, увиденный издалека». А потом, когда Нилина уже не стало, его близкие прислали мне эту книгу насовсем на добрую память о Павле Филипповиче, замечательном писателе и душевном русском человеке.

В документальном фильме «Формула гуманизма» Нилин выступил публично не в последний ли раз в жизни, уже безнадежно больной. Как всегда, просто, с улыбкой боли и мудрости говорил он о том, что и уходить в небытие не хочется, и очень трудно думать о том, что неизвестно, будет ли после тебя «у гробового входа младая.. жизнь играть», дадут ли ей организаторы новой войны.. Демонстрировался этот телефильм на исходе восьмьдесят третьего, записывали Павла Филипповича чуть ли не двумя годами раньше. И тихий голос его, и живая, милая улыбка пришла к нам, кто его знал и помнит, уже издалека — с неким печально-возвышенным прикосновением к вечности...

## Проблески

В необычном, вроде бы деревянном, как мне показалось от дороги, бараке — хорошие современные квартиры совхозных рабочих. Внизу большая кухня, столовая, веранда, а наверху еще четыре комнаты.

Хозяйина, тракториста, мы дома не застали. Жена его — мать троих детей, самый маленький из которых, годовалый мальчик, безнадежно болен. Мы его не видели, он лежит где-то наверху, как всегда, а бедная мать встретила нас с другим, двухлетним, мальчиком на руках. По глазам малыша видно, что и он нездоров, поихнему, по-чешски, нѣмоцны, и женщина объяснила, что это у нее соседкин Вашичек: той куда-то понадобилось уехать, «а я ведь все равно дома».

Когда мы сели к столу, а хозяйка пошла варить нам кофе, мальчик вяло играл на полу с большим разноцветным мячом. Хозяйка принесла Вашичку молока. Чтобы выпить его — больше, видно, по принуждению, чем по охоте, — малышу очень уж захотелось, прямо-таки необходимо было сесть на этот мяч. Кое-как утвердившись на нем, он оказал тете милость (она с улыбкой ждала) — прикоснулся губами к поднесенному стаканчику. Раз, а потом и еще раз.

Это одно, из позавчерашней поездки в Судеты, где мы с приятелем-чехом заехали к его родственникам.

Другое увидел я вчера здесь, в Карловых Варах, на бойкой, только для пешеходов, улице. Девочка, как сказала бы деревенская бабка, совсем «младшенька», однако уже готовая ко всему, и к худому и к хорошему, идет себе мимо разнообразных, разноцветных магазинов в редкой еще, тоже пестрой толпе местного люда и иноязычных курортников, идет по улице под уклон, покачиваясь тонко и стройно, вся в раннем солнышке, с видом весело-независимым, а на колене у нее, на поношенных джинсовых брючках как некий вызов пришит большой белый примитивный цветок. «Ребенок везде ребенок. А молодому все пристало», — скажем опять-таки на деревенский лад.

Малыш и девочка, два случайно замеченных проблеска, и по отдельности и вместе живо вспомнились мне, как только я проснулся. И тут же, почти сразу возник и стал между ними, чешскими, третий и свой — поры моего возвращения месяц назад из Москвы домой.

В нашем купе — глухонемая девочка лет двенадцати. Едет с бабушкой на каникулы из-под Урала в Брест.

Еще не зная, что с ней такая беда и куда они едут, я заметил на потертых, выцветших джинсах девочки нечто необычное: два

сердца, видимо ею самую вышитые, одно черными, другое красными нитками, скрепленные английской булавкой. Не вышитой, металлической.

Красивая девочка мило улыбнулась моему удивлению и как-то странно, будто с заграничным акцентом сказала одно только слово: — Маль-тшик!

И тут мне бабушка растолковала, что внучку в специальной школе учат говорить, что говорит она очень, очень мало.

А все-таки заветное — хоть и так еще рано — сказала.

## Директорша

В любой деревне, в любом уголке нашей земли возьмет да и вырастет похожая на других и ни на кого не похожая дивчина.

Иринка выросла в своем Долгом Селе, там и школу закончила и не уехала оттуда никуда. Председатель колхоза уговорил ее стать директором дома отдыха, построенного на раздольной опушке над быстрой Щарой.

Смеялись над председателем его коллеги, что фантазер он с этой «Щаринкой», и нерентабельной и ненужной, а он спокойно, с доброжелательной улыбкой отвечал, что каждый из его колхозников, который там заслуженно отдохнул две недели, может с полным правом назначаться хоть в замполиты полка. И растолковывал:

— По социальной и политической сознательности.

Сам он с войны вернулся капитаном с двумя орденами и тремя ранениями, с родной Витебщины был послан сюда, в один из западных районов, на партийную работу. В председатели колхоза пришел из райкома, где работал вторым секретарем. Получилось это неожиданно. Колхоз был слабенький, и когда он, секретарь, привез сюда на выборы очередного кандидата, люди пошутили: «Нам бы, товарищ секретарь, такого, как вы!» «А что вы думаете — и пойду!» Его отпустили, потому что в те времена на помощь сельскому хозяйству шли тридцатитысячники. Пока дожили, доработались до «Щаринки», потрудиться пришлось немало, и люди от шутки «нам бы такого» пришли постепенно к уважению, которого этот, опять новый, председатель, толковый в работе и приятный в общении, оказался достоин. Был ему почет и от руководства. Сам секретарь обкома посоветовал мне поехать с семьей в «Щаринку», познакомиться с тем колхозом и с положительным, как он сказал, героем нашей современности.

«Щаринка» нам понравилась, и на другое лето мы сманили туда две пары друзей, которых на третье лето уже не надо было агитировать.

Летом колхозникам не до отдыха, и туда наезжают ближние и дальние горожане. Они не все и не всегда бывают интеллигентными. Капризы, гонор, неопрятность, хамство если не у самого главы семьи, так у жены, детей, а то и у всей фамилии.

Девушка-директор как-то призналась мне:

— Если уж совсем никуда, не выдержать, так я пойду себе в лес, там поплачу, а потом — опять...

Я рассказал об этом председателю, и он собрал отдыхающих на «небольшое общее собрание». Спокойно, тактично, с хозяйским достоинством он попросил нас сохранять порядок, уважать персонал и директора дома, а если кому не по нраву здесь, «так мы не будем настаивать, чтобы нам оказывали такую большую честь». После собрания — а было это в первый год моего там с семьей отдыха — Иринка, кажется, больше не ходила в лес успокаиваться. Осмелела она понемногу, повзрослела.

Тогда же, в первый год, один из отдыхающих, по виду человек приличный, тайком, как оказалось, вынашивал планы в связи со своей близкой пенсией. И в связи с «Щаринкой»: «Вот бы где стать директором! Воздух, рыбка, грибы, молоко... Перевести бы только этот дом на профсоюзы, снять эту девчонку!» Начал он с того, что каждый день записывал все неполадки и неполадочки, а потом, на прощание, дал свою тетрадь председателю:

— Посмотрите, подумайте, такой ли вам нужен директор.

Председатель полистал, прочитал две-три записи и, как всегда, сдержанно сказал:

— Спасибо за бдительность. У нас правление есть. Мы обсудим.

А тетрадь потом показал Иринке.

Поскольку первый способ не сработал, на другое лето зоркий товарищ, на год поумневший, стал копать под самого председателя.

— Ты комсомолка? — спросил он у Иринки с глаза на глаз.

— Да, комсомолка.

— Так давай поговорим о недостатках вашего председателя.

— А вы что, и на него уже тетрадочку завели?

Вижу ее молоденькое усмешливое лицо. Вижу растерянно-злобную гримасу того «борца»... Иринка рассказала мне об этом разговоре.

Давно это было, пятнадцать лет назад. Уважаемый Павел Федорович, председатель, умер. После него там уже второй или даже третий. И когда у меня прошлым летом возникла настоятельная потребность обратиться в «Щаринку», я не подумал, что директорша там все та же. Позвонил, начал представляться и объяснять, пока в междугородном хрипе да треске не распознал по-прежнему веселый голос. Она сразу узнала меня, сразу назвалась давним, привычным именем, а потом сделала все, о чем я просил, но самым, кажется, приятным было просто услышать ее, словно увидеть через столько лет такую же.

На днях, снова через год, перебирая старые записи, я, будто бы чье-то чужое, перечитал черновые наброски к написанному в «Щаринке» рассказу «Дождливый, солнечный август». Я не называю там имени председателя, а это был он, Павел Федорович. Он приехал за мною пасмурным утром и не торопясь, с восхищенной улыбкой рассказывает о трех лосях, что задержали его на лесной дороге.

— Они стоят, и я стою. Прямо чудо!..

А для меня в то утро чудом было другое. Так и записано было, что первое чудо — Иринка.

Встал я очень рано, вышел во двор, в пасмурную, опять мокрую шепотливую тишину осторожно, потому что окна на первом и втором этажах были еще сонно прикрыты. Нигде никого, ни возле дома, ни подальше. И вдруг из-за обшитого досками угла вышла она, хозяйка. Поздоровалась, как всегда, с хорошей улыбкой.

— Толю к речке проводила, — сказала приглушенно. — Может, что-нибудь и поймает. Гороху наварила вечером. Такой уж рыбак. — Усмехнулась, как о маленьком говоря о муже. — Праздник ведь у него со вчерашнего вечера: дождь.

У нее тоже праздник. Толя приехал вечером на мотоцикле и заночевал. Они поженились этой весной, до их деревни девять километров, а ведь он механизатор — бывает, по неделе и больше не видятся.

— А вам письмо, — вспомнила она. — Простите уж, что вечером не отдала. Забыла. Я вынесу.

Я пошел следом за нею в комнату на втором этаже и остановился на пороге.

На столе у директорши — цветы в крынке, на белой, уже застланной постели стоит большая кукла. Не свадебный голыш с автомобильного капота, а светлая белорусочка в народном уборе, что и в прошлом году стояла подле взбитой пуховой подушки. В те дни и ночи, когда девушка только мечтала, загадывала: кто же войдет сюда хозяином?..

Смуглая, голубоглазая, с веснушками по загару, отчего ее молодая, счастьем одаренная красота нынче, издавек, кажется мне еще более притягательной.

Спасибо, Иринка, за милое воспоминание!

## Сувенир

Слоника из сандалового дерева мне подарил в Южной Индии Святослав Николаевич Рерих. Сказав при этом, что чем дороже гость, тем меньше должен быть слоник — обычай такой. Мбй маленький, возможно, бывают и меньше, но о радости знакомства с обаятельным человеком и большим художником мой слоник говорит мне многое.

Русалочку, что одиноко кручинится на прибрежном валуне, я купил в одном из путешествий сам. И она мне напоминает не только о мельком увиденной Дании, о ее красавце Копенгагене, но и о моем счастливом детском восхищении сказками Андерсена.

Ярко-пестрый глиняный петух привезен из Португалии. За этим символичным петухом в воспоминаниях возникает дорога по берегу океана, пальмы с соснами вперемежку, а под ними, в солнце, совсем уж неожиданно по-нашему цветущий вереск. К петуху часто и с большой охотой тянется забавно маленькая рука моей непоседы внучки. Ставши на стул, она петуха достает. Он уже дважды падал из ее рук на пол. Первый раз отлетела голова, потом отбился кичливый хвост. Петуха мы склеивали вдвоем с малышкой, и он стоит у нас там, где и стоял. Где стоят сувениры из других моих путешествий. И кажется порой, что когда-нибудь он возьмет да наконец и кукарекнет.

Весной семьдесят третьего года наш теплоход готовился отчалить из Гамбурга, и нас, участников советско-польско-восточногерманского рейса мира, пришли проводить и те западные немцы, с которыми мы встречались, и те — их было больше, — которые не могли присутствовать на встречах, но тоже против войны, за разумную дружбу между народами. Нас было четвереста с лишним человек, провожающих раза в три больше. Потому что как раз пришлось на воскресенье. Были речи, потом интересный, яркий самодетельный концерт. Были просто беседы в празднично-беспокойной разноязычной толпе. И, как всегда и всюду, обмен сувенирами.

Один из них вначале несколько смутил меня.

Старая женщина из рабочей семьи подарила мне... обыкновенную щетку. Принял, поблагодарил, но в душе, если можно так выразиться, пожал плечами...

И вот он, такой будничный, по-немецки практичный, по-человечески искренний подарок, уже десять лет как лежит в нашей прихожей на подзеркальнике. Порой кто-нибудь из домашних, выходя из дому, попросит слегка почистить его на лестничной площадке, а иногда сам об этом попросишь. А то и просто так мимоходом глянешь на небольшую, удобную — дерево вишневого цвета, волос черного — кляйдебюрсте, одежную щетку. Глянешь — и снова вспомнится веселая, гомонливая многоязычная толпа на просторном пирсе, на палубах белого теплохода, толпа людей, в какой-то мере объединенных пониманием главного, вспомнится чья-то тихая, работающая, терпеливая мать с доброй улыбкой, за которой — загадка и мудрость еще одной, может, нелегкой, многотрудной жизни...

## Касаточка

Касатка — ласточка, пташка, Hirundo rustica. И то же самое, что дорогая, милая, сердечная.

*Из толковых словарей.*

Взрослый сын вдовы умирал в сознании и долго.

— Вот, мама,— тихо и трудно промолвил он как-то, уже ближе к концу,— я теперь думаю... каково это рыбе... когда ее... на берег... выкинешь... как ей... дышится... тогда...

На похороны из города приехала дочка с семьей. Еще на улице, только из машины вышла, а уже..: не в первый раз, конечно, снова заплакала. Зять все еще топтался возле машины, а дочка с девочкой на руках толкнула ногой калитку да и пустила маленькую с рук. Словно светлый луч из-за темных облаков — на чистую стежку в весенней траве, к новой хате от печально новых ворот, поставленных тоже и м.

На дворе было много людей. Все стояли, шла одна бабушка. Внучка — быстрая, румяная, с двумя черными косичками — бежала навстречу старой, рученята подняв издалека в счастливой готовности снова очутиться высоко, на еще одних родных руках. Что-то кричала радостное в святом своем неведенье, далекая от всех взрослых печалей...

Сын — справный работник, сильный, спокойный парень — с далекой службы вернулся с какой-то тайной. Никак жениться не хотел и без малого в тридцать все шутил, что успеет. Работая экскаваторщиком на мелиорации, где-то на холодном осеннем болоте ушиб да вдобавок застудил ногу. Вскорости болезнь с мудреным, даже благозвучным именем саркома поползла по ноге выше. Со стороны, для знакомых и даже для родных, кто его пережил и живет дальше, ползла она медленно, больше полугода. А для него, для матери как шло, чем было наполнено это время?.. Сначала дома, потом в больницах, ближней и дальней, потом снова дома на исходе. Время неимоверно долгое и безнадежно быстрое, когда все кончится...

Внучка дробненько бежала, радостно что-то крича. Словно они с бабушкой на людном подворье были только вдвоем.

И старая, словно тоже в полном одиночестве, словно на минуту отойдя от самой черной кромки своего молчаливого материнского горя, быстро шла навстречу гостьюшке, издали нагибаясь с протянутыми изработанными руками. Подхватила наконец маленькую, припала сухими бессонными губами к тепленькой, упругой, сладкой щечке и прошептала горячо, словно самой себе:

— Касатушка... щебетушка моя!..

...Про рыбу на песке, что задыхается, это потом уж, через несколько дней у нее нашлись силы сказать вслух.

## Две из легенды

«Всем хорошим во мне я обязан книгам». Вслед за Горьким это могут повторить и повторяют многие, всяк по-своему. И я немало об этом писал, однако, как мне порой кажется, выразил далеко не все. Потому что и о книге, как о матери — вспомним опять же Горького,— можно рассказывать бесконечно.

Мое детство выпало на сложное время после первой мировой и гражданской войн, началось оно в советском городе, а более сознательный период прошел в западнобелорусской деревне. Читать меня научили по-русски еще до школы. А школа в нашем Загорье была

тогда польская, с редкими белорусскими уроками. Вот языки, на которых я начинал знакомиться с художественным словом.

Польские книги детям давали в школе. Белорусские издания на родном языке изредка попадались по хатам; они служили нам букварями да «книгами для чтения». Русских книг в деревне было больше всего. В нашем доме часть их лежала на лавке за столом, целая стопка в красном углу — на покуте, — а на чердаке еще и в большой, вроде чемодана, корзине. Сокровища, которые отец, спасибо ему, привез из Одессы.

И была еще у нас семейная легенда о двух необыкновенных книгах, которые мы, к сожалению, не сумели довести до деревни. При переезде через границу надо было платить — с тех пор запомнилось мне непонятно-грозное слово *контрибуция*, — а денег не хватило, и в Минске, где мы сидели несколько дней в *карантине* — другое грозное слово, — пришлось кое-что продать, в том числе две книги.

Первая из них — одностомник Гоголя.

К счастью, такой же одностомник был, как вскоре выяснилось, у нашего соседа, остался с тех пор, когда по нашим местам более двух лет проходила линия русско-германского фронта и в хате дядьки Ёсипа стояли царские офицеры.

Мы брали Гоголя почитать и тогда, когда я, самый маленький в доме, только листал ту большую книгу, без конца рассматривая картинки, объяснения к которым иногда давали старшие. Одно подетски цепко, прочно запоминалось, другое надо было соображать в одиночестве, к которому, кстати, с самого детства меня и приучили постепенные книги. Вот Бульба дерется с сыном на кулаках; вот свишня застряла рылом и ушами, всей своей харей в оконце со двора в хату и очень удивилась; вот толстенный Собакевич, подвываясь салфеткой и вооружившись вилками, пожирает громадную рыбину... И еще, и еще. Все в Гоголе пробовал я тогда на вкус, как голодный, на ощупь, как слепой, на глаз, как только что прозревший. Пробовал как что-то невыразимо близкое и необходимое, уже слегка ухваченное в рисунок и все-таки бесконечно загадочное, притягательное таинством мелкой пестроты текста и белизной страниц. Страница за страницей, страница за страницей — за один раз никогда вдоволь не насытишься. И так это было хорошо — с чувством тихого беспредельного уединения. Поле белое — снег, которому нет конца, поле серое — пашня вокруг, куда ни глянь. И предчувствие, неясное счастливое предчувствие красоты и силы слова.

Одальживали мы тот одностомник и тогда, когда я уже стал читать, входить в чудесный гоголевский мир.

И случился с той книгой большой конфуз. Когда она была заимствована бог знает уже в который раз, я не только очень долго не возвращал ее, но, чтобы поделиться радостью смеха, еще и в школу тайком отнес, в местечко, дал ее почитать одному из самых близких друзей. Сосед наш не знал об этом, ему просто надоело долго ждать, и он в воскресенье заявился за Гоголем сам. Солидный, как мне казалось, даже суровый дядька Ёсип, усердный, работающий и бережливый хозяин. Сначала мне, несмотря на всю мою взрослость семиклассника, который уже и чуб замысловатый отпустил, и стихи пописывал, у которого, как говорится, книги в сумке, а девки в думке, пришлось позорно спрятаться на чердаке, попереживать там, а потом с отчаяньем спуститься оттуда на зов домашних и признаться. А на завтра принести книгу из школы — наша мать тогда уже восьмой год вдовела, была женщина строгая — и идти к соседу с повинной и с просьбой еще раз простить.

Самое обидное, однако, было в том, что больше просить этот одностомник, так меня очаровавший, я не смел, а своего Гоголя удалось приобрести мне только лет через пятнадцать.

Вторую книгу из нашей семейной легенды, «Русскую хрестоматию» А. Д. Галахова, увидел я только на днях, через шестьдесят лет после того, как мог видеть ее несознательным ребенком.

В один из июньских дней 1922 года, когда те книги, Гоголя и Галахова... Бог ты мой, в той легенде одни их имена так прекрасно, так недосыгаемо звучали!.. Когда те книги наш батька решил продать и, взяв старшего из нашей мальчишеской тройки, двенадцатилетнего Колю, куда-то ушел, мы вдвоем со средним братом Мишей, ему был восьмой, мне пятый год, забрались в чужие сливы. На той поляне, на южной, козыревской окраине Минска, где кучами лежали манатки беженцев, выгруженные из товарняков, появились немудрящие, из одеял и простынь шалашики. Хозяин сада накрыл двух неопытных воришек в белых одесских панамках и привел нас туда, куда мы, ревя, показали. Тут подоспел и тата (на городской лад папа), хотя для расправы хватало бы и одной мамы. Помнится, никто нас не наказал ни на чужой лад, ни на свой, только, видно, журили, а мы хныкали со страху или со стыда. Больше всего запомнилась до оскомины противная кислота тех твердых зеленых слив. И еще одно помню — как мама и я то ли до тех слив, то ли после них пошли покупать хлеб и как, купив, возвращались. Два незабываемых ощущения — сила и тепло материнской руки и вкус свежего, тоже теплого, ситного хлеба, кусочек которого я жевал на ходу, может, впервые чувствуя шершавенько-душистую муку нижней корочки на губах.

Через шестьдесят лет... Почему же так оттянулась моя встреча со второй книгой из далекой, светлой легенды?.. Просто раньше был помоложе, не вспоминал о начале жизни так часто, как нынче, когда ко всему, что было когда-то, тянет присмотреться поближе, во все вникнуть, все свести воедино, словно перед неким самым ответственным походом.

В книгохранилище крупнейшей минской библиотеки найти Галахова было нетрудно. И вот она лежит передо мной — «Русская хрестоматия» (именно так: хрестоматия) со всеми ее «описаниями», «рассуждениями», «антологическими пиесами», со всей прелестью ятей и твердых знаков, которые сказочно переносят тебя больше чем на сто лет назад и оставляют на некоторое время наедине с любимыми, словно после долгой разлуки. Но это был не по-гоголевски толстый, тяжелый однотомник, как мне издавна не раз представлялось, а три книги разных годов издания, отдельные книги двухтомника, большого формата, но не особо толстые из-за крепкой тонкой бумаги. В две колонки заполненные густым текстом в подбор.

Если бы такие два тома да в деревню — в то далекое беспросветное время, — это же какое богатство, какая библиотека стихов и прозы, и русских, и переводных, да еще подобранных, поданных так культурно, с такими любовью и знанием!..

Признаюсь, что легенда, как только она легла на мой стол, сразу же как-то поблекла, даже чуть не разочаровала меня... В этой хрестоматии, которая, как свидетельствует энциклопедия, «составлялась под влиянием педагогических и литературных взглядов Белинского», друга Галахова, и которая пополнялась и совершенствовалась от издания к изданию на протяжении многих десятилетий, я не нашел почти ничего, чего бы мне не случилось с интересом и восхищением встречать на других страницах и в детстве и в молодости... А вместе с этим как бы разочарованием мне было и приятно, что все значительное в русской и частью в мировой литературе не обошло меня и без Галахова, хотя, повторяю, я был бы счастлив встретиться с ним тогда, когда так остро чувствовал тоску по книге, так жадно искал и с таким трудом находил нужное не в библиотеках, а в случайных книгах моего небогатого и тесного жизненного пространства.

Было и еще одно чувство, с которым я в солнечной библиотечной тишине неторопливо листал большие, тонко хрустящие страницы

старой, классической хрестоматии,— чувство интимной, потому что у каждого она своя, радости от еще одной встречи с тем, что привлекало, что восхищало когда-то. Обрывки, проблески, просторы великой поэзии вновь оживали, повторялись в душе, как счастливо повторяются отдельные, самые яркие всплески, мотивы близкой сердцу музыки, которые затаились в запасниках нашей памяти и время от времени вырываются оттуда, всплывают из большей или меньшей глубины, чтобы осветить и согреть на нелегкой порою дороге жизни.

Так снова вернулась ко мне космическая высота необозримой, до светлой оторопи красивой зимней ночи, такой волшебной у Фета в предельной скупости, в простой силе его слова.

Чудная картина,  
Как ты мне родна:  
Белая равнина,  
Полная луна,

Свет небес высокою,  
И блестящий снег,  
И саней далеких  
Одинокий бег.

Эти сани даже подчеркнуть захотелось — так явственно они представлялись мне когда-то, и всегда и сегодня так много они говорят...

И такая же неразгаданная чарующая красота и сила простоты, жизненности у Никитина — уже не зимняя ночь с ее таинственной, торжественной безграничной белизной и тишиной, а расцвет летнего утра с его сочно-многоцветным, солнечным разноголосьем и сдержанной, по-молодому затаенной тишиной:

Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг.  
Чуть приметна тропинка росистая.  
Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг  
С листьев брызнет роса серебристая.

Как волновало это, как глубоко трогало и воодушевляло в ту пору, когда ты входил в жизнь, когда чистым взглядом видел так много и так ясно в самом заурядном, что тебя окружало...

Но почему же, впрочем, волновало, воодушевляло, было? Было и осталось. Скажем, никогда я не мог и сегодня не могу спокойно прочитать вслух такое простое, лаконичное, сдержанно-скупое у Пушкина:

...Сейчас отдать я рада  
Всю эту ветошь маскарада,  
Весь этот блеск, и шум, и чад  
За полку книг, за дикий сад,  
За наше бедное жилище,  
За те места, где в первый раз,  
Онегин, видела я вас...

Здесь всегда глубокая, пусть даже мимолетная пауза, чтобы только глоток воздуха принять, чтобы дочитать спокойно до конца:

...Да за смиренное кладбище,  
Где нынче крест и тень ветвей  
Над бедной нянею моей...

На две последних, опять же подчеркнутых мною строчки, спокойствия мне никогда не хватало.

На страницах галаховской хрестоматии, в стихотворении Жуковского, я нечаянно встретился и с тем, в чем — подросток, а потом и юноша — только предчувствовал самую глубокую глубину, неизбежную мудрость, которые теперь, после многих неотвратимых ударов и безвозвратных потерь, понимаю иначе. На-



столько иначе, что к горькому, незаживающему опыту, к стольким вариантам его даже и памятью больно прикоснуться. Пока не утихнет и на этот раз, пока не обретишь себя в главном.

Вот оно, это стихотворение, все в четырех строках — «Воспоминание»:

О милых спутниках, которые наш свет  
Своим сопутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской: их нет;  
Но с благодарностью: б ы л и.

Нынче понимаешь, тогда предчувствовал... И хорошо, что только предчувствовал. А может, и увидел и почувствовал тогда, чего доброго, сильнее всего, чтобы потом вернуться к этой глубине, к этому проникновению, благодарно освежить душу, с годами да с невзгодами приуставшую, а в чем-то и огрубевшую от груза и суеты всего обыденного.

Почувствовав что-то похожее еще раз в ином «Воспоминании», в стихотворении, которому, кажется, нет равного по глубине и жутости торжественной, и горькой, и целительной, я вспомнил одну свою запись полувекковой давности, с ноября 1933 года, когда мне было шестнадцать, когда казалось, что ты уже совсем взрослый и за твоей спиной столько пережитого... Дома, вернувшись из библиотеки, я нашел эту юношескую тетрадь и вот цитирую самого себя и словно бы не себя — такого далекого! — цитирую с некоторой неловкостью или со скрытым волнением, что ли:

«Как я люблю отлучаться из дому! И отдохнешь, и освежишься. Сегодня ездили с Мишей в Столбцы. Выехали ночью. Утро было пригожее. Пустынные вспаханные поля, выкошенные и вытоптанные скотиной луга, стог сена и тихая речка. Над лесом занимается заря. А мне все вспоминаются чудесные, задушевные и грустные слова Пушкина:

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалею, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю».

В записи, сделанной для себя поздним вечером, когда мы с братом вернулись из необычного в те времена путешествия (в уездный городок на телеге. двадцать восемь верст туда и столько же обратно), стоит первая строка заключительной строфы гениального стихотворения. Три остальных я дописал теперь для цельности впечатления. А ведь есть и черновой вариант «Воспоминания», который я не только знал, но и часто в одиночестве зачарованно повторял вслух. Особенно последние две строфы:

И нет отрады мне — и тихо предо мной  
Встают два призрака младые,  
Две тени милые, — два данные судьбой  
Мне ангела во дни былые;  
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.  
И стерегут... и мстят мне оба.  
И оба говорят мне мертвым языком  
О тайнах счастья и гроба.

Цитируя это, я сначала проверил себя по книге. А память чуть удивленно, тревожно и все-таки упрямо держится за иное слово в последней строчке: не счастья, а вечности — «о тайнах вечности и гроба». Может быть, с давних пор это казалось мне более сообразным, а может быть, тот, черновой вариант, что весьма маловероятно, я читал когда-то в старых, дореволюционных изданиях? Читал же я у Пушкина и другое в «исправленном» виде: «что прелестью живой стихов я был полезен» вместо «что в мой жестокий век восславил я свободу». Не исправлять же я осмеливал-

ся такого автора, хотя по юношеской дерзости и такое бывает. От глубинного смысла «Воспоминания» я, по крайней мере так мне казалось, не отклонялся, а волшебной его красоте отдавал всегда всю душу.

Промахи памяти. Большие, поменьше. Они мне порой дорого стоили. И осмеянным бывал, проспорив, и пари проигрывал. Иногда, правда, побеждал и я. Но дело не в этом. В недавно прочитанной книге дружеских воспоминаний об одном из наших известнейших литературных современников приятно было и раз и два наткнуться на рассказ о знакомой и мне привычке того товарища, которого уже давно нет с нами. Поэт не был ко всему и композитором — он просто подбирал мелодии к своим стихам, любил их напевать, и не в одиночестве, а с друзьями, с их помощью. Бывало такое и со мной с той только разницей, что стихи я мурлыкал не свои, а прежде всего чужие, любимые, и только наедине, а уж если при ком-то или в компании, так про себя. Ошибки в словах, промахи даже и в молодой памяти были, но было ведь и другое — искренняя влюбленность.

Одной из таких наиболее любимых песен было как раз «Воспоминание» — «Когда для смертного умолкнет шумный день...».

По сравнению с сегодняшним опытом какие уж там у подростка могли быть особо «печальные строки» да «тайны гроба», какие муки самоанализа, какое беспомощное сожаление? Скорей просто красота и сила слова, сила чувства и мысли так захватывали — с проникновением в будущее, в то, что еще будет переживаться. Однако были, были они, муки, уже и тогда... Если ошибки меньше, восприятие, должно быть, острее.

Нечто подобное можно сказать и о «милых спутниках», которых, к сожалению, нет.

Когда я впервые прочитал это у Жуковского, из моих близких не стало только отца. Смерть его была совсем свежим воспоминанием — я видел ее вблизи. И как он нас, троих самых меньших, благословлял последним крестным знамением как рука его, тяжело, вяло поднявшись, никак не могла осенить нас; как голосила мама, мечась по хате, пока еще пустой, рвала на себе волосы; как папу мыли, уже беспомощно-страшного...

Уход просто близких и самых близких наступил каждый в свое время, один раньше, другой позже, всегда неожиданно и больно, а «тайна гроба» и вечности какой возникала тогда в моем представлении, такой до сих пор и остается. И с беспомощным «их нет» и с благодарным «был и»...

И остается также удивление перед красотой и силой слова — тоже загадка на всю жизнь.

...Мне было хорошо над старыми ломкими страницами большой хрестоматии, я светло помню и буду помнить те часы тихого уединения за библиотечным, а потом еще и за своим домашним столом. Пусть легенда моего детства и открылась не совсем так, как ожидалось. И в таком — более спокойном, если не сказать почти прозаическом, — раскрытии ее я почувствовал так много былых радостей от встречи с истинной поэзией.

Да, не минувших, а только былых. Потому что вечное, однажды нам открывшись, остается с нами навсегда.

*Авторизованный перевод с белорусского ИННЫ СЕРГЕЕВОЙ.*

---

---

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ



## НАЙТИ ГЕРОЯ

Отрывок из поэмы

*Предлагаемый читателю отрывок представляет собой пролог к большой грамматической поэме «Комментарий к любви», историческая часть поэмы неразрывно связана с личностью великого татарского поэта Габдуллы Тукая, столетие со дня рождения которого будет отмечаться по решению ЮНЕСКО.*

*Поэма написана непринужденным и одновременно густым, гибким стихом; стихом, где заметно энергичное поэтическое сцепление слов и где при этом явлена наша живая жизнь, повседневность; естественный эпос тут сочетается с тайным напором лиризма. Поэма эта о личности и веке, национальной силе и братстве народов, культуре и любви.*

Владимир ГУСЕВ.

\* \* \*

Мы на Руси оставили свой след,  
Мы — зеркало несчастий и побед.  
Мы русским в дружбе и любви  
близки,  
роднятся быт, привычки, языки.  
Бок о бок жили, как семья, сжились!  
Вниз низвергаясь, устремляясь ввысь!  
Прервется ль историческая связь?—  
нам вечно жить, душой объединясь!

Габдулла Тукай.

## ТРЕВОЖНЫЙ ВАЛЬС

...Как розов сад, где бронзовый Державин  
или Гермес? — в осеннем сне листья  
задумчив, строг, еще не переплавлен,  
и — лавровый венок по верх главы!

Прислушиваясь: что там шепчут боги? —  
он держит в пальцах вечное стило.  
Летит, алея, лист на складки тоги,  
но зелен лавр, венчающий чело.

Весь в окиси, в сусальном свете солнца  
острее профиль гордого лица.  
Сад угасает. Фонаря оконце  
зажглось вблизи парадного крыльца  
Дворянского собрания, чья арка  
отбрасывает стрельчатую тень.  
Стон вальса от Панаевского парка  
достойно завершает долгий день.  
Вечерний город башенок и шпилей,  
решетчатых балконов, львиных морд,  
застыл вокруг сада в совмещенье стилей,  
губернской исключительностью горд.  
Провинциальной ностальгией болен,  
готов он возвестить во все концы:  
союзы с позолотой колоколен  
мечетей азиатских изразцы!  
Он вправду обстоятелен и четок,  
тосклив, как в небе — угол журавлей,  
вечерний город флюгеров-трещоток,  
чугунных кружев, кованных решеток,  
трилистников, узорных вензелей...

...не пощадив допушкинской элиты,  
прошли года. Исчез в Казани сад.  
Из статуи подсвечники отлиты,  
никто не знает, где они лежат...  
...Виток диалектической спирали,  
осенней охры проколов листок,  
донес его из той вечерней дали,  
где, неподкупен, нежен и жесток,  
прислушиваясь: что там шепчут боги? —  
Державин держит вечное стило.  
Окислясь, зеленеют складки тоги,  
венчает обруч лавровый чело.  
Кто скажет мне,  
я был или казался?  
Зачем, куда Казанью ни иду,  
преследует меня рыданьем вальса  
оркестр в давно исчезнувшем саду?  
Его надрыв печали предвоенной,  
поддержан чистой полковой трубой,  
плывет по вечеряющей Вселенной  
в преддверье самой первой мировой....  
Два времени, два мира ощущая,  
терпя эпох трагический разрыв,  
я слышу, как, пространство освящая,  
звучит валторны и трубы надрыв,  
но тут же, как непостижимый ребус  
для постцусимской памяти людской,  
оглоблями снимая ток, троллейбус  
шуршит на бывшей улице Лецкой..

На крыше флюгер заменен антенной,  
 но — из былых тревог, издалека  
 плывет по вечеряющей Вселенной  
 вселенская гражданская тоска...  
 Сливаясь в синеве с вечерним светом,  
 мерцающим, как звездный ореол,  
 плывут жасмины с бронзовым поэтом,  
 Дворянское собрание, костел...  
 Колеблется мираж, как дымка сада...  
 Мир, стронутый валторной и трубой,  
 плывет, со щедрой мощью водопада  
 все сущее родня между собой...  
 Я недвижим в потоке, свет струящем.  
 Вселенской скорби постигая суть,  
 могу на то, что кинул в Настоящем,  
 из Прошлого мечтательно взглянуть.  
 Мое виденье вечное воскресло...  
 Подумав, не сошел ли я с ума,  
 увижу въявь державинское кресло,  
 окину взглядом купы и дома,  
 услышу вальс маньчжурский — гвоздь программы:  
 рыдает духовой оркестр в саду.  
 Блюдя благопристойность классной дамы,  
 строга Казань в двенадцатом году.

Увижу, что охвачена движеньем  
 провинция живучая моя,  
 которую с постыдным небреженьем  
 винил в гражданской лени бытия,  
 в невежестве, в наиве, что еще там?!  
 Ан нет! Боготворит она прогресс,  
 дань отдавая первым самолетам,  
 чтит протяженность транссибирских рельс!  
 Что до сознания истины, спроси мы,  
 ответила б вопросом на вопрос:  
 она еще не знает Хиросимы,  
 но ведает, как страшен взрыв шимоз...  
 В Грядущем — горе ближнего не внове,  
 хоть перед ним склонили мы главы.  
 В привычке к телесмерти, телекрови  
 исчезло состраданье наяву.  
 А здесь? Не знаю.  
 В предвечерней рани  
 вне Времени проник я в бытие,  
 чтоб ощутить величие Казани  
 в лице поэта вечного ее.

Он предо мной возник звездой эпохи,  
 рожденный озарять и гневом жечь!  
 Здесь ни при чем чахоточные бронхи,  
 здесь космос претворен в живую речь!

Но на Земле — оказия какая —  
хотя уже разверста в космос даль,  
искать среди городских оград Тукая  
бессмысленно и, право слово, жаль...

Страданию причастен и надежде,  
он — человек. Я плакал бы о нем,  
когда бы тем не потакал невежде  
там, в Будущем всеведущем моем...

Облокотясь о мокрую ограду,  
почувствую, что жив жасмин сырой..  
Тукая не спасти. Он выбрал Правду.  
Но жив его несбывшийся Герой!  
Найти Героя! В пелерине штатской,  
уверенный в себе не по летам,  
спускаюсь я к вечерней Рыбнорядской,  
преследуемый вальсом по пятам...



---

---

## СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ



### СТИХИ

#### Маленькая баллада

Кому что снится, кто о чем,  
А мне всё снятся кони.  
Я был мальчишкой-трубачом  
В летучем эскадроне.  
Ты нас — отчаянных — не тронь.  
По мне не плачь, жалея.  
И бил копытом белый конь,  
Чуть засыпал в седле я.  
И пахло ветром от рубах,  
Когда мы шли наметом.  
И сто отчаянных рубах  
В атаку с разворотом.  
Ходила гибель по пятам.  
И мерку подбирала.  
То тут, то там, то тут, то там  
Моя труба играла.  
Бойцы, намаясь через край,  
Просили на покое:  
— А ну сыграй! А ну сыграй  
Чего-нибудь такое.  
Ну, чтобы речка. Да поля.  
Да женская утеха.  
Да чтоб еще сама земля  
Желала нам успеха.  
Она покуда носит нас  
Сквозь вьюгу-завируху...  
И я играл им старый вальс,  
Подобранный по слуху.

#### Пирсмани

Как хмельное вино в стакане  
Вдруг меняет летучий цвет —  
Краскам вечного Пирсмани,  
Может, в мире и равных нет.  
Все тут фальши холодной вчуже.  
На крови. А не на воде.  
Есть получше. И есть похуже.  
А таких, как они, — нигде.  
Тут на свежем цветном настое,  
Расставляя свои посты,

Утром солнце встает густое,  
 Вызолачивая холсты.  
 Все свое тут. И все тут рядом.  
 Только вглядывайся. Пиши.  
 Он умел мимолетным взглядом  
 Проникать в горизонт души.  
 Где прямое, а где кривое,  
 Где изломанное слегка,  
 Непридуманное, живое  
 Рисовала его рука.  
 И, земные храня заветы,  
 Птиц любя и любя зверье,  
 Он макал свою кисть в рассветы  
 И в закатах купал ее.  
 Пели краски светло и звонко.  
 Славен мастер через века  
 Всей естественностью ребенка,  
 Равной мудрости старика...

### Имя

Сколько мы с тобой похоронили...  
 Если верить в то, что каждый стал  
 Деревом, бегущим к солнцу, или  
 Превратился в радужный кристалл,—  
 Сколько бы лесов зашелестело,  
 Сколько б гор уперлось в синеву.  
 Но земли измученное тело  
 Этого не знает наяву.  
 И когда прощаешься с живыми  
 И уходишь — и об этом речь,—  
 Остается собственное имя.  
 Вот его и надобно беречь.

### Прощание со стихами

Сколько раз прощался. Без печали.  
 Не могу ни слова. Ни строки.  
 А стихи опять во мне звучали,  
 Будто из-под снега родники.  
 А уже казалось — нет возврата.  
 Больше не поднимется рука.  
 Но опять, убитая когда-то,  
 Поднималась исподволь строка.  
 Но опять откуда-то из сердца  
 В дикой одинокости своей  
 Приходило слово, чтоб согреться,  
 А потом остаться у людей.  
 Да и разве может, в самом деле,  
 Отсидеться слово взаперти,  
 Если мимо лебеди летели  
 Да и сбились с торного пути.  
 Если, крик души оставив все,  
 Вот уже который год подряд  
 Человек о женщине тоскует,  
 А его заметить не хотят.  
 Черный ворон каркнет на заборе.  
 Распугает галок и чижих.  
 Как молчать мне, если ходит горе,  
 Обижая близких и чужих.



Я хочу, как некогда, вначале,  
 Всем моим сомненьям вопреки  
 Вечно бы стихи во мне звучали,  
 Будто из-под снега родники.

\* \* \*

Убили дерево.  
 Убили.  
 Сначала топором рубили.  
 А где не взяли — там пилой.  
 Оно не билось. Не кричало.  
 А только ветками качало.

И тихо  
                   сделалось  
                                   золотой...

#### Повелитель

Имеет мой станок  
 Не менее ста ног.  
 Не менее ста рук  
 Он вытянул вокруг.  
 Он сильный. Он такой.  
 А я  
                   одной  
                                   рукой  
 В электроповоду  
 Его сквозь жизнь веду.

#### Ночная песенка

Прыгает, прыгает  
 Дождь-коротышка,  
 Дождь-хромоножка,  
 Дождь-пустомелька.

Прыгают, прыгают,  
 Как лягушата,  
 Капли-двойняшки,  
 Капли-скользяшки.

Все затянуло  
 Серою сеткой.  
 Черною веткой.  
 Мокрою меткой.

Скользкие крыши.  
 Скользкие стены.  
 Выплеснись, утро,  
 Светом обрадуй.



---

---

ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ

★

## СОВКА

Повесть

*Эту повесть Евгения Суворова читаешь с постоянным и радостным ощущением тайны, которая присутствует и в окружающем нас мире и в нас. Но не той тайны, до которой не добралась еще наука, не успев разложить ее по полочкам на отдельные части, чтобы назвать их грубыми именами, а тайны, неподвластной аналитическому вмешательству, существующей в жизни как некий дух природной стихии, как магическая сила, ближе всего доносящая до нас истоки человеческой доброты и красоты.*

*«При чем здесь какие-то истоки?— может спросить бывалый читатель, склонный к определенности и категоричности.— А тайна, которую напускает автор то в образе чуть ли не роковой женщины, то в образе поэтического тумана, наплывающего на остатки деревни,— тайна эта есть не что иное, как плод несовершенного воображения. И в литературе тайна допустима лишь в той степени, в какой возможно возвращение ее к реальному факту, чтобы мы, дочитав книгу, легли спать со спокойной душой и в уверенности, что мир существует в неизменных и знакомых нам очертаниях».*

*И он будет прав, этот бывалый читатель, допускающий тайну только как вопрос, за которым следует ответ. И лучше не оговариваться, что он будет прав по-своему, поскольку приучен смотреть на жизнь как на достаточно сложный, но известный во всех отношениях механизм, осуществляющий заданное движение. Он будет прав без всяких оговорок, потому что он по натуре рационалист, могущий ведать затруднения, но не сомнения. А не правы будем мы, чувственные и сомневающиеся люди, забывающие, любящая на закат солнца, что вокруг чего вертится. Но наша неправота, в которой мы без смущения признаемся, имеет то удивительное свойство, что она одухотворяет мир и возвышает человека, она есть не искажение, а художественное познание и отображение их связей, отыскивающее во всем, где возможно ее искать, душу живую и трепетную.*

*Вот до чего приходится договариваться, чтобы объяснить таинственный голос рассказчика этого повествования, в котором все, кстати, стоит на своих законных реалистических основаниях. Вернее, не стоит, а живет. Эта маленькая поправка на жизнь и требовала всегда у литературы проникновения и искренности, взгляда свежего и отрадного, свойственного лишь тому, кто ставит свое имя на обложке книги. На сей раз я бы назвал этот взгляд еще и вкрадчиво-дерзким и романтическим, умеющим замечать подробности, на которые обычно не обращают внимания, и найти в человеке светлые и добрые стороны там, где их увидит не всякий.*

**Валентин РАСПУТИН.**

Сова ль моя, совка,  
Вдова ль моя, вдовка,  
Где ж ты бывала,  
Где ж ты летала?  
*Из народной песни.*

1

**В**тром, чего у меня никак не получалось в городе, поднялся до восхода солнца — в пять часов. Осторожно, чтобы не разбудить Ларису, оделся, так же осторожно вышел на кухню, по размерам почти не уступавшую комнате, где мы спали. С первого дня, как мы приехали в Шангино, я занял кровать отца, стоявшую у окна к дороге,

Лариса — кровать матери, тоже стоявшую у окна, из которого видно крыльцо, угол дома, верх колодезного журавца и высокий лес на той стороне болота. Кровати мы принесли с чердака, они были совсем старые, односпальные, но стояли на тех же местах. В старом доме не скрипела ни одна половица. Пол плотный, из толстых плах, с глубоким подпольем, и кажется, что ходишь по палубе корабля. И океан в окно виден с гигантскими волнами, только не голубой, не синий, а темно-зеленый — присаянская холмистая тайга. Открываю широкую осевшую дверь, ведущую в сени, потом еще одну — на веранду, — легкую, желтоватую, слоистую, все еще пахнущую сосной. Никогда не придерживал ее: мне нравилось, как со звоном ударялась о скобу полусогнутая железная дужка и как тонкая дверь отвечала ей мягким, спокойным звуком. Для кого-то, может, и пустяк, а для меня с этим связаны многие воспоминания детства. Стоит звякнуть дужке, отозваться двери — и я сразу же что-нибудь вижу из прошлого или меня начинает томить что-то случившееся со мной, когда я жил в деревне, но никак не всплывающее в памяти.

Не знаю, дужка ли поржавевшая была виною или что наконец-то победил себя и встал в пять утра, как всегда вставали мои отец с матерью, но с крыльца я сошел в самом прекрасном расположении духа и, кажется, никогда не чувствовал себя таким молодым, здоровым, счастливым! Я едва удержался, чтобы не вернуться и не разбудить Ларису — пусть и она посмотрит, какое сегодня утро! Я знал: она сначала удивится, куда и зачем я так рано поднялся, потом все поймет, обидится, что ушел без нее, и прикажет разбудить ее завтра. Она будет довольна, что с этого дня я начну вставать рано, — а то все жалею, что куда-то уходит время. И еще для того я буду рано вставать, чтобы порадоваться начинающемуся дню.

Не успел я сделать и трех шагов, как мне вспомнилась частушка, слышанная еще в детстве:

Новый дом, новый дом,  
Новое крылечко,  
Как взгляну на этот дом —  
Заболит сердечко...

Боже мой, да что такое новое крылечко в сравнении со старым, родительским?

Выйдя через открытые покосившиеся ворота на огород, пустующий уже четвертое лето, оглядываюсь на крепкое, просторное и уютное крыльцо, на котором мы с Ларисой, придя из лесу, разбираем грибы, готовим ужин, наблюдаем за воробьями, отвыкшими от людей и свившими гнездо за обшивкой дома чуть не у самой земли; за вороной, издали наблюдающей за нами; за ястребом, который однажды, когда мы с Ларисой под вечер сидели на крыльце, пролетел так близко и, повернув голову в нашу сторону, так глубоко заглянул нам в глаза, и таким загадочным показался его взгляд, таким острым — он, наверное, хотел понять, кто мы такие, зачем здесь сидим, когда хозяйка уехала. В его близком, медленном полете, в его величаво распластанных крыльях, поблескивающих золотым опереньем, в повороте головы были уверенность, интерес к нам, но больше всего — пренебрежение. Он давно к нам приглядывался, как и мы к нему, и наконец-то решил пойти на сближение. А может, не видел нас, скрытых высоким дощатым забором, на котором были развешаны одежды, и с удивлением обнаружил сидящими на крыльце. И все же вернее было первое: он смело приблизился к нам и гордо пролетел мимо. Он так и летел над домами, в которых не было людей, — так же как не было в оградах и на выгоне ни кур, ни гусей, ни уток...

Мы не переставали восторгаться его пренебрежением к нам. Оно — было, потому что от его внимательного, как будто отравленного взгляда мне в первый миг стало не по себе. Лариса тоже сму-

тилась. И только потом, когда он скрылся, мы стали восторгаться ястребом. Он как будто задал нам какую-то загадку и улетел.

Высоченная крапива коснулась моей руки, но не обожгла, а только напомнила о себе как будто для того, чтобы я ее не трогал. Я выкосил крапиву под окнами, а эта пусть царствует! На земле, на бревнах, на дощатом заборе — темные, влажные пятна, роса такая обильная, что кажется: уж не было ли ночью дождя? С черемухового куста раздаются посвистывание птиц, такое же чистое, как утренний воздух. Бросив заросли конопли, с веселым шумом на куст черемухи перелетела стая воробьев. Им нет дела, что деревня исчезает. Их прадедушки и прабабушки еще знали хозяев, а это новые воробьи, они отвыкли от людей, и старики воробьи пытаются внушить младшим, что человек для них друг. Где это было видано, чтобы воробей пренебрегал хлебом, который появлялся на столбах и возле гнезда? Но что же делать, если с детства они приучены мамой и папой к разным букашкам, червячкам, которых здесь множество. Ешь не хочу! Старые воробьихи помирают от смеха: вот уж молодежь, не подскажешь — совсем разучатся, вьют гнезда так низко, что любой пацан достанет! Пошутят они, пошутят, а что сделаешь: молодые — народ упрямый, пока сами не хлебнут лиха, не научатся!

Рядом с летней кухней-сарайчиком как будто заново вижу разросшийся куст желтой акации, привезенной и посаженной моим младшим братом Володей. Брат уехал, и акация — больше, чем дикая яблоня, лоза и черемуха, — кажется брошенной, посаженной напрасно. Ее тонкие, нежные стебли, касающиеся высокого дощатого забора, вздрагивают, слабо шелестят листьями, мигают желтыми огоньками поздних цветов и, чудится, просят увезти ее отсюда. Я подхожу к ней, слегка трогаю за ветви — и на меня обрушивается прохладный, пахучий росной дождь...

Оглядываюсь на лозовый куст, выросший сам по себе в старом приамбарке с разобранной крышей, где когда-то хранились дедовы лозовые прутья. Солнца там не хватает, куст долго рос, никому не видный, пока кто-нибудь из Володиных детей или сама Нина нечаянно не заглянул туда и не удивился: надо же, в доме выросла лоза! Куст, охраняемый от дурного глаза ветхими стенами приамбарка и закрытыми воротами возле старой избы, поднялся теперь выше стен, и странно видеть с улицы, из ограда или с огорода его весело зеленоющую пушистую вершину. На маленький кустик лозы, поднимавшийся в правом углу приамбарка, Нина сначала посматривала с интересом, а потом, когда она по совету бабки Аксиньи хотела его выдернуть — очень уж он смущал своим появлением не где-нибудь, а в приамбарке, — мой брат строго-настроено запретил ей это делать: раз появился, пусть растет! Наш дедушка всю жизнь плел корзина и корзины, которыми пользовалась вся округа, и лоза выросла в его честь — так казалось Володе, да и мне тоже.

Одет я для такого утра хорошо, на мне светло-зеленая штормовка с красно-голубым изображением Братской ГЭС на рукаве; складной нож и широкий, тоже с цветной картинкой целлофановый пакет для грибов с вечера лежат в кармане. На ногах новенькие, пропитанные дегтем кирзовые сапоги, в которых ни дождь, ни роса не страшны, и они сами несут меня по нашему огороду, заросшему старым клевером и сочным пыреем, охраняемым вдоль неровного тына и кое-где рухнувшего прясла гигантскими зарослями крапивы, конопли и бурьяна. Спускаюсь под горку, где раньше были колодец с баней, иду через бывшие приусадебные покосы к старому руслу Тагнинки, потом вдоль болота к стлани — и в лес. Скорее, скорее!

Куда я тороплюсь? Чему радуюсь?

...В один из своих приездов домой я принес с покоса **небольшой** букет лесных цветов, почти весь из кукушкиных сапожек. **Мне в**

особенности было непонятно, как вырастают эти цветы, почему они так называются, и я надеялся обрадовать отца с матерью, когда прошел с букетом по огороду, поднялся на крыльцо, нашел маленький-премаленький кувшин, налил в него утренней колодезной воды и поставил в большой комнате на круглом столике рядом с патефоном.

— Чему же тут радоваться, — сказал отец. — Росли цветы, никому не мешали, а ты взял и сорвал... На лесные цветы лучше всего смотреть в лесу...

Начинавшийся разговор о цветах показался бесконечным, и мы, чтобы не заходить слишком далеко, уступили друг другу, сошлись на том, что и отец прав и я прав. У меня была возможность выпорить, обратившись к матери за поддержкой, она, я знал, взяла бы мою сторону, но я сразу же отказался от запрещенного приема, тем более что я им уже не пользовался с четырнадцати лет, с того самого дня, как уехал в город. Я, помню, удивился, как быстро пролетело время — мне уже было двадцать восемь! Не всех я хорошо знал в своей деревне, а в некоторых домах так ни разу и не был, и эти дома и люди, которые жили в них, сделались для меня еще более загадочными, и я при каждом удобном случае что-нибудь спрашивал о них. Мои родители знали всех взрослых жителей даже из соседних деревень, про некоторых рассказывали целые истории, причем одна и та же история могла рассказываться несколько раз. Конечно, должно было пройти какое-то время, чтобы история подзабылась... И всякий раз я слушал как будто бы впервые и никак не мог понять, в чем тут дело: или я многое забывал, или родители мои с каждым разом добавляли что-нибудь новое?

И в этот свой приезд я ждал если не новой истории, то хотя бы старой, рассказанной заново... К этому все располагало: и то, что я долго не был дома, и то, что лето было хорошее (картофельные кусты вымахали чуть не в пояс!), и то, что родители посматривали на меня так, будто не узнавали — видно, я здорово изменился! — да и начинавшийся разговор о цветах остался незаконченным. А уж я знал: отец не любил останавливаться на полдороге, если начал какую-то мысль, то обязательно закончит.

— Послушай, — чувствуя, что я тоже не сплю, среди ночи заговорил отец, — я тебе не рассказывал про Совку?

Со словами, что слышал эту историю, но очень давно, я повернулся от окна, разглядел белешую в темноте никелированную кровать, на которой лежал отец, и приготовился слушать. Ночь была темная — давно собирался пойти дождь, и вот уже огромные, редкие капли ударяют по крыше и стеклам. Отец, видно, прислушался к начинавшемуся дождю, и до меня снова донесся его мелодичный и негромкий голос. Разбудить мать, спавшую на широкой русской печи, он не боялся: она так уматывалась за день на колхозной работе, что засыпала сразу же, как только касалась головой подушки, и отец всегда восхищался ее способностью не только мгновенно засыпать, но и не просыпаться, хоть пали около нее из пушек. А утром вставала всех раньше, затапливала печь, успевала переделать, пока мы спим, десятки мелких, невидных дел, которых, как нам потом казалось, и не было. Как будто само собой все было чисто, ярко пылало в печи, вкусно пахло, и я, когда был помоложе, верил, что ей помогает домовой.

Отец еще со вчерашнего дня примерялся к этой истории, но что-то ему мешало, и вот сейчас под шум дождя начал рассказывать.

...Каждое утро пастух с подпаском гонят по деревне коров, а за воротами дома, окруженного березами и соснами, стоит девочка лет двенадцати и, прикрывшись ладошкой от солнца, смотрит, как скрывается в лесу растянувшееся по дороге стадо. Цветком ромашки виднеется среди пожелтевшей болотной осоки белый платочек. Прохладный ветерок доносит иногда голос женщины, но слов не разо-

братъ — она что-то говорит не то своей блудливой корове, не то пастуху.

Что заставляет девочку долго стоять у ворот и не слышать, как зовут отец или мать? Рожок ли виноват, под звуки которого она, еще не проснувшись, выбегает на улицу?.. Обхватив тонкими длинными руками свои худенькие плечи, девочка съеживается от утренней прохлады, окончательно просыпается, широко открывает глаза, и в них отражается весь мир, который она видит перед собой. Девочка завидует пастухам, что они куда-то далеко гоняют коров — там, она слышала, есть другая речка и много смородины... Ей нравится стоять около дома и радоваться утренним и уже горячим лучам солнца, таинственным звукам рожка, на котором играет соседский мальчик. Стадо с пастухами скрылось, перестал играть рожок, белая пыль вот-вот уляжется, а девочка стоит, не отнимая от лица тоненькой ладошки. До ее слуха все еще доносится из леса звон двух или трех колокольчиков...

«Сонька,— скажет ей отец или мать,— ты что, коров не видела, стоишь?»

«А я не на коров смотрю...»

«А куда? На небо?»

«Может, на небо»,— соглашается она, продолжая стоять не шелохнувшись.

«Ой, Сонька, не засматривайся на облака да на туманы, а то печалиться будешь».

«О чем я буду печалиться?»

«Нельзя так долго смотреть неизвестно на что, лучше с маленьким ведерком за водой сбегай».

«Да тише, тише вы...»

«А что такое?»

«Ну неужели вы не слышите?»

Отец с матерью посмотрят друг на друга, потом на Соньку: что с ней?

«Колокольчики...» — приподнимаясь на носки, готовая взлететь, шепчет Сонька.

«Цветы, что ли?»— спросят отец с матерью, не понимая, что творится с девочкой.

«Да нет, звенят.. вот сейчас...»

«Эка невидаль! Они и завтра будут... Это чтоб коровы не потерялись».

И отец с матерью махнут на девчонку рукой: пусть стоит, если ей нравится!

Привыкли они и к тому, что Федя-пастушок, когда возвращается из лесу, приносит ей букетик лесных цветов. Девчонка, как и утром, стоит в вечерних лучах за воротами или висит на заборе, и не поймешь, чего она больше ждет: корову из стада, чтобы открыть ей ворота, или букетик. «Настоящая Совка!— соглашаются отец с матерью.— Не зря ее так зовут». Распахнет глаза, приподнимется на носки — и кажется, что вот сейчас полетит над дорогой, речкой, лесом, полями...

Ловлю себя на том, что с нетерпением жду «веселенького» места в отцовском рассказе, из-за которого все и началось. И тут я не понравился себе вот за что: во мне остается — и ничем его не вытравить! — интерес к острым зрелищам. Я сам себе кажусь праздным зевакой. Я понимаю, что не все тут хорошо, но ничего не могу с собой поделать.

Вот и сейчас я попросил отца, чтобы он сразу же перешел к неприятнейшему эпизоду, который, наверное, никогда не исчезнет из моей памяти.

Отец все-таки рассказывал подряд. Порывы дождя заглушали слова, и до меня доносился только его голос, но я по голосу чувство-

вал, как его лицо улыбается, делается восторженным... И вдруг подумал, что ничего не знаю о его жизни до моего рождения. Я всегда старался расспрашивать только о себе: любой пустяк из моего детства приводил меня в восторг, о себе я мог слушать бесконечно. И я пожалел, что пропустил подробности из его неторопливого рассказа, потому что он наверняка что-нибудь называл из своей жизни — ведь всегда же мы, рассказывая о других, привносим что-нибудь от себя. Вот почему происшедшее с другими кажется происшедшим в какой-то мере с нами.

## 2

Ни Совка, ни Федя не заметили, как выросли...

Федя перестал приносить ей букетики и сразу же потускнел в ее глазах. Когда он спохватился, то было поздно: Совку стал провожать с вечерок другой парень. Дело, наверное, было не в одних цветах: тот, другой парень из прицепщиков давно перешел в трактористы, а Федя все продолжал пасти коров.

Если бы не эта страшная война, то все бы, наверное, оставалось по-прежнему... Перевод Вити Королькова в трактористы сильно подействовал на Федю, и он на время забыл про букетики. А если говорить точнее, то он забыл про них в тот день, когда увидел Совку на колесном тракторе вместе с Витей Корольковым. Трактор, сверкая железными шипами, бешено мчался по дороге, стреляя в дома кольцами дыма. Совкины волосы развевались на ветру, ее опьянили грохот и дрожание трактора, запах горючего, и она не замечала ни Феде, стоявшего на обочине дороги, ни испуганных коров, ни бегущей навстречу улицы.

Летом, когда для немцев готовился сталинградский котел, в Шангине произошли новые изменения: старика Редчанкова, белобородого, румянощекого, очень похожего на деда-мороза, поставили полеводческим бригадиром, а его сына Федю из подпасков перевели в пастухи. В помощниках у него оказался молоденький лейтенант, два месяца пролежавший в подольском госпитале после тяжелой контузии. Вырос лейтенант в городе, а в деревне пожить ему посоветовал госпитальный врач. С виду лейтенант казался вполне здоровым, только плохо говорил и, может быть, из-за этого немного дичился людей. Он обычно слушал не отвечая, сильно хмурился, темнел лицом, синие глаза делались еще более синими, как будто он вспоминал что-то и никак не мог вспомнить. Слух у него восстанавливался плохо, и, чтобы обратиться к нему, надо было дотронуться до него или поймать его взгляд. Вел себя лейтенант странновато: он отказался от должности пастуха, но согласился быть Фединым помощником. У Феде не укладывалось в голове, как он, не слышавший ни одного боевого выстрела, не видавший ни одного живого немца, будет командовать лейтенантом, дважды горевшим в танке. И он старался во всем ему подчиняться, мгновенно исполнял любую его просьбу. Федя только числился главным, а на самом деле он по своей воле продолжал оставаться подпаском. Лейтенант был всего на три года старше Феде, но Федя уважал его больше чем кого бы то ни было в деревне и нередко обращался к нему по-военному: «Товарищ лейтенант...» Лейтенант неуловимым движением скидывал руку к выгоревшей пилотке... Они быстро подружились.

Федина жизнь наполнилась новым смыслом, и он — так казалось со стороны — не очень горевал, когда узнал, что Совка выходит замуж за Витю Королькова, которого вот-вот должны были призвать в армию.

Отчаянный Витя, с синей полоской пороха под левым глазом, с широкими мужицкими ладонями, хоть и был женихом — до свадьбы оставались всего несколько дней, — не отказывался прийти с хромкой на короткую вечерку, которую он неизменно заканчивал песней

«На границе тучи ходят хмуро». Совсем маленькие ребяташки, подростки и девчата подхватывали слова, которые пела вся страна, и так шли из одного конца деревни в другой:

Броня крепка, и танки наши быстры,  
И наши люди мужеством полны...

Но долго девчата не могли петь о броне и танках, и тогда по деревне разносилась новая песня, которую они недавно разучили:

В той землянке, засыпанной снегом,  
Часто видел тебя я во сне,  
Твое имя в лесу перед боем  
Ножом вырезал я на сосне...

Совка уносила гармонь к Корольковым, которых она теперь не стеснялась, а Витя, если надо было, отработав день, прямо с вечерки снова шел на трактор.

Лейтенант любил облачные, пасмурные дни, дождю радовался больше, чем солнцу, и Федя не мог понять этого. Подражая лейтенанту, он тоже пытался полюбить такие дни, но у него ничего не выходило.

— Разве хорошо пасти по дождю? — как-то в солнечный день спросил он лейтенанта.

— Хорошо, — после некоторого молчания ответил тот.

— По мокрой траве?!

— Да, по мокрой.

Федя задумался. Он не узнавал лейтенанта в ясную погоду, когда всходило солнце, и вечером, когда солнце закатывалось, обещая хороший день. Бывало, так набегаются за коровами, что Федя где стоит, там и упадет. Отдыхают они на траве или на колодине, чаще всего около речки, и вдруг Федя обнаруживает, что лейтенант опять сидит спиной к закату. Поначалу он не придавал этому значения, но однажды сказал:

— К солнцу сидеть лицом куда интереснее. Я всегда только так сижу.

Лейтенант внимательно посмотрел на Федю, посерьезнел, потом натянуто засмеялся, махнул рукой: пустяки, мол, не обращай внимания.

Один раз непонятным своим поведением лейтенант до смерти напугал Федю... Пасли они коров недалеко от деревни. Место, конечно, красивое, но хлопотное: смотри и смотри, чтоб коровы в пшеницу не зашли. День был на редкость душный и жаркий, багровое солнце клонилось к вечеру, и вдруг что-то стало делаться с небом: полосы света — красные, голубые, зеленые, а у самого горизонта синие и черные — стали пронизывать небо, находили одна на другую, исчезали и появлялись снова, напоминая перекрещенные опрокинутые прожектора. Он с изумлением смотрел на необычный закат, захвативший полнеба. И чем ярче горело небо, тем жесточее, казалось Феде, шла война за Сталинград. Закат виделся совсем близко, за лесом, в котором они пасли коров, и, наверное, поэтому Феде казалось, что война — рядом. Оглянувшись, он увидел лейтенанта, бегущего от заката по кочкам, по кустам, по грязи, только брызги разлетаются, как будто под ногами у него снаряды или бомбы рвутся! У Феде дух захватило, когда он подумал об этом. Пятна красно-бурых коров, разбросанные по зеленой лощине, показались ему горящими немецкими танками... Федя не мог понять, куда и зачем бежит лейтенант. Может, он догоняет зверька или раненую птицу?

Федя кинулся за лейтенантом. Он видел себя бегущим в атаку. Но как ни старался бежать, ловко перепрыгивая через кочки и зеленые лужи, расстояние между ними не сокращалось.



Около леса лейтенант споткнулся обо что-то, рухнул и остался лежать лицом к земле, закрыв голову руками. Федя упал рядом с ним.

— Живой? — крикнул он, будто они находились под бомбежкой или артобстрелом.

Лейтенант слабо пошевелился.

— Живой,— обрадованно сказал Федя.

Он ждал, когда лейтенант поднимется, но тот что-то не торопился. Федя стал тормошить его, сначала потихоньку, потом сильнее.

Лейтенант, все еще тяжело дыша и морщась от боли, сел на траву около низко спиленного пня. Об него-то он и споткнулся.

— Зашибся? — спросил Федя.

Лейтенант вяло махнул рукой: ерунда, мол, мне плохо не из-за этого.

У Феде отлегло от сердца: глаза у лейтенанта целы, только на щеке небольшая царапина, из нее сочилась кровь. Он огляделся, сорвал длинный бархатистый лист, подал лейтенанту:

— Приложишь — за минуту пройдет.

— В-видал... как м-меня з-заносит? — к великому огорчению Феде, сильно заикаясь, сказал лейтенант.— Мне, з-знаешь, где с-сейчас... н-надо быть?

— Не маленький, знаю,— сказал Федя, всем сердцем жалея лейтенанта.

— Ты про то, к-как я хорошо... б-бегаю, никому ни с-слова,— попросил лейтенант.

— Само собой.— понимающе сказал Федя.— Подумаешь, за месяц один раз хмурь нашла,— подбодрил он лейтенанта.— Меня тоже от этих коров, от жары да от слепней мутит. Я сам сегодня чуть сознание не потерял.

Лейтенант глянул в сторону заката, схватился за голову, требуя, чтобы и Федя оглянулся.

Впервые Федя не подчинился.

— Да ну его, закат этот...

— Да н-не з-закат...— Лейтенант сморщился от нового приступа боли.— Коровы где?

— Пасутся в пшенице.

— Так беги.

— Теперь-то побегу,— обреченно сказал Федя, а сам продолжал стоять: ему показалось, что лейтенанту опять плохо.

Закат все еще был ярким и грозным.

Коровы, целое лето ждавшие, когда же промахнется пастух, зашли на середину пшеничного поля и торопливо, с оглядкой хватали серебристые, а кой-где еще темно-зеленые сладкие колосья. Окрики не действовали, чуть не каждую руками приходилось сталкивать с места. Бич, одного хлопка которого хватало в лесу или в деревне, перестал на них действовать. Феде пришлось поработать и за себя и за лейтенанта.

— Кончилась моя спокойная жизнь,— сказал Федя, обращаясь только к себе и подчеркивая этим, что лейтенант здесь ни при чем, и, как старик, тяжело опустился на траву возле розово цветущего дягиля. Над длинными метелками цветов по-хозяйски жужжал, что-то рассказывая Феде, огромный шмель, но Федя только раз кое-как взглянул на него.

— Не унывай.— сказал лейтенант, снимая выцветшую гимнастерку и развешивая ее на кустах. Была она мокрая, хоть выжми, и даже на вид соленая.

Федя кивнул на коров:

— Им только один раз в потраву зайти... Они нам дадут теперь прикурить...

Лейтенант как мог успокаивал своего напарника, не по годам сметливого и наблюдательного:

— Не переживай... Отвечать... б-будем... в-вместе... В-вдвоем...

— Не выйдет,— сказал Федя.

— П-почему?

— А вот увидишь.

Лейтенант ничего не понял. Он только что, остановившись на меже, осматривал поле и не заметил почти никаких следов потравы — пшеница, как живая, на глазах распрямлялась...

Чтобы Федя сильно не переживал, лейтенант сказал ему, что никто ничего не видел, что в потраву зашли не чьи-нибудь, а колхозные коровы и что не Федя Редчанков во всем виноват, а он, лейтенант. Ему и отвечать.

— Ты раньше жил в деревне? — спросил Федя.

— Нет. А что?

— Уж если коровы зашли в потраву, то об этом обязательно узнают. Как пить дать.

Пастухи сидели, отвернувшись от заката, как будто не хотели смотреть на ходившее волнами поле, где только что побывали коровы.

Чтобы как-то растормошить Федю, лейтенант протянул ему свою выдавшую виды пилотку:

— Ну-ка надень.

Федя медленно, как перед зеркалом, надел пилотку, сдвинул ее немного вправо и набок и сразу же забыл обо всех печалях.

— Ну вот,— сказал лейтенант, видя, как Федино лицо расплылось в улыбке, и потянулся к полевой сумке, в которой носил теперь обед и в которой хранилось маленькое двустороннее зеркальце,— купил в Подольске, выписавшись из госпиталя, но так и не успел никому подарить.

Федя замахал руками:

— Не надо. Я и так знаю: пилотка мне во как идет! Лучше всех в деревне!

Он с сожалением снял ее и подал лейтенанту. Тому понравилось и Федино хвастовство, и то, как бережно держал он пилотку, и как не хотел расстаться с нею.

Надев бич на руку, Федя быстро пошел в другой конец лощины, чтобы отогнать коров подальше от поля. Резкие хлопки бича, которыми он издали пугал коров, были похожи на одиночные выстрелы, лесное эхо усиливало их и разносило далеко по окрестности. Смирившись с тем, что больше промашки у пастухов не будет, стадо успокоилось и мирно паслось около леса, и только самые блудливые коровы высоко поднимали голову и смотрели в сторону поля.

Лейтенант, преодолевая слабость, погнал к лесу оставшихся коров, но, видно, поторопился — надо было еще немного посидеть, прийти в себя... Преодолевая головокружение, какую-то непонятную тяжелую тоску и начинавшуюся рябь в глазах — как будто стая незнакомых птиц с узкими черными крыльями бесшумно летала перед ним и никак не могла улететь,— он схватился на косогоре за ветви густой молодой березки, постоял, делая глубокие вдохи, и ни за что не хотел открывать глаза. Сидел в тени, привалясь к березке и запрокинув голову, струйки пота катились по лицу, и он не вытирал их. Медленно, с усилием вытянул перед собой правую руку, отодвигая нахлынувшее видение, как во время своего последнего боя в излучине Дона, когда снарядом остановило его танк и в глазах замелькали такие же, как сейчас, незнакомые птицы с узкими крыльями...

Закат потускнел, и ему стало легче.

Он увидел Федю, шагавшего вдоль хлебного поля, вспомнил: завтра в деревне свадьба. Совка, или, как ее несколько раз при нем называли, Фебина невеста, выходит замуж. И впервые после госпиталя

подумал: «Прошло столько времени, а я так и не проводил никого с вечерки... Даже не поговорил ни с одной...»

Но что делать, если и в хорошие дни для лейтенанта, то есть в пасмурные, когда с ним ничего не случалось, он не мог выспаться, а когда засыпал, то сразу же видел, как горит в танке. Вставал с тяжелой головой, без всякой радости смотрел на пробивающиеся к нему лучи солнца и, осторожничая и стыдясь своей осторожности, спускался по крутой лестнице с чердака. О том, что он спит на чердаке, было всем известно. Но ни одна из жительниц Шангина ночью или перед утром не спустилась от него по лестнице... С одной стороны, авторитет его рос, а с другой...

А в ветреную погоду черемуха сердечно вздыхала, шелестела листьями, постукивала по крыше, как будто спрашивала: «Лейтенант, ты не спишь? Такой молоденький, столько невест в деревне!..»

## 3

К ночи все небо заволочло тучами. Два или три раза — так, для порядка — проворчал гром, и его долгое, глухое ворчанье растворилось в шумных потоках дождя, без всякого подкрадывания хлынувшего на землю.

Неурочному дождю радовались в деревне три человека — лейтенант да Витя с Совкой. Лейтенант по причине контузии, а жених с невестой потому, что в их домах все было припасено, и только ждали небольшого ненастья, чтобы не стыдно было справлять свадьбу в самый разгар сенокоса.

К утру дождь перестал.

Тимошка, маленького роста старик, веселый, подвижной, до удивления похожий на мальчишку, вчера до самой темноты отбивал косы, и к нему с утра, обходя грязь и лужи, заглядывали женщины и подростки. Делились новостями, все больше невеселыми: погибли — один под Сталинградом, другой под Серпуховом — еще два шангинских мужика; по-прежнему ни слуху ни духу про Семена Лозовского... Наталья Цыганкова получила письмо из госпиталя и радовалась, что жив ее Костень — так она звала своего мужа Константина. Он сообщал, что раны у него небольшие, сразу после госпиталя — на фронт. О нем просил сильно не переживать: он уже обстрелянный, знает что почем и задаром жизнь не отдаст. И просил еще беречь ребятишек... Каждый издали узнавал свою косу, снимал ее с высокого дощатого забора. Тимошка пристально взглядывал на проходившего, старался понять что-то еще, недосказанное, снова принимался пилить и строгать под сараем с еще большим усердием.

Косили в колхозном утуге, около пасеки. Трава была в пояс, с длинными пожелтевшими метелками пырея, с веселыми полянками дикого клевера и медуницы, сверкала тысячами дождевых росинок. Пчелы обиженно взлетали, когда цветы с ярко-зелеными листьями густым веером падали к земле. Зазевавшейся пчеле или уснувшему шмелю приходилось тратить немало усилий, чтобы, отчаянно жужжа, выбраться из-под тяжести скошенных цветов...

Разноцветные ульи рядами стояли на горке в березовом лесочке с редкими соснами. В самом начале горки, близко к дороге, защищенной с северной стороны густым березником, так и манил к себе маленький, сказочный домик с двускатной крышей — зимник для пчел. Другой домик стоял в глубине берез — в нем три-четыре раза за лето качали мед... От улья к улью с дымокуром медленно передвигался Максим Зиновьев. Даже отсюда, с падинки, покосчикам было видно, как он хромал: первый комбайнер колхоза «Октябренок» недавно вернулся с фронта без ноги, на протезе. Он грозился в уборочную перейти на свой «Коммунар» с деревянной площадкой для мешков, и

все знали: так оно и будет. Максим с виду слабенький, кажется, толкни — и упадет, а с пути не своротишь.

Совка с Витей просидели под черемухой возле Корольковых до самого утра, пока не перестал дождь. Несмотря на бессонную ночь, Витя косил — как будто на своей гармошке играл: прокосы широкие, чистые, никакого отдыха ему не надо было. Совка не уступала. Ей еще только исполнилось семнадцать, а выглядела она старше, как у нас говорили в таких случаях — «просилась замуж». Полшколы, когда она училась в шестом классе, писало ей письма, клялось в вечной дружбе и даже любви, а выбрала она Витю Королькова — за веселость и отчаянность.

Один раз, чтобы обратить на себя Совкино внимание, семиклассник Витя Корольков прыгнул на лыжах с двухэтажной школы... Нырнул с высоких перил в мелкую речку, на полном скаку нарочно падал с лошади — и ничего! Обо что ни ударится, только крепче делается...

На покосе шангинские как бы заново увидели жениха и невесту. Витя с Совкой и косили рядышком — не хотели расставаться ни на одну минуту. Да и немного этих минут у них оставалось... От Совки глаз оторвать нельзя было: если кто-то из ребят останавливался раньше времени и старательно точил косу, то все знали — не коса притупилась, а на Совку взглянуть хочется! Совка косила в новом платье и чувствовала себя еще более счастливой, когда видела то на одной женщине, то на другой яркую косынку, которой вчера не было, праздничную юбку или кофточку.

Косили весело, подшучивали друг над другом, и никто не обижался. Больше всех доставалось жениху и невесте. Особенно старался Тимошка. Ему наскучило сидеть дома под сараем, и в утуте под тенью старой березы он отбивал косы на завтрашний день. Частые удары его молотка сливались со звоном кузнечиков, приветствующих солнце.

— Совка, обрежь ему пятки, чтоб на других не заглядывался! Всю жизнь твой будет!

Совка затаенно улыбалась, делала жест, означающий, что не хочет она обрезать ему пятки, и от своей преданности Вите делалась еще привлекательней. Витя оглядывался, и ее улыбка отражалась на его лице и в каждом движении.

Кто-нибудь вскрикивал:

— Коси, жених, не ленись!

— Ай да Совка, косит ловко, один раз взмахнет — два шага делает!

— Го-о-орька-а-а! — раньше времени кричал Тимошка, и все смеялись.

— Потерпи, дед, не пропадет твоя чарка!

— Не пропадет, — бодро соглашался Тимошка. Он только говорил об этом, а сам зелья не любил.

Бабы радовались, глядя на молодых, себя вспоминали такими же, поглядывали на солнышко — часам к одиннадцати оно выкатилось из облаков чистое, новенькое, как подарок для жениха и невесты!

После обеда старшие потребовали, чтобы Совка шла домой и помогла старухам воду носить, пол вымыть, баню чтоб истопила. Строго-настрога наказали: после бани ничего не делать — должна невеста отдохнуть немного и светиться, как солнышко. Такое раз в жизни бывает!

Совка, смущенная, ушла.

А жених после трактора пусть лесным воздухом подышит, накопится вволюшку. Потом, на фронте, вспоминать будет, как вместе косили...

Совка звала Витю на реку, в лес, в поле. Она знала каждый бугорок и ямку и бесшумно ступала по едва различимой в темноте дороге или тропинке, и Вите казалось — Совка не идет, а летит, и он старался не отпустить ее от себя.

Куда она бежала? Что ей нужно было в лесу и в поле, когда так хорошо сидеть, обнявшись, под черемухой возле своего дома?..

Совка влюблена в каждый лесочек возле ее деревни, в теплую извилистую речку и широкое разноцветное болото, в котором не смолкала жизнь ни днем, ни ночью. Она готова бесконечно ходить по знакомым с детства дорогам и тропинкам, вдыхать запахи трав, цветов и полей... Ей казалось, что она больше чем кто-нибудь из шангинских любит все, что ее окружает. Она смотрела, оглядывалась настолько восторженно, что еще минута, казалось ей, — и она сама превратится в дорожку или тропинку, в березу с прохладными листьями, в излучину реки или в облако... Она хотела, чтобы Витя, уходя на фронт, крепко запомнил все, что она любила. Запомнит все — значит, и Совку не забудет, и никакой враг не одолеет...

Женщины вчера договорились с дедом Игнатом, чтобы он разрешил косить поближе к деревне, а не за двенадцать километров, в Тонкой падушке: с покоса только к ночи приедешь. Игнат поскреб в затылке, надвинул на лоб зеленый картуз, чтобы легче думалось, согласился не дал, но и не запретил: мол, делайте как хотите! С бабами, он знал, лучше не ссориться. «Бабы, — говорил он с первого дня, как его поставили бригадиром, — сегодня так же поработаем, а завтра отдохнем». Бабы смеялись или молчали, зная, что отдыха, наверно, никогда не будет.

Чтобы бригадир не сердился, они уговорили заняться стряпней самых древних старух. В этот июльский день, звонкий от птичьего гама, сверкающий после дождя каждой травинкой и каждым листочком, людям хотелось хоть на короткое время забыть о своих бедах.

Дед Игнат, два раза заглянувший на покос, работой остался доволен. Он хотел придраться, что не вовремя они затеяли свадьбу, но у него язык не повернулся сказать это, когда увидел, как преобразились бабы — как будто все они сегодня выходили замуж!

Игнат Редчанков никогда на здоровье не жаловался, хотя недавно ему стукнуло за семьдесят. Он еще мог сойти за молодого, когда брался за какое-нибудь дело, мог весело, не стесняясь своей белой бороды, подмигнуть солдатке и вызвать своим неумелым подмигиванием хохот на всю бригаду. Но если смеялись лишнего, то дед Игнат намекал, что он умеет не только подмигивать. И тогда смеялись еще больше. В дурном расположении духа его никогда не видели, порядку в его усадьбе можно было только позавидовать, и когда в колхозе «Октябренок» понадобилось заменить бригадира, ушедшего на фронт, то на его место не задумываясь поставили Игната Редчанкова. Он сразу же согласился, цену себе не набивал, отлично понимая, что выбирать не из кого.

Глаз у бригадира был зоркий, и, возвращаясь в седле с дальнего покоса, где, он считал, и надо было начинать косить, он еще издали заметил поправу в пшенице. Он медленно натянул поводья, останавливая своего Гнедка и недоумевая, как могло произойти такое не с кем-нибудь, а с его сыном Федей, которому в августе исполнилось семнадцать и который проговорился однажды, что в день своего рождения подаст заявление в военкомат, чтобы его добровольцем взяли на фронт. Неладно получалось: самого старшего Редчанкова только что поставили бригадиром, самого младшего пастухом — и сразу же, как нарочно, поправка...

Дед Игнат тут же хотел разыскать Федю, уши ему пообрывать, и уже поскакал к лесу, в котором, слышно было, паслось стадо, но на

полпути свернул к дороге и поехал к покосчикам. С Федей он решил поговорить вечером. Гнедко сразу же уловил перемену в настроении своего хозяина и, хоть и устал сегодня, без понуканий пошел быстрой рысью, готовый при малейшем движении повода перейти на галоп. Игнат заставил себя успокоиться, а вернее, на короткое время забыть о потраве, и к покосчикам подъехал шагом, как ни в чем не бывало, даже как будто весело.

Заглянув на пасеку, он выпросил у Максима бидончик меда для свадьбы, передал его из рук в руки Совкиной бабушке, которая ему когда-то в молодости нравилась.

Возле правления по-молодому соскочил на землю, привязал к столбу присмирившего жеребца.

В конторе, кроме бухгалтера, никого не было. Дед Игнат посидел, отдохнул на стуле — седло ему за день надоело, — долго и придирчиво глядя на хилого, но дотошного бухгалтера Чемизова, но тот делал вид, а может, и в самом деле не замечал тяжелого бригадирского взгляда, и тогда дед Игнат строго спросил: известно ли бухгалтеру колхоза о потраве? Тот утвердительно кивнул и, отвлекаясь от бумаг, добавил, что доложит об этом на правлении.

Такой ответ деда Игната не устраивал, и он грозно поднялся со стула.

— А чего ждать? Штрафуй сейчас же! Чтоб не было лишних разговоров.

Бухгалтер без всякого заседания правления оштрафовал бригадирского сына на пятнадцать трудодней.

Дед Игнат про себя ругнул Чемизова: потрава небольшая, хватило бы и десяти трудодней.

— Как с лейтенантом быть? — поинтересовался бухгалтер.

— Лейтенанта не трогай.

Он хотел сказать Чемизову, чтобы тот не скупился и выписал распоряжение на пять килограммов меда для свадьбы, но понял, что без председателя ничего не выйдет, и решил взять грех на себя. «Что же это за свадьба, — думал он, выходя из конторы, — если на столах не будет меда».

## 4

Совка мылась в бане одна.

В два небольших оконца — от реки и с огорода — дрожащими лучами падал предвечерний свет, но углы все-таки оставались неосвещенными, и она зажгла лампу. Сумеречность в углах исчезла, в бане стало светлее и загадочнее оттого, что лампа горела днем. Маленькое пламя колебалось, вздрагивало, грозило погаснуть, пока Совка раздевалась, плотнее прикрывала двери и ходила по бане, раскладывая и расставляя предметы в нужном порядке. Она не заметила, как стала подчиняться маленькому, капризному, казалось, только что исчезнувшему и опять вспыхнувшему огоньку лампы-коптилки: движения Совки сделались медленными, плавными, как будто она не в бане мылась, а совершала древний языческий ритуальный обряд. Она восхищалась каждым своим шагом по теплomu, быстро просыхающему полу, движением руки, в которой она держала эмалированный ковшик, наклоном своего тела, гибкого, сильного и нежного, когда наливала горячую, а затем холодную воду в звенящий глубокий таз.

Отхлестав себя распаренным березовым веником, как делали взрослые женщины, она, задохнувшись от горячего пара, волнами идущего от высокой каменки, соскочила с полка, бросила веник, открыла низенькие двери, дышала и никак не могла надышаться свежим, пахнущим рекой и огородами воздухом. В приоткрытые двери она видела между крышей и тыном треугольник синего неба, а в про-свет между тынинами — узкую полоску своего покоса, красно-кф-

блескивающую речку и широкое болото, с которого доносились голоса диких уток и незнакомых птиц — она слышала ночью их странные, загадочные голоса...

Пол в бане был чистый, теплый, она его еще раз окатила горячей водой и, упершись в толстые половицы круглыми коленями, нагнулась над тазом, опустила в него густые длинные волосы. Они медленно намокали и делались тяжелыми, она отжимала их, снова опускала в воду... Потом несколько раз вставала во весь рост, наклоняя при этом голову — потолок был низковат, — волосы, рассыпавшись по загорелым плечам, касались ее белых покатых бедер, и обливала себя напоследок «летней» водой. Приходя в восторг, готовая вскрикнуть — до того ей хорошо было, — она вдруг пугалась, что кто-то видит ее, и по привычке, как на реке в камышах, когда купалась с девочками, мгновенно приседала или старалась отойти дальше от маленького запотевшего оконца.

Потом, когда еще не оделась, она испугалась качнувшихся веток бурьяна, с которого вспорхнул воробей... И она еще больше полюбила и этот высокий бурьянный куст, приветливо кивающий в задымленное оконце бело-зелеными густыми ветками, и воробья, перелетевшего, наверное, к другим воробьям или погнавшегося за разноцветной бабочкой...

Она вышла на крыльцо бани, вытиралась длинным грубоватым льняным полотенцем.

Извилистая теплая речка с ярко-зелеными камышовыми зарослями, глубокая у моста, была внизу, за огородами и приусадебными покосами, посредине которых стояли первые зароды сена — высокие, еще не осевшие и не огороженные. Совка слышала воинственные голоса ныряющих с моста ребятишек, и как никогда они были приятны ей, и она, переполненная новыми чувствами, мечтательно улыбалась и хотела приблизить время, когда с речки вот так же будут доноситься голоса ее детей.

Оделась, постояла у колодца и мимо огуречной гряды и подсолнухов с двумя ведрами воды пошла к дому.

Старухи, нахваливая Совку — какая она стала румяная да красивая, — около ворот отобрали у нее ведра, как будто у маленькой девочки, которой еще рано ходить за водой. Сказали — и опять как будто маленькой девочке, — что больше от нее никакой помощи не надо.

Совка расчесывала волосы и никак не могла отделаться от тревоги, неизвестно откуда взявшейся. На покосе, дома, пока мыла полы, топила баню, и вот только что все было хорошо, радостно — так что же случилось сейчас, когда она присела на стуле перед зеркалом с широким гребнем в руке?

Через открытые в избе и в сенях двери она услышала далекий звон колокольчиков и, не понимая, что с ней происходит, выбежала за ворота, увидела первых коров, выходящих из леса. Стадо еще издали, вразнойой, громким мычанием предупреждало хозяев, чтобы открывали ворота и поскорее готовили пойло.

Черно-пестрая, с большими рогами корова, боясь, что молодая хозяйка передумает так рано впускать ее, перед домом прибавила шагу, не вошла, а забежала в просторную ограду, остановилась возле крыльца, еще раз известив тихим мычанием о своем появлении.

Совка закрыла ворота и только после этого поняла, зачем она осталась на улице — ждала Федю. Он был еще далеко, иногда останавливался возле чего-нибудь дома, о чем-то спрашивал, что-то отвечал... Зачем он ей вспомнился? Ну приносил цветы... Ну и что?

Она была в лучшем своем платье — шелковом, в ярко-белую и голубую полоску. От этих бело-голубых полос, подчеркивающих стройность и округлости Совкиного тела, нельзя было оторвать глаз, они сводили с ума ее ровесников, так же, как Федя, безнадежно в нее влюбленных...

Улетела Совка!

Федя шел по деревне с чувством обиды на себя, что у него с Совкой дальше детской игры не пошло, чего-то не хватило... Но его чувства были так глубоко запрятаны, что и самой Совке их не прочитывать! В левой руке он держал букетик лесных цветов, в правой — бич, которым подгонял коров.

Перед Совкиным домом спрятал букетик за пазуху.

— Ну вот, Федя, я и замуж выхожу... Ты не обижаешься на меня?

У Феде в глазах потемнело от этих слов: он и так знал, что она выходит замуж, но слышать об этом от нее было выше его сил. Он долго стоял, не зная, что ответить, и наконец сказал:

— А за что мне обижаться? Не всегда же любят того, кто цветы приносит...

Никогда Совка так ласково не смотрела, никогда ее голос не был таким нежным! Федю это даже кольнуло: зачем она говорит и так смотрит, ведь теперь это ни к чему. «Ах, Федя, Федя,— говорили Совкины глаза.— Милый ты мой пастушок!..»

— На свадьбу придешь? — спросила Совка.

Федя молчал, любуясь Совкой, поглубже запрятал обиду, а вместо ответа достал из-за пазухи букетик лесных цветов, но не бросил его Совке, как бывало раньше, а бережно передал в руки.

— Ах, Федя, ну какой же ты молодец! Вспомнил... Ну какой же ты...

Совка недоговорила и, как тогда, в детстве, убежала. А Федя пошел дальше.

5

Еще засветло к деду Игнату прибегали родственники жениха и невесты, просили не опаздывать на свадьбу. Без бригадира, все понимали, свадьба получится самочинной. Редчанков, только что приехавший с полей, выслушивал приглашения, не отказывался, но и не торопился идти: он сидел на крашеной лавке чуть склонившись набок, к подоконнику, принимал к сведению наперебой сказанные слова, молча, едва заметно кивал: мол, понял, идите. Нездоров был Игнат или так умотался за день, что даже сидеть не мог?

Ребятишки, боясь, как бы им за что-нибудь не попало, наперегонки высказывали на улице.

Аграфена, высокая, дородная, нисколько не похожая на старуху, сердилась на Игната:

— Генерал нашелся! Зовут — иди. Как же ты не пойдешь? — не понимала она, разодетая во все праздничное и терпеливо ждавшая, когда муж поднимется с лавки.— Переоденься,— попросила она,— не куда-нибудь идем, а на свадьбу. И так всю жизнь в одном ходишь.

Игнат продолжал сидеть, что-то обдумывая. Причин у него много было так вести себя: Совка, считал он, рановато выходит замуж, надо было подождать еще годик. Во-вторых, и это самое главное, он привык к мысли, что Совка будет его невесткой, и вроде все шло к тому, а Федя в самый ответственный момент, когда девушку надо было держать покрепче, отпустил ее. И он не мог простить ему этого... А уж коль проморгал, прямо надо сказать, королеву («Засмотрелся на коров», — как-то невесело пошутил он над сыном), то нечего лезть с цветочками к чужой невесте, да еще на виду у всей деревни! Кому это понравится?! Ишь какой храбрый! Ишь внимательный какой нашелся! Где раньше-то был?! А дальше в рассуждениях Игната выходило и вовсе что-то несуразное, потрава была вчера, цветы — сегодня, а у него все отчетливее вырисовывалась и все больше походила на правду такая картина: пока Федя собирал цветы, коровы и залезли в пшеницу! Он знал: не так все было, — но через какое-то время так будут говорить в деревне, чтоб посмеяться над Федей, а стало быть, и



над Игнатом. Над стариком бы ладно, стерпел, но когда смеются над бригадиром — дело гиблое.

Жена, зная его характер, ждала, когда он остынет. Но все-таки поторапливала, и на свадьбу он пошел не совсем остывшим. И в этом, как он потом говорил, была ошибка Аграфены.

Игнат малость укоротил ножницами бороду, белую косоворотку в цветочках надел — «подчепурился», как он говорил в таких случаях. Все у него вышло очень быстро, по-военному, и это немного тревожило Аграфену: не в духе старик, чем-то недоволен, — и она с опаской взглядывала на него, всячески умиротворяла, только чтоб не сердился на Федю, ни на кого не сердился... Неуступчивым Игнат сделался, как поставили его бригадиром, и Аграфена иногда терялась, не понимала, хорошо это или плохо.

Не успели они ворота закрыть, как увидели спешащую к ним Корольчиху. Она еще издали разулыбалась, когда увидела, какие принаряженные Игнат с Аграфеной. Главное, Игнат. Корольчиха вся испереживалась, боялась, что он опять начнет свое бригадирство показывать, да и умотался старик за день: приляжет, заснет, а потом сам же еще и обижаться будет, что не позвали.

— Все собрались, только вас нету, — сказала она без всякого укора, всем своим видом показывая свое особенное отношение к Редчанковым.

Игнату такое обращение понравилось, усталость и недомогание сразу же куда-то подевались, он даже тряхнул плечами, как бывало в молодости, по-орлиному повел глазами, чем и рассмешил женщин. У Аграфены повеселело на душе: слава богу, оттаял старик, теперь можно не переживать, не стыдиться перед людьми за его придирчивость, — Аграфена как-то сказала ему, что с народом надо помягчей быть, так он ее чуть до слез не довел. Теперь вот свадьба ему не нравится... Умнее всех не будешь — уж это Аграфена знала и где могла укорачивала Игната. Но, кажется, все идет как надо: Игнат под ручку взял Аграфену, с Корольчихой разговаривает, как будто она ему лучшая подружка. А ведь сердится, что ее сын отбил у Феде такую невесту! Аграфена не сильно переживала, имела на этот счет свое мнение: какая женитьба, когда еще в армии не был! Отслужит, отвоюет — тогда другое дело!

— Федя там? — не глядя на Корольчиху, хмуро спросил Игнат.

— Пришел, — поспешила ответить Корольчиха.

И опять в ее голосе, кроме приятных ноток, Игнат ничего не уловил. Но он все равно остался недоволен ее ответом, вернее тем, что Федя не очень-то гордым оказался: пальцем поманили — и прибежал! Не-е-ет, на его месте Игнат не пошел бы. Не тот характер у Феде, не то-о-от, мало чего от отца досталось, весь в Аграфену! Как по писанию живет: в одну щеку ударят — он другую подставляет! Игнат чуть не плюнул с досады на дорогу, но сдержался: рядом Корольчиха идет, она Игнату ничего плохого не сделала. Да и Аграфена ни в чем перед ним не виновата.

Дом Корольковых, с новой пристройкой, стоял на взгорке, а внизу сразу же за огородами чернела кузница, из которой раздавались удары молота. С такой силой мог стучать по наковальне Ленька Родин, молотобоец. У кузнеца Шарафутдинова, когда он брался за молот, удары были слабее. «Молодец Ленька, — мысленно похвалил Игнат подростка-богатыря. — Молотит кувалдой, и нет ему никакого дела до чьей-то свадьбы! А мой, поди, уж за столом сидит, про все на свете забыл. Ну ниче, я ему напомним...» Сердило Игната и то, что Федя сегодня не ночевал дома — под лейтенантскую защиту ушел. Это хорошо, что сын сразу же подружился с лейтенантом, но Игнат не любил, когда его дети оставались у кого-нибудь ночевать.

Павел Акимович Корольков, или, как его звали, Королек, был личным плотником, и как-то незаметно так вышло, что новые бре-

венчатые стайки, похожие на веселые домики, в которых могли бы жить люди, игрушечная летняя кухня, амбар, маленький сарайчик (большой тоже был) настолько потеснили двор, что от него остались только два или три узких извилистых прохода, в которых в потемках запросто можно было заблудиться. Королек не хотел занимать постройками ни одной сотки огорода. Жадности тут никакой не было, а ему нравилось, чтобы все стояло рядом. Игната вот еще что удивляло: сам Королек, огромного роста, веселый, любил рассказывать, размахивая длинными руками, а расхаживать ему по двору было негде. То, как выглядел Королек, как любил во всю ширь развернуться на гулянке, требовало, по рассуждению Игната, просторного двора, а иначе казалось, что хозяин дома, стоит ему только забыть, начнет задевать то локтем, то плечами об углы своих многочисленных построек, которые начинались сразу же от крыльца. И только баню Королек поставил в огороде. Но даже здесь он остался верен себе: баня стояла рядышком с колодцем.

Игнат попросил Аграфену, чтобы она вызвала Федю, и задержался возле сарайчика, под которым чего только не лежало, но все в строгом порядке. «Поговорить надо», — сказал Игнат, видя, что Аграфена не хочет без него заходить в избу; и она, согласно кивнув, скрылась в дверях вместе с Корольчихой.

Федя вышел не сразу.

— Тебе что, дома места не хватает? — как можно тише сказал Игнат: он не хотел, чтобы его слышали заходившие во двор старики Шабалковы.

Федя молча, с удивлением смотрел на отца: таким злющим он его еще ни разу не видел.

— Что смотришь исподлобья? — Игнат уже и сам не знал, к чему бы придраться.

— Я хорошо смотрю, — сказал Федя.

Игнат, понимая, что неправильно делает, нажал на самые большие струны:

— Тебя кто звал на свадьбу?

— Совка.

— А жених тебя звал?

— Невеста главнее жениха, — сказал Федя.

И тут на Игната нашло затмение: он схватил висевшую под сараем ременную узду и вытянул Федю по спине. Федя легонько шевельнулся, как будто его не уздой ударили, а комар укусил. Он был настолько оскорблен, что не почувствовал боли.

— Ты что?.. — только и сумел сказать он.

Ударив раз, Игнат уже не мог сдержаться, бил и приговаривал после каждого взмаха:

— Вот тебе за пшеницу, за то, что дома не ночевал, за Совку, что отпустил, за сегодняшний букетик...

Федя не убежал от отца, не защищался, а ждал, когда тот образумится.

Шабалок с Шабалчихой, покачивая головами, смотрели, что вытворяет Игнат.

И тут как будто с неба слетела Совка, оказалась между Игнатом и Федей. Корольчиха повисла на Игнатовой руке. Старик настолько был уверен в своей правоте, что смотрел, кому бы еще всыпать, и, не найдя никого, снова принялся понуждать Федю. Тут ему и двинула кулаком между лопаток Корольчиха. «Между лопаток куды ни шло, а вот если еще по уху съездит...» — подумал Игнат и остановился. По-хозяйски, излишне старательно повесил узду на старое место.

— Вот бы кого на фронт! — запоздало выкрикнула Шабалчиха. — А то с бабами да с ребятами воюет!

— С меня везде толк,— похвалился Игнат, оглядываясь, как бы кто, заступаясь за Федю, и в самом деле не дал Игнату по уху.

— Бригадирское ли это дело — уздой махать?! — крикнула Корольчиха, готовая еще раз стукнуть Игната: такой день, а он скандал затеял!

— Немцы под Сталинградом, а вам — свадьба,— оправдывался Игнат.— Отгоним немца, тогда и справляйте. А сейчас некогда!

Бабы шум подняли.

— На это всегда время найдется!

— Ишь, командир выискался!

— Да ведь война! — защищался Игнат.

— Ты на войну не сваливай, ты перестань самоуправством заниматься!

— Поговори у меня,— пригрозил дед,— и тебе достанется... Платье заголю!

Над ним засмеялись.

Старик огляделся, отыскивая глазами Федю. Но не видел его среди собравшихся около сарая. Игнат понял, что лишку дал: не надо было накидываться на сына... И пререкаться с бабами — пустое дело. Его длинные голубовато-пепельные волосы спутались, усы обвисли, и только подстриженная борода воинственно топорщилась. «Прости меня, господи, не хотел!» — молча взмолился Игнат.

Бабы понимали: старик и сам не рад неизвестно откуда взявшейся свирепости, перестали шуметь, да и не до Игната им, если разобратся, свадьбу справлять надо. А со стариком у них еще будет время поговорить, куда он от них денется! Они Федю жалели...

Игнат увидел Корольчиху, выходящую из сеней со стаканом, и смотрел теперь только на нее, ожидая, что она ливнет ему водой в лицо. И он закрыл глаза.

— Держи стакан! — приказала Корольчиха.

— Что здесь? — осторожно спросил Игнат. Вода ему была ни к чему.

— Пей, не спрашивай.

Игнат, в отчаянии махнув рукой — мол, теперь ничего не исправишь,— жадно начал глотать из стакана, и только когда допил, до него дошло, что это водка. Он чему-то удивился, медленно обвел всех глазами, как будто старался запомнить каждого, кто видел, как он затеял драку в чужом дворе, и, может, от стыда, а может, от водки ему вдруг стало жарко. Уши его сделались багровыми, похожими на петушиный гребень. Он отдал стакан Корольчихе, поправил на себе поясок с разноцветными кистями, широко расставил руки, как будто после всего, что набедокурил, собирался пуститься в пляс.

Около глухого сарая толпились старухи, старики, подростки. Ребятишки наблюдали за действиями Игната с высокого, недоступного для взрослых малельного сарайчика. Напоминаая своей недоверчивостью веселую воробьиную стаю, они сидели на самой вершуре, готовые при малейшей опасности скатиться с крыши и сигануть в огород, где их мгновенно скроют заросли крапивы, конопли и подсолнухов.

Все ждали, что будет дальше.

— Сивый ты, щербатый пес,— сказала Аграфена, видевшая, как Игнат расправлялся с сыном.— Кого больше любил, того и опозорил на всю деревню. Разве он тебе простит?.. Да никогда в жизни!

Игнат и такими словами Аграфены остался доволен: все-таки подошла, сказала. Было бы хуже, если б не стала разговаривать, тогда бы тяжелее было.

Игнат нисколько не сомневался, что его за такое поведение надо гнать со двора, а ему стакан водки подали, чтобы, значит,

пришел в себя, под руки взяли, в дом ведут, за стол, как будто боят-ся, что убежит...

— Ах вы бабоньки мои!..— слезливо выкрикнул начинавший хмелеть Игнат. В его все слабее повторявшемся выкрике: «Ах вы бабоньки мои!..» — слышалось сожаление о своем поступке, восхищение бабоньками, что все они, горемычные, понимают, все могут. Он наперед знал, что ничего ему не будет, но эта безнаказанность на какой-то миг сделала его не крепче, а слабее, и он, переступив высокий порог корольковского дома, потонул в шуме, возгласах, в переборах начинавшей играть гармонии.

## 6

Отец рассказывал про свадьбу с не меньшей живостью. «Зачем такие подробности?» — не понимал я.

Наверно, меня заедало, что я не женат, хотя давно пора было. Но все время что-нибудь мешало: сначала я ссылался на учебу, и с этим мои старики соглашались, а теперь, когда подвинулось к тридцати, не находилось уже подходящей невесты — или они стали слишком разборчивы, или я упустил время и сделался привередлив.

Я, сам не знаю зачем, поинтересовался:

— Какие Федя ей цветы приносил?

— Да вот твои вчерашние!.. Нравилась ей кукушкины сапожки...

Было далеко за полночь, дождь кончился, но отец не замечал этого. Мне все время казалось, что он чего-то недоговаривал. За обычными словами его живописного рассказа виделся какой-то скрытый, таинственный смысл, и эту таинственность он, наверное, не смог бы объяснить: ведь у него это само собой получалось.

— Ты ж слушай, не перебивай,— проговорил отец, нисколько не сердясь, что я забегаю вперед, а вот сейчас зачем-то вернул его к самому началу.

И он, как будто зная, о чем я перед этим подумал, рассказал, какая у Совки дочь от первого мужа. Говорил он о младшей Совке раздумчиво, с нежностью, и я понял, что теперь точно не усну до утра.

— Мне бы такую в жены,— сказал я, ни на что не надеясь, и с изумлением обнаружил, что именно ее-то и люблю давно. Может, потому ничего у меня не выходит с другими, что Совкина дочь прокрасалась в мое сердце еще в тот раз, когда отец впервые рассказывал о ее матери?

Мне все время виделась маленькая Совка — мать и дочь слились в моем воображении в одно лицо...

Я сказал отцу, что готов не глядя жениться на Совкиной дочери хоть завтра.

— А ты знаешь, что такое красавица? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, сделал неожиданное заключение:— Она за тебя не пойдет.

Его слова задели меня за живое.

— Что я, плох?

— Да нет, не так чтобы плох, а только ни рыба ни мясо,— полушутя-полусерьезно ответил он.— Ей надо смелого парня — такого, как Федя Редчанков.

Я знал отцову привычку преувеличивать достоинства чужих детей и преуменьшать своих, давно привык к этому и не обижался.

Матушка вдруг со стоном заворочалась на печи, тяжело вздохнула — наверное, увидела какой-то страшный сон и вовремя проснулась.

— Я тебе сколько раз говорила: не рассказывай про Совку! Ох, старый, старый...

Она еще в тот раз была чем-то недовольна, когда отец рассказывал эту историю перед моим отъездом из деревни, и сейчас просну-

лась для того, чтобы меня защитить, хотя этого вовсе не требовалось, и высказать свое отношение к этой давней истории, которая все время казалась новой. И сразу же уснула, чтобы не мешать отцу рассказывать, а мне слушать. Что-то не нравилось ей, она как будто побаивалась Совку.

Чего только не промелькнуло в моей голове, пока отец молчал несколько минут! Уж не ревнует ли она его к Совке? Мать просто так не будет сердиться.

Я первым нарушил молчание:

— За что она не любит Совку?

— А ты не понял еще?

— Я чем больше узнаю об этой истории, тем больше загадок у меня появляется.

Отец не стал осуждать меня, как бывало раньше, за непонятливость, сел на своей кровати и все с той же удивительной готовностью сообщил:

— Дело вот в чем, Коля, твоя матушка боится, как бы ты не вздумал ближе познакомиться с Совкиной дочерью... По возрасту она тебе как раз в невесты.

Тихая радость медленно стала заполнять мое сильно бьющееся сердце. Отец как будто подсказывал: не в городе моя невеста, а здесь, в родной деревне. Он еще раньше говорил мне об этом — не о Совкиной дочери, она тогда еще маленькая была, а вообще, — что лучше не гоняться за горожанкой, толку все равно не будет.

Рассказ отца — самого его я не видел, а только слышал в темноте его негромкий выразительный голос — заставил меня с восторгом проговорить:

— Я едва удерживаюсь, чтобы не побежать к ним сейчас же, ночью!

— Беги, — насмешливо посоветовал он.

В его насмешке еще раз прозвучала уверенность, что ничего у меня не выйдет.

Я уже не лежал, а тоже, как отец, сидел на кровати.

— Да в чем тут дело?

Ответ последовал не сразу:

— Ты разве не знаешь, что все Совкины мужья погибли?

— А сколько их было? — тихо-тихо спросил я и все равно почувствовал какую-то неловкость от своего вопроса.

— Трое, — так же тихо и как будто с неохотой сказал отец.

Гибель Совкиных мужей казалась неправдоподобной, фантастической. Я что-то начинал припоминать об этом, но ни о чем другом, кроме младшей Совки, не мог думать.

## 7

После Витиной и Совкиной свадьбы в тот же вечер исчез Федя. Где только его не искали — никаких следов!

Аграфена Редчанкова ходила по деревням и у каждого встречного спрашивала: «Вы моего Федю не видали?» На нее сочувственно взглядывали, что-нибудь отвечали и, не зная, как помочь, проходили дальше. Иные принимали ее за сумасшедшую.

Иссохшая, почерневшая от горя и августовской жары, она вернулась домой.

Написали родственникам. Ответы пришли все как один: не был, не заходил, не приезжал.

Игнат, не зная, куда себя девать, работал теперь не за двоих, как до этого, а за троих. Ему в глаза было страшно взглянуть, такие они сделались глубокие, горестные, недоуменные... Разве он не называл своих старших сыновей, которые были теперь на фронте? Да и найдется ли хоть один мужчина, которому не влетало в свое

время от отца или матери? Тогда, выходит, всей деревне разбежаться надо было?!

А затем как-то уж очень неожиданно из деревни уехал лейтенант.

И тогда у Игната затеплилась надежда: не с лейтенантской ли помощью исчез Федя?

Дважды появлялся он в Иркутске: один раз утром чуть свет, другой — поздно вечером.

— Где он? — еще с порога спрашивал Игнат, заглядывая лейтенанту за спину.

Лейтенант хмуро смотрел на шангинского бригадира и в свою очередь спрашивал:

— Кто?

— Федя, вот кто!

— Н-не знаю, — отвечал лейтенант.

— А чего краснеешь?

Лейтенант дотрагивался ладонью до своих щек, словно на ощупь определяя, сильно он покраснел или нет, и так же испытующе смотрел Фединому отцу в прищуренные глаза, не выдерживал и отворачивался.

На столе, у окна, лежали разбросанные как попало книги, чистая бумага, карандаши. На стене над кроватью висела новенькая географическая карта СССР, на ней — какие-то военные обозначения... Игнат задерживал на них взгляд, отмечал, что Москва от этих обозначений находится в опасной близости. И уже сдержаннее говорил:

— Не может быть, чтобы Федя не зашел к тебе...

Продолжая сочувственно взглядывать на старика, лейтенант придвигал ему плетеный стул и быстро исчезал на кухне, кипятил на примусе чайник, усаживал Игната за стол. Старик ни о чем не мог говорить и спрашивал только о сыне: он был уверен, что тот где-то здесь поблизости...

Он выставлял баночку свежего масла, мед и пожелтевшее зимнее сало, которое на вид было не очень, а на вкус — язык проглотишь, выкладывал с десяток яиц...

— Эх ты, — укорил он лейтенанта, когда они простились за руку во второй раз. — А еще на фронте был, танкист, а старого солдата за нос водишь... Может, Федька в шифоньере сидит?

Игнат, конечно, с отчаяния сказал последние слова, они у него сами собой вырвались, но лейтенант нисколько этому не удивился, подошел к шифоньеру, оглянулся, спрашивая взглядом: открывать?

— Не надо, — сказал Игнат, а сам ждал, когда тот откроет дверку желтого шифоньера. Но там не было не только Феде, там ничего, кроме офицерского обмундирования, не было...

И вдруг как ножом резануло по сердцу Игната: шифоньер, в котором не висело ни одного женского платья, ни одной женской кофточки, кричал об одиночестве лейтенанта!.. Чисто прибранная комната, лучи солнца, легко проникающие через вымытые большие стекла, показались Игнату холодными, а живые цветы на подоконнике — неживыми. Хорошо, что в стеклянной банке с водой стояли не кукушкины сапожки, на которые Игнат смотреть не мог, а высокий сноп иван-чая.

«Где мать лейтенанта? Где сестра? Где его невеста?» — почему-то не у лейтенанта, а у себя мысленно спрашивал Игнат не в силах сдвинуться с места.

Продолжая коситься на шифоньер как на что-то одушевленное, Игнат осторожно спросил:

— Дружочек, у тебя есть кто-нибудь из близких родственников?

— Б-были... До с-сорок... п-первого... — ответил лейтенант медленно, с запинками, как будто доставал слова с высокой полки, до которой никак не дотянуться. Больше он ничего не сказал, опустил глаза и уставился на свои сапоги, которые каждый день начищал до блес-

ка, как будто убеждал кого-то, и прежде всего самого себя, что в тылу он ненадолго, не сегодня-завтра снова будет на передовой — всегда подтянут и аккуратен, как подобает офицеру.

«Что ж отвечать, — подумал Игнат, — когда и так видно: нет у него никого на всем свете...»

Была у лейтенанта, пока они сидели за столом, одна-единственная жалоба: самое тяжелое время, каждый человек на счету, а его на фронт не пускают! Выздоровливайте, говорят, а лечения — никакого! Один совет лучше другого: отдыхать, почаще бывать на свежем воздухе, не волноваться, не думать о войне, — тут лейтенант рассмехался.

Игнат ругнул себя: чего он привязался к человеку, спросил бы раз, и хватит. Найдется Федька, никуда не денется, Редчанковы не из тех, кто зазря потеряется! И глуховатым голосом сказал:

— Ты на меня, дружок, не сердись: сын-то не у тебя потерялся... А ты приезжай к нам, на молоко деревенское, на свежий воздух приезжай, — спохватился он. Глаза его заблестели, голос потеплел. — У меня такие же, как ты, на фронте, вместо родного сына будешь. А за обман я тебя извиняю... Я как на тебя, дружок, посмотрел, так все и понял... Приезжай, долго в городе не задерживайся! Весточку дай про сына, от него самого долго теперь известий не будет.

Лейтенант вместо ответа крепко сжал руку Игната — шершавую, твердую, как будто каменную. Так близко от себя он видел старика впервые и только сейчас разглядел его могучую, выпуклую грудь, медленно ходившую под тоненькой ситцевой рубашкой. Он хотел принести Игнату свой китель, у него их два было, — дождь может пойти, холодно будет...

Игнат весело отговорился:

— Мне Аграфена, когда я к тебе поехал, в окно пиджак хотела подать, я сказал: «Да я в рубашке-то одной скорей съезжу!» «Надень, говорит, а то сразу видно, что шангинский». — «Как видно?» — «Да на тебе написано!»

Ему нравилось, что она называла его шангинским, — ничьим другим он и не хотел быть...

Простились. Игнат вышел на широкую площадку четвертого этажа и по каменной лестнице с низкими, удобными ступенями стал спускаться к выходу.

Лейтенант обогнал его, открыл невидные в полутьме высокие двери. Но расставаться им не хотелось...

Неохотно уходил Игнат от лейтенантского дома, окруженного высокими, разросшимися тополями, достававшими своими верхушками до окон четвертого этажа. Внизу, под тополями, было сумрачно, как в настоящем лесу, даже сохранились лужи от последнего дождя. По улице сновали люди, гулко цокали по булыжной мостовой подковы лошадей, и эти удары подков о булыжник больно отзывались в нем. Солнце еще не село, но его не видно было из-за нагроможденных домов...

Игнат вдруг встрепенулся, пошел за широкоплечим парнем, окликнул его, но... это был не Федя. Старик разочарованно махнул рукой, а сам продолжал идти за парнем.

Через полгода в сельсовете напротив Фединой фамилии химическим карандашом было написано «потерялся», а потом исправлено на «без вести пропавший»...

Тут мой отец не выдержал, встал с кровати и восторженно проговорил:

— А через тринадцать лет вернулся Федя майором! Вот это характер!

На отца сам факт, что Федя Редчанков стал майором, действовал неотразимо. Да и на меня тоже. И я с сожалением подумал: жаль, что и меня однажды не отхлестали уздой... Ведь прошло четырнадцать лет, как уехал из деревни, а кто я, чего достиг? И тут я подумал вот о чем: мой отец — не внешностью, нет — неуловимо похож на Игната Редчанкова, моя матушка — на Аграфену, а вот я на Федю нисколько не похож! Никуда бы я не побежал, потому что бежать мне было не от кого и незачем. Мне бы при любом случае непременно понадобилось уехать из дому мирно, чтобы всем было от этого хорошо...

Отец рассказывает, и я вижу, как тридцатилетний майор просит остановить полуторку в том месте, где он когда-то пас коров и откуда недалеко остается до деревни. Домой он идет пешком — надо прикоснуться к земле, которая его взрастила, о которой он никогда не забывал и не мог простить себе, что столько лет не был... Постоял около леса — в нем пастушком он рвал цветы для Совки, сюда, к березам и соснам, тринадцать лет назад в ужасе бежал от необычно яркого заката молоденький лейтенант...

Что с ним теперь?..

Кто расскажет о том, как забилось сердце Федора Редчанкова, когда он увидел на взгорке, среди полей и леса родную деревню и речку, поблескивающую под лучами июльского солнца, в которой, как и тогда, перед войной и в начале войны, поднимая столбы брызг, купались ребятишки. Своими звонкими голосами и неразберихой, ударами маленьких тел о воду они как бы говорили: ничего не случилось на земле, она все так же прекрасна! А ведь у многих из них теперь не было отцов, старших братьев... Эти минуты безмятежной радости были у них, конечно же, короткими и несчастными. Вот сейчас или немного погодя станут их звать домой. Они вылезут из воды и нехотя — кто бегом, а кто шагом, — в великом огорчении, что таким коротким было купание, покинут берег. Отдых для них — поход за черемшой или за ягодами. В лесу, когда нет старших, можно немного поиграть в войну, погоняться за бурундуком, за тетеркой, делающей вид, что не может лететь, а на самом деле старающейся отвести опасность от своего гнезда...

Появиться в родной деревне майору Редчанкову было не так-то просто: он все больше чувствовал себя виноватым. Письма и деньги, аккуратно высылаемые старикам последние четыре года, уже не имели того значения, которое должны были иметь, — поздно, слишком поздно он спохватился!

Почему он так долго не сообщал о себе? Сердился на отца? Мстил жестокостью за жестокость? Или были какие-то другие причины?

Федор Редчанков уже давно обвинял не отца, который его когда-то так унизил, а себя... Он ехал домой не рассказывать, как успел отличиться в войну, как быстро продвигался по службе — все заслуги с каждым годом блекли перед самим собой, — и он ехал, а теперь вот шел домой и только об одном думал: как замолить свой грех перед матерью, отцом, братьями?..

Перед Совкой он тоже считал себя виноватым — лишь о себе тогда подумал!

Совка овдовела в тот же год и чего только не передумала: может, она была бы счастливее, если бы не отвернулась от Феде?

Аграфена только себя считала виноватой: ведь не хотел Игнат идти на Совкину свадьбу — даже больным прикинулся! — а она его уговорила...

Но, странное дело, появился Федор Редчанков в Шангине, прошел день-другой, и как будто все простилось всем: никто ни в чем не виноват — ни Игнат, ни Совка, ни Федя, ни тем более Аграфена. События распорядились по-другому, и снова встретились те, кому давно надо было встретиться: Совка и Федя. К этому времени он был один — семейная жизнь у него не получилась. Совка жила в его душе и



смотрела оттуда своими большими зелеными глазами, больше ни одной женщине не было там места...

Игнат сильно постарел, усох, как-никак распечатал девятый десяток. Сдаваться он не собирался: чтобы не выглядеть дряхлым (Аграфена все-таки была на десять лет моложе), он, к удивлению не только своей родни, но и всей деревни, отказался от дед-морозовской бороды и брился два раза в неделю. Каждый год выработывал минимум трудодней и считал это в порядке вещей. Записываться в сторожа, говорил он, ему еще рано. При таком поведении деда Игната Аграфена почти подравнялась с ним: если и выглядела моложе, то самую малость.

Старики сообщили сыну о своей уловке: как только через девять лет он дал весть о себе и еще денег прислал, они потихоньку стали распространять по деревне слух — служба у Федя такая, вот и молчал.

Игнат после небольшой рюмочки заморского вина — красного, крепкого и невкусного — намекнул сыну: не в узде ли дело? Мол, не быть бы тебе, Федор, майором, если бы не тот случай на свадьбе!

К восторгу Игната, сын полностью с ним согласился.

И тут было самое время спросить про Совку.

— За что ты меня тогда отхлестал? — начал Федор.

— Как за что? — удивился Игнат. — За потраву, за что еще. — И гордо посмотрел на сына: мол, отмутил тебя — и не жалею! И говорил и смотрел он так, будто Федины коровы зашли в потраву не тринадцать лет назад, а вчера или позавчера.

— Так за потраву ты же оштрафовал меня на пятнадцать трудодней!

Игнат восхитился:

— Ты посмотри, мать, он даже помнит на сколько! Ну молодец! Моло-де-е-ец!

— Да хватит вам об этом, — счастливым голосом проговорила Аграфена, сама начинавшая верить, что уздечка и в самом деле оказалась золотая. Но она все равно боялась, как бы разговор не пошел в ненужную сторону, — уж Игната она знала! Да и Федю, хоть и не видела тринадцать лет, тоже знала: копия отца!

— Я ведь что хочу сказать, — продолжал подступаться к своей теме Федор, — за потраву ты меня оштрафовал и второй раз наказывать не стал бы... Ты на меня за Совку рассердился.

— За букет, — уточнил Игнат. — Цветы должен был Витя принести, ты уже был ни при чем.

Федор видел: отец уходит от разговора о Совке, но он даже радовался за отца, что упорства в нем сколько было, столько и осталось. Значит, поживет еще!

— Вы что-то скрываете... Что с ней? — Федор вместе со стулом подвинулся к матери.

— С ней-то, с Сонькой, ничего, — сказал Игнат, пристально взглянув на сына. — Жива, здорова. Красивая... Настоящая русалка...

Отцовы слова были слишком туманны, а дальше он не хотел говорить и с какой-то безнадежностью, пока ничем не объяснимой, махнул рукой.

— Рассказывай, что уж теперь, — разрешила Аграфена. — Раз спрашивает...

Федор, скрывая волнение, достал из портсигара папиросу, подержал ее, протянул отцу, себе достал другую. Прикурил от затейливой немецкой зажигалки.

Аграфена со страхом взглянула на сына, готовая защитить его от какой-то опасности...

Игнат искурил папиросу, похвалил табак и только после этого начал:

— Витю Королькова ты, конечно, не забыл — того, что у тебя Совку отбил! Говорят, смелым да веселым больше везет, а вот ему не повезло: под Сталинградом в первом же бою в танке сгорел... Девочка от него у Совки растет... Маленькая Совка,— ласково добавил Игнат.

Старик прикурил новую папиросу от немецкой зажигалки — она ему понравилась, и он знал, что сын подарит ее перед отъездом,— пыхнул дымом без всякой охоты и бросил ее в консервную банку, служившую пепельницей.

Гибель Совкиного мужа Федор воспринял молча. Тоже, как отец, перестал курить и в первое мгновение не мог отделаться от странного чувства: это не Витя сгорел в танке, а он, Федор! Как все совпадает: лейтенант, с которым Федя пас коров, танкист, Витя Корольков погиб танкистом, и он, Федор, окончил танковое училище, прогрохотал на своей «тридцатьчетверке» через всю Европу и теперь служил в Германии. Сама собой припомнилась, зазвучала песня о трех танкистах, которую так любили Витя Корольков и все шангинские.

Игнат просверлил Федора взглядом, чтобы тот лучше понял, кого потеряла Совка, да и вся деревня. Старик понимал, что его сын всего насмотрелся, но жалко ему было Витю Королькова.

— Второго Совкиного мужа, Сергея Чупругина, ты тоже знал,— продолжал Игнат.— С фронта, как и ты, пришел, можно сказать, целехонкий, а погиб после войны на лесозаготовках. Сосной придаловило... Мужиков, сам знаешь, негусто, женщины бедуют, не к кому голову приклонить, из-за безногого, был случай, разодрались... А у Совки — опять новый муж! Ну, этого ты не знаешь, алытский был... Озеро Алят переплывал, километр в ширину, а тут — у самого берега утонул. Нырнул, ждали, ждали, а его нет. Знаешь, что буряты сказали? Русалкам понравился!

Я слышал в детстве рассказы бурят о русалках, живущих в озере и погубивших немало мужчин, и никогда не заплывал далеко. Давно уж я не верил сказкам, но существование русалок — вот сейчас, ночью,— показалось правдоподобным. Наверное, оттого, что не хотелось мне расставаться со старинными сказками и легендами.

И еще помнилось, как в праздники, а то и в будний день к моей бабушке — матери отца — приходили ее подружки, такие же старенькие, как она, и часами рассказывали про свою жизнь, казавшуюся не только для меня, но и для них загадочной... Все тогда были добрыми, уступчивыми, и я тоже. Всякий раз которая-нибудь из бабушкиных подружек одаривала меня свежеиспеченным, румяным кренделем. Съесть его сразу жалко: носишься с ним по двору, в кармане поддержишь, если, конечно, есть карманы, насмотришься на него, нарадуешься и только потом не торопясь съешь, разделив с кем-нибудь из своих маленьких друзей. Но еще до того, как съешь, не один раз вернешься в избу с чистым, еще не просохшим полом, где сидят за столом с поющим самоваром старухи в широких разноцветных поневах, или подбежишь к скамеечке возле дома, куда они перебирались после чая. Постоишь возле них, послушаешь, о чем они говорят, выполнишь какую-нибудь просьбу... Одна из них спросит просветленным, свободным от забот голосом, слушаюсь ли я отца-матери, собираюсь ли хорошо учиться, помогаю ли всем, кто просит. Бывало, и не ответишь: смотришь на них, слушаешь их певучие голоса, и тут уж бабушка твоя выручит — похвалит за что-нибудь, и ты радуешься: не подвела тебя перед своими подружками, и ты горы готов свернуть после этого!

Как неискренни бывают эти похвалы теперь — хуже ругани...

Бывало, и в пасмурную погоду соберутся, а мне теперь все те дни, часы, минуты кажутся солнечными, светлыми, безвозвратными.

Когда не стало бабушки, я впервые подумал о том, что когда-то

и меня не будет... И может, потому живет во мне ее образ, не умирает, ее жизнь продолжается в моей, в моих братьях и сестрах, в наших детях и никогда не кончится... Жаль только, что не помню — меня тогда еще не было — бабушкиных родителей и тем более ее дедушку и бабушку. Я слышал о них из ее рассказов... Их лица, суровые и доверчивые, иногда всплывали в моем воображении как живые и снова исчезали в тумане времени.

## 9

— Совка никуда не уехала? — спросил Федор, хоть и слышал, что вчера она на реку приходила белье полоскать. Как он ее не видел с огорода, уму непостижимо!

— Здесь твоя Совка, — не сразу ответил Игнат.

— А ты знаешь, отец, это из-за меня у нее жизнь не получилась...

— В чем же ты виноват?

— Во всем.

— Что на ней свет клином сошелся? — вконец расстроилась Аграфена. — Такой герой, при таких звездочках... Не связывайся ты с ней, ничего у вас не было и не будет.

Вмешался Игнат:

— Ничего, мать, сын у нас грамотный, при орденах, разберется.

— И ты туда же, — вскинулась на старика Аграфена. — Все не можешь забыть старую сову!

Федор обрадовался:

— Совкина бабушка жива?

— А что ей, ведьме, делается, — проворчала Аграфена.

— Зря ты ее ругаешь, — заступился Игнат. — Она ведь и тебе сколько раз ворожила! — Игнат весь зажегся. — Знаешь, Федя, ни в бога, ни в черта не верю, а один раз тоже попросил поворожить — на тебя. Раскинула карты — так и так: жив твой сын, вернется при орденах и медалях и при небольших ранах, пустыяковых... Ну, запаслись мы со старухой терпением и, как видишь, дождались! А ты ее ведьмой называешь, — укорил он Аграфену. — Нехорошо это.

Аграфена стала говорить что-то такое, чему и сама не верила:

— Хи-и-трая Совка, ждет, когда Федя в ножки ей поклонится.

Ни муж, ни сын ей не ответили. И тут ее тоже взяло сомнение: Федя хорошо вспоминает Совку, спрашивает о ней — так это еще ничего не значит: на то мы и люди, чтоб вспоминать, главное, та его стороной обходит. Но и это ей за грех не зачтется. Что же делать, если Феде запомнились те букетики на всю жизнь, а Совка на другой же день все позабыла... Насильно мил не будешь. С красивыми-то вон как получается...

Дальше Аграфена думать не хотела, просила у кого-то прощения и сама не заметила, как начала молиться за Совку и за Федю, чтоб каждый из них был счастливым, но только порознь. Расколотое зеркало не склеишь... И тут она подумала о том, о чем вот уж много лет старалась не думать: тринадцать лет назад Феде отец навредил, а сейчас хочет навредить она. Как так выходит: хочешь сделать добро, а получается зло!

Аграфена знала: если не говорить ничего, а только думать, и то можно навредить, и она с этой минуты сделалась спокойной, взгляд ее просветлился.

Сын сразу же заметил в ней перемену.

Каждый из них теперь щадил друг друга: Федор перестал спрашивать о Совке, Аграфена, наоборот, ждала, когда он заговорит о ней.

Игнат расспрашивал сына о военной службе, подробно интересовался, за что, где и когда получил он очередную медаль или орден. Спрашивал, дослужится ли до генеральского чина.

— Я бы всю жизнь, отец, оставался рядовым, только бы Совка со мною была!

Игнат сильно огорчился: не мог он представить своего сына рядовым. Ответ Федора его не устраивал, даже в шутку он не воспринимал эти слова.

— Так не пойдет,— сказал Игнат.— Я вот что предлагаю: чтобы и Совка с тобой была, и ты генералом стал!

Старик резко отклонился на стуле, размашисто хлопнул себя по коленке, просиял заблестевшими глазами и сразу же примолк, наткнувшись на осуждающий взгляд Аграфены, и все очень хорошо понял. Да и как было не понять: в Совкиной родне все женщины глазастые, фигуристые, улыбчивые, а Совка из всех удалась! Уж на что Игнат старик, а любил смотреть на нее и всегда старался о чем-нибудь поговорить с ней...

Совка издалека ему улыбалась, а Аграфены как будто побаивалась. На первый взгляд из-за Федеи, но Аграфена-то знала, из-за кого — из-за Совкиной бабушки... Скольких парней иссушила та в молодости! Игнат до тридцати лет не женился. Это уж он Аграфене после Совкиной бабушки достался... И вот — на тебе! — похожая история с Федей и Совкой...

И все равно радости в доме Редчанковых не убывало. Вновь вспыхнувшие разговоры о Совке больше никого не огорчали, хотя Аграфена втайне и надеялась, что, может, Совка не заденет Федора своим длинным крылом. Пусть бы пролетела мимо... Зачем ей Федор? Хватит с нее трех погибших мужиков.

## 10

Увидел он ее на третий день из окна, когда сидели завтракали. — Идет твоя зазноба,— пошутил Игнат.

Аграфенина ложка дрогнула на полпути от миски, сделалась тяжелой, она ее насилу поднесла ко рту.

Федор даже с лица сменился, когда Совка, принаряженная, стала смотреть на дом Редчанковых и, казалось, вот-вот остановится или свернет к ним — надо же когда-то поприветствовать свою детскую любовь, Федю-пастушка, от которого она никак не ожидала такого геройства! Возвращались мужики, кому повезло, с медалями, с орденом Красной Звезды... А у Федеи, говорят, вся грудь в орденах: Красной Звезды, два ордена Славы, Красного Знамени...

Она так хотела видеть его и в то же время боялась встречи с ним. Даже коров доить ходила через Школьный лес — лишних полтора километра.

И вот — не выдержала...

Борясь с собой, она все замедляла и замедляла шаги и, когда он вышел за ворота, сделала совсем маленький шаг. Остановилась не в силах двигаться дальше, перевела дыхание, как будто только что бежала, а не шла. Яркий румянец заливал ее щеки, и от этого она казалась молоденькой девчонкой, которую за что-то пристыдили или она подумала вот сейчас о чем-то таком, от чего ее сразу же бросило в жар, и она никак не могла опомниться от этой запретной мысли, а чтобы справиться с собой, остановилась возле дома Редчанковых, увидела за воротами стройного, подтянутого офицера, покраснела еще больше и совсем растерялась.

Федор узнал от отца: шангинские женщины (одной из них была и его матушка) старались держаться от Совки подальше — уж очень она невезучая. Говорили про Совку, что ни одного из троих мужей, даже Витю Королькова, не любила, а просто выходила замуж. Наверное, от этого они и не дорожили своей жизнью... Высказывалось и такое мнение: если бы Совка убивалась, как другие, по своим погибшим мужьям, то не расцвела бы так и не похорошела. Но что же де-

лать, если Совкино тело наливалось еще большей силой, не исчезал девичий румянец, если ее колдовская улыбка рождалась сама собою, а новый жених вырастал перед ней, как новый гриб после хорошего дождя! Сказать о Совке «похорщела» и в самом деле недостаточно — расцвела, несмотря на все несчастья, которые преследовали ее с неотвратимостью рока. И он, забыв все на свете, не веря тому, что видит ее, едва слышно сказал:

— Наконец-то...

Совка поправила густые, белые, как лен, волосы, которые онились ему и на фронте и в мирное время... Они и тогда, тринадцать лет назад, когда он, как ему казалось, навсегда убежал из своей деревни, были у нее чуть не до пят. Сейчас богатые Совкины волосы бережно подрезаны и при малейшем движении волнами покачивались на плечах и груди.

Все, что о ней дурного говорили в деревне, подумал он, было, конечно, неправдой!

Он слышал или читал где-то, что за красоту надо расплачиваться... Что-то похожее, наверно, и случилось с Совкой... Вспомнил пословицу: «Не родись красивой, а родись счастливой» — и впервые в жизни не согласился с народной мудростью.

— Все такой же,— сказала она.

Он не знал, как отнестись к ее словам, осторожно, чтобы не обидеть Совку, спросил:

— Что ты хочешь этим сказать? Неужели я нисколько не изменился?

— А ты разве не понял? Радуюсь, что не забыл... Настолько люблю тебя, что даже руки не подал. И я — тоже. Давай, пастушок, хоть поздороваемся...

Он долго не отпускал ее руку.

Она приблизилась, с нежностью заглянула ему в глаза и тут же отстранилась.

— Чего же ты боишься?

— Матушку твою, Аграфену Савельевну... Вон она в окно смотрит. За тебя переживает...

Он оглянулся. Аграфена медленно, с неохотой затворила окно.

Совка заговорила быстро и обиженно:

— Четыре года пишешь домой, а мне ни одной строчки. Даже привета ни разу не передал.

— Я же ничего не знал...

Она как будто не слышала его слов.

— Каждый день у почтальона спрашивала о письме, а от кого — не говорила.

— Ну почему, Совка? Написала бы мне... Адрес взяла бы у отца...

— Не могла я. Дядя Игнат сам должен был сказать мне твой адрес...

— Совка, милая, откуда ему было все знать? Когда мы и то...

— Ох, Феденька, не так все было... Как же ты не понимаешь? Он-то знал... Только Аграфену Савельевну не хотел обижать... По этой причине и я не могла спрашивать... Она и сейчас... Да я на нее не обижаюсь, ты не думай,— чего-то испугавшись (наверное, того, что жалуется), спохватилась Совка.— Так мне и надо!

— За что ты себя ругаешь?

— Тебе разве отец не все рассказал?

— Сказок я наслушался.

— Кому сказки, Феденька, а кому правда.

— Сказки забудутся,— ответил он.

— Не знаю... Сказки вон как долго живут.— И с горечью добавила: — А правда, глядишь, и забудется.

— Ошибаешься,— сказал он.

— Я все время ошибаюсь,— подтвердила Совка.

— Нет-нет, ты ни в чем не виновата... И не ты, а я все время делаю ошибки.

Она горько усмехнулась:

— Какие же у тебя ошибки... Ты, Федя, вон каким героем вернулся!

— Грех мой никогда не замолишь,— глядя себе под ноги, глухо проговорил он.— И за то, что убежал из дома, не подумав о стариках, и за то, что молчал девять лет!

Раньше ему казалось: война все спишет и все плохое забудется. Но вот тринадцать лет прошло, а ничего не забывалось: с каждым годом юношеские ошибки вырисовывались четче, делались крупнее — как будто он совершил их вот только что! — и заслоняли собой все то хорошее, даже геройское, что удалось ему сделать в жизни, особенно на войне, и не было выхода, не было успокоения ни тогда, ни сейчас, и он все больше казнил себя, вспоминая каждый свой шаг, каждый поступок из прошлых лет.

— Не будет мне прощения,— все тем же глухим голосом произнес он.

Совка побледнела и как-то вдруг сразу же замерзла: ей почудилось, что сейчас не жаркий июль, самая середина, а бесснежный декабрь с пронизывающим, колючим, завывающим ветром, от которого никому не спастись, от которого всем делается неуютно, а земля, не дождавшись снега, трескается... Да ведь убежал-то он из-за нее, из-за Совки! И она ждала, когда он скажет об этом, сама она не могла спрашивать. А вдруг все не так было?!

— Молчал ты долго...

Он взял ее за руку, смотрел ей в глаза и все не мог насмотреться.

И тогда совсем другим голосом — до головокружения нежным — Совка сказала:

— Я и не сомневалась, что вернешься... Только думала: с женой приедешь и обязательно она красивее меня будет! И бабушке своей все время говорила об этом.

Федор чему-то улыбнулся, крепче сжал ее руку, лицо его просияло. Совка тоже улыбнулась, поколебалась, не зная, надо ли говорить дальше, но решила, что скрывать здесь нечего: Федя поймет ее правильно.

— Я как-то сказала про тебя, что вот слова от него не дождешься, чересчур скромный. Да и не хочу я, говорю, выходить замуж за пастуха... Так она меня, представляешь, чуть живьем не съела! Ах ты, говорит, такая-сякая... Вертихвосткой обозвала! Ну да теперь-то что жаловаться. Встретились же... Вот только ни ты, ни я не знаем, что делать, стоим как заколдованные... Может, Федя, отойдем от окон?

Они прошли вдоль дороги по зеленой мураве, чистой и высокой возле дома Редчанковых, остановились между домами и через низкий голубоватый тын видели далекие и в то же время близкие Саяны со снежными вершинами, неширокую речку, с которой доносились голоса купающихся ребятишек, огород Редчанковых и Аграфену, бесшумно выгонявшую кур с огорода. И то, что она старалась не шуметь — не кидала в кур комками засохшей земли, не кричала и не хлопала в ладоши, изображая таким образом какую-то хищную птицу, — было для них хорошим признаком: значит, смирилась Аграфена, не станет препятствовать их счастью!

Совка облегченно вздохнула. повела упругой, совсем девичьей грудью, чуть-чуть шевельнула сильными бедрами вправо, влево, как будто говорила всем своим манящим телом: «Вот смотри, целая осталась, ничего со мной не сделалось, вся твоя до капельки... Видишь? И ничьей больше не буду!»

Совка довольна-предовольна: помнит Федя, не забыл кукушкины сапожки!.. Не в силах скрыть своей радости, она потихоньку, как будто боялась, что ее услышат, засмеялась и совсем близко придвинулась к нему, обняла одной рукой. Глаза ее заблестели, и блеск этот и зеленоватый цвет Совкиных глаз с длинными ресницами напомнили ему обильную утреннюю росу на траве и на листьях деревьев...

Через минуту ему казалось, что есть какие-то надежды, что есть возможность начать все сначала...

Совке весело стало: столько глаз в окна смотрит, из оград, с огородов и даже с крыши! Всем не терпится узнать, как они встретятся. Улица замерла от ожидания: никто не идет по ней. Пусть смотрят, думает Совка, разве они с Федей не стоят друг друга?! А если в чем-то виноваты, так оба. Только Совка больше, а Федя меньше, намного меньше. Даже — нисколько! Правильно все сделал: не куда-нибудь убежал, а на фронт. Не стал ждать, когда исполнится восемнадцать. Жениха тогда из него не вышло, а солдат получился. Да еще какой солдат: у Совки в глазах рябит от орденов и медалей. Она потрогала один орден, другой, и они ей показались горячими, обжигающими пальцы, как будто Федор только что из огня выскочил и остался цел и невредим, только ордена раскалились... Вот тебе и Федя-пастушок! А с виду все такой же скромненький... Как будто не он на своем танке до Берлина прогрохотал!

Радостно глядя на него и неожиданно для самой себя сделавшись как будто ниже ростом и слабее, Совка рассказывала, как у них было в деревне, когда шла война, и после войны... Пусть знает Федя: не исчезал он из ее памяти! В трудную минуту, а их было много, когда жизнь поворачивалась к Совке самой жестокой стороной, когда дышать-то, казалось, нечем, она вдруг начинала видеть Федю, идущего из лесу с букетиком кукушкиных сапожек, предназначенных одной Совке. И ей сразу же делалось легче, она начинала улыбаться, вспоминая, как любил ее мальчик Федя.

— Бывало, всплакну украдкой, а бабушка увидит, достанет карты, она их всегда с собой носила, разбросает... «Ну вот он, твой король бубновый... Живой!.. Не видишь, что ли?» — «Виджу, говорю, а вдруг не он?» Бабушка как вскинется: «Все-то тебе другие короли снятся!» На меня, уж и сама не знаю откуда, смех и нападет. Дело серьезное, а я смеюсь, слушаю и смеюсь, а в глазах слезы, сразу и не поймешь отчего. Но бабушка-то понимала. Сердилась она на меня и за второго и за третьего мужа... Тебя все заставляла ждать... А у меня, сам знаешь, надежд никаких не было... Не могла же я на одни цветочки надеяться... Да и когда это было? Считай, в детстве. А последние четыре года, с того самого дня, как ты подал о себе весточку, я и воспрянула духом. Ничего не знаю, что и как будет: захочешь ли ты со мной разговаривать, один ли приедешь, с женой ли? Если, думаю, с женой, все равно отобью! Мне первой приносил букетики, значит — мой! Расцветаю я день ото дня, солдатки на меня даже сердятся. «Ты, говорят, Совка, ненормальная, чему радуешься?» Я-то никому не говорю, что тебя жду. И знаешь, сама удивлялась, откуда у меня вдруг столько силы взялось: девочки запоют что-нибудь веселое — и я с ними. Одногодки мои все больше тоскливые песни поют, а я — веселые. А на душе-то, Федя, не очень весело было. Чего только я за эти годы не пережила! Что, думаю, за наказание такое, перед кем я провинилась, когда? Вспоминать страшно... Коситься на меня в деревне начали. Ну, сам знаешь почему — что вроде как лучше со мной не связываться. Нашего-то брата вон сколько — молоденьких, свободных... В кино любила ходить, особенно если военное. Сижу, никак не могу дожждаться, когда танки появятся. Может, думаю, тебя увижу. Не могла смотреть, если наш танк загорится... Правда, все больше немецкие горели... И все равно — стра-а-

аху-у... Живые люди горят — вылезти-то из танка не дают.

Федор нахмурился:

— В кино-то ничего, можно воевать. Пусть бы война только в кино и оставалась.

— Федя, что это со мной: одна я говорю!

— Нет-нет, рассказывай.

— Где же я остановилась...

Он помог ей вспомнить.

— Ну вот,— продолжала Совка,— пока моя бабушка разложит карты, я вся испереживаюсь. «Так-то оно так, говорю, но ведь это же карты, возьмут да соврнут...» Как вскочит она со стула, как накинется на меня! «Как ты, говорит, смеешь про Федю такое говорить?!» «Да я не про Федю, отвечаю, я про карты...» «Это, говорит, одно и то же: мои карты, Сонечка, никогда не врут!»

Глаза у Федора смеются.

— Молодец твоя бабушка!

Совкино лицо тоже веселеет, в глазах разноцветные огоньки играют...

Потом они стояли возле начальной школы, расположенной в бывшем кулацком доме с крыльцом в девять ступенек, с открытой террасой. Ученику, выходящему из коридора, сначала бросался в глаза густой сосновый лес, а уж затем — справа — дома, болото с речкой и под горой мост с перилами; с крыльца через проулок видны были только перила. Слева, на бугре, колхозное поле с двумя островками березового леса, через который шла дорога в Муруй. По сторонам дороги росла пшеница, и ласковый ветерок доносил в деревню ни с чем не сравнимый пшеничный запах, которого не могли победить буйствовавшие возле школы лопухи, конопля, крапива. Через штaketник видно просторный, величиной с футбольное поле двор с высокой травой, соседний огород, кончавшийся возле самого леса. В этом лесу на больших переменах, еще до войны, они ели переспевшую бруснику и заячьи ягоды... Северная стена школы, недавно обшитая тесом, напоминала о том, что большой старинный дом не вечен.

Вот и бани уже не было в школьном дворе, и Федор не мог понять, куда она девалась.

— Сгорела,— ответила Совка и рассказала, как зимней ветреной ночью носили воду из колодца и обливали школьные стены...

— А вон и моя доченька идет,— ласково проговорила Совка.— Посмотри, какая выросла!

Федор смотрел в сторону медленно идущей девочки, как будто в свое и Совкино детство. Необъяснимое волнение, еще большее, чем при встрече с Совкой, охватило его, и он не знал, как с ним справиться, да и надо ли было справляться,— никогда не испытывал он такого чувства! Оно было необъятным, как мир, который невозможно вместить в себя, и от этого сердце сжимает мгновенная радость или мгновенная тоска, а скорее всего и то и другое вместе. На глаза навертывались слезы, которых он не скрывал, и все виделось ему в тумане, через который пробивались яркие солнечные лучи...

— Ты моей дочери понравилась,— затаенно взглянув на Федора, проговорила Совка.— Вчера за столом сидели, она возьми и скажи: «Дядя Федя в нашей деревне самый храбрый и самый красивый. выходи, мамка, за него замуж». Я и про ужин забыла, и ложку из рук выронила, сидим, друг на дружку смотрим... Вот такие наши дела, Феденька. Летит времечко, не остановишь.

— Ты ей... ответила? — не скрывая волнения, спросил Федор и вдруг подумал, что судьба его теперь находится в руках Совкиной дочери.



- А он, говорю, не зовет.
- Она сказала еще что-нибудь?
- Сказала.

Глаза у Совки сделались светлыми-пресветлыми, глубокими, и он почувствовал, как тонет в них. Как будто поддразнивая его, она не сразу продолжила:

- «Надо, говорит, чтобы позвал. Ты, мамка, не жди, сама скажи»... Вот я и принарядилась.
- Как зовут ее?
- Лиля.

Совка видела: имя ему понравилось.

— Давай так сделаем: позови твою дочь и пойдем к нам. Все хорошо будет,— постарался он заранее успокоить ее.

— Надо подождать,— сказала Совка.

Странно прозвучали ее слова — будто тринадцати лет не было, будто они не расставались, будто не было Совкиной свадьбы, истории с уздой, что никуда он не убежал и что стоят они друг перед другом не в 1955 году, а в сороковом или тридцать девятом!

Все три дня после приезда у Федора было ощущение, будто он тонет в родной реке... Еще тогда, подростком, ему нравилось, как пронзительно вскрикивают на реке девчонки. Он всегда подплывал ближе, если среди них была Совка... Он знал: подплывать к девчонкам небезопасно — продолжая все так же вскрикивать, они начнут смеяться, кинутся к бессовестному и, поднимая сильными ногами столбы брызг, радугой вспыхивающих на солнце, так напоят теплой речной водой, что долго потом не захочешь ни подплывать, ни подсматривать... И вдруг прекратятся их голоса, как будто вызывающие о помощи...

Спрашивается, чего вот только что кричали? Заманивали?

Совка тоже вспомнила то время и пожалела, что оно уже не вернется.

Они оба поочередно вздохнули.

Была какая-то безвыходность в их отношениях: вот только что, казалось, все идет к тому, что они поймут или уже поняли друг друга, и неизвестно откуда появляется между ними невидимая стена.

Не понимая, что происходит, он спросил:

- Я не обидел тебя, Совка?
- А чем ты меня мог обидеть, Федя?

Он поспешил ответить:

— Хотя бы тем, что за три дня ни разу не зашел, мне-то было легче зайти. Ведь ждала?

— Ждала, Федя. Только не легче тебе было... Я думала, на всю жизнь рассердишься...

Лиля стояла в проулке и, загораживаясь рукой от солнца, смотрела в их сторону, не понимая, о чем они так долго говорят возле школы и не идут домой или на реку, где так шумно и весело. Она бы подошла к мамке и такому симпатичному дяде Феде и постояла бы с ними, но боялась им помешать. И она еще раз весело оглянулась на школу и скрылась в проулке.

Совка медленно стала говорить:

— Мне иногда кажется, Федя, что никаких мужей у меня не было, что все это мне приснилось, а были только кукушкины сапожки... Ты и кукушкины сапожки... Как будто наворожили друг другу: тебе — в сапогах ходить поскрипывать, а мне — всю жизнь куковать. И почудится другой раз, будто кукушкины сапожки во всем виноваты... Что же это такое было? — у самой себя спросила Совка.— Дня три или четыре не принесешь, так я места себе не находила... Отец с матерью не знали, что со мной делать: куда ни шагнут — везде кукушкины сапожки! Не из чего воды попить было.

Мой отец через каждые полчаса, а когда пошло далеко за полночь, через каждые десять — пятнадцать минут спрашивал, слушаю ли я его, а один раз заставил меня повторить, на чем он остановился.

Я слово в слово повторил.

Он остался доволен и с волнением, которого я не видел, а только почувствовал, молча, долго курил. А я лежал и думал: я молод, свободен, вот уже столько лет Совка, а теперь уже ее дочь Лиля не выходят у меня из головы, надо бы наконец встретиться и поговорить начистоту! Но что-то меня удерживало... Или я поверил отцу, что я не ровня Совкиной дочери (хотя, может, он просто-напросто подзадоривал меня — уж очень ему хотелось, чтобы я остался в деревне), или я боялся увидеть совсем другую Совку и другую Совкину дочь — вдруг она окажется самой обычной деревенской девчонкой... А может, я начал привыкать к более спокойной жизни? Или еще что-нибудь хуже? Как бы это сказать... Ну, не то чтобы обленился совсем, а нет во мне стержня, что ли... Я какой-то разобранный, и вот, наверное, за это отец иногда морщится, взглядывая на меня, как будто съел что-нибудь кислое. Прежде чем сделать что-нибудь, совершить какой-нибудь поступок, я на сто рядов все передумаю; все дело-то иногда сущий пустяк, а я держусь, будто мне битва при Ватерлоо предстоит! Нередко я заранее настраиваю себя на поражение — вот как с Совкиной дочерью. Одним словом, человек я не очень-то уверенный в себе. Ума не приложу, откуда взялась эта неуверенность. Знаю, что надо не идти, а бежать к Лиле — сейчас же, немедленно! — а я лежу, слушаю, переживаю, проникаюсь, и только. А может, потому и слушаю с интересом про Совку и Федю, про Игната и Аграфену, про лейтенанта, что люди эти в отличие от меня характер имеют? Да и мой отец тоже. У нас в семье вообще таких нет, кроме меня, каждый отлично знает, что он делает, что ему нужно, все вовремя женятся, замуж выходят. А я до сих пор свою личную жизнь не могу устроить. Тут же одних мечтаний недостаточно: тут надо действовать, а не рассуждать! Уж если отец сказал, что Совкина дочь не пойдет за меня, значит, он хорошо знал меня.

Мне хотелось поскорее услышать, чем же все кончилось, да и время приближалось к утру, и я спросил:

— Совка вышла за Федю?

Я услышал, как звякнула тонкая металлическая крыпка от баночки из-под конфет, на которую отец положил папиросу, а ответа не было. «Наверное, не хочет заскакивать вперед, — подумал я, — будет рассказывать все по порядку...»

Но я ошибся.

До меня донеслось всего одно слово, произнесенное коротко, решительно и с огорчением:

— Нет.

— Но почему?! — Я огорчился не меньше, чем отец.

— А этого в трех словах не расскажешь... В этом-то и вся история...

— Какая история?

Такая моя заинтересованность оказалась ему по душе, и он уже более мягким голосом сказал:

— А ты подумай.

Я долго молчал... Все у них должно было наладиться, уж, кажется, больше им ничто не мешало, Федя любил Совку, да и Совка не была к нему равнодушна...

— Ничего не понимаю,— наконец сказал я.— Она что, совсем его не любила?

— Уж если она кого любила, так только Федю,— нисколько не сомневаясь, сказал отец.

## 12

Младшая Совка не выходила у меня из головы. Ее глаза, увеличенные в моем воображении в несколько раз, постоянно следили за мной...

Жить для меня теперь значило бежать к Совке!

Утром солнце светило во много раз ярче, трава и деревья были зеленее, небо глубже и синее... Делал я все быстро, как будто боялся куда-то опоздать. Что-то, я чувствовал, изменилось во мне после рассказа отца.

А он как ни в чем не бывало спокойно позавтракал, так же спокойно переговорил с матушкой и ушел в бригадную контору узнать, какая у него сегодня работа. А потом и матушка ушла на поле. В воротах оглянулась, долго смотрела на меня, губы ее едва заметно шевельнулись, и она медленно-медленно закрыла скрипнувшие ворота. Что она хотела сказать мне, но так и не решилась?

Я стал смотреть из ограды в конец деревни, где через падинку, за старой мельницей стоит дом, в котором живут Совки, старшая и младшая. За вторым мостом отдельные сосны и лиственницы поднимаются над лесом и кажутся великанами, сторожащими свои владения. Стволы сосен ярко и радостно блестят на солнце, и кажется, что они сами излучают свет. Небо чистое, только на юго-западе виднеются узкие, одно над другим, размытые, неподвижные облака...

Оставшись один, я полил огурцы на большой гряде возле колодца, наносил воды, подмел лужайку возле дома, на тележке вывез сор в яму около реки. Не зная, куда девать силы, взялся колоть комлевую, всю изогнутую, скрипящую при каждом ударе топора березовую чурку. Поленья получались винтовые, каждое из них я с трудом отдираю от последних желтоватых волокон. Но мне непременно надо было справиться с брошенной чуркой... Я все больше чему-то радовался и все чаще оглядывался по сторонам, словно подыскивал себе занятие потруднее, но ничего особенно трудного не находилось — все мне казалось легким, и я понял: сегодня пойду к Лиле! Не выдумал же я мое чувство — так же как отец не выдумал эту историю, прекраснее которой я ничего не слышал. Это была тайна, с которой я никогда не расставался и настолько привык к ней, что порою казалось: что-то такое я знал об этом и раньше, еще до рассказа отца. И вот мне важно было не потерять эту тайну, не размять ее... С сегодняшнего дня буду поступать, как подсказывает мой внутренний голос, и я поверил в себя, поверил в Совку и всегда буду верен ей, даже если она засмеется надо мной. Это я уже говорю о ее дочери Лиле...

А почему засмеется? Я, конечно, не красавец, но иногда бываю настолько недурен, что одна молоденькая женщина, в третий раз выходящая замуж, отчего нисколько не сделалась хуже, как-то заметила (мы в это время прогуливались с нею по берегу Ангары), что в профиль я похож на адмирала Нельсона. Я раздобыл портрет прославленного адмирала и в самом деле нашел некоторое сходство между ним и собой, правда очень уж внешне и только в профиль. Но с меня и этого было достаточно...

Почему мне вспомнился Нельсон? Мне нужна была уверенность.

Итак, я иду, не могу больше жить без Совки!

— Я иду-у-у! — крикнул я березам, соснам, дороге и птицам, пролетающим надо мной. Не думал, что именно эта дорога будет для меня самой желанной, самой необходимой... Я не понимал, почему иду только сейчас, — где же я был три года назад, четыре, пять?

Грохочет, дребезжит с горы ходо́к, в нем сидят мужчина с женщиной. Разогнавшись, лошадь бежит через всю стлань. Рядом с колесом, ни на шаг не отставая, скачет рыжая собачонка. Хвост у нее колечком, морда веселая — рада, что хозяева взяли с собой в лес.

Я шел объятый зелено-голубым миром и благодарил Совку, что она помогла мне ярче увидеть красоту полей и дорог, леса и неба над его вершинами...

Расскажу Совкиной дочери все с самого начала. Она, конечно, сначала не поверит, а я буду рассказывать — о том, как давно люблю ее. Она удивится, но потом, может быть, придет в такой же восторг от моего рассказа, как я от рассказа отца.

Жадно всматриваюсь в каждый поворот дороги. Я как будто вновь смотрю старый фильм, который видел очень давно и который мне тогда понравился, хотя я в нем ничего не понял — только смотрел, радовался и не мог произнести ни слова. Вот сейчас, думал я тогда, задохнусь от каких-то неясных ощущений, от чего-то, что ждет меня впереди. В этом сказочном мире мне предстояло совершить какой-то героический поступок, за который меня будут все любить. Какой поступок — я тогда не знал. Сейчас догадываюсь и постараюсь объяснить как можно короче и поточнее: сначала я должен полюбить всех, хотя бы понять, это и будет моим героическим поступком, и не надо заботиться о том, чтобы и меня все любили, это лишние хлопоты.

Мои детские впечатления от этой дороги накладывались на сегодняшние, и я их не мог разделить, да этого и не нужно было делать. Ни о чем я тогда не задумывался, был самым счастливым человеком на земле. И вот оказывалось: чтобы сделаться счастливым, мне надо одно-единственное — понравиться Совкиной дочери!

А если у нее есть жених? Если она замужем?

Но я ни разу не подумал о такой возможности. Почему?..

Дорога прямая, узкая, деревья сомкнулись вверху, и я иду по бело-зеленому коридору из берез и сосен; за стволами едва заметно заголубело маленькое круглое пятно, оно скоро превратилось в густо-синее, и я понял, что подхожу к реке. Издали несколько сосен у дороги кажутся красными. Ближние сосны отодвигаются — и мгновенно открывается вид на реку, и вот уже виден на том берегу высокий дремучий лес; поднявшийся тремя уступами и замкнувший небо, и кажется, что дальше дорога никуда не ведет.

У горизонта накопилось облаков, они обходили солнце, не приближаясь к нему, — держали путь на север.

Четкие косые тени деревьев пересекают дорогу. Синий коридор над заросшей дорогой сужается, сходит на нет и светлеет впереди закругленным лезвием широкого охотничьего ножа — это дорога делает крутой поворот. У самого леса над черной водой — ослепительно-белая прерывистая гирлянда солнечных вспышек. Сначала казалось, что вспышки плывут, но когда пригляделся, то увидел: они качаются на волнах на одном месте, движутся только волны. Вспышки играли, манили к себе, исчезали. Река блестела от берега к берегу треугольником, острие которого кончалось возле моих ног. Я иду, и сверкающий треугольник движется вместе со мной.

Я разглядывал Тагну, бежавшую из предгорий Саян, и радовался, что родился у этой же реки и, так же как Совкина дочь, в хороший день вижу далеко за лесом зубчатые вершины Саянских гор...

Дорога, по которой я шел, осталась в моей памяти, и я узнавал ее то в одном, то в другом месте. Как меня околдовывало это узнавание: Совкина дочь ходит по этой дороге, где-нибудь вот здесь собирает грибы или ягоды... Один раз мне почудилось, что она стоит за деревьями с распущенными волосами — только что испуналась в реке и не успела одеться, — но в следующее мгновение она уже в легком сарафане промелькнула за другими деревьями. Я слышал ее

затаенно-глубокий, зовущий смех, прошел в глубь леса, откуда снова послышался смех, но там никого не было. Что-то похожее еще мальчишкой я слышал в нашем лесу недалеко от деревни, когда собирал в березовый чумашек темно-красную морошку. Тогда я, помню, долго сидел на кочке, не зная, что делать: и морошку жалко бросать, и собирать боязно — как будто у кого-то воруеть...

Чем ближе подходил я к Совкиному дому, тем все милее казались мне каждая береза, сосенка, кедр, куст лозняка или черемухи, пеня около дороги, я дотрагивался до них с каким-то неизъяснимым чувством: ведь их видит Совкина дочь! Даже кочки на болоте казались мне особенными, каждую из них я готов был обнять. Камыши высокие, ярко-зеленые, а ручейки, ямки с водой между кочек были для меня самыми чистыми, и я несколько раз напился из них. Вода, конечно же, пахла болотом, но никогда ничего вкуснее я не пил.

Из-за леса вдруг раздалась песня. Она быстро приближалась, и я увидел: на двух телегах шангинские ехали с покоса. Впереди слева виднелась луговая дорога из множества черных тропинок, протоптанных скотом; она выходила на песчаную, с прибрежными камнями дорогу, по которой я шел. Хотелось увидеть поющих женщин, и я прибавил шаг. Обе телеги проехали впереди меня. Я жадно всматривался в лица, но было далековато, и в каждой женщине и девчонке мне чудились Совка и ее дочь... Выехав на дорогу, круто поднимавшуюся в гору, лошади пошли шагом; песня смолкла. Женщины о чем-то оживленно поговорили, и я снова услышал последний куплет:

Замела следы его метелица,  
Не слышать ни песен, ни шагов,  
Лишь одна, одна дорожка стелется  
Посреди нанесенных снегов...

Я сразу же полюбил женщин, весело смотревших в мою сторону, их песню, которую слышал в нашей деревне еще мальчишкой, и то, как празднично выехали они с луговой дороги, ярко освещенной солнцем.

Одна из женщин, чернявая, молоденькая, делавшая вид, что хочет соскочить с телеги, звонким голосом позвала меня на цыганский манер:

— Не скучай, молодой, интересный, садись к нам! Догоняй, что ли?!

— Горя знать не будешь! — пообещала другая, сидевшая с ней рядом.

— У него, поди, своя есть, а то бы он припустился за нами! — отозвалась третья женщина.

Но чернявая, одетая ярче других и роста маленького, но очень уж задорная, перекричала всех и снова позвала меня, указывая место с собою рядом. На телеге засмеялись и запели какую-то незнакомую песню. Я, сколько ни вслушивался, не мог разобрать ни одного слова. Мотив у нее был разудалый, он как бы продолжал разговор, который женщины только что затевали со мной.

Я скоро отстал, жалея, что не воспользовался приглашением женщин.

Совкин дом стоял среди старых сосен, которые каким-то чудом уцелели здесь. Сохранилось и несколько берез, тоже старых. Дальше шел мелкий вырубленный лес с огромными, не успевшими состариться пнями. И сосны и березы, скрывавшие дом, невольно привлекали к себе внимание, заставляли остановиться, приглашали отдохнуть в их тени на старой, глубоко вросшей в землю скамейке. А по-

том из дома выйдет красивая молодая хозяйка, о которой я мечтаю давно и не сплю по ночам, и приятнейшим голосом спросит, изда-лека ли я и куда держу путь. Я буду долго пить холодную колодезную воду, отрываясь от ковшика и восторженно глядя в ее приветливые, ожидающие глаза...

Я сел на скамейку в тени березы и стал смотреть на дом. Красноватая железная крыша, водосточные трубы, высокое крыльцо, большая ограда. И беседка была, но только покосившаяся, с почерневшей, полубвалившейся крышей, и это сильно огорчило меня: почему никто не починит беседку? Сразу войти в дом я не решался и рассматривал высокое крыльцо с подновленными перилами, которые уже никто не собирался красить... Беседка стояла метрах в пятидесяти от дома, вокруг нее замерли в предвечернем зное березы и сосны, возле которых прошла какая-то другая жизнь... Мне жаль было этой ушедшей жизни! Скоро и беседки не останется, кто-нибудь вырубит деревья, доржавеют водосточные трубы, и уже ничто не будет напоминать о тех днях. Мне казалось, что я слышу веселый смех, который когда-то раздавался из беседки, вижу старшую Совку, тогда еще совсем молоденькую, в соломенной шляпе с широкими полями проходившую мимо беседки или стоявшую здесь, что-нибудь говорившую кому-то или что-то отвечавшую... Мне врезалась в память ее соломенная шляпа с большими полями, такой ни у кого в деревне не было, только у нее одной, и когда она ее надевала, то от Совки не то что глаз оторвать нельзя, это само собой, а удивительно было, что она живет не в большом городе, а в маленькой, никому не известной деревушке, и мой отец по этой причине восхищался ею еще больше.

Я увидел себя живущим в Совкином доме. Первым делом я привел бы в порядок беседку, покрасил бы перила, сменил на крыше покоробившиеся листы железа, проржавевшие водосточные трубы...

Меня тянет к моей прежней жизни в деревне, мои руки соскучились по самой простой деревенской работе, но я завяз в городе и не знаю, как из него выберусь. Я занимаюсь там не своим делом, вся моя городская жизнь сплошной обман и выдумка.

Мне говорят: привыкнешь, никуда не денешься!

Но зачем привыкать?

Я снова огляделся, прошел по дорожке к крыльцу, увидел, что дом на замке, и вернулся к беседке.

Я все поглядывал на высокие глухие ворота и вдруг услышал откуда-то из леса певучий и, как мне показалось, тревожный голос. И все стихло. Волнение, какого я давно не испытывал, охватило меня. Я весь обратился в сторону леса, стараясь уловить каждый звук, каждый шорох, которым заранее придавал какое-то особенное значение. За стеной сарая послышались чьи-то легкие торопливые шаги, и непонятно было, в какую сторону они исчезли. Затем до меня донесли странные шорохи — как будто какая-то птица, касаясь большими крыльями гладкой стены сарая, взлетела на крышу или на сосну, стоявшую близко к сараю. Я невольно взглянул вверх, но там никого не было. Я знал: в Совкиной роще в дуплах старых берез и сосен живут большие птицы и немало их прилетает сюда из ближнего леса. Начнет темнеть — и сова или филин подадут голос... «И вот уж кому раздолье на краю деревни — летучим мышам! Здесь их, должно быть, сотни», — подумал я. Мне всегда было интересно наблюдать, как они бесстрашно летают в темноте, но мало приятного, когда мышь, кажущаяся ночью огромной, ненужно страшной посланницей из какого-то исчезнувшего мира, вот-вот сядет или уже села на твою белеющую в темноте рубашку. И сколько нужно смелости — ведь ты еще мальчишка! — любопытства, непонятного азарта, чтобы не стряхнуть ее с себя и тем более не ударить. Я один раз выдержал и долго хвастался этим...

Все тот же тревожный, проникающий в сердце голос раздался из Совкиной рощи. Это был, конечно же, человеческий возглас, таинственный, как крик ночной птицы... Такого мелодичного, проникновенного голоса я, кажется, ни разу в жизни не слышал и, может быть, не услышу никогда.

Я просмотрел, когда девушка спрыгнула с высокого заплота. Качались цветущие тарелки подсолнухов, среди которых она стояла, не решаясь подойти ко мне, и я мгновенно почувствовал себя виноватым: я что-то нарушил, вторгся в чужую жизнь — эти и еще какие-то смутные мысли захлестнули меня, и я стоял, наверное, растерянный не меньше, чем Лиля.

Что ее удерживало подойти ко мне?

И тут же она исчезла... Мне даже на миг показалось, что никого не было. Но все еще, как будто осуждая меня, покачивали желтыми головами подсолнухи и такая же высокая крапива возле заплота...

Хлопнула за углом дома калитка на огороде, и передо мной выросла до изумления стройная девушка в зеленом сарафане, сильно расширенном книзу. Я сравнил ее сарафан с маленьким парашютом, на котором она только что спустилась на землю если не с неба, то с высокого добротного сарая... На загорелых ногах синие матерчатые туфли — точно такие же, как у моей младшей сестренки, и на сердце у меня сразу же сделалось теплее. Грудь девушки высоко поднималась, взгляд спрашивающий, и я догадался: она чего-то испугалась и бежала всю дорогу.

Я был встревожен, извинился, что зашел не вовремя да еще расположился в чужой ограде как в своей.

Лиля продолжала смотреть на меня с недоверием.

«Неужели они ждут какой-то беды?..» Всеми силами души мне хотелось отвести от их дома любое несчастье.

Она успокоилась, и моя тревога уменьшилась, а потом и вовсе — не исчезла, нет, а заслонилась радостью встречи с Лилей.

Я несколько не сомневался, что передо мной Совкина дочь, но все-таки спросил:

— Ты Лиля?

— Да-а.

— Вы сейчас ехали с покоса?

— Нет, я была на ферме. А потом пасла телят возле речки. А потом...

Лиля почему-то не стала дальше говорить, чего-то смутилась, но быстро справилась с собой, вприщур и как будто весело посмотрела на меня, слегка наклонив голову к плечу, и, словно под защиту, отступила к старой березе с огромными полусохшими ветвями с мелкими листьями, дотронулась ладонью до ее толстой растрескавшейся коры, глянула наверх, как будто хотела понять, долго ли еще жить той.

«Уж не ее ли я видел в лесу только что искупавшейся и промелькнувшей среди деревьев? И сарафан был, кажется, точно такой же... Как она его молниеносно набросила на себя!»

Что-то дикое, я хочу сказать, свободное, вольное было в ней.

Она засмеялась, заметив мою скованность, и я, без всяких преувеличений, потерял дар речи когда она подошла ко мне: да возле такого человека, как Лиля, сразу же делаешься лучше! И какое там в невесты — поговорила бы, и то ладно! А как хотелось сейчас же сделать своим Лиле, ее таинственному дому, не похожему на другие дома, и старому лесу, окружавшему их усадьбу!

— Вы к нам? — спросила Лиля, и уже в самом ее голосе было приглашение.

Я кивнул. Мне показалось, что я и в самом деле разучился говорить. И вот еще, наверное, почему кивнул: с Лилей надо было гово-

рять по-особому, а как — я не знал, все слова казались мне неточными, приблизительными, бесцветными...

В ее движениях и в глазах иногда как будто проскакивала короткая разноцветная молния и ослепляла меня. Я никак не мог отделаться от этого странного ощущения и успокоил себя тем, что эти короткие молнии — от ее молодого тела, от синего неба, от солнца, бросавшего на землю красноватые лучи, от которых и река, и стекла домов, и дрожащий воздух, прогретый за день, казались как никогда праздничными, обещавшими, что завтра снова будет такой же хороший день.

Своей нежнейшей рукой Лиля снова погладила старую березу. От одного прикосновения к березе ее лицо осветилось улыбкой, и она, мне показалось, молча стала разговаривать с темно-зелеными листьями, вдруг начинавшими тихо шелестеть вверх и как будто отвечавшими ей.

Я отошел к беседке и приготовился ждать, когда Лиля расстанется с березой и обратит на меня внимание.

Зря я так подумал; она быстро прошла в мою сторону, но не села ни рядом со мной в беседке, ни поодаль, где под соснами тоже была скамейка и тоже старая, на которой я сидел перед этим, а остановилась на лужайке, ярко освещенной солнцем, и, казалось, не на меня смотрела, а слушала сильнее зазвучавший к вечеру хор кузнециков.

— Вам что, нравится сидеть в беседке?

— В городе, Лиля, я как-то не замечаю беседок, а в вашей я бы каждую свободную минуту сидел и о чем-нибудь думал или с кем-нибудь говорил...

Я со значением посмотрел на нее, давая понять, что, конечно же, думал бы я только о Лиле и говорил бы только с ней.

Лиля оказалась еще более прекрасной, чем я ожидал. И дело не в том, какие у нее нос, рот, губы, фигура, — меня сразу же околдовало выражение ее глаз, которые были не зелеными, как у матери, а черными, — именно такие глаза сравнивают с омутом. И вот если бывает светлый омут, самый глубокий и самый светлый, в котором отражаются ночь, день, небо, река, деревья, травы, восход и закат солнца и белоснежные вершины Саянских гор, в которых мне один раз довелось побывать, — такие у нее были глаза! Они говорили, и эти беззвучные слова были значительнее сказанных слов.

— Может, Лиля, ты не поверишь, но я люблю ваш дом, беседку, березы и сосны очень давно.

— Любите? — Она внимательнее и строже посмотрела на меня. — Дом, беседку, березы и сосны... — повторила она.

— Мне рассказывал про ваш дом отец.

Лиле что-то не понравилось.

— О нас много чего говорят, мы уже привыкли...

— Если бы ты слышала, как он рассказывал!

Лиля не удержалась и присела на краешек скамейки, с которой я только что поднялся.

— И обо мне тоже? — спросила она.

— И о тебе.

— А что он рассказывал?

— Он уверен, что ты на меня даже смотреть не захочешь...

— Почему?

— Потому что ты красивая, необыкновенно красивая.

— Да ну-у, я такая же, как все. Вот мама у меня красивая... Только ей всю жизнь не везло. — Лиля заглянула мне в глаза и чего-то смутилась.

«Если она смущается, — подумал я, — то, может, не все потеряно?»

Но я все равно радовался — тому, что я возле ее дома, рядом с ней.



Чего же мне еще надо? Да за одну такую встречу, за один самый короткий разговор с Лилей я отдам все мои последние годы, прожитые неизвестно для чего!

— Садитесь,— пригласила Лиля,— а то неудобно, я ведь моложе вас...

Я без особой радости сел.

— А вы не сказали, зачем пришли.

И тут я окончательно понял: ни за что не смогу вот так, сразу рассказать обо всем. Надо встретиться несколько раз — и говорить, говорить, говорить! Чтобы Лиля поняла, зачем я пришел, что чувствую и что понял за эти последние два дня, понадобится прожить вместе целую жизнь. То есть мы не должны вообще расставаться с нею. Но разве я мог сказать об этом?

А почему не мог? Почему я всегда говорю не то, что хочу, и не то, что думаю? Почему я надеюсь, что потом скажу, когда-нибудь? Время-то сейчас быстрое, а я живу так, будто мне отпущено лет двести самое малое!

Лиля, наверное, думала: я молчу, потому что сказать мне нечего.— а я не мог говорить, потому что слишком многое надо было сказать.

— Мне еще в детстве, Лиля, понравился рассказ отца о Совке и Феде, и я пришел.

— Зачем?

— Увидеть тебя. Вчера я вдруг понял: если не увижу, не поговорю с тобой, то жизнь моя будет неполной, даже более того — бедной.

— Это правда?

— Чистейшая.

Чего-то не понимая, а может, все понимая, Лиля спросила:

— Почему вы так смотрите на меня?

— В рассказе отца есть одна неточность...

— Какая?

— Что у тебя зеленые глаза.

— Поняла, поняла: он по маминым глазам...

— Но, может, это я сам так подумал: Совка и ты — для меня иногда один и тот же человек. Ведь он рассказывал о Совке, когда ей было столько же, как тебе сейчас. Выходит, я знал о тебе, когда тебя еще не было на свете! Но и тогда ты вмешивалась в мою жизнь...

Лиля, кажется, поняла мое состояние, чему-то улыбнулась, вздохнула. А может, ей нелегко было разговаривать со мной? Я уловил ее недоверчивый взгляд, особенно когда гладко говорил, будто по книжке. Но что делать, если я столько читаю! И в этот свой приезд я захватил томик Толстого, в котором «Казачьи» и «Два гусара». Трижды я читал их в городе. Но совсем другое дело прочитать эти две повести в деревне, на покосе, около своего дома, среди солнца и воздуха, трав и цветов, гудения пчел... Здесь явственнее начинаешь слышать голос самого Толстого, его призыв любить все живое, и ты вежливо смахиваешь надоедливо-настойчивого комара: осторожно, чтобы не раздавить кого-нибудь в траве, пересаживаешься в тень, участливо думаешь: сможет ли красный муравей, добравшийся сюда из леса, отыскать дорогу и вернуться домой? Ведь для этого ему надо преодолеть самое малое полкилометра высоченной луговой травы и осоки или суметь, не блуждая, выбраться через покосы к стлани и, подвергая себя опасности быть раздавленным, двинуться домой по глинистой дороге, по которой едут и идут люди, коровы, телята... А если еще и дождь?!

Оторвешься от книги, чтобы порадоваться на окружающий мир, который ты недооценивал, и великий писатель помог тебе — и жить захочется сильнее, чем прежде. И с такой неохотой закрываешь книгу — много еще дел дома.

Лиля снова чему-то улыбнулась и пригласила меня в дом.

С каким волнением поднимался я по ступенькам высокого крыльца! Клонившееся к верхушкам деревьев солнце отражалось в окнах и своим ослепительным блеском делало все еще более загадочным и радостным.

Меня поразила картина, по всей вероятности любительская, висевшая, как зайдешь в дом, слева над кроватью, застланной покрывалом, казавшимся сотканным из разных цветов и трав, какие можно увидеть в Сибири на некошеном лугу. На картине — Совкин дом под красноватой железной крышей, с низко опущенными к земле водосточными трубами. Дом окружают богатые сосны, на которые я только что смотрел в ограде; стволы у них цвета домашнего сливочного масла, и от этого сосны кажутся новенькими, взявшими и сразу выросшими. В углу просторной ограды столпились и как будто о чем-то весело шепчутся молоденькие березки, напоминая девчат в белых фартучках и зеленых платочках, собирающихся пойти в гости к соснам или еще что-то затевающих. На них задумчиво смотрят старушки березы, но подойти к беспечному хороводу не решаются: они свое отжили, пусть теперь молодые порадуются. По ограде с полным ведром идет красивая женщина. И сразу же понимаешь: это все из-за нее у художника столько любви к дому, беседке, деревьям. Что-то древнее, вечное виделось в этой картине: дом среди старых сосен, поблескивающие от утренней росы крыша и лужайка, на которой что-то старательно склевывают куры, — наверное, хозяйка сыпанула им горсть пшена; колодец с почерневшей двускатной крышей из Драни, с бадьей, сохнувшей на краю замшелого сруба; пролетающая вдалеке какая-то большая птица, скорее всего ворона; плотная изгородь, скрывающаяся за стволами берез, сосен и пересаженных из леса кедров... И в центре этой утренней картины — женщина с ведром, все собой оживляющая и объединяющая. И никак не отделить Совку от дома, от колодца, от сочно поблескивающих росой листьев деревьев, от летящей птицы — для меня все это было вместе, одно не существовало без другого.

И все освещено яркими лучами невидимого солнца.

Лиля выросла вместе с картиной, но не удержалась и долго смотрела на свою усадьбу, так удачно изображенную художником, и, не высказав какой-то семейной тайны, скрылась за высокой перегородкой на кухне, зазвенела посудой.

«Сделаю ей предложение через пять минут!» — думал я, когда шел сюда. Но вот смотрю на Лилю, безмерно рад встрече и называю ее про себя моей младшей сестренкой.

Как она легко все делала! Будто сами собой на столе появились ложки, вилки, стаканы, самовар...

— При бабушке он всегда блестел, — сказала Лиля, неизвестно когда переодевшаяся в платье с короткими рукавами. — Теперь мы чайник кипятим. А самовар по праздникам. Я вообще-то с бабушкой согласна: из самовара чай вкуснее. И наливать из него интереснее.

Лиля лучинками растопила самовар возле русской печи, бросила в него несколько больших погасших углей, подхватила, как маленького ребенка под мышки, выбежала на крыльцо, спустилась по ступенькам, поставила на траву так, чтобы его было видно из окна, и чуть не бегом исчезла на огороде. Мне было приятно, что Лиля делает все искренно и очень просто.

В том, что мы с ней встретились только сейчас, было какое-то недоразумение.

Я с наслаждением вдыхал слабый, исчезающий запах дыма, оставленного самоваром, все больше чему-то радовался и думал: «Разве можно с чем-нибудь сравнить миг, когда только что загорится лучина, а затем вспыхнут дрова? Я и не помню, когда радовался та-

кому же дыму... Лиля меня хорошо встречает, а там время покажет: полюбит — буду самым счастливым человеком, не полюбит — восприму как должное, не могут же все до одного быть счастливыми!»

Я посмотрел в окна, и в каждом был виден лес, близко подступавший к дому, и я представил, как в бурю или в сильный ветер гудят и раскачиваются деревья, как огромные тени то появляются, то исчезают на полу, стенах, потолке... И на миг Совкин дом показался мне маленькой хрупкой лодочкой, которую океанские шторма бросают как попало, а в ней — ни одного мужчины, и некому подбодрить женщин, не хватает крепкой мужской руки... Я с сомнением взглянул на свои руки, сжал и разжал правую и вдруг почувствовал, как мускулы мои наливаются силой, и мне захотелось, чтобы скорее наступил покос. Уж косить-то я умел и любил! Грести сено и складывать его в копны, а потом в зарод было для меня не работой, а праздником! И если не удавалось приехать домой, то я косил сено у кого-нибудь возле города бесплатно. Не брать же деньги за работу, от которой делаешься моложе и сильнее!

Двери в доме были открыты, я услышал Лилину песню, звуки которой оборвались, когда она поднималась по крыльцу. Лиля вошла радостная, мне кажется, про себя она еще продолжала петь, и я не был уверен, что песня имеет хоть какое-нибудь отношение ко мне. Но мне все равно было хорошо. Лиля положила на стол только что сорванные, пахнущие солнцем и ночью молоденькие огурцы и горсть зеленого лука. Сало в маленькой веселой тарелке, нарезанное мелкими кусочками, и крупными белый-белый хлеб, испеченный Совкой, еще раньше появились на столе. И синяя, с отпотевшими боками голубика в эмалированной миске. И кувшин холодного молока... Неожиданно, как и все, что она делала, Лиля остановилась, оглядела стол — не забыла ли чего поставить? — убедилась, что ничего не забыла, первая села и пригласила меня. Но чем внимательнее она была ко мне, тем как будто дальше я отодвигался от нее. «Она всех так встречает, ко всем приветлива...» Я медленно протянул руку, взял хлеб, и сразу же послышалась тихая, такая знакомая и вечно новая музыка — это солнце, выйдя из-за сосен, осветило стол, нас с Лилей и всю комнату. Я разрезал самый лучший огурец на две длинные половинки и одну подал Лиле. Думал, она откажется, проговорив что-нибудь вроде этого: «Ах, какие нежности!» — или наградит меня насмешливой улыбкой, но она взяла, глаза ее весело блеснули. Ел я медленно — это у меня всегда так, даже если я буду стараться спешить, у меня все равно получится медленно — и все боялся, что обед скоро кончится, и будет ли потом все так же хорошо, как сейчас? Лиля, опередив меня, разрешила новый огурец и одну половинку подала мне. Или ей было приятно это делать, или она, так сказать, рассчитывалась со мной? До чего только не подумаешься, когда нет уверенности в себе! Но к чему я прибедняюсь? Высшее образование имею, работа хоть и не по мне, но хорошая, и угол есть, куда можно войти с молодой женой... А дальше еще интереснее: появятся дети и хорошая квартира никуда не денется — у отца семейства и прав больше, и всем он становится нужнее... Мне бы все это Лиле сказать... Если б и не убедил ее, то хоть посмеялась бы надо мной, и, глядишь, решилось бы все, наверное, проще, как и решается у нормальных людей. А у меня все со сложностями: я их не хочу и сам же иду им навстречу... И вот пока я таким образом рассуждал, то есть медленно ел да на Лилю взглядывал, она меня, видно, хорошо поняла и сказала:

— Мне бы, Николай, поговорить с вашим отцом, а вам — с моей мамой.

Сказала с такой ясностью во взгляде, с такой доверчивостью и полнотой меня обезоружила.

— А как же я, Лиля? — В голосе моем, кроме безнадежности, ничего не было.

Она взглянула на меня как-то уж очень отстраненно, словно бы отодвигаясь от стола, чтобы посмотреть: а может, я и в самом деле ничего? Может, я лучше, чем это кажется с первого взгляда? Но того, что ей хотелось увидеть во мне, она не увидела, и ее полноватые губы капризно вытянулись, приоткрылись, и, кроме вздоха разочарования, я ничего не услышал. «Ну что я могу сделать, если вы мне не нравитесь?!» — говорил ее взгляд.

Меня как будто черт за язык дернул, и я, сам не знаю зачем, сказал:

— Отец не хотел, чтобы я шел к вам...

Лиля недоверчиво взглянула на меня, и я вот чему удивился: она угадала, что я говорю неправду, — это матушка моя не хотела, чтобы я знакомился с Лилей, а отец просто-напросто не верил, что я смогу понравиться Совкиной дочери из-за того, что весь я какой-то разобраный: там, где надо действовать, я только рассуждаю. Я и сам не люблю себя за это, но, я уже говорил, это у меня само собой получается.

Как будто продолжая уличать меня в обмане, в котором я не был виноват, Лиля спросила:

— Почему ваш отец не хотел, чтобы вы шли к нам? Я этого не понял.

— Отцу не нравится во мне...

Я отлично понимал, что гублю себя своими же словами, но не мог же я обманывать Лилю. Но, кажется, она и так разобралась во мне.

— Я знаю, — ответила она.

— Что? — спросил я, надеясь, что она будет снисходительной, и тогда у меня появится хоть маленькая надежда на наши особенные с нею взаимоотношения.

Лиля не торопилась с ответом, и я понял: не хочет меня огорчать. И тогда, чтобы утешить себя, я с еще большей остротой вспомнил о Совке.

Лиля будто прочла мои мысли:

— Мама вторую неделю в больнице. В Иркутске. Она так не хотела ехать!

Услышав эту новость, я сильно огорчился.

Лиля не удивилась, что я все очень близко принял к сердцу, но все же теплее взглянула на меня. Ее взгляд ободрил меня, и я убежденно сказал:

— С Совкой никогда ничего не случится... Совка будет жить вечно!

— Бабушкины сказки, — ответила Лиля, но посмотрела на меня куда внимательнее, чем за все время нашей встречи, я бы даже сказал, проникновеннее и нежнее. И пусть это мне только почудилось, но жизнь сразу показалась мне в тысячу раз интереснее!

Я видел: она хотела поверить в мои слова, но что-то ей мешало. Может быть, то, что эти слова — о том, что Совка будет жить вечно, — говорю я, а не кто-то другой?

— Вы себе невесту ищете? — пристально глядя на меня, спросила Лиля.

— И да и нет, — ответил я.

— Вот видите, какой вы!

— Какой? — не понял я.

— Неопределенный. Так нельзя.

«Будь что будет, — подумал я, — сколько можно ходить вокруг да около!»

— Свою невесту, Лиля, я нашел давно, еще в детстве. Сегодня я в этом окончательно убедился!

Лиля поняла, что я говорю о ней, но ничуть не смутилась. Она медленно раздавила губами несколько больших голубичных ягодинок

(такая голубика, я замечал, растет только на болоте) и устремила на меня свой взгляд — глаза ее делались все больше и больше и стали такими, какими они мне представлялись иногда до нашей встречи: Совкины глаза! Голубичный сок сделал Лилины губы еще более яркими. Она что-то очень серьезно обдумывала.

— Не надо, Лиля, ничего не говори, так будет лучше,— как будто опять помимо своей воли попросил я.

Она опустила глаза, разгладила цветастое шелковое платье на полных коленях...

Почему я попросил Лилю ничего не говорить?

Что «лучше»? Для кого?

И тут же нашелся ответ: если она полюбит меня, то хорошо будет мне, а Лиле плохо. Мне хотелось сейчас же признаться ей в своем глубоком и давнем чувстве, и больше всего я боялся об этом говорить! Слишком быстрым для Лили было мое признание: ведь у меня не любовь с первого взгляда, а самое глубокое, никогда не покидающее меня чувство — как будто я с ним родился!

— У меня к вам просьба,— сказала Лиля,— зайдите к маме в больницу. Она вам обрадуется, вот увидите! Что-нибудь купите ей: у нас ведь в городе никого.

«Что с ней?» — не словами, а только взглядом, но таким встревоженным, как будто Совка не только Лиле, но и мне была матерью, спросил я.

Лиля постаралась успокоить меня:

— Мама, в общем-то, здорова, ни на что не жалуется, только глаза болят. Говорит, это от слез. В поездах не может ездить: как сядет в поезд, так сразу голова заболит...

Лиля достала конверт с адресом из ящика стола, протянула мне.

В Совкином почерке мне понравилось все: рисунок каждой буквы, выведенной густыми химическими чернилами, и то, что буквы большие и неровные, как у первоклассника, и даже точка после фамилии. Но почему на конверте девичья Совкина фамилия — Карагодина, а не Королькова, по мужу?

— Они не расписывались,— сказала Лиля.— Вы ведь знаете, что мой отец погиб на фронте?

Я кивнул, сожалея о гибели Лилиного отца — танкиста Виктора Королькова.

— Дедушка с бабушкой тоже не расписывались, а всю жизнь прожили, как другим и не снилось! Ну кто сейчас построит такой дом для своей невесты? А дедушка построил! Как они любили друг друга: на один день не могли расстаться! Сейчас так не бывает... — Последние слова Лиля проговорила с сожалением, будто успела во многом разочароваться и что человека, которого она полюбила бы на всю жизнь, нет и не предвидится.

«Лиля, я вас очень люблю,— хотел сказать я,— так люблю, как никого на свете, и даже — больше!»

Я ведь, оказывается, давно ее любил, но по-настоящему, до безнадежности влюбился вот сейчас, когда увидел ее. Теперь-то я не сомневался, что могу все! Чувства мои смешались: в одно и то же время я был самым счастливым человеком и самым несчастным. Я как бы проваливался в небытие и возвращался из него обновленный... Неужели она не понимала, что и я так же думаю, что мы с нею очень похожи, что мы созданы друг для друга? И какая это будет несправедливость, если наши пути разойдутся! Я готов был кричать: что со мной, почему я не говорю тех слов, которые шел сказать? Ведь они были! И сейчас есть! А потом... потом Лиля выйдет замуж за того, кто ее не любит, а я женюсь на той, которая не любит меня?

Я начал быстро говорить, и когда мне казалось, что вот-вот скажу что-то очень важное, то, что и нужно было сказать с самого начала,

Лиля чуть-чуть дотронулась до моей руки своими нежнейшими пальцами: не надо.

— Да вы не переживайте, — стала успокаивать она меня. — Я же ничего не говорю, вы хороший человек... Я чуть не влюбилась в вас...

Мы пили чай с новым голубичным вареньем. Не было отчаяния, не было того, что вот я отвергнут и все кончено, — ко мне возвращалась далекая, такая знакомая и вечно новая музыка, которую я услышал, когда мы с Лилей сели за стол и когда солнце вышло из-за сосен и осветило нас с Лилей и всю комнату... И вот что меня утешало: как я лучше делался от хороших книг, картин, песен, так же я делался лучше от знания того, что в мире совсем недалеко, можно сказать, рядом живет Совка. Может быть, от восторга и от самой чистой любви я робел перед ее дочерью, и ее неполный отказ только подтверждал то, о чем я только что говорил, — она была гостеприимна, она позволяла очаровываться ею, она подсказывала мне, как и Совка, что-то большое, огромное, чего я никогда не должен забывать. И когда я проникнусь этим чувством по-настоящему, когда я хорошо буду знать, кто я, зачем я, без чего я не смогу жить, тогда мне и в любви повезет. Лиля, как и Совка, подталкивала меня к этой мысли, пусть даже неосознанно, потому что они и были всем этим миром, к которому я, тоже неосознанно, всегда стремился. Но теперь, когда я осознаю это, жизнь моя делается во много раз привлекательней и никакие неудачи не сломают меня.

## 15

Жену я себе выбрал, похожую на Совку, — волнистые длинные волосы, только у Совки они белые, как лен, а у моей жены черные, цыганские. Взгляд, фигура, движения были Совкины... Глаза у Совки, мне это хорошо запомнилось, зеленые... И у моей жены тоже.

Когда мы познакомились, я пришел к ней один раз выпивший, и она ни за что по этой причине не хотела выходить за меня. Задержав свой таинственный взгляд на мне, она уже хотела пройти мимо, но я поклялся, что выпил случайно, и начал рассказывать про Совку... Она заинтересовалась, заслушалась и потом никак не могла понять, чем я сумел ее околдовать: она как будто не хотела, а пошла за меня. Ей показалось тогда, да и сейчас кажется, что я рассказывал о ней самой, сочинял, глядя на нее, а Совка — выдумка, то есть не выдумка, а моя будущая жена Лариса.

— Зачем ты меня сюда привез? — как-то вырвалось у нее, когда мы прожили в огромном пустом доме неделю, а она все не могла привыкнуть к печали, растворенной в самом воздухе даже в яркие, солнечные дни.

К нам все хорошо относились, а нас не покидало чувство какой-то несправедливости: мы с женой, как и все жители моей деревни, не видели не только никакой пользы от того, что Шангино надо сносить, но считали это покушением на святая святых, потому что все говорило за то, чтобы деревня осталась.

Старуха соседка, жившая с одиноким сыном, у которого никак не ладилась семейная жизнь, пришла к нам жаловаться, а вернее, излить душу. Говорить она не могла и только больше расстроилась. Недавно у нее случился инсульт, она потеряла речь, у нее получалось только «ду-ду-ду-у-у...» — звук, похожий на гудок уходящего паровоза... Она постоянно огорчалась, что не может говорить, начинала плакать. Мы как могли успокаивали ее. Сил у нее резко убавилось. Иногда даже чайник себе не могла вспятить. Лариса каждый день носила ей что-нибудь поесть. Ее сын пас молодняк в семнадцати километрах, на Буграх, и ухаживать за ней было некому.

Перед самым нашим отъездом из Шангина ее забрала дочь, и осиротел еще один дом рядом с нами. Но напротив и справа от нас еще жили.

Мой младший брат, дольше всех моих братьев и сестер державшийся в родной деревне, в конце концов тоже уехал, и отцовский дом, еще крепкий, самый большой в этом краю, стоял пустым. Ограда очень скоро заросла лебедой, полынью, коноплей, на которой с утра до вечера раскачивались воробьи. Полынь постепенно редела — мы ее ломали на веники, подметали в избе, на веранде, на крыльце... После зеленого веника свежий печальный запах держался долго, и мы скорее бежали в лес за грибами, где нам становилось легче. А когда возвращались, то из-за моста от Первой дороги, идущей вдоль болота по лесу, открывался вид на деревню; отсюда она казалась нетронутой, и от этого обмана делалось еще тяжелее на душе.

Когда не осталось никаких сомнений, что деревня Шангино доживает последние дни, я как-то иначе стал на все смотреть. Раньше, бывало, когда мои отец с матерью были живы, я то сено кошу, то дрова заготавливаю, а в свободную минуту еще за грибами, за ягодами схожу; теперь, когда мы с женой вот уже третий раз жили в пустом доме, а делать ничего не надо было, только приготовить поесть, мне даже за ягодами не хотелось ходить. Я вдруг обнаружил, что мне интересно сидеть на высоком крыльце нашего дома, с которого хорошо видно широкое болото, возвышающийся уступами лес и вершины Саянских гор. Я ничего не мог с собой поделаться: ну вот иду за водой, за дровами, утром растапливаю плиту, помогаю жене, только чтоб не останавливаться, и неожиданно обнаруживаю, что сижу на крыльце или на поваленном заборе на огороде, смотрю на исчезающую речку, меняющиеся облака, на лес, чей-нибудь дом или колодец... Знаю: все это уйдет, только лес да облака останутся, ну и дорога еще, та же самая дорога. И я смотрю на дорогу до боли в глазах...

Два года назад, когда печаль исчезновения сильно коснулась моей деревни — уже не было школы, магазина, бригадной конторы — и когда я стал внимательнее приглядываться ко всему, что окружало Шангино, мы с женой увидели необычный туман. Никогда я не видел такого тумана! Лариса пришла в еще большее изумление... Мы ничего не могли сказать друг другу и только смотрели, что проделывает туман. Нам казалось: он знает, что мы на него смотрим, и о чем-то предупреждает... Я видел, как он протягивает к нам свои руки, приоткрывает древнюю завесу, что-то подсказывает, доверяется и не верит нам...

Мы долго вспоминали этот туман. И он словно посвятил нас в какую-то тайну, о которой мы никому не рассказывали...

Была, как и тогда, вторая половина августа, дни стояли жаркие, а над болотом не только такого, как в тот раз, а вообще не было тумана — за полмесяца не прошло ни одного дождя.

Но вот однажды, когда закатилось солнце и к Шангину подкрались первые сумерки, Лариса — мы только что пришли из ближнего леса — выбежала из-за веранды, где она подкармливала сойку, прилетавшую в одно и то же время, и крикнула счастливым голосом:

— Скорее! Появился!

— Кто?

— Туман!

Такой восторженной я ее давно не видел, и мне отчего-то стало неловко и как будто стыдно — может быть, оттого, что она восторгалась, а я нет.

— Не нужно мне никакого тумана, я уже и забыл о нем, — как можно равнодушно ответил я.

Она недоверчиво посмотрела на меня, схватила за руку, сделала движение к лесу.

— Ну идем, идем! Посмотри!

Однажды услышав, как я огорчился, что нет больше тумана, Лариса стала наблюдать за молчаливым болотом. После сильной грозы, не дававшей нам спать, и проливного дождя, который шел всю ночь, туман снова появился.

Забывая о крапиве, подстерегавшей нас везде, даже на тропинке в ограде, мы кинулись — она впереди, я за нею — на огород, на чистое место, и остановились шагах в пяти от провалившегося колодца. Сначала я не увидел никакого тумана. Лариса показала в противоположную сторону — в «гнилой угол» над Харгантуйским болотом. Едва родившись, туман, помедлив, вдруг устремился по болоту, как будто гнался за кем-то... В «гнилом углу», то есть в северо-западном конце деревни, широкое болото круто поворачивало вправо, и, соответственно, лес полукругом тоже поворачивал вправо и скрывался за ближним лесом, деревенским, в котором еще недавно жила Совка с дочерью. Перед самым болотом, напротив Ушканки возвышалась одинокая раскидистая сосна... Как в сыром месте выросла такая богатая, живописная сосна, для меня было загадкой. Создавалась иллюзия, что возле сосны болото заканчивалось, и в этом узком, почти квадратном углублении быстро накапливался туман. Он заполнил своей молочной белизной узкое пространство — как будто отрезал его от широкого болота и некоторое время не двигался, оставляя незакрытыми верхушки дальнего леса. Огромная одинокая сосна словно удерживала туман, не давая устремиться ему по болоту. Я успел заметить, как вытянутое узкое облачко тумана, брошенное рукой густого тумана, вдруг отделилось и помчалось по болоту, нисколько не увеличиваясь. Остановилось оно напротив нашего дома.

— С тем туманом, который мы видели два года назад, не сравнишь,— с сожалением сказала Лариса.— Тот туман был колдовской, я после него долго не могла уснуть. Впервые в жизни такое видаела...

Я согласился с нею.

Лариса ждала, что я еще что-нибудь скажу, и, может, не о тумане, а о наших с нею взаимоотношениях...

Не знаю, то это было или нет, чего она ждала от меня, но я сказал:

— Столько лет жил здесь, перевидал столько туманов, а ты и в тот раз и сегодня первая заметила...

Она была довольна.

— Да я все время ждала...

— Я тоже ждал, а увидела ты.

— Смотри-смотри! — крикнула она.— Вот это да-а-а... Он — живой!

Как будто рассердившись, что мы ругаем его, а точнее, сожалеем, что он не такой, каким мы его видели однажды, туман повел себя словно рассерженный фантастический зверь: он несколько раз изменил свои размеры и очертания, оторвался от болота, поднялся чуть не вровень с вершинами деревьев, как будто что-то там высматривал, упал книзу, обшаривая своими руками корни деревьев и непролазную чащобу, и кинулся к высокой стлани, где когда-то был мост с перилами.

Я, как и в первый раз, ждал встречного тумана.

Но его не было.

И вдруг...

— Встречный туман! Смотри!

— Где?! — еще радостнее, чем я, вскрикнула Лариса, не понимая, куда я смотрю.

Я указал рукой:

Она все равно не видела.

— Надо же... ты видишь, а я нет,— чуть не до слез огорчилась Лариса.



Но это оказались ярко белевшие в первых сумерках частые стволы молоденьких берез на той стороне болота, куда я в детстве ходил за морошкой. Надо же: самое настоящее облачко тумана, только неподвижное!

Лариса все равно обрадовалась, когда увидела это неподвижное облачко.

— Какая интересная подделка,— поспешил сказать я, нисколько не жалея, что ошибся.

— Никакие это не березы,— сказала Лариса.— Днем я их там не видела.

Сумерки сгущались, и я не мог опровергнуть ее. А чтобы я не противоречил, она обняла меня, и я согласился, что берез там никогда не было...

Туман крадется узкой полоской возле леса, кажется, вот сейчас он растворится среди частых деревьев... Странное ощущение: вершины Саян на горизонте, за лесом, похожи на облака, а облака — на горы.

В сумерках внизу за огородами не видно траурно черневшей днем, слегка извилистой ленты дороги, выходявшей к мосту, которого теперь не было. Не было видно и густых зарослей лозняка, тянувшихся по всей длине болота у леса и близко к огородам, вдоль реки, которую старательно осушали и, не скрою, к моей великой радости, так и не смогли осушить. Не видно этих светло-серо-зеленых шаров и шершавой, начинающей желтеть осоки, никак не желающей превращаться в мягкую траву...

Камыши исчезают, меньше стало трилистника, нет желтых кувшинок и белых лилий...

На фоне только внизу просветленного после дождя вечернего неба, строго нахмурившись, чернеют треугольниками крыш брошенные дома... Я не слышу — стою далеко,— а только чувствую, как тихо журчит, всхлипывает в зарослях лозняка неглубокий ручей, который еще недавно был хоть и маленькой, но — речкой; он усугубляет свое положение еще тем, что из года в год сужает себе дорогу — заносит клинообразное, не свое русло песком и илом как что-то враждебное и в этом немыслимом старании укорачивает свой век.

## 16

...И пустующий огород, и погубленная речка, и поредевший лес, и цветущее болото такие же, как вчера и позавчера,— так почему же сегодня я смотрю на них без вчерашней расслабленности и обиды на бывшего председателя, который извел речку, и на нового, который добрался теперь до деревни? Рушилось Шангино, и мне казалось, что рушится весь мир! Твердая опора уходила из-под моих ног, я это ощущал, хоть и давно жил в городе. Пока деревня стояла, я был спокоен, даже беспечен, любые мои неудачи делались мелкими и сами собой исчезали, стоило мне появиться в родной деревне, и даже не появиться, а издали увидеть крыши домов... Еще только сойду на станции с поезда, сделаю первый радостный вдох, и до родной деревни еще семьдесят километров, а райцентровский воздух уже намного чище городского, даже как будто слаще, он уже — свой, и я не замечаю, что в нем, как и в городе, пахнет железом, разогретым на солнце асфальтом, сгоревшим каменным углем,— я только чувствую запахи полей и соснового леса и с жадностью вглядываюсь в лица на автобусной остановке. Особенно люблю смореть на молодых женщин: которая-нибудь тогда, раньше, могла стать моей женой.

Из-за неподвижной гряды облаков над Школьным лесом вот-вот появится солнце, и тогда немного поутихнут толпы звенящих комаров и мошки, так облепивших мою одежду, что она кажется покрытой светло-серыми пятнами, которые лучше не трогать. С лица я сгоняю

комаров березовой веткой. На слани, не успевшей просохнуть от последнего дождя, все еще окутанной густым белым туманом, нет ни одного свежего следа, я первый. Даже птицы на меня, так рано идущего, смотрят как на своего — далеко не улетают.

Сворачиваю в лес по Третьей дороге. Она самая широкая, самая старая, со множеством светлых луж и объездов, с клюквенным болотом по правую сторону, на котором, правда не каждое лето, живут журавли. Мне все время кажется, что где-то здесь, недалеко от журавлиного болота, вот за этим молодым сосняком, в котором растут чуть ли не все грибы, была когда-то деревня... А то вдруг покажется, что вон на том бугре была деревушка, небольшая, домов десять или того меньше. И вот куда-то подевалась... «Да, была,— скажет мне потом один из шангинских старожилов.— Это ты не догадался, а это в детстве тебе говорили, ты забыл и только вот теперь вспомнил...» И войны здесь не было, и затопления не было (Ангара от нас далеко), а деревня исчезла — по-тихому, как будто ее воровал кто-то... Не верилось, что на месте Шангина вырастет такой же лес, по которому, вот как сейчас я, будет бродить мой правнук и верить и не верить, что когда-то была здесь деревня и что родовые корни его здесь, под этим лесом, как и мои — на Буграх, на которых я побывал только в прошлом году. И сумрачно мне стало, оторопь взяла, сожаление, что в начале моей жизни и когда уже был подростком два или три дома оставалось на Буграх, и, говорят, жил еще в одном из этих маленьких домов какой-то старик, какой-то мой дальний родственник... Неизвестно, кем и когда он похоронен... И ведь никакой особой давности нет, кругом стоит лес и в нем — следы старых пожарищ...

Я стоял на дороге охваченный чувством, до этой минуты незнакомым мне или знакомым лишь на словах или по догадке, что не просто так я живу на земле: от меня многое ожидается, многое спросится, и я готов был к этому — воспоминания укрепили меня. Я жалел о потерянном времени, которое не просто же так было мне отпущено, а с каким-то значением... Я появился на свет, стал подрастать, и на меня стали надеяться отец с матерью... А потом на тебя надеются все, даже те, кого ты никогда не видел и не знаешь, и не важно, что с теми людьми тебя разделяют огромные материки, моря и океаны,— расстояния ничего не значат. Однажды тебя кто-то подведет, и, что самое горькое, предаст один из самых близких твоих друзей, уйдет любимая женщина, но главное — чтобы ты никого не подвел и тем более не предал. Тогда жить можно, тогда есть на что надеяться.



---

---

## ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ



### СТИХИ

#### Ташкентский адрес (1941 г.)

«Улица Лабзак, проезд Уйчи».  
— Слушай, мальчик! Письма получи!  
Письма от одних от калужан  
Шлют мне фронт, Сибирь и Казахстан.  
Только из Калуги — ни листка:  
Там стоят фашистские войска.  
Я уехал первым. Я связной  
У семей, развеянных войной.  
В тыл глубокий и в жестокий бой  
Адрес мой везли они с собой,  
И хранился он, как талисман,  
У больших и малых калужан.  
С помощью бумаги и пера  
Можно много совершить добра.  
Листик треугольником сверну  
И детей родителям верну.

#### Прогулка с Чуковским

Мне четырнадцать лет, а ему — шестьдесят.  
Он огромен, и сед, и румян, и носат.  
Он о сыне скорбит, я грущу без отца.  
Май цветет. А войне все не видно конца.  
Осторожно мою он решает судьбу  
И тревожно глядит на мою худобу.  
Завтра утром меня он помчится спасать.  
А пока он покажет, как надо писать,  
И прочтет мне стихи, что великий поэт  
Сочинил о любви двадцати семи лет,  
Вспомнит то, что меня еще ждет впереди.  
О поэзия! Души людей береди,  
Чтоб нашли в тебе силы и общий язык  
Этот хилый мальчишка и крепкий старик.

\* \* \*

*Памяти Т. И. Александровой.*

«Заглядывать вперед, — ты пошутила, —  
Мы слишком далеко не будем, чтоб  
Случайно не увидеть хвост кобылы,  
На кладбище везущей чей-то гроб».

Старинной шутке мы смеялись оба.  
«Любовь до гроба»,— каждый повторял.  
Любила ты, и я любил до гроба,  
До гроба, над которым я стоял.

### Твердь

Древним истинам не верьте:  
Мир красивый, да не тот.  
Небо называли твердью—  
Тверже камня небосвод.

Эта твердь давно разбита.  
Пустота над высотой.  
Лишь летят метеориты  
Как обломки тверди той.

### Ивы

— Ивы,  
Почему вы кривы,  
В клочьях содранной коры?  
— Льды с реки ползут в разливы,  
Давят, бьют, как топоры.

— Почему ж вы так красивы?  
— Потому красивы ивы,  
Что стоим мы над рекой,  
Над красивой такой!

---

---

---

МАГДА АЛЕКСЕЕВА

★

## ДОРОГА В ГОРОДОК

Повесть

Рекомендовать первую повесть писателя — значит, еще и делать прогнозы. Это всегда рискованно. В литературе скорее угадывается, чем прогнозируется. Кто бы мог подумать, что бурная и успешная работа в журналистике Магды Алексеевой вдруг однажды прервется литературой. Много лет она редактировала многотиражку фабрики «Скороход», затем большую газету «Ленинградский рабочий», работала в журнале «Аврора». И вдруг — повесть. А за ней еще рассказы и другие вещи. Писатель ведь начинается необязательно с молодых лет. Сроки тут неведомые.

Повесть «Дорога в Городок» написана неровно, есть в ней недоговоренности, оборванные начала, незавершенные концы, но эта неопытность автора симпатичнее иных отделанных, взвешенных и выверенных вещей. В ней клоочет жизнь. Повесть написана с азартом человека, которому не терпится поделиться своим открытием и болью. Повесть наполняет жизнь рабочих поселков, рабочих коллективов, жизнь производства, то, что Алексеева знает так хорошо. Это не наблюдения, не командировки, за годы работы в ленинградской промышленности это стало биографией, это прожито и пережито. Современная промышленность — материал для литературы куда как трудный. С каждым годом технология становится сложнее и недоступнее и для читателя и для писателя. Как рассказать о том, вокруг чего бушуют страсти и чем заняты герои? В некоторых повестях «куют что-то железное», проблема условна, она как бы не должна играть особенной роли — не все ли равно, железное это, медное куют или отливают. Но условность проблемы мстит, порождает условность характеров. У Алексеевой легко узнается конкретность, я даже сказал бы, историчность событий. Я догадываюсь, что это за производство, и что за город при нем, и что за история там произошла. И хотя все это зашифровано, но за условностью явственно проступают водяные знаки подлинности. Ощущение достоверности случившегося усиливает наш интерес и доверие. Конфликт повести «Дорога в Городок» острый, он затрагивает нерв нынешнего промышленного бытия, затрагивает достаточно смело, и это позволяет автору раскрыть характеры некоторых из героев драматично и по-новому.

Мы много сетуем на бедность литературы о жизни рабочего человека, а между тем она пополняется новыми интересными произведениями и писательскими именами. Повесть «Дорога в Городок» — одно из таких пополнений, и надеюсь, что имя Магды Алексеевой — одно из таких имен.

Даниил ГРАНИН.

### 1. Ильин

«]П[ рошу отселить меня с дочкой от моего мужа Ильина М. И. ...»

Она, когда оставались одни, называла его Мишуля. Мягко так выговаривала: «Мишуля». Была невысокого роста, худенькая, но сильная, никогда не уставала. Он, во всяком случае, не видел, чтобы когда-нибудь отдыхала от усталости. Валентина, ее младшая сестра, та то и дело жаловалась, что устала, замучилась, никто не помогает: «Сели на мою шею, паразиты!» А Татьяна только смеялась, глядя в сердитое лицо сестры: «Ничего, твоя шея и не то выдержит».

Странно, что они родные сестры: худенькая, ласковая Татьяна и крупная, в два обхвата, с тяжелым, злым лицом Валентина. Она казалась старшей еще и потому, что все время командовала. «Ну расшумелась, мать-командирша!» — говорила беззлобно Татьяна.

«...от моего мужа Ильина М. И.». Это «М. И.» казалось сейчас особенно горьким, ужасным, соединяясь каким-то образом с ее чужим лицом, утонувшим в складках белой материи, топорщившейся в гробу.

Все время, пока стояли в морге и потом у раскрытой могилы, он видел эту материю, а на лицо старался не смотреть. Это было не ее лицо, а он хотел запомнить ее.

Сын и дочка настояли, чтобы отец после похорон не возвращался в пустую квартиру, а жил бы у них: сначала у Наташи, дочери, а потом у Илюши, сына. Дети уже давно жили отдельно, каждый в своей квартире, у каждого семья. Они были ласковые, добрые ребята и сейчас — Ильин понимал это — страдали за него больше, чем за себя. Им казалось, что со смертью матери жизнь отца тоже как бы кончилась, и чувствовали какую-то смутную вину перед ним: вот им есть куда вернуться после кладбища, а ему некуда, кроме как в пустую квартиру, из которой ушла жизнь...

Он пришел к себе домой только сегодня, после сороковин. Опять ездили на кладбище и с кладбища поехали к Илье. Надя, невестка, на кладбище не ездила, и поэтому к их приходу все уже было готово: стол раздвинут и накрыт, и у каждого прибора чашка с киселем. Кто-то сказал, что так надо: и на поминках и на сороковой день пить кисель — поминанье. Потом пили водку, а женщины болгарское вино.

Фотография Татьяны в рамке, обтянутой черным бархатом (сделал Игорь, муж Наташи), стояла на серванте против того места, где сидел Ильин, и лицо на фотографии все время расплывалось у него в глазах от слез. Ему казалось, что он и не плечет вовсе, но лицо все время расплывалось, и только черная рамка неумолимо выделялась на светлой стене.

Все эти дни, уступив детям, он жил сначала у Натальи, потом у Илюши, и было ему тяжело, неприкаянно и только сейчас, когда вернулся домой, стало легче. Здесь, в доме, Татьяна была жива, а во всех остальных местах — нет. Там всюду шла своя жизнь — как ее остановишь, да и зачем? — а здесь, в своем доме, Татьяна продолжала оставаться незримой хозяйкой раз и навсегда заведенного порядка.

И когда наливал воду в чайник («Дай стечь воде-то, свежее будет», — говорила Татьяна), и когда открывал форточку, чтобы проветрить квартиру («Пусть профуфенится», — смеялась Татьяна, подражая его бабке, к которой ездили когда-то в деревню), — все время Ильин чувствовал рядом молчаливое присутствие жены, и это успокаивало, примиряло с жизнью, в которой ее уже не было.

Он знал, что заснуть сразу не удастся, и решил поискать Татьянины фотографии, которые Илюша собирался увеличить.

Фотографии — он знал — хранились у Татьяны в одном из ящиков длинной полированной стенки, купленной как раз перед тем как уезжали из Колпина. Разбирая ящики, Ильин и наткнулся на этот сверток со старыми, давно отжившими свой век бумагами: справка из санэпидстанции о том, что в квартире нет заразнобольных домашних животных, страховый полис, копия ордера на комнату в семнадцатую с половиной метров на улице Труда, 21 — их первое жилье, если не считать общежития; и это пожелтевшее за четверть века заявление в завком, которое она, оказывается, написала, но не отнесла: «Прошу отселить меня...»

С горькой усмешкой Ильин представил себе, как она писала это заявление, а Валентина сидела рядом и диктовала. Он был уверен,

без Валентины здесь не обошлось, сама никогда б не додумалась. Бежать к Ижоре, к речке, зимой утопиться и тем наказать его непоправимо — это она хотела и даже, страшно себе представить, наверное, могла бы, но заявление в завком...

Тогда была зима, электрички в Ленинград ходили нечасто, и почему-то в ту зиму в вагонах было холодно, не топили.

— Ну что, поедешь? — спросил его после смены Лешка Самоваров, напарник.

Собирались на хоккей. По нынешним временам это выглядело подвигом — ехать из Колпина в город на хоккей. Нынче в кои-то веки оторвутся от телевизора и съездят во Дворец спорта «Юбилейный» — все равно что в цирк сходят. Сидят себе под круглым куполом, в перерыве покупают мороженое. Никто и не помнит уже, как отчаянно мерзли вон там, напротив «Юбилейного», на стадионе Ленина.

Сначала мерзли в электричке, потом, не успев как следует отогреться в тесном троллейбусе, бежали на стадион и там, хлопая друг друга по спинам, хохоча, притоптывая ногами в негнущихся ботинках, кричали: «Давай! Давай!»

На том месте, где теперь Дворец спорта, за глухим забором темнели огороды и, занесенные снегом, стояли низкие оранжереи городского питомника, а со стороны Тучкова моста к питомнику примыкала территория Речного училища.

— А это кто? — спросил Ильин у Лешки, показывая глазами на парня в черном бушлате. Они столкнулись с Лешкой у входа на стадион и шумно обрадовались друг другу.

— А это кореш мой! — радостно ответил Лешка. — На Балтике вместе служили.

Оказалось, Лешкин кореш — его звали Макашин, Виталий Макашин — живет недалеко от стадиона, за Тучковым мостом, в банном дворе. Это он так сказал:

— Я тут рядом, в банном дворе, пошли погреемся.

Круглое зимнее солнце малиновым шаром закатывалось в Неву, деревянный настил Тучкова моста скрипел под ногами.

— А где тут у вас? — спросил Лешка. — Согреться ж надо!

— Согреться найдем, — ответил Лешкин кореш.

— Нет! — запротестовал Лешка. — Ты сперва покажи, где магазин.

Из магазина бежали бегом, лица у всех троих красные, а ресницы и брови белые, заиндевшие. Во дворе, однако, стучала капель. Это баня выбрасывала пар, и то, что не успевало превратиться в сосульки, каплями падало в снег.

Двор был странный, то есть не двор, а дом — с каменными итальянскими аркадами. Первые строители города — итальянские мастера — строили его, видимо вспоминая свою родину, увитые виноградом широкие балконы... Здесь с карнизов у водосточных труб гроздьями свисали сосульки, на веревках скрипело замерзшее белье. Баня была такая же древняя, как дом.

— Ее называют петровской, — сказал Лешкин кореш.

Комната, в которую он их привел, была тесно уставлена кроватями. К одной из них придвинули стол и две табуретки. В печке жарко пылал огонь.

— Это ты ж кого привел, Виталик? — спросила, входя в комнату, пожилая женщина с круглым лицом. И сама она была круглая, в темном фартуке, и от улыбки на ее щеках делались круглые ямочки.

Ильин не помнил матери, она умерла, когда ему было полтора года. Вырастили его сестры и бабка, мать отца, суровая, вечно занятая женщина. В ее доме нельзя было посидеть просто так, праздно. «Делать надо! — одергивала бабка внуков. — Ты чегой-то не

делом занят?» Она и сама все время что-то делала, толклась весь день до ночи. «Делов! — только и слышно было от нее. — Делов столько, что не переделывать!» Ильин не помнил, смеялась ли когда-нибудь бабка.

А тетя Даша Макашина (она так и сказала про себя: «Меня тут все зовут тетя Даша Макашина, потому что у нас еще одна Даша есть, так та — Игнатъева») — тетя Даша Макашина была улыбочива, смешлива, даже о тяжелом и страшном рассказывала, словно посмеиваясь над ним.

— ... А мы идем с коровой, представляете? Тут обстрел, трамваи стоят, а мы мимо трамваев с коровой. Она у нас уже к тому времени привыкла, обстрелов не боялась.

Тетя Даша рассказывала, как они бежали от немцев в Ленинград в сорок первом году.

— Все добро побросали, только корову и котенка забрали. Котенка Виталик за пазухой нес. Я так и сказала ребятам: «Бог с ним, с барахлом, живое бы увезти».

Ильин представил себе, как они появились в этом дворе с коровой...

— А дом наш в деревне сгорел. Я прошлый год ездила, так представляете? — вот эту кочергу на пепелище нашла! — рассказывала тетя Даша, смеясь. — Надо, думаю, хоть кочергу забрать, ведь и она сгодится.

Тетя Даша взяла кочергу и помешала угли в печке. От выпитой водки и печного жара Ильин и Лешка Самоваров разомлели, выходить на мороз не хотелось, но надо было.

— А чего надо? Завтра воскресенье, ночуйте у нас, — предложил Виталий.

— Мне-то можно, я холостой, — засмеялся Лешка. — А Михаил женатик, ему нельзя.

Ильин покраснел.

— Почему это мне нельзя? Жена не пожар, может и обождать.

Пришла сестра Виталия Нина и еще две девушки-соседки, одну звали Вера, а другую Ильин не запомнил. У Веры была гитара, и она пела низким голосом:

Я вам скажу  
Один секрет —  
Кого люблю,  
Того здесь нет...

Через неделю снова поехали на хоккей и опять зашли к Макашиным, и опять Вера пела, поглядывая на Ильина, и выходить на мороз не хотелось...

Так продолжалось всю зиму. Валил снег, трещали морозы, крутились на льду, сшибаясь клюшками, хоккеисты в красных полосатых гетрах, а у Макашиных было тепло, даже жарко, и когда засиживались допоздна, то оставались ночевать.

Куричь выходили на лестницу. Вера тоже курила и, поводя плечами как будто от холода, прижималась к Ильину. Смеялась она как-то нервно, ему не нравилось. Вот как поет, нравилось. И нравилось, что она каждый раз угадывала песню, которую ему хотелось услышать.

...Когда была война и Мише было семь, восемь, десять лет, он любил слушать, как вечерами пели сестры. Одна песня особенно нравилась:

То ли в Колпине, то ли в Рязани  
Не ложились девушки спать,  
Много варежек теплых связали,  
Чтоб на фронт их в подарок послать...



Его очень занимало, что это за Колпино такое. Рязань — понятно, до Рязани от их деревни семьдесят верст, а Колпино?

— Где это Колпино? — спрашивал он у сестер.

Те не знали. Никто не знал, даже учительница в школе.

После шестого класса, в сорок седьмом году Миша уехал в Ленинград. Получилось это так: отец после войны в деревню не вернулся, остался в Ленинграде, где долго лежал в госпитале. Там и познакомился со своей новой женой, она работала нянечкой в их палате, звали ее Шура.

Голодной зимой сорок седьмого года Шура вдруг появилась у них в деревне Житово. Ее прислал отец, сам был еще так слаб, что не смог бы доехать. Прислал Шуру с полным мешком всяких продуктов: хлеб, сало, пшеничный концентрат — чего там только не было!

Бабка и сестры плакали, а Миша выскочил на улицу и возбужденно рассказывал сбежавшимся приятелям:

— Мы в Ленинград поедem! Папка велел нам всем ехать к нему в Ленинград!

Но все в Ленинград не поехали, поехал только Миша.

— Вот он пусть едет. А мне куда же? — строго сказала бабка. — Я уже старая разъезжать-то, а девки пусть решают, однако.

Но и девки (две Мишиных сестры, они уже работали в колхозе) никуда не поехали.

— Разве нас отпустят? — с горькой усмешкой сказала Маня, старшая. — Чтoб у нашего председателя справку выпросить, никаких слез не хватит...

Отца Миша не узнал то ли оттого, что отец так сильно изменился, то ли оттого, что, когда он уходил на фронт, Миша был еще маленький и плохо его запомнил.

Первые несколько дней Миша только ел и спал. Самым сильным впечатлением этого времени были батареи центрального отопления, от которых днем и ночью в комнату шло тепло.

— Поди ты! — удивлялся Миша. — И топить не надо, сами греются.

Шура и отец жили около вокзала, на Дегтярной улице. Напротив дома — баня, на углу — булочная, хлеб без карточек (их недавно отменили), покупай сколько хочешь, на кухне газовая плита, опять топить не надо — чем не жизнь!

А через две недели отец повез его к себе на завод определять в ремесленное училище.

Ехали паровиком долго, минут пятьдесят, может, больше. Наконец приехали. Когда Миша вслед за отцом вышел на перрон, то увидел прямо перед собой черными буквами на белом картоне написанные слова «Октябрьская ж. д. Ст. Колпино».

— Что это? — спросил Миша.

— Что? — не понял отец.

— Колпино!

— Ну Колпино, а что? — удивился отец.

Миша смутился.

— Да нет, это я так.

Но внезапно возникшее слово из той знакомой песни поразило. «Вот где оно, оказывается, Колпино! Я, выходит, буду в нем жить. Поди ты, какое совпадение!»

Тетя Даша Макашина сказала:

— Хватит петь-то! Небось соседям спать не даете.

— Ну еще одну, последнюю, — попросила Вера и вдруг запела:

То ли в Колпине, то ли в Рязани...

Ильину показалось, что эта девушка что-то знает про него, иначе как бы она угадала песню?

Получил командир батареи  
Эти варежки-пуховички...

«Дым, что ли, глаза ест?» — подумал Ильин, когда Вера кончила петь. Шел уже третий час ночи. Он вдруг собрался уходить.

— Ты что? — сказал Лешка Самоваров. — Пешком, что ли, пойдешь в Колпино?

— Первый поезд в пять тридцать, я на нем поеду, — сказал Ильин, отыскивая на сундуке свою шапку.

Вера прошла мимо, унося гитару и не прощаясь. Дверь в ее комнату была приоткрыта, и она (Ильин увидел, проходя) расплетала косу, сидя на стуле у кровати.

Он знал, что может войти, но Лешка Самоваров догнал его в коридоре:

— И я с тобой.

— Ты же хотел остаться.

— Да чего там! Все допили-допели, пора и по домам! — весело сказал Лешка.

Они вышли на улицу.

— А ты чего смурной? Татьяна боишься?

В Колпино добрались к утру. Татьяна с окаменевшем лицом сидела на кровати, держа на руках спящую Наташку.

— Утоплюсь! — сказала она ему свистящим шепотом. Они уже привыкли говорить друг с другом шепотом, чтобы не услышали соседи. Жили в общежитии, в комнате, перегороженной надвое платяными шкапами. В одной половине Ильины с дочкой, в другой — Колька Матвеев с женой и сыном. — Утоплюсь! Вот сейчас пойду с Наташкой к Ижоре и утоплюсь.

— Ты что, сдурела? — тоже шепотом ответил Ильин. Ему хотелось спать. — Ну задержались опять у Лешкиного кореша, выпили маленько, не захотелось идти по морозу.

— У кореша? — В голосе Татьяны звенели слезы, она уже не могла говорить шепотом. — Хватит мне мозги дурить! Кореш-то в юбке!

— Тише!

— Пусть все слышат! — громко и зло сказала Татьяна и стала вдруг похожа на свою сестру Валентину.

«Вот оно что, — догадался Ильин. — Это ее Валентина настропала».

— Валька, что ли, была у тебя?

— А хоть бы и Валька! Имей в виду, я в партком не пойду! Я утоплюсь!

— Дура ты! — рассердился Ильин, ложась на кровать и отворачиваясь к стенке. — При чем тут партком?

Он вспомнил, что, когда его приняли в партию, Валентина, узнав о событии, сказала, смеясь: «Теперь чуть что, тебя и прижать можно, не разбалуешься!» На это, что ли, намекала Татьяна?

— Дура! — повторил он снова. — При чем тут партком?

— А вот узнаешь при чем! — услышал он, уже засыпая.

Разбудили его громкие голоса. Кто-то говорил над ухом:

— Ишь, не выпался! Где же это он ночью был?

Проснувшись, в первую секунду ничего не понял: в ногах у него на кровати сидел Лешка Самоваров, у стола, вокруг которого хлопотала Татьяна, Ильин с изумлением увидел Виталия Макашина и Валентину. Валентина держала на коленях маленькую Наташку, и лицо у нее — это она умела — было загадочно и красиво. «Снится мне, что ли? — подумал Ильин, просыпаясь. — Откуда здесь Макашин?»

Оказалось, Ильин каким-то образом выронил в квартире у Макашиных свой заводской пропуск, и Виталий, обнаружив это, поехал в Колпино.

— Хорошо, у меня адрес Лехи записан был, а то ищи вас свищи, а у тебя бы завтра неприятности были,— говорил он Ильину.

Возможно, не будь этого забытого пропуска, все сложилось бы иначе: Макашин не приехал бы к ним в тот вечер, и не познакомился бы с Валентиной, и, значит, не женился бы на ней, и не стал бы для Ильина тем, кем стал — не просто родственником, свояком, а близким на всю жизнь человеком, ближе не бывает, хоть они и оказались теперь врагами.

## 2. Макашин

Тот тип в Чаттануге, маленьком американском городе, похожем на все их города, с огнями реклам, небоскребами в деловом центре (ничего себе маленький!), с улицами, как автострады... Тот тип в Чаттануге (безукоризненные манжеты, но без галстука и пиджака, ворот нараспашку, а они парятся в своих тройках), он все собирал складки над бровями, как будто крепко задумывался, прежде чем спросить:

— Мистер Макашин, вам нравится быть директором такого знаменитого Большого завода?

За него ответил Николаенко, широко улыбаясь, якобы вполне оценив шутливость вопроса:

— Эта должность мистеру Макашину по росту: вон он какой большой и тоже знаменитый...

И все заулыбались, закивали. Светские вопросы — светские ответы. Однако тот, с нахмуренным лбом, — Макашин это видел — был всерьез заинтересован его личностью. Умен? Деловит? Нравится ему его роль?

С тех пор прошел почти год, а помнится, будто было вчера. Как летели с Николаенко обратно в Москву усталые от впечатлений, он во всяком случае, Николаенко-то уже был человек привычный, куда только не приходилось ездить.

Вот и сейчас они летят вместе, на этот раз из Гамбурга, из ФРГ, и роли переменялись: тогда Николаенко был над ним начальником, теперь он начальник над Николаенко.

Макашин скосил глаза и увидел, что Николаенко дремлет. «Хорошо держится,— подумал он,— достойно, без натуги. Я бы так не смог, меня бы обида заела, если бы вот так обскакали».

Макашин уселся поудобней и тоже закрыл глаза...

Всю жизнь он хотел быть первым. Это тайное непреодолимое желание отравило детство и потом юность, пока не научился справляться с внезапными, как приступ боли, уколами самолюбия. Что-то осталось и сейчас, но разве сравнишь с тем ощущением горя, когда он не смог быстрее всех переплыть Оредеж и все видели, сидели на берегу и видели, что Виталька Макашин отстает от Рыжего, а Рыжий был на год и два месяца моложе и ходил только еще в третий класс.

И в юности, когда учился в институте, сколько сил было потрачено на то, чтобы стать сталинским стипендиатом, и на то, чтобы никто не понял, как нелегко ему даются эти «отл.» в зачетке.

Только мать знала, мать все про него знала и не осуждала, а одобряла это его первенство, стремление к нему.

— Молодец, молодец,— говорила она,— тянись изо всех сил, всегда тянись. Кто первый, тот и прав.

После института его как сталинского стипендиата оставили в Ленинграде, в Колпине. Все ребята разъехались кто куда. Разъезжались шумно, каждый день проводы, прямо на перроне пили сидр из

толстых, как от шампанского, бутылок, пели песни, у девочек слезы на веселых лицах...

Опять он был полон зависти: его некуда было провозжать. Не в Колпино же, в самом деле, куда он получил назначение. На последнем курсе он и жил в Колпине, где у Валентины была комната.

— Вот что значит удачно жениться, прямо с попаданием в десятку,— сказал при распределении ректор, взглянув в его документы.

Но у самого Макашина как будто пропало ощущение удачи. Все куда-то едут, будет новая жизнь, а он остается в старой. Не обошла ли его судьба?

Потом понял: не обошла. Через пять лет на вечере встречи, устроенном в институте, он оказался опять первым среди бывших сокурсников: уже директор филиала (считай, целого завода), уже растут дети, и жена — он пришел на вечер с женой — пригласила всех к ним домой и устроила такой прием, какой только она умела, когда хотела ему угодить.

— Ну, Макашин, ты молоток! — говорили бывшие мальчики и девочки, уже слегка ожесточившиеся в жизненных битвах.

Разве ему просто везло? Нет, конечно! Он всегда работал, как вол, никакого времени не жалел для того, чтобы во все вникнуть, все понять — от технологии до бухгалтерии. С технологией было, конечно, проще — слава богу, он не дурака валял в институте, — а вот с бухгалтерией, то есть со всеми этими финансовыми закавыками (целая отдельная наука!), голову сломаешь.

Но он вникал, сидел по вечерам над книгами, над учебниками. Павел Григорьевич — какой был старик! — говорил ему: «Не стесняйтесь спрашивать, незнание еще никого не унижало...» Какой **был** старик!

Ему везло на людей — вот это верно. И сейчас везет. Даже с Николаенко ему повезло. Никаких обид, когда роли переменились, все очень достойно, без натуги. Он сам вряд ли бы так смог. **Вдруг** стать вторым!

Три месяца назад Макашина забрали с Большого завода в Москву. Для всех и для него самого это было удивительно. Он ждал любого, даже вернуться в Колпино обыкновенным инженером (нет, уже, пожалуй, не обыкновенным, а разжалованным!), и вдруг — в Москву!

Тогда в суматохе случившегося он не слишком понимал, почему, за что его-то вывели «из-под обвала»? Даже Валентина ахала: «Чего это тебя пощадили?» Ей бы радоваться, а она ахала.

Сейчас он понимает: директор Большого завода — не иголка в стог сена, куда его спрячешь? Пусть уж лучше остается на виду: и вопросов меньше и вообще спокойней.

...«Мистер Макашин, вам нравится быть директором такого знаменитого Большого завода?..»

Этот из Чаттануги небось и не узнал бы его сейчас.

«Почему вы так постарели, мистер Макашин? Еще год назад вы были ого-го!..»

Год назад и Большой завод выглядел не так, как сейчас. Макашин поймал себя на том, что опять думает о Большом заводе как о живом человеке. Как скучал, когда уезжал, и как любил возвращаться!.. Юлия ревновала его к Валентине. Глупости! Если и надо было ревновать, то только к Большому заводу.

Бирюзовые прямоугольные корпуса, и синее небо над ними, и желтая жидкая глина дорог — осень, на базаре продают дыни, баклажаны (их здесь называют синенькие), продают белых живых кур, гусей, они кудахчут, гогочут, тянут **шеи из плетеных корзин**.

Между бирюзовыми корпусами и базаром — два города с общим именем Городок. Новый Городок и старый. Старый, впрочем, тоже не слишком стар, ему всего тридцать лет, а новому пять. Поэтому и в старом городе нет ничего старинного, но зато здесь много деревьев, есть городской сад и еще много садов вокруг частных, крепко сбитых домов.

Вообще в старой своей части Городок немногэтажен. В пятидесятые годы, когда его строили, в архитектуре преобладал стиль коттеджей. Что с того, что в них станут жить единицы, ну десятки, ну сотни? Зато как красиво, как радуется глаз...

Одну из таких радующих глаз улиц кто-то окрестил в Городке Дворянской. Городской транспорт по улице не проходит, она засажена тополями и липами.

В новой части Городок похож на всех своих собратьев: то ли это Чертаново в Москве, то ли Веселый Поселок в Ленинграде, то ли Святошино в Киеве... Это сходство здесь никого не раздражает, наоборот! — здесь гордятся сходством, стремятся к нему. И если бы степь так мстительно не наступала на город и не текла бы поверх асфальта мутными глиняными реками, в которых тонут и ноги и колеса, можно было бы всерьез поверить, что живешь в Ульяновке, или в Беляево-Богородском, или еще в какой-нибудь новостройке среди сияющих огнях шестнадцатэтажек, а внизу магазины, бесчисленные салоны, кафе «Электрон»...

Как скучал, когда уезжал, и как любил возвращаться!

Большой завод начинался невиданно: строили и осваивали одновременно. Едва подвели под крышу, стали гнать продукцию. Нельзя было ждать, потому что продукция была нужна. Все в жертву этому, все! Если бы его сейчас спросили, кто виноват, он бы знал, что ответить. «Никто, — ответил бы он. — Никто и все вместе».

Но его не спросили, кто виноват, его спросили иначе.

— Вы признаете свою вину? — вот как его спросили.

— Да, — сказал он. Он знал, что надо сказать «да», а там уж куда вывезет, хоть не понимал, в чем вина, и сейчас не понимает.

Нельзя было строить там, где построили? Ну, допустим. А он-то при чем? Это же не он, а кто-то другой принял неправильное решение.

— Кто-то напортачил, а ты, выходит, должен отдуваться? — сказала Валентина, когда он, мрачный, вернулся домой, проводив заместителя министра. Тот прилетал из Москвы, чтобы, как он выразился, «на месте ознакомиться с выводами комиссии».

Когда Большой завод вводили в эксплуатацию, этого замминистра еще в министерстве не было, был другой, которого потом передвинули выше.

Вполуха слушая Валентину, гремевшую кастрюлями, Макашин подумал: «Все ищем виноватых. Кто-то напортачил... Где же этот «кто-то»? Смешно, но ведь никакого «кто-то» нет, он, как пыль в воздухе, растворен в резолюциях, протоколах».

«Эпоха коллективной безответственности», — говорила Юлия, сердясь и негодуя, а он еще спорил с ней, пытаясь доказать, что не права.

Давным-давно, когда Большой завод только начинали строить и однажды по телевизору показали, как варят в гигантской степи гигантские конструкции будущих корпусов, он спросил Валентину:

— Хотела бы туда поехать?

— С ума сошел? С какой такой стати я должна этого хотеть?

Она даже не поняла, что он не зря спрашивает. Вопрос уже решался, но дома он еще ничего не рассказывал: к чему раньше времени дразнить гусей?

Дома он вообще редко рассказывал о своих делах, но жена каким-то образом многое узнавала. Должно быть, от Татьяны, своей

сестры, жены Михаила. Но в этот раз и Татьяна ничего не знала, так быстро все произошло — слухи не успели распространиться.

Вечером он сам позвонил Ильиным и позвал их зайти.

— Разговор есть, — сказал он Михаилу. — Бери Татьяну и давай к нам.

— А что такое? — заволновалась Валентина. — Случилось что-нибудь?

Макашин решил, что объявит новость при Ильиных. Конечно, Валентина поедет, куда ж денется, но сколько будет ахов и охов, сколько злых слез!

Любую перемену в жизни она встречала с ожесточением: зачем вырастают дети, влюбляются, красятся, приходят домой за полночь, как Лариса, говорят басом, курят, как Антон?..

Узнав о назначении, Валентина несколько секунд ошеломленно молчала, потом понеслась:

— Уезжать отсюда? Из-под Ленинграда? В глушь? И это называется честь оказали? Да дураком надо быть! Где мы еще такую квартиру получим — четыре комнаты, две лоджии...

Она захлебывалась словами, слезами, пока Макашин не крикнул: «Хватит! К такой матери!» — и Татьяна увела ее в кухню.

С Михаилом допили водку и вышли на балкон.

— А если тебе предложат, поедешь? — спросил Макашин, закуривая.

— Куда это ты гнешь? — засмеялся Михаил.

— На Большом как раз такие, как ты, позарез нужны.

— Да уж! — снова засмеялся Михаил. — Без меня Большой не обойдется! Туда, между прочим, если верить газетам, со всей страны народ едет.

— Что ж, что со всей страны? В нашем деле против Колпина и страна не потянет.

— Да уж не лъсти ты мне ради Христа! — сказал Ильин.

— Почему тебе? — Макашин погасил сигарету о перила балкона. — Я, может, себе льщу. Ты, что ль, один из Колпина?

Он был оглушен назначением. Впервые приехав в Городок, удивился: как же он раньше жил без этого? Синее небо над необъятной степью... Жил, зажатый в улицы, в красные кирпичные заводские корпуса, старые цехи.

Когда самолет разворачивался и делал круг над Городком, ему показали из иллюминатора сверкнувшие на солнце корпуса Большого завода.

В те дни еще продолжали завозить оборудование. Красные, желтые, синие станины шведских станков...

— Умеют же делать, черти! — весело говорили рабочие. — У нас выкрасят в серо-буро-малиновый цвет, хоть задавись с тоски.

Потом праздник померк. Сначала заслонился буднями, потом мелкими неприятностями, потом...

Макашин помнит, как год назад вернулся из Америки и увидел эту трещину, что снизу доверху прошла стену главного корпуса.

### 3. Юлия Рубеновна

Медные стрелки на старинном, красного резного дерева барометре показывают бурю. Мать Юлии всегда утверждала, что барометр висел в паровой каюте ее деда и был возвращен семье вместе с остальными вещами, после того как дед погиб при невыясненных обстоятельствах во Владивостоке в 1880 году.

Его старшему сыну Борису, будущему отцу Юлиной матери и, значит, Юлиному деду, не исполнилось в то время еще и восьми лет.

Через двадцать пять лет дед Юлии тоже погиб, но не во Владивостоке, а в Цусимском проливе.

Юлиной матери было тогда три года, она не помнила отца, но всю свою жизнь безмерно уважала и его и деда, гордились ими, хранила в старинном кожаном бюваре пожелтевшие письма, документы, дневники.

Юлии при жизни матери вечно было недосуг заглянуть в этот бювар, хотя мать сколько раз просила:

— Почитай! Это же так интересно, это целый роман — жизнь, любовь, смерть...

Когда в школе на уроке истории проходили войну с Японией, мать сказала:

— Покажи в классе фотографию деда, он погиб при Цусиме, он герой.

Юлия засмеялась:

— Какой герой? Это была позорная война, какие там могли быть герои!

Дура, обидела мать, ничего не понимала, дура.

На фотографии (в рамке, обтянутой кожей, она всегда стояла у матери на столе) дед снят в окружении матросов — лица серьезные, на бескозырках написано «Броненосец «Князь Суворов». «Суворов» и «Броненосец» с твердым знаком на конце.

Быть может, Юлия никогда и не добралась бы до бумаг из кожаного бювара, если б не увидела случайно в квартире у Ильина точно такую же фотографию. Машинально открыла однажды альбом, лежавший на столе у дивана, и вдруг точно обожгло: матросы в бескозырках и эти знакомые с детства, с твердыми знаками на конце слова «Броненосец «Князь Суворов».

Откуда? Почему? Совершенно непонятно! Однако, вернувшись в тот раз из Городка, в первый же вечер достала потершийся на сгибах бювар и принялась читать.

«Корпуса инженер-механиков капитан Борис Торсен считается погибшим со всем личным составом броненосца «Князь Суворов» и исключен из списка флота Высочайшим приказом по Морскому ведомству от 20 июня сего года за № 618. Лейтенант Лаптев».

Сейчас это называлось бы — похоронка, а тогда неизвестно, как называлось: четким почерком штабного писаря семь страшных строчек на «Открытом казенном письме» с двуглавым орлом в верхнем левом углу.

«Корпуса инженер-механиков капитан Борис Торсен...»

Прабабку Юлии звали Ольга Петровна Галицкая, в замужестве Торсен. Вот она сидит перед черным (так и видишь его!) ящиком фотографического аппарата. 1880 год, муж Ольги Петровны Виктор Романович Торсен, капитан-лейтенант флота (все Торсены еще со времен императора Петра — военные моряки), перед отплытием в кругосветное плавание привез семью к фотографу на Невский проспект.

Вероятно, наняли экипаж, дети принаряжены, у мальчиков отложные матросские воротники, курточки с золотыми пуговицами. На Ольге Петровне платье с кринолином, оно едва умещается в кресле.

Вероятно, ехали в экипаже с Петербургской стороны (адрес на конвертах: «На Петербургской стороне, близ Тучкова мосту»), мальчики с отцом впереди, Ольга Петровна с трехлетней дочерью в глубокие коляски.

Мальчиков двое — Борис и Алеша, Борис старший, ему семь с половиной лет. Это он будущий капитан корпуса инженер-механиков, погибший вместе с броненосцем «Князь Суворов» в сражении при Цусиме.

А пока еще все живы, приехали к фотографу накануне отплытия Виктора Романовича в кругосветное путешествие...

«На пароходе «Антонио» в Финском заливе,  
4-го июля 1880-го года, пятница.

Хотя я и не обещал тебе, дорогая моя Олюша, вести дневник, подобно Постельникову (не обещал потому, что вообще считаю лучше не связывать себя по возможности обещаниями и делать всегда больше, чем от меня ожидают), но ведь у меня самого есть постоянное желание поделиться с тобою мыслями и впечатлениями, и потому я охотно беру в руки перо, чтобы поговорить с тобою.

Воротившись во вторник вечером в Кронштадт, я проехал с парохода прямо на брандвахту, где по уговору нашел буксирный пароходик, ожидающий меня, и на нем вместе с артиллерийским чиновником к половине десятого прибыл на «Антонио». К полуночи работы по исправлению машины на «Антонио» были закончены, но порох еще не весь был погружен.

Я просидел весь вечер в кают-компании с англичанами — с капитаном и агентом владельцев парохода, между которыми совершенно нечаянно возбудил очень жаркий политический разговор.

Речь зашла о парламенте и различных политических партиях в Англии. Я попросил объяснить мне, чего добиваются ирландцы. Агент ответил, что они требуют полной самостоятельности управления для своей страны, но что это требование бессмысленно, потому что Ирландия — бедная страна и без поддержки Англии существовать не может.

Капитан же, представь себе, оказался ирландцем, он с большим жаром стал доказывать, что Ирландия так бедна, потому что ее угнетают англичане, и она вовсе не поддерживается Англией, а эксплуатируется, высасывается ею. Земля хорошая и дает хорошие урожаи, но вся принадлежит аристократам-протестантам, которые проживают свои огромные доходы либо в Англии, либо за границей.

Точно так же все высшие должностные лица назначаются из англичан-протестантов, а ирландцы (католики!) платят им большое содержание, обложены огромными арендными платами за пользование землей и не получают никакого развития за неимением католических школ.

В каждом приходе, хотя бы в нем было десять протестантов и 5000 католиков, существует протестантская церковь и при ней школа для детей протестантов, и народ (католический!) принуждается правительством платить за их содержание большие деньги.

Капитан говорил обо всем этом с большим жаром, и я уже пожалел, что затронул его больное место.

Так мы просидели далеко за полночь, а поутру снялись с якоря и ушли в море. Мимо нас прошла, обогнав нас без труда, яхта «Царевна» с Наследником, возвращавшимся в Гапсаль...»

«14-го июля 1880-го г.

Как мне благодарить тебя, мой дорогой, добрый Витя, за то, что ты не оставляешь меня без известий. Не знаю, куда отправить это письмо, думаю, оно уже не застанет тебя в Порт-Саиде, а в Сингапуре ты еще не скоро будешь...»

Чего только, оказывается, не хранится в кожаном бьюаре! «Это целый роман, — говорила мама, — жизнь, любовь, смерть...»

Юлии еще совсем недавно было не до чужих романов, тем более таких старозаветных. Какая разница, как жили деды, как были молодцы, как погибали...

Интересной могла быть лишь собственная жизнь, ее горячие токи, шум крови в висках — позвонит? не позвонит? — зловещий чер-



ный телефон, и — о радость! — заливи́стый перезвон звонка, и на другом конце провода единственно нужный голос.

Целые годы ушли как не были: писем давно уже никто не пишет, дневников не ведет...

«После меня,— думает Юлия, разбирая бумаги в кожаном бьюаре,— не останется никаких архивов, разве что пачка счетов с между-городной телефонной станции: "ЛМТС 193167, Ленинград, Синоп-ская наб., 14, справки по телефону 274-89-76. Абонент... Дата... Код... Сумма... Оплатить до... Хранить три года"».

Вот и все. Хранить три года. Через три года можно все выбро-сить, и даже следов не останется от бесконечных, изматывающих душу телефонных разговоров.

Сначала телефонистка:

— Алло! Городок ожидаете?

— Да! Да! Ожидаяю!

— Минуточку.

И тотчас же голос Макашина:

— Это ты? Я перезвоню тебе.

— У тебя совещание?

— В общем, да.

Он никогда не перезванивал, как обещал, проходил день, и два, и три, и вдруг однажды среди ночи (она и не ждет ничего) настой-чивый непрерывный звонок.

— 218-32-32? Городок вызывает! Ответьте!

И спросонья, ничего не успев сообразить, она слышит:

— Это ты? Я тебя люблю!

— С ума сошел! — кричит она счастливо.— Ведь ночь, где ты там? Пьете, что ли?

— Не важно! — смеется он, и она видит, как ему хорошо, какой он большой, загорелый — даже зимой кажется загорелым! — как удачлив и доволен всем на свете.

В трубке начинает трещать, голос куда-то пропадает, и она едва слышит, как он говорит еще раз:

— Я тебя люблю.

Где это сохранишь кроме как в памяти? Где? Жизнь тороплива.

Плывет из Санкт-Петербурга в Англию, потом через Средиземное море мимо Италии, по Суэцкому каналу и дальше, дальше в Красное море пароход «Антонио» (парусное судно с машиной), принадлежащий Английской пароходной компании, на котором прадед Юлии ка-питан-лейтенант Виктор Романович Торсен продолжает свое послед-нее плавание.

Никто еще не знает, что оно последнее: ни сам капитан-лейте-нант Торсен, ни его жена Ольга Петровна, оставшаяся в Петербурге с тремя детьми, ни его сыновья Борис и Алеша.

Об этом знает Юлия, читающая сто лет спустя письма своего прадеда жене и детям.

«Милый Боря, здоров ли ты, мой голубчик, и как поживаешь? За-нимаешься ли каждый день хоть по часу? Напиши мне, дорогой, как умеешь.

Не могу сказать тебе, как я теперь доволен, что прилежно учил-ся английскому языку, когда был мальчиком.

Здесь, на пароходе, все англичане, кроме трех русских, и если бы я не умел говорить по-английски, всем нам пришлось бы туго. Не упускай же и ты, мой милый, выучиться всему, чему только можешь...

Будь здоров, родной мой, веди себя хорошо.

18-го июля 1880-го года на пароходе «Антонио»  
в Средиземном море».

— Юлия Рубеновна! Я включил вашу кандидатуру в состав комиссии...

О, безмозглый дурак! Он думает, что осчастливил ее, заискивает, потому что она победила.

Кто-то из институтских остряков назвал комиссию чрезвычайной, а их всех — чекистами.

— Ну, чекисты,— сказал, входя в самолет и усаживаясь на макашинском месте, Сергей Соловьев из лаборатории надежности,— сыграем пульку?

В этот раз Большой завод прислал за ними так называемый генеральский самолет; обычно присылали другой, попроще.

В этом был салон с диванами, круглый стол, в простенке у дверей холодильник-бар: Макашин любил летать с комфортом.

— Ну, чекисты...

— Подожди,— отмахнулся от Соловьева Степанчук. Он, не скрываясь, казался самым озабоченным.

Юлия видела, что Сергей валяет дурака, а Степанчук, будто до него только сейчас дошло, озабоченный, хмурый — не подступись.

— Ты чего? — спросил Соловьев.— Трусишь?

Они летели топить самих себя. А может быть, спасти? Но тогда зачем в комиссию включили Юлию Рубеновну Казарян? Ведь Казарян-то с самого начала была с теми, кто считал, что нельзя строить Большой завод там, где его построили.

— Трусишь?

— Да нет, зачем же,— пожал плечами Степанчук.— Любишь кататься...

— Вот-вот,— подхватил Соловьев,— люби и саночки возить. Хорошо еще, если саночки, а не тачку!

Он захохотал, вытянув под столом длинные ноги, запел дурашливо:

Грязной тачкой  
Рук не пачкай,  
Это дело перекурим как-нибудь...

Самолет уже набрал высоту и теперь летел в облаках.

— Что вы там видите, Юлия Рубеновна?

Юлия вздрогнула и отвернулась от иллюминатора.

— Я просто задумалась.

Ей бы радоваться, ведь она победила. Победила и плачет, умирает, места себе не находит.

Когда начинали строить Большой завод, нет, еще раньше, когда задание на проектирование получил их институт и они поехали в Городок брать пробы и вообще определяться на местности, ей стало ясно, что здесь нельзя строить. Не ей одной — против были многие. Где они теперь? Одни потом сделали вид, что и не думали никогда быть против, другие ушли. Николай Кузьмич умер. Считается, что от рака, но она-то знает, от чего он умер.

Господи, эти первые годы, не годы — месяцы, недели! Время исчислялось неделями. Такой спешки, такой гонки не помнят даже институтские старожилы. По правде говоря, они и завода такого не помнят, раньше таких не строили.

В гигантской степи на сотни гектаров сняли плодородный слой и свезли в хранилище. Из века в век земля лежала под солнцем, теперь лежит под крышей.

— Ну и пусть себе лежит,— сказал Юлии Рубеновне заместитель директора института Геннадий Сергеевич Громов.— Далась вам эта земля! Что вы так переживаете?

Юлия Рубеновна тоже заместитель директора, но Громов — первый заместитель. Разговор о земле произошел у них случайно, после оперативки, когда, охрипнув от споров, они выходили из конференц-зала.

— Представьте себе, мне снится эта земля, которую свезли в хранилище,— сказала Юлия Громову без видимой связи с предыдущим.  
— Какая земля? — удивился Громов.

«Пароход идет хорошо, свежий попутный ветер надувает паруса, поставленные в помощь машине, и умеряет жару. Сажу на корме под тентом, пишу и покуриваю и думаю о вас и о далеком Петербурге.

Если обстоятельства не переменятся, то будем в Порт-Саиде в четверг вечером вместо утра пятницы, и я днем раньше получу ваши письма и узнаю, что вы подделываете...»

Макашин не простил ей ее правоты. Так и должно было случиться. Он слишком самолюбив, прямо-таки болезненная какая-то черта. Все ходил в героях, в героях и вдруг — сворачивайся, уезжай в обыкновенный гавк, каких десятки. А Большой завод — один.

Но она-то в чем виновата? Она и его предупреждала — кончится катастрофой, ну не катастрофой, так неприятностями, очень серьезными.

«2-го сентября 1880-го года.

Мой милый, дорогой Витя! Вот уже пятая неделя, как я не имею ни строки от тебя и, сознаюсь, дорого бы дала, чтобы знать, где ты в настоящую минуту, как себя чувствуешь, о чем думаешь.

Я написала два слова Алексееву, которого прошу сообщить мне, нет ли телеграммы от тебя из Сингапура. Сегодня я уже получила от него ответ, любезный и предупредительный донельзя. Он сообщает мне, что по телеграмме, полученной в канцелярии Морского министерства, вы двадцатого августа отправились из Сингапура в Нагасаки...»

Что сказал бы Иван, если бы узнал, что человек, которого она любит, считает Асадова лучшим на свете поэтом и переписывает его стихи в записную книжку?

«Очередная твоя блажь», — сказал бы Иван. Это его любимое слово — «блажь».

— Что ты блажишь? — сказал он ей, когда она объявила, что подает на развод. Считал: блажь, несерьезно, пройдет. Не прошло.

Полюбив Макашина, она не смогла больше жить с Иваном. Колола глаза его ненатуральность, выдуманность, эта рафинированность, которая когда-то так нравилась.

Лизка (ей ничего не стоит называть вещи своими именами) говорит матери:

— Я тебя отлично понимаю. Макашин — настоящий мужик, а Иван у нас чересчур интеллигент, это нынче не модно.

Ужас! Все ужас. И «настоящий мужик» в устах дочери, и «Иван». Она называет отца Иваном, он сам ее этому научил. Ужас!

— Что значит не модно? — рассердилась Юлия. — Как это вообще может быть модно или не модно? Все равно что сказать: умирать сейчас не модно.

— Да ты не понимаешь! — высокомерно отрезала Лизка.

«Ужас! С собственной дочерью не нахожу общего языка. А с кем нахожу? всю жизнь слушала, что скажет Иван, что он подумает об этом или о том. Бесконечно было важно, что скажет».

А вот что скажет Макашин, совершенно не важно. Важно, что он сделает, как поступит. Раньше ее жизнь зависела от слов, теперь — от поступков.

Уехав в Москву, Макашин перестал звонить ей среди ночи, прилетать неожиданно с арбузами, с гигантскими лещами, уверяя, что сам поймал их вчера на удочку.

Юлия жарила лещей, звонила Лизке, та приезжала после работы с мужем, начинался пир...

Большой завод — вот что связывало их.

— Мы с тобой из одной упряжки, — смеясь, говорил Макашин. — Проектировщик и эксплуатационник — что может быть ближе?

#### 4. Ильин

...Возможно, не будь этого забытого пропуска, все сложилось бы иначе: Макашин не приехал бы к ним в тот вечер, и не познакомился бы с Валентиной, и, значит, не женился бы на ней, и не стал бы для Ильина тем, кем стал — не просто родственником, свояком, а близким на всю жизнь человеком, ближе не бывает, хоть они и оказались теперь врагами.

Макашин, должно быть, до сих пор думает, что Ильин обиделся, что не получил Героя. Ехал, дескать, за Звездочкой, как другие за длинным рублем. Это он ему так сказал в том разговоре, после которого ни объясняться, ни видаться не имело смысла.

Татьяна уже болела, но Ильину и сейчас кажется, что, если бы не этот страшный разговор, когда он и Макашин кричали друг другу обидные, такие, что не простить, слова, — если бы не этот разговор, Татьяна была бы здорова и жива.

С осени уже поползли слухи, будто Макашин уедет в Москву, а Большой завод прикроют и что Макашин с самого начала все знал.

— Ты знаешь, что народ говорит? — спросил Ильин у Макашина.

Удивительное дело, в Городке виделись раз в двадцать реже, чем в Колпине.

Татьяна считала, что, став директором Большого завода, Виталий зазнался. И вообще, зачем он их сюда зазвал, если и без них вполне обходится?

— Да ну тебя! — сердился Ильин. — При чем тут зазнался? Человеку чихнуть некогда — такая махина у него под началом.

— Ну тем более, — не сдавалась Татьяна. — Зачем мы ему, когда у него тут тыщи других?

Среди этих «тыщ», Ильин смутно чувствовал, у Макашина было не так-то много истинных друзей. То есть сами по себе люди были неплохие, но что-то их не связывало, не склеивало. Какой-то базар-вокзал этот Большой завод.

В бригаде у Ильина один из Смоленска, другой из Тюмени, третий из Ферганы. А Юсупов, сам татарин, так тот даже с Камчатки приехал. Впрочем, на Камчатке он прожил всего три года, а перед этим жил в Норильске, а еще раньше в Куйбышеве.

— А родина-то твоя где? — допытывался у него Ильин.

— Родина там, где хорошо платят, — белозубо смеялся Юсупов.

— Чего тебе-то хорошо платить, если ты работать не умеешь? — удивлялся Ильин. — Все прыгаешь, как перекасти-поле, а работать не выучился.

— Учителей не было, — смеялся Юсупов. — Вот у тебя, глядишь, выучусь.

Что было на него сердиться? Пустое. Не умеющих работать оказалось больше, чем умеющих. Ильин и сейчас уверен — ни трещины, сводившие с ума Макашина, ни грунт, про который Юлия с горечью говорила: «Это земля нам мстит», ничего бы не испортили, если бы люди умели работать.

А получилось, как в школьной басне про лебедя, рака и щуку — каждый в свою сторону тянул. Кто хотел квартиру побыстрее получить, а потом обменять ее и уехать, кто заработать побольше и тоже уехать, кто просто новые места посмотреть, винограду поесть, на рыбалке посидеть...

— А ты за Звездой приехал!— обвинил Макашин Ильина. Обвинил тяжело, несправедливо, как в морду дал.

Вот Юсупов, тот плакал, когда Ильин уезжал из Городка.

— Я думал, жить здесь будем, работать,— говорил он, размазывая слезы по небритому лицу.

— Ты что? — растерялся Ильин.— Ты что?..

Сейчас, сидя над старыми фотографиями, которые он наконец отыскал в одном из ящиков необъятной стенки, Ильин вспоминал, как Юсупов плакал, и это воспоминание было отрадно.

И еще как варили шов. Варили по очереди, двое суток не выходя из цеха, и спали по очереди на топчанах в конторке, и Макашин приезжал к ним ночью с бутербродами и термосами (Валентина наготовила), но им и не надо было ничего — каждый чего-то припас с собой, но из вежливости ели директорские бутерброды, и Ильину было приятно, что к Макашину относятся уважительно: «Вот это мужик!»

О том, что они свояки, знали не все. Юсупов, например, не знал. И еще кое-кто не знал. Про то, что они — и директор и бригадир сварщиков Ильин — колпинские, это знали, это была марка, с которой на Большом заводе считались.

Вообще Ильин понимал, что он как-то сразу сделался заметен. Такой гигантский завод, а человек заметен.

Конечно, это Макашин распорядился, чтобы шов варила бригада Ильина. Первый шов, кому же еще?

Были и другие сварщики, тоже по-своему знаменитые, из Харькова, Таганрога. И все стосковались по работе. Приехали для большой работы, а ее на всех пока не хватало. Бог знает чем приходилось заниматься: полы подметали в цехе.

— А ну-ка, ребята, берись за березовый электрод! — Это была уже навязшая в зубах шутка, она повторялась чуть не каждый день.

А тут наконец — работа, наконец ясно, что и сварщики приехали не зря. Первый шов, второй, третий... Микронная точность. Макашин был прав, когда, уговаривая Ильина ехать в Городок, уверял его: «Второй такой работы не получишь и не увидишь нигде».

А Колька Матвеев не поехал.

— Дураком надо быть,— сказал он Ильину.— Или тебе там чего посулили?

Что ему должны были посулить, да и в этом ли дело? Он и в Колпине жил отлично. Когда-то трудно жил, но ведь это когда было! Когда еще дети были маленькие.

Татьяна ушла тогда с завода и пошла поварихой в детский комбинат: сад и ясли под одной крышей. Там, в яслях, выросла Наташка, а потом и Илюша, когда родился.

Жили уже не в общежитии. От завода дали комнату семнадцать с половиной метров, в квартире только три семьи (вместе с ними), ванная, на кухне газовая плита, четыре конфорки. Сколько было радости! Почему человеку сначала так мало надо, а потом так много?

Потом и трехкомнатная квартира оказалась мала. Это когда Илья женился и у него родилась дочка. В трех комнатах шесть человек — тесно! А за шкафом в общежитии не хотите? Не хотят. Вообще непонятно, чего они хотят, чего им мало.

— Они по-другому хотят жить,— говорила ему про детей Татьяна.— Не как мы.

— По какому еще по-другому? — недоумевал Ильин. Разве он когда-то хотел чего-то другого, чем его отец? Да нет же, также хотел, чтоб был хлеб, чтоб войны больше не было, чтобы дети не болели, чтобы зарботки были приличные и чтобы в цехе уважали.

Но вот этого беспокойства, какое он вечно чувствует в детях, вроде бы не было. Особенно Наталья, ей все мало. Недавно купили «Жигули», теперь зачем-то понадобилось менять мебель. Чем эта-то плоха?

— Ах, да ты не понимаешь,— говорит она отцу.— Эта уже вчерашний день, а Игорю обещали устроить «Камелию».

Илья отказался учиться в институте. Главное, поступил уже — и ушел. Вернулся на завод, в бригаду к Матвееву, слесарем-сборщиком. Работа, конечно, хорошая, но ведь мог не просто сборщиком быть — инженером.

— Кому это теперь нужно? В гробу я видел, чтобы инженерские копейки в кошельке подсчитывать!

А Макашин все же заставил своего Антона учиться. Тот тоже было подался вслед за Илюшкой на завод, но Макашин не разрешил. Есть в нем эта крутость, Ильин так не умеет. Что ж, не всем все уметь.

Татьяне нравился Городок: теплая солнечная осень, желтые дыни, что продавались прямо с возов, бескрайность степи.

Однокомнатную квартиру дали недалеко от завода, в только что отстроенном доме. Пока ждали ее, жили у Макашиных в коттедже на той самой улице, которую в Городке прозвали Дворянской.

Валентина всем была недовольна, ворчала с утра до вечера. На работу определяться не захотела под предлогом, что надо ездить к Антону (Антон остался в Колпине, учился), а то разбалует.

Татьяна устроилась поварихой в заводскую столовую, потом ее перевели в главный корпус, в кафе, где обедали бригады-победительницы.

— Вкусно я тебя кормлю? — спрашивала она мужа, смеясь.

Потом затосковала. Это болезнь подкрадывалась к ней, но кто ж знал, что болезнь?

— Уедем,— просила она.— Я к детям хочу.

— Ты прямо как маленькая,— сердился Ильин.— То нравится, то уедем.

— Дети там, как сироты, брошены,— плакала Татьяна.— Валентина то и дело к Антону мотается, а наши как сироты.

— Да какие они сироты? У каждого своя семья. Больно ты им нужна! — возражал Ильин.

Но это не она им, а они были ей нужны. Они были ей нужны, чтобы продлилась жизнь, которая кончалась.

Все это он понял потом, а тогда не понимал, сердился: «Приехали, уехали — разве так можно?»

А тут еще эти разговоры, что Макашин уедет в Москву, а завод будто бы прикроют, будто бы грунт не выдержал тяжести, осел, а Макашин, дескать, знал, что такое может случиться, но согласился строить.

Была в этих разговорах какая-то неправда (Макашина разве спрашивали, когда строили? Он приехал в Городок, когда завод уже стоял, его и по телевизору уже показывали, Ильин-то знает).

Но была и правда в том, что кто-то не обмозговал все до тонкостей, хоть обязан был, прежде чем сюда понаехал народ, снялся с места и понаехал, привлеченный благами, которые щедро сулил Большой завод.

— Говорили, заработки будут — во! — сердился Юсупов.— А какие заработки, если то и дело простаиваем?

— Платят же тебе по среднему, чего ж ты волнуешься? — усмехался Толя Григорьев.

Толя был свой, колпинский, молодой парнишка, поехал в Городок вслед за Ильиным. Толя не был женат, жил в Колпине с матерью и замужней сестрой. Когда услышал, что Ильин собирается на Большой завод, сказал:

— А что? Я тоже, пожалуй, поеду. Верно, дядя Миша?

Получать по среднему для Толи, конечно, еще не проблема, а для Юсупова уже проблема: средний заработку не равен.

— Тебе что? — говорит Юсупов.— Ты сам пообедал, так и всех накормил, а у меня семья.

— Что ж, она у тебя голодает, семья-то твоя? — смеялся Толя.

— Зачем голодает? — не принимал шутки Юсупов. — Мне в следующем месяце ковер получать — у тебя, что ли, денег одолжу?

Ковры, цветные телевизоры, импортные стенки в цехах распределялись по очереди.

— Можно и у меня, у меня как раз три рубля до зарплаты, — отвечал Толя.

Средний заработку не равен — это верно. Но не только потому не устраивал он Ильина, Юсупова и всех остальных. Есть что-то обидное в среднем. Так, будто от тебя отмахнулись: на, мол, получи и замолчи, не до тебя пока.

Было обидно не понимать, что же происходит. В самом деле, что ли, не на том месте построили завод? Или еще какая причина? Почему трещины, перекосы? Почему стоим, если только что так спешили, что дня не хватало, ночь прихватывали? «Чем они там думают!» — возмущались в цехе.

— Ты знаешь, что люди говорят? — спросил Ильин у Макашина, когда тот зашел к ним однажды. Последнее время заходил редко, а тут зашел. У Ильина даже мелькнула мысль: не Юлия ли приезжает?

Так уж бывало: когда приезжала Юлия, Макашин брал у Ильина ключи от квартиры, а им с Татьяной предлагал прокатиться в Ленинград. Самолет в Ленинград летал с Большого завода каждую неделю.

Татьяна, разумеется, ни о ключах, ни о Юлии ничего не знала, а Ильин знал и не осуждал Виталия. Жить с такой бабой, как Валентина, это все равно что держать в доме фрезерный станок, включенный на полные обороты. А Юлия даже для Макашина чересчур хороша. Не потому что красива, а потому что есть в ней человеческое, как в Татьяне, что с бабами редко бывает, ему, во всяком случае, больше не попадалось.

Татьяна уже легла спать, когда Макашин пришел, но поднялась с постели, чтобы собрать на стол.

— Да лежи ты, не вставай, — сказал Макашин, но она встала и пошла в кухню, а когда вернулась, они уже кричали друг на друга, ничего не стесняясь, не помня себя.

— ...за Звездой приехал, а как не вышло, так деру?! — кричал Макашин.

— Так хоть и за Звездой! Ее, между прочим, за работу дают! А ты за здорово живешь в рай собрался въехать? — отвечал Ильин.

Суть была в том (хотя сути не было, какая могла быть суть, когда человек, себя не сдерживая, срывает на другом боль и злость?) — суть была в том, что оба бросали Городок и Большой завод и, значит, дезертировали — а как иначе?

Это ему Толя так сказал: «Не ожидал я от вас, дядя Миша, что в дезертиры подадитесь!» И Ильин тогда обозлился на него: «Сопляк, а уже мнение имеет!» — хоть чего было злиться? Нечего было злиться. Сколько всякой злобы — трудно даже представить! — накопилось между людьми, чуть что, стараются ударить друг друга, пусть словом, да побольнее...

— Дезертируешь? — кричал Ильин Макашину. — Назвал людей, теперь чего-то там не слаживается, никто даже толком не понимает чего, разное говорят...

— Вот-вот, говорят, — перебил Макашин. — Ты, как баба худая, собираешь слухи!

Нет, он не собирал слухи, он не из таковских — зачем ему? Он умеет работать, и, значит, его должность при нем. Всегда. А вот Макашину надо еще должность-то выслужить.

— Не выслужить, а заслужить! Понимаешь разницу? — распалялся Макашин. Его всегда смуглое лицо совсем потемнело.

Татьяна металась между ними, не понимая ожесточения, не узнавая мужа и даже зятя, хоть тот всяким умел быть, но чтобы вот так, в их доме...

— Миша, замолчи, Миша,— бормотала она.— Виталий, да тише ты, он из-за меня уезжает, из-за меня, он бы не уехал, это я его уговорила.

И тут они услышали, как она произнесла:

— Я умирать еду, я хочу при детях умереть.

Всю ночь он не спал. Ему было страшно. Татьяна лежала рядом, но ему казалось, что, если он заснет, она исчезнет и утром он ее уже не увидит. Большой завод, Городок, ссора с Макашиным — все стало далеким и неважным, а важным было только одно: чтобы утром она была тут и никуда не исчезла.

Он не заметил, как уснул, а когда проснулся, ярко светило солнце, Татьяна причисывалась перед зеркалом, на столе стоял чайник, и из носика шел пар.

— Вставай,— улыбнулась Татьяна.— Завтрак на столе.

«Может, и не было ничего?» — подумал Ильин, но она сказала все с той же улыбкой:

— Сегодня надо места в самолете заказывать, не забыл?

И все надвинулось снова, непонятное, тревожное, неустроенное.

Ильину казалось, что они уезжают из Городка не совсем. Так же казалось и Татьяне, когда уезжали из Колпина. Она тогда не стала выписываться из квартиры — на всякий случай,— он не возражал: в Городке так и так им давали жилье, даже на него одного. Он был нужен Большому заводу, Макашину, и вопросов не было.

Теперь получалось, что у них две квартиры — в Колпине и в Городке. Живи где хочешь, а жизни нет.

## 5. Макашин

...Вернулся из Америки и увидел эту трещину, что снизу доверху прошла стену главного корпуса. Сразу заныло под ложечкой — первый признак надвигающегося приступа. Всегда, когда нервничал, проклятая язва, как барометр, показывала бурю.

Старинный, резного дерева барометр, на котором медные стрелки качаются между словами «ясно» и «буря», он видел в квартире у Юлии.

Похоже, она не знала про трещину, иначе сказала бы ему. Вряд ли, узнав про трещину, она не придала бы этому значения. Она просто не знала о ней, когда встречала его в аэропорту.

Валентина тоже встречала, но в Быкове, а он прилетел в Домодедово, и Юлия каким-то образом узнала, что в Домодедово, и когда он спускался по трапу, то увидел ее: черные блестящие волосы и черные глаза на белом — ни кровинки — лице. Всегда такое лицо, казалось бы, должно быть смуглым — ведь она по отцу армянка, — а лицо всегда белое, меловое, и от того глаза и волосы кажутся еще черней.

Трещина прошла корпус снизу доверху и прошла через кафе — предмет его особой гордости. Это он придумал, чтобы в главном корпусе было кафе не хуже столичных ресторанов и чтобы там в обеденный перерыв накрывали столы для бригад-победительниц.

Весь месяц бригада обедает не в рабочей столовой, как обычно, а в кафе, где красивые шторы, крахмальные скатерти и такие лампы, какие он увидел однажды в Доме журналиста в Москве.

Макашина пригласили на пресс-конференцию и потом ужинали в ресторане, и он подумал: «Хорошо бы нам в кафе вот такие светильники». Он сказал об этом помощнику: «Разузнай, кто их делает, и свяжись». Большому заводу никто не отказывал. Наоборот, еще и



просили: «Вы там не забудьте наших заслуг, у вас ведь кто только не бывает!»

Это верно. Кто только не побывал у них за эти годы! Городок, проживи он еще тысячу лет, никогда не увидел бы таких знаменитостей, если б не Большой завод.

Знаменитости приезжали и уезжали, а блеск их славы прибавлял Городку света.

На самом деле так только казалось, на самом деле они уезжали, увозя свой блеск с собой, а поверх асфальта опять текли глиняные реки, в единственном на весь новый Городок кинотеатре стояли нетерпеливые очереди, в шестнадцатизэтажных малосемейках выходили из строя лифты, не было молока, клеенки, гвоздей, веников, обои отклеивались, краны текли, горячая вода поступала в квартиры только ночью.

Пешка, как удав, глотала всех: и тех, кто строил завод, и тех, кто на нем работал, и тех, кто строил дома, и тех, кто начинал в них жить. Скорей, скорей, хватай, пока дают! Не беда, что с недоделками, потом разберемся...

Увидев трещину, Макашин, не заходя в свой кабинет, прямо по коридору прошел к Алексею Владимировичу. Тот сидел за столом, подперев рукой большую седую голову, и читал — Макашин увидел через стол — «Социалистическую индустрию».

— Шумим, братцы, шумим,— сказал Алексей Владимирович, поглядев поверх очков на Макашина. — Вернулись, значит? С приездом.

Он встал, тяжело ступая, обошел стол и протянул Макашину руку.

— Трещина — это строители? — спросил Макашин.

— Хотелось бы так думать. — Алексей Владимирович говорил медленно, у Макашина жалось внутри, и он незаметно погладил ладонью то место, где болело. — Хотелось бы, но не получается.

Вот оно, вот и случилось. Неотвратимо. Не отвертись. Все казалось: не будет этого никогда, потому что не может быть.

— А почему такая уверенность? — жестко спросил Макашин.

Алексей Владимирович взглянул удивленно, но ничего не сказал.

— Почему такая уверенность? Я, например, предполагаю строительный брак и докажу это.

Как щенок, тонул, но барахтался. Как щенок... Так и осталось в памяти, будто на моментальном снимке: они стоят у стола друг против друга, один спокойный и мудрый, другой набычившийся, словно обидели лично его и он пытается защищаться и при этом грубит, щенок!

У Алексея Владимировича что-то дернулось в лице, было видно, что Макашин ему сейчас неприятен.

— Надо уметь принимать действительность такую, какая она есть, а не заслоняться от нее еще одной ложью.

Старик редко говорил так сурово и сухо, и поэтому запомнилось. Еще одной ложью... Макашин понимал, что он имеет в виду. Главный технолог не одобрял макашинской слабости к прессе, к бесконечным фото- и киносъемкам, к этому говоренью и шуму, поднятому вокруг Большого завода, преувеличенному, как он считал.

— А преувеличение,— говорил Алексей Владимирович,— та же ложь.

Макашин не соглашался, доказывал, что так и надо, пусть пишут, показывают. Большому заводу это только на пользу. Он читал все, что писали, и не скрывал, что получает от этого удовольствие. Пусть пишут!

«...Завод подобно вихрю ворвался в наше сознание, перевернув привычное представление о течении времени. Неудивительно. Обогнать время в характере эпохи.

Говорят, любая большая стройка начинается в свой час — не раньше и не позже. Но кто и что определяет этот срок? Возможности технического прогресса? Конечно. Достаток в государственном бюджете? Бесспорно. Опыт, материальные ресурсы, научная база... Без этого невозможно сооружение таких колоссов...»

Комиссия уже работала. Это была первая комиссия в цепи всех дальнейших. Первая и не самая страшная, без крайних установок. А потом приехали другие.

В чем он был виноват? В том, что поверил? Чепуха. Скорее в том, что не поверил. Не поверил Юлии, когда она сказала в тот первый их разговор:

— Имейте в виду, будут крупные неприятности, очень крупные.

— Зачем вы мне это рассказываете? Я не проектировщик и даже не строитель. Я — эксплуатационник. Все остальное — ваше дело.

— Ошибаетесь, — сказала она. — Это от начала до конца дело всех. И отвечать позовут всех, когда придет время.

Она хотела, чтобы хоть кто-нибудь всерьез поверил, испугался, наконец. Но все — и он тоже — были такие смелые, уверенные, удачливые.

Если бы он не был уверенным и смелым, разве он позвал бы с собой Михаила? Он рассказывал о нем Юлии в тот первый их разговор в Ленинграде, рассказывал, чтобы произвести впечатление, это ясно. Вот какие люди со мной едут, а вы говорите...

Потом он их познакомил. Это было уже позже, гораздо позже, через год. Она приехала в Городок — проектировщики ездили часто, но она в первый раз при нем, — и он повел ее в кафе, где как раз обедала бригада Михаила.

Они сели за отдельный столик, и он подозвал Михаила и познакомил их.

— Вот, Юлия Рубеновна, мой свояк и друг, о котором я вам рассказывал. Лучший сварщик Михаил Ильич Ильин, Советский Союз.

Михаил был в светло-зеленой робе с эмблемой Большого завода, их тогда только что сшили и раздали сварщикам и сборщикам, как в Тольятти.

«Бирюзовые корпуса в солнечной снежной степи. Цех: синие, фиолетовые балки перекрытий, желтые порталы кранов, красные диски станков, зеленый пол, невероятные при этом высота, объем и простор. Мощь и красота — вот что покоряет.

Главная операция на заводе — сварка. Не представляйте себе снопов искр, треска электродов: процесс идет тончайший и длительный. Сменяя друг друга, сварщики ведут шов. Сколько смен не выходил с завода их бригадир, когда приступили к сварке первого кольцевого шва, теперь уже подсчитали и вписали в летопись заводские истории.

Сварка — это множество сварок: электродуговая, автоматическая под слоем флюса, аргонодуговая наплавка, а будет еще электронно-лучевая. Сварка неисчерпаема и бесконечно интересна, если ты ощутил, что это такое...»

— Как вы здесь прижились? — спросила Юлия. — Не жалеете?

— Нет, не жалею, здесь интересно, — ответил Михаил.

Ключ от его квартиры лежал у Макашина в кармане. Он и сам еще не понимал, зачем взял ключ, когда услышал, что Ильины записались на ленинградский рейс, чтобы слетать в Колпино к детям. Так, на всякий случай попросил у Михаила ключ.

Она ему нравилась — кому она не нравилась? — но он еще ни в чем не был уверен, и ему с ней было просто. Вот Михаилу было просто, они разговаривали так, будто знали друг друга сто лет.

Макашина позвали к телефону (где бы он ни был, его вечно подзывают к телефонам, он сам так велел), а когда вернулся, то с завистью увидел, как они оживленно о чем-то разговаривают и Юлия улыбается ласково и легко, а не язвительно, как при нем.

Он когда-то, еще в Ленинграде, сказал ей, что любит стихи, и она спросила:

— Асадова?

Не чувствуя подвоха, он сказал:

— Да.

И, хвастаясь, показал ей свою записную книжку, куда переписал некоторые стихи, чтобы возить с собой, когда уезжает. Она засмеялась и замахала руками.

— Избавьте меня, ради бога, я не желаю читать Асадова.

— Почему? — удивился он.

Но она ничего не стала объяснять, только смеялась. Он разозлился, хотя и не подал виду, не терпел, когда над ним смеялись. Но она не стала нравиться ему меньше, наоборот.

Как его хватало на все? Сейчас самому удивительно. Но ведь хватало. И был счастлив как никогда, хоть время от времени точило: неужели Юлия, и Николай Кузьмич, и все, кто с ними, правы и грунт может осесть? Неужели?

В такие минуты злился на Юлию: «Ты мне все отравляешь», как будто в ней было дело...

«...Пожалуйста, Виктор Николаевич, на ковер...»

Никакого ковра ни в прямом, ни в переносном смысле нет. Тон разговора уважительный. Никакого разноса тоже не ожидается. А сам разговор происходит в будке мастера — такие будки бирюзового цвета, застекленные размашисто и нарядно, как в автобусе «Икарус», производят впечатление, но ковра там, разумеется, нет. Там шесть столов в два ряда и стулья. Когда в будке набирается десять—двенадцать крупных мужчин, повернуться уже негде.

Мужчины сидят за столами, как на занятиях по ликбезу, а перед ними, скинув пиджак, потому что и в цехе и в будке душно от летней жары, сам генеральный директор. Каждое утро в этом цехе он проводит летучки. Вопрос один: в каком состоянии находятся основные позиции? Размазывать словесную кашу тут не полагается. Вопрос. Ответ. Сигнал. Претензия. Решение. В таком вот только духе.

Все там было крупное, большое, размашистое. Почему же не удалось? Так и помрешь с этим: не удалось.

Когда они поссорились с Михаилом и Юлия узнала о ссоре, то сказала с горечью:

— Ты от всех уйдешь, не только от Большого завода. Ты и от себя уйдешь.

Что она тогда имела в виду? Он никуда не ушел, его перевели на другую работу — вот и все. Разве ему было легко расстаться с Большим заводом? Такой кусок жизни... Куда от него уйдешь?

## 6. Юлия Рубеновна

...Проектировщик и эксплуатационник — что может быть ближе?

На самом деле целая пропасть между проектом (листы ватмана, бесконечное количество служебных записок, совещаний, споров до хрипоты, отношения, доходящие до ненависти: «Ах, вы со мной не согласны? Докажите!») и самим заводом, когда он уже встал в степи и работает, и люди едут и едут, и все мало, и еще нужны люди, и то, что было неживыми линиями на ватмане, становится чьей-то жизнью. Своей. Единственной.

Когда узнала, что Ильин вернулся (он сам позвонил ей по телефону), поехала к нему на завод. Его жену Татьяну прямо с самолета отвезли в больницу.

— Что с ней, Миша?

— Плохо, Юлия Рубеновна, плохо наше дело.

Она не узнала его. Всегда такой веселый, общительный, надежный. И вдруг — растерянный, постаревший человек. Он не рассказал ей, что серьезно поссорился с Макашиным, сказал только:

— Перед отъездом моим мы маленько повздорили с Виталием.

— Из-за чего?

— Да так, пустяки.

Потом она узнала: нет, не пустяки. Ей Макашин рассказал, какая была ссора. «Я его знать больше не хочу!» — сказал Макашин. «Ты от всех способен уйти, не только от Большого завода», — ответила она ему тогда.

Все кончалось. Для нее — нет, а для него все кончалось вместе с Большим заводом.

Уже было известно, что Макашина забирают в Москву. Комиссии продолжали работать, завод лихорадило.

Какая бессмыслица! Ведь дешевле было бы прислушаться тогда к их разумным доводам и не строить там, где построили. Какая бессмыслица! Теперь ищут виноватых. А разве тот, кто ищет, не виноват?

— Директор ваш виноват. В первую очередь. Он просто вредитель, — злобно говорил ей Макашин.

— Какой он вредитель? — возражала Юлия. — Он просто трус.

— Трусость тоже вредительство.

— Но в таком случае и твоя смелость была вредительством. Я же предупреждала тебя, чем это может кончиться.

— Ты соображаешь, что говоришь? Меня назначают директором, а я приезжаю в Москву и заявляю: «Вы меня, пожалуйста, не назначайте, потому что там грунт слабый, мне одна баба сказала». Как бы на меня там посмотрели, соображаешь?

— Вот-вот, — устало говорила Юлия. — У всех амбиция, у нашего директора, между прочим, тоже. А вдруг те, кто сказал про слабый грунт, не правы? И кто-нибудь это докажет, а он отказался проектировать. Скандал!

Разговаривали в квартире Ильина в тот последний ее приезд в Городок с «чрезвычайной комиссией».

«Прямо совещание какое-то, а не разговор», — с тоской подумала Юлия. Когда-то в этой чужой квартире все для нее было счастьем, оно начиналось тотчас же, как самолет приземлялся в Городке. А в этот раз, спускаясь по трапу, с раздражением увидела знакомые гигантские буквы над крышей аэропорта: «Зовет Большой завод!» «Кричать умеем, — подумала она, — докричались».

И теперь, сидя за столом против Макашина, который жадно ел колбасу с хлебом («Сегодня даже пообедать не успел», — сказал он), Юлия не находила в душе своей ничего, кроме тоски и раздражения.

Было стыдно сидеть в чужой квартире («Как воровка или шлюха») и смотреть, как Макашин ест, не глядя в ее сторону, как будто ее здесь и нет вовсе.

Над диваном висел ковер, а над ним две увеличенные фотографии: Ильин и его жена Татьяна, которую Юлия никогда не видела. Ее сестру, жену Макашина, видела однажды на каком-то празднике, где они, проектировщики, были гостями и сидели в президиуме, и кто-то показал Юлии Рубеновне жену генерального директора в первом ряду партера.

Юлия понимала, что Ильин знает, почему Макашин берет у него ключи от квартиры, но во все разы, что видела Ильина, ни тени неуважения к себе не заметила в нем. А ведь он не мог одобрять ее.

не мог. По всему, что он есть, не мог. Но и осуждать не осуждал, это она чувствовала.

— Миша когда-нибудь говорит с тобой обо мне? — спросила она вдруг.

— Нет. Почему ты спрашиваешь? — удивился Макашин.

— Так. Я не хочу, чтобы он думал обо мне плохо.

— С чего ты взяла? — Мысли его были не здесь. «Какая разница, что думает Ильин о Юлии?». — С чего ты взяла? — повторил он рассеянно.

Тогда она последний раз была в Городке. Что-то уже неуловимо менялось вокруг. Или так казалось? Вдруг стало видно, что новый город выстроен наспех, кое-как. Цветные балконы облупились, синяя плитка отваливалась, и некоторые дома обнесли заборами с козырьками, чтобы не падало на прохожих.

Юлия вспомнила, как однажды Макашин познакомил ее с главным архитектором Городка и тот говорил, что новый город — это как библиотека, составленная из одних брошюр.

— Представляете себе? В библиотеке только брошюры. Какая скука, какое однообразие, правда? Но зато дешево и быстро, потому что настоящую библиотеку надо собирать годами по книжечке, по крупицам. Так и город: нужны годы, чтобы он обрел память, своеобразие...

Юлии было интересно его слушать, но еще интереснее смотреть, как слушает. Макашин и как ему в эту минуту хочется, чтобы все произошло быстрее, еще при нем, даже этот будущий город со своей памятью.

А теперь ничего не будет, во всяком случае что и будет, то без Макашина. Век бы ей не побеждать со своей точкой зрения!

— Ваша точка зрения оригинальна, но не беспорна, Юлия Рубеновна, — сказал ей директор института.

— Но разве вы не считаете, что ее следует доложить в инстанциях?

— Нет, не считаю.

— Почему же?

— Нас не поймут. Мы получили почетный заказ, приняли обязательства...

О, безмозглый дурак, трус! Макашин прав: трусость — тоже вредительство. Где теперь эти обязательства, кому все это было нужно?

Макашин позвонил ей, вернувшись в Городок после поездки по Америке.

— Ты знаешь про трещину?

Она не узнала голоса: сухой, деловитый. Два дня назад виделись в Домодедове. Какой был сияющий день! Машина ждала его, чтобы везти в Быково, оттуда самолетом он должен был лететь в Городок. Пили коньяк в буфете, он целовал ее руки украдкой, чтобы не увидел Николаенко. А глаза сияли — куда спрячешь глаза?

— Про какую трещину?

— Значит, ты не знаешь. Главный корпус дал трещину. А сегодня ночью еще и лабораторный — сверху донизу.

У нее похолодело сердце. Вот оно. Как же это пережить, что с ним будет? О заводе и о Макашине подумала в одном лице: что с ним будет?

Все дальнейшее происходило быстро: одна комиссия сменяла другую, с ног сбились, составляя справки, отчеты, ответы на вопросы...

В это время из Городка вернулся Ильин и однажды вечером позвонил ей. Она была дома. Она теперь все вечера проводила дома за

одним и тем же занятием: читала бумаги из кожаного бювара. Этот (мать была права) роман о чужой жизни (впрочем, совсем не чужой, только дальней) не просто занимал душу, но каким-то образом успокаивал ее. Люди страдали, любили, старались делать это достойно вопреки разным обстоятельствам...

«3-го сентября 1880-го года.

В пять часов дня я застал его на пароходе в очень плохом состоянии. Тотчас приехал доктор и сказал мне после осмотра, что он безнадежен. Подали шлюпку. Он без посторонней помощи спустился по трапу, но когда начали грести, то с ним сделалось дурно. Я боялся, довезем ли до госпиталя...»

Прадед Юлии Виктор Романович Торсен, завершив кругосветное плавание, умирает во Владивостоке от какой-то неясной врачам болезни, которую они называют лихорадкой.

Его друг капитан-лейтенант Постельников не покидает его ни на час и записывает в дневник ход болезни, чтобы потом передать этот дневник жене Торсена Ольге Петровне.

Как вообразить себе давным-давно бывшую жизнь с ее запахами, цветом и светом? Запах старого дерева... Свет керосиновой лампы в высоком стеклянном абажуре...

На дне одного из ящиков старинного секретера Юлия Рубеновна недавно нашла монетку 1893 года достоинством в четверть копейки.

— Посмотри,— сказала она дочери,— завалилась в щель монетка и пролежала чуть не сто лет.

Лизка, едва взглянув, чмокнула мать в щеку и умчалась, оставив за собой ветер.

— Куда ты так торопишься? — крикнула Юлия, не получив ответа.

С Лизкой в последнее время видятся редко. Некогда. Раньше матери было некогда, теперь дочери.

Юлия подозревает неладное в Лизкиной жизни: то ли ссорится с мужем, то ли еще не ссорится, но уже чем-то другим — не домом — озабочена, увлечена. Естественно, мать узнает об этом последней, если вообще узнает...

В 1893 году деду Юлии исполнился двадцать один год. Он уже кончил курс и служил в Кронштадте. Мать, Ольга Петровна Торсен, купила для него ко дню рождения вот этот секретер красного дерева со множеством больших, средних и малых ящиков, в одном из которых и обнаружилась позеленевшая от времени монета...

«...Мои сыновья такие большие и мужественные, что мне странно называть их мальчиками».

Ольга Петровна Торсен пишет другу своего мужа Юрию Дмитриевичу Постельникову через двенадцать лет после гибели Торсена:

«Как я рада была Вашему письму, дорогой Юрий Дмитриевич, так рада, что Вы и представить себе не можете!

Все мне кажется, что прошлое целиком куда-то провалилось, умерло для меня и я сама умерла для всех, кто меня знал прежде, но когда из этого далекого прошлого доносится какой-нибудь дружеский голос, как Ваш,— так тепло вдруг делается на душе и так хочется, право, поплакать над собою, и опять же хорошими слезами поплакать, от которых на сердце становится легче и спокойнее...»

Если бы ничего не случилось и грунт оказался бы прочным, как гранит, неужели Макашин все так же любил бы ее, восхищаясь тем, как она говорит, ходит, смеется?..

— Ты даже не представляешь, что ты для меня сделала,— сказал он ей однажды. — Ты меня раскрепостила.

— Как это? — удивилась она.

— А вот так. С тобой я становлюсь легким, как воздушный шар, и мне все нипочем.

Но когда все случилось, никто — и она тоже — не мог помочь. Во все последние разы, что виделись, он был угрюмым, замкнувшимся в себе человеком, обиженным и готовым обидеть любого, кто только попадет под руку.

— Я Михаила видеть больше не хочу! Ты, говорит, должности выслуживаешь. Представляешь? Выслуживаешь! Сволочь такая! После всего, что я для него сделал!

Что он такое особенное сделал для него? Сманил на Большой завод? Так это больше Макашину было нужно, чем Ильину. Ильин, останься он в Колпине, получил бы звание Героя. Макашин сам признался когда-то Юлии:

— Представляешь, сдернул я Михаила с места, а ведь ему Героя собирались дать.

— И ты это знал?

— Я это потом узнал, но мог бы узнать и раньше или, во всяком случае, догадаться.

Юлия Рубеновна входит в тяжелые институтские двери ровно в половине девятого, а рабочий день начинается в восемь сорок пять.

В вестибюле во всю стену — зеркало. «Пока на твоём лице не нарисованы твои бессонные ночи, это молодость», — думает она, глядя на свое отражение: под глазами круги, глаза воспаленные, как при гриппе.

— Посмотри на свою морду лица,— говорит ей Лизка,— и перестань страдать о Макашине.

Юлии стыдно, что Лизка все видит, но сказать дочери: «На черта мне морда лица, если нет Макашина!» — она не может.

— Юлия Рубеновна, с Большого завода звонили. Просят прислать форму восемь.

— Кто звонил?

— Референт генерального.

Новый генеральный уже назначен. Говорят, он молод, четок, суховат, «без этих, знаете ли, макашинских страстей». И, главное, безгрешен.

— Так что просили прислать?

Рабочий день начинается. Кому какое дело до бессонных ночей заместителя директора института? Даже странно, что у нее бессонница. Ей-то чего волноваться? Ее особое мнение по Большому заводу известно даже в Госплане. Если кому и следует волноваться, так это директору. Его-то уж определенно снимут. А ей-то чего волноваться?

## 7. Макашин

...Разве ему было легко расстаться с Большим заводом? Такой кусок жизни... Куда от него уйдешь?

Николаенко этого не понимает. Сказал вчера, когда напоследок на радостях, что наконец уезжают из Гамбурга, выпили в номере у Макашина:

— В сущности, человек всегда должен двигаться. Вверх или вбок, но двигаться. Желательно не теряя достигнутого уровня. То, что с вами произошло, всего лишь производственное передвижение, а не трагедия.

— Ну, допустим,— возразил Макашин. — То, что со мной, не трагедия, а то, что с Большим заводом?

Спрашивать было смешно, он сам все знал, но ему хотелось понять, что думает об этом Николаенко, что он думает вот так откровенно, неформально.

Впрочем, разве можно было ждать от Николаенко откровенности? Такие, даже когда выпьют, не скажут, чего на самом деле думают,— ни к сердцу не прижмут, ни к черту не пошлют.

— А что с Большим заводом? — спокойно переспросил Николаенко, отпивая коньяк из рюмки. — Конечно, есть тут просчет, соответственно, есть и потери... Но ведь не просчитывается только тот, кто не рискует.

— Ах вот как! — Макашин даже задохнулся от вдруг подступившей злобы. — Это мы, оказывается, рисковали! Скажите, какие герои! Копейку стоит такое геройство. Головоутиение это, а не геройство! И все мы головоутиены!

— Ну уж! — засмеялся Николаенко. — Зачем так сердиться и на себя и на весь свет? Эдак недолго и язву заработать.

— Язву я уже заработал.

— Тем более. В масштабах страны, вы же знаете, Большой завод не столь уж большой. И не такое выдюживали...

Вот как все прекрасно получается! Мы, мол, и не такое выдюживали. Подвиньтесь, чего суетитесь? Сейчас хоккей начнется. Давайте посмотрим хоккей.

— Из-за погодных условий, — объяснила тоненькая черноглазая стюардесса («Глазами похожа на Юлию. Нет, не похожа. Но все же немного, чуть-чуть»), — самолет приземлится в Куйбышеве.

— Надолго? — заволновались пассажиры.

— Как погода, — улыбнулась стюардесса.

И вот уже битый час они смотрят по телевизору хоккей в переполненном зале куйбышевского аэропорта.

«Неужели Николаенко не понимает, — думает Макашин, сосредоточенно глядя на экран, — что одно дело — выдюжить в экстремальных, как теперь любят говорить, ситуациях, когда страна быть прикажет героем, и совсем другое — когда все трещит по швам просто от халтуры, от того, что недоглядели, недосчитали? Конечно, он все это понимает, но ведь вот как олимпийски спокоен! А почему? Да потому что его уровень при нем. Не так уж важно быть первым или вторым и уж совсем не важно, что там будет с Большим заводом, — важно сохранить уровень».

Макашину надоело сидеть перед телевизором, но газетный киоск оказался закрытым и читать было нечего.

Раньше, когда летал в командировки, брал с собой газеты и журналы со статьями и очерками о заводе. Поток их не иссякал, и это было любимейшее чтение.

«Сегодня, — подчеркнул генеральный директор, — важнейшая проблема для нас — становление коллектива уникального завода. Проблемы социальные, нравственные, воспитательные выдвигаются на первый план. На заводе трудятся представители семидесяти пяти национальностей нашей страны. После завершения строительства всего комплекса здесь встанет современный город с полумиллионным населением...

Колпино поставляет нам полуфабрикаты. Без них не жить громадному предприятию, которое одновременно действует и строится, ежедневно осваивая без малого миллион рублей...»

«Ни одно изделие завода не минует рентгенокамеру. Вернее, центральную лабораторию неразрушающих методов контроля. Именно здесь и держит продукция экзамен на надежность, здесь и определяется гарантия ее качества.



Издали рентгенокамера небольшая по размерам. А вблизи... Высокие стены, у подножия бетонный ров, наглухо закрыт вход в камеру.

Комната на первом этаже — пультовая: стол, несколько стульев, небольшие приборы, щиты со множеством кнопок. Отсюда дефектоскописты управляют рентгеносъемкой деталей.

«Наши глаза не умеют познавать природу предметов...» — так говорили древние мудрецы. В рентгенокамере глазами, проникающими в глубь металла, сделались приборы — объективные помощники дефектоскопистов.

Цветная дефектоскопия обнаруживает мельчайшие трещины на глубине до двух миллиметров...»

Вот только в людях не научились ничего распознавать. Что-то там сорвется в организме, какая-то малость, что-то разладится, и все полетит к чертям, и в два месяца человека скрутит, как скрутило Татьяну.

Накануне его отъезда в ФРГ пришла телеграмма от Антона: «Тетя Таня умерла. Похороны среду, одиннадцатого».

Антон так и остался жить в Колпине, в московский институт переводиться не захотел.

Сколько ж это дней назад было? Одиннадцатого... Сегодня какое число? Да ведь сороковой день сегодня!

Фигурки хоккеистов на экране уже перестали бегать, и вместо них появилась надпись «Альманах "Поэзия,»,». Макашин смотрит не видя и вдруг слышит знакомое слово:

Мы под Колпином скопом стоим,  
Артиллерия бьет по своим.

Пожилой человек на экране с ежиком седых волос и внимательными темными глазами читает стихи:

Это снова разведка, наверно,  
Ориентир указала неверно.

— Значит, сегодня сороковой день? Опять, наверное, поехали на кладбище...

«Посидишь несколько лет в главке, — думает Макашин, — и превратишься в Николаенко. А что? Запросто! Николаенко еще не самый худший, по крайней мере немало знает. И может быть, даже видел, как варят кольцевой шов. Был где-нибудь в командировке и видел. Но как ему понять, что из миллиона швов этот, возникающий под электродом Михаила, уже тем отличается от всех прочих, что проходит через Макашина?»

Да не толпитесь вы, дайте разглядеть! Ах, красота какая, красота! Молодец, Михаил!

Мы не даром Присягу давали.  
За собою мосты подрывали, —  
Из окопов никто не уйдет.

«Моя должность при мне, — сказал ему Михаил. — А ты свою еще выслужить должен».

Недолет. Перелет. Недолет.

Макашин услышал, как, перекрывая все голоса и шум, из репродукторов зазвучало: «Объявляется посадка на самолет рейсом Куй-

бышев — Ленинград. Пассажиры просят пройти к стойке номер два».

Когда Ильины уехали из Городка, Макашин, увидевшись с Юлией в Москве, сказал ей:

— Вот и Михаил уехал. Все бегут, как крысы с корабля.

На что она ответила:

— Михаил вернется на Большой завод, вот увидишь.

— С чего ты взяла? — удивился он. — Татьяна болеет, и вообще...

— Вернется. Он из тех, кто возвращается.

— Скажите! Он из тех! А я, по-твоему, из каких?

— А ты из тех, кто уходит не оглядываясь.

До чего же его раздражали, однако, эти ее бесконечные оценки! Всему давала оценки. И говорила, говорила, даже тогда, когда надо было молчать.

Черноглазая стюардесса прошла через зал мимо Макашина и вскоре вернулась, неся тарелку с бутербродами, прикрытую бумажной салфеткой. Должно быть, ходила в буфет.

— Скоро? — спросил он у нее.

Она улыбнулась, покачав головой. Нет, у Юлии другие глаза, не похожие. И еще она умеет смотреть так, будто видит тебя впервые. И становится не по себе: что она видит?

Мы под Колпином скопом лежим  
И дрожим, прокопченные дымом.

Чьи же это такие стихи? Интересно, Юлия знает их?

Что, если полететь сейчас в Ленинград? Полететь в Ленинград и заявиться к Михаилу. Вот и попадет на сороковины. Как раз рейс объявляют... В одиннадцать вечера уже можно быть в Ленинграде, на такси до Колпина еще минут тридцать...

Николаенко, который ходил в буфет, вернулся и опять стал смотреть хоккей.

— А вы что же не пошли перекусить?

Макашин хотел ответить, но в это время, заглушая голоса, снова зазвучало из репродукторов: «Пассажиры, следующих рейсом Куйбышев — Ленинград, просят подойти к стойке номер два для регистрации билетов...»

## 8. Юлия Рубеновна

...А ей-то чего волноваться? Все осталось на месте. И Большой завод стоит там, где стоял, и даже нового генерального уже назначили.

В конце концов грунт можно заморозить (замораживали же недавно плывун, когда строили метро в Ленинграде). Грунт можно заморозить, а трещины залить бетоном. Вот только то, что ушло из жизни, нельзя в нее вернуть.

Была жизнь, тесно, как квартира, заставленная заботами, ожиданиями, спорами, и вдруг сделалось пусто и тихо.

Нет, она не рассчитывала на вечность (настолько-то хватило у нее ума!), это только в юности любовь предполагает вечность, но все же, все же... Так быстро кончилось, будто и не было ничего! Большой завод, связавший их когда-то, теперь разъединил, распустив все узлы и нити. Нет узлов, нет нитей — вот как оказалось!

Уехав из Городка, Макашин перестал быть счастливым человеком, а он только тогда и мог любить ее, когда был счастлив. Она была еще одной наградой в этой его жизни, а нет жизни, так и награды не нужны.

«Какая ранняя зима в этом году», — думает Юлия, глядя на летящие за окном редкие снежные хлопья. Прежде чем опуститься на землю, они кружатся и кружатся под фонарем...

Зачем она все время спорила с ним? Это было ужасно! Так любить и так не соглашаться с самой его сутью! Не соглашалась, когда он доказывал, что все средства хороши, лишь бы Большой завод процветал в славе.

И в самом деле, уйма средств (не именно денежных, но и денежных тоже) тратилась на эту самую славу. Зывались театры, писатели, давались банкеты.

— У Макашина опять праздник труда и зарплаты, — острили в институте, снаряжая очередную делегацию в Городок.

Юлии становилось стыдно чего-то.

— Прекрати ты этот балаган! — говорила она Макашину. — Прямо какой-то бал на «Титанике»!

Виталий сердился, обижался. Он умел вдруг становиться обиженным, как мальчишка, даже губы прыгали совсем по-детски. Он не верил, что однажды случится то, что случилось. Он не верил тому, что она уже знала наверняка.

Как люди завораживаются мифами! Вылепят идола и начинают ему поклоняться, забыв, что сами его и вылепили. Так и с Большим заводом. Выстроили и давай ахать: «Ах, Большой завод! Ах, гигант! Первенец! Предтеча! XXI век!» Все вдруг сговорились забыть, что строили-то и проектировали, так сказать, с отступом от красной линии, а это очень даже просто может выйти боком.

Она тоже иногда старалась обо всем забыть, и это были самые счастливые дни, но выпадали они так редко!

Однажды он наорал на нее при Лизке, это было невысказано, их стены никогда не слышали таких слов. Иван, что бы там ни происходило, всегда исповедовал мудрость, которую они вместе вычитали когда-то у Эльзы Триоле: «Брак — это вежливость».

А тут и не брак вовсе, и вообще не пойми что, а он орет так, что стекла дрожат:

— Чтобы я не слышал от тебя больше! К такой матери все ваши идеи! Теоретики!

И вот чем это теперь кончилось.

«Есть слух, что «Россия» уйдет не позднее пятнадцатого мая, т. к. в июне к празднествам юбилея английской королевы крейсер должен быть в Англии. Борис уже торопит с приготовлением белья и всякой всячины к этому сроку. Тяжело мне его отпускать...»

Юлия Рубеновна читает письма своей прабабки невесте сына, его будущей жене. Ее тоже зовут Ольга, она живет в Тамбове, а перед этим жила в Петербурге, где окончила курс в Женском медицинском институте на Архирейской улице, 6.

«30-е мая 1898-го года.

Милая моя голубушка! 25-го мая мы ездили к Борису на «Россию», а 27-го он ушел в море. На «России» были официальные проводы, человек двести гостей, шикарный банкет, танцы на палубе, наряды, тосты и проч. Все это не в моем вкусе, но, несмотря на это, я была довольна временем, проведенным на «России». Борис был оживлен. Я долго осматривала его машинное отделение, и теперь стоит мне закрыть глаза, чтобы ясно представить себе моего милого, дорогого Бориса в той обстановке, где он стоит свои вахты...»

Перед войной мать отвезла Юлию к бабушке в Тамбов, а сама вернулась в Ленинград и пробыла здесь всю блокаду. Когда приходили письма из Ленинграда, бабушка плакала, а Юлия говорила ей: «Чего ж ты плачешь? Надо радоваться, а ты плачешь». «Я радуюсь,— отвечала бабушка.— Поэтому и плачу».

В Тамбове Юлии и в голову не приходило, что бабушка могла быть когда-то молодой и что морской офицер, чей портрет висел у бабушки в комнате, был когда-то ее женихом, а потом мужем. Скорей он годился ей в сыновья, считала Юлия.

«Я все мечтаю, когда вы поженитесь, Борис наконец выйдет в отставку. Как я боюсь моря и этих разлук, из которых его так трудно дождаться...»

Выписка из вахтенного журнала о плавании крейсера первого ранга «Россия» в 1900 году:

«Минный механик помощник старшего инженер-механика Борис Торсен прибыл в наличие 10-го Флотского экипажа.

Общее число дней, проведенных на корабле,— 1065; из них в заграничном плавании — 818; число дней к ордену Св. Владимира 4 степ. с бантом — 970; число цензовых дней к чинопроизводству — 1494».

«5-го июня 1900-го года, в Лондоне.

Дорогая мама! Из Англии «Россия» вернется в Кронштадт в конце июня, а в июле уйдет в дальнее плавание. Поговаривают, что после плавания некоторых офицеров и даже матросов будут переводить на броненосец «Князь Суворов». Говорят, что и меня переведут. Я отчасти рад этому — все-таки перемены...»

«15-го января 1904-го года.

Милая, любимая моя Оля! Теперь, когда я знаю, что ты ждешь меня и тебе трудно бывает справиться с чувством одиночества, как тоскливо мне быть так далеко от вас! «Князь Суворов» всего в двух днях перехода от берегов Японии, а я мысленно с вами, в Тамбове, еще продолжается лето, мы велели нанять извозчика и повезли девочек на Цну... Здоровы ли девочки?»

Юлия помнит Цну и то, как мама рассказывала, что в ее детстве сюда, на берег, приезжали в колясках, пролетках, устраивались пикники... Лошади весело цокали копытами по булыжникам, и это цоканье, говорила мама, навсегда осталось в памяти как мелодия праздника. Цна была праздником.

А во время войны соседские мальчишки и маленькая Юля вместе с ними ловили в Цне раков и здесь же на костре варили их в закопченном котелке и ели. Без хлеба, хлеба не было. Все были голодными, но раки голода не утоляли, только казалось, что утоляют.

Юлия Рубеновна все читает и читает бумаги из кожаного бюварра. «А если бы не Ильин,— думает она,— я бы так и не добралась до этого чтения...»

Макашину в их последнюю встречу она сказала, что Ильин непременно вернется на Большой завод.

— Вот увидишь, он вернется, он из тех, кто подставляет плечо, когда нужно.

Виталий, как всегда, обиделся, чего это она так хвалит Михаила, мы все в конце концов подставляем плечо, когда нужно.

«24-го февраля 1904-го года.

Не пугайся, когда прочтешь в газетах о «Корейце» и «Варяге»,— война всего страшней издали, а здесь мы просто делаем свое дело, и не думай, что каждую минуту меня подстерегает смертельная опасность».

«24-го февраля 1904-го года.

Дорогая мама! Я сейчас написал Оле, чтобы она не думала, будто смерть подстерегает меня на каждом шагу. Со своей способностью волноваться и переживать она, я себе представляю, изводит себя днем и ночью. Успокойте ее, только Вы можете это сделать. Всякая война бессмысленна, а эта бессмысленна втрое...

«20-е августа 1904-го года.

Я давно не писала Вам, милый Юрий Дмитриевич, но Вы, несомненно, извините мое молчание, когда узнаете, что мой Борис ушел в море на войну с японцами старшим механиком на «Князь Суворов», и я только об одном молю бога: чтобы мне увидеть его еще на этом свете.

Он пишет нам, мне и жене своей, бодрые письма, но меня не обманывает эта бодрость. Это для нас он бодр, а на самом деле не может не страдать от ужаса и бессмысленности происходящего. Кто же ответит в конце концов за все это? Детей послали умирать, ведь все, все чьи-то дети, за что их послали умирать?..»

Из сборника приказов и циркуляров о личном составе чинов морского ведомства, № 618:

«Его Императорское Величество в присутствии своем в Петергофе июня 20-го дня 1905-го года соизволил отдать следующий приказ: Увольняются от службы: Гвардейского экипажа Лейтенант Ржевуский — по домашним обстоятельствам Капитаном II ранга с мундиром.

Исключаются из списков: убитые в бою с неприятелем: Капитаны I ранга Игнациус и Бухвостов; Капитаны II ранга Степанов, Македонский, Полис; Лейтенанты Орнатов, Богданов, Вырубов, Владимирский; Корпуса Инженер-Механиков Флота Полковник Петров, Капитаны Антонов, Торсен...»

Мать говорила, что ее отец, дед Юлии, погиб героем. Что ж, она была права, и Юлия это теперь понимает. Каждый, кто до конца выполнил свой долг... «Наверх вы, товарищи, все по местам!» Бог знает как давно было, а вот, оказывается, имеет к Юлии такое личное, такое непосредственное отношение.

Корпуса инженер-механиков флота капитан Торсен исключается из списков как погибший в бою с неприятелем...

«30-го июня 1905-го года.

Дорогой Юрий Дмитриевич, хочу, чтобы Вы оплакали со мной мое горе. 14-го мая в сражении с японцами в Цусимском проливе погиб вместе с кораблем мученической смертью мой незабвенный сын Борис. Погиб жертвой за чужие грехи...»

В тишине квартиры раздается телефонный звонок. Это Лизка. Она хочет, чтобы мать сейчас же, сию минуту приехала к ней.

— Что случилось?

— Когда приедешь, расскажу.

— Ты здорова?

— Да. Но надо поговорить.

— Ну что я потащусь так поздно, уже одиннадцатый час,— говорит Юлия.— Давай отложим до завтра.

— Нет! — требует Лизка.

И Юлия идет одеваться. «Поймаю такси,— решает она.— Что могло случиться? Поссорилась с мужем?»

Из циркуляра Главного морского штаба № 231 июня 13 дня  
1905 года:

«Объявляется список нижних чинов, погибших на броненосце «Князь Суворов»: музыкант, квартирмейстер 2 статьи Антон Соколовский, из воспитанников Лейб-Гвардии Финляндского полка, Ковенской губ., холост; старший комендор Иван Разумов, переведен с броненосца «Сисой Великий»; комендор Василий Буданов, переведен с крейсера «Дмитрий Донской»; гальванер Федор Печурин из крестьян Тульской губернии, Новосильского уезда, Косаревской волости, села Шеина, женат; минер Михаил Ильин из крестьян Рязанской губ. и уезда, Солотчинской волости, деревни Житово, женат...»

Это потом про человека говорят: он до конца выполнил свой долг и, значит, герой. Разве он думал, что он герой, этот самый минер Ильин из крестьян Рязанской губернии? Надо рассказать Михаилу про его деда, чью фотографию она увидела у них в альбоме. Чего уж теперь?.. Надо это рассказать.

«Погиб жертвой за чужие грехи, за чужие ошибки. Он погиб, а я осталась, и, поверьте, нет ничего страшнее этого сознания.

Зачем жизнь так тяжела? Или страдания неизбежны и на что-нибудь нужны? Не знаю. Я ничего не знаю. Я чувствую себя, как провалившийся на экзамене школьник. Мне ужасно стыдно, и я только одного хочу, чтобы меня поскорей отпустили...»

Если Лизка зовет ее, поссорившись с мужем, значит, это серьезно. Должно быть, придется там остаться ночевать. Юлия запихивает в сумку ночную рубашку, зубную щетку. Что еще? Пока ты нужен кому-то вот так среди ночи, жизнь не утратила смысла.

Такси появилось тотчас же, как только она вышла из ворот. «Как удачно»,— подумала Юлия Рубеновна, садясь в машину. «Я закурю, не возражаете?»— спросил шофер. «Пожалуйста,— ответила Юлия и поискала в сумке сигареты.— Я тоже закурю».

Если Лизка зовет ее, поссорившись с мужем, значит, это серьезно. Видимо, так и должно было случиться: Юлия с самого начала удивлялась выбору дочери. О чем они разговаривают, когда остаются вдвоем?

Эта же мысль занимала ее когда-то, когда думала о Макашине. Какой он дома? Некоторые живут, всерьез озабочиваясь бытом, прямо оторопь берет: «Где вы это достали? Надо будет мужу позвонить, пусть съездит возьмет. А какой рецепт мне дали вчера в гостях! Пачка маргарина, пять штук грецких орехов...»

Живут, подробностями жизни заполняя ее пустоту. Но Макашин не станет же интересоваться грецкими орехами и тем, где достать стиральный порошок «Дарья»! Как он-то живет каждый день? Так она и не успела этого понять.

А впрочем, зачем ей было это понимать? Разве для того, чтобы любить, надо непременно видеть, в каких шлепанцах ходит дома любимый человек и сколько ложек сахара кладет в чай по утрам?

Такси, круто повернув направо, вырвалось на пустынный в этот час проспект Ветеранов. В темном небе над проспектом Юлия увидела самолет. Он летел низко, наверное, шел на посадку, тревожно мигая красными бортовыми огнями.

Ей показалось, что все это уже было с ней когда-то: пустынный проспект, самолет, заходящий на посадку, и даже то, что сейчас

скажет таксист, она уже знает. Он спросит: «Какой дом-то? За лесом?»

На проспекте Ветеранов от прежней деревни Ульяновки остался лес, который, возможно, когда-то рос за околицей. Не лес — березовая роща. Теперь она белеет стволами по обе стороны проспекта. Направо выходит к Таллинскому шоссе, налево — к Балтийской железной дороге. А там недалеко и Пулково, аэропорт.

...Первое время, когда Лизка только еще переехала в Ульяновку и Юлия оставалась у нее ночевать, никак не могла привыкнуть к низко летящим над домом самолетам.

— Здесь же спать невозможно,— говорила она дочери.

— А я уже привыкла,— отвечала Лизка.

Как быстро выросла дочь! Но все еще — удивительно! — в ней, взрослой, уживается прежняя маленькая Лизка со смешными косичками, она боялась темных комнат и, держась за руку Юлии, храбро говорила: «Не бойся, мама, я с тобой...»

Похоже, что так оно и осталось: Лизка тверже и крепче Юлии стоит на земле. «Не бойся, мама, я с тобой...»

— Вы хоть и росли в войну, но мы позакаленней вас,— говорит она матери.— Нас так просто не собьешь!

— Нас, что ли, собьешь?— возражает Юлия.

— Да вас пальцем тронь — вы уже лапки кверху: «Все рухнуло, все ужасно!» Терзаетесь какими-то нереальностями.

— Что значит — нереальностями?

— А то и значит, что не смотрите на мир трезво. А в нем, между прочим, все закономерно, в том числе и ошибки.

— И трусость? И подлость?

— Ах, оставь, пожалуйста! Что за охота всякую служебную неурядицу тотчас же объявлять подлостью!

Иногда кажется, будто для Лизки не существует вопросов — одни ответы. Все-то она так безошибочно знает.

Но ведь это, должно быть, только кажется, это такая манера говорить. Вот и сейчас по телефону просит приехать, что-то, очевидно, меняется в жизни, а в голосе ни растерянности, ни беспокойства.

— Это у меня-то нет вопросов? — засмеялась однажды Лизка, выслушав Юлию.— Я чаще всего просто не желаю обременять тебя своими проблемами. Знаешь, как французы: они считают неприличным исповедоваться в неудачах.

— Ты же не француженка!

— Это ты не француженка,— опять засмеялась Лизка и переразнила мать: — «Все рухнуло, все ужасно!»

Юлия улыбнулась, вспомнив, как смешно Лизка это произносит...

— Здесь? — спросил шофер, сворачивая к тротуару.

Она расплатилась и вышла из машины, все еще улыбаясь. Вокруг лежал снег. Было тихо, морозно, ясно. Над девятиэтажным Лизкиным домом дрожали звезды.

## 9. ИЛЬИН

...Теперь получалось, что у них две квартиры: в Колпине и в Городке. Живи где хочешь, а жизни нет. Может, не надо было уезжать? «Чего тебе там посулили?» — спрашивал Матвеев. А Татьяна сказала Лешке Самоварову, когда он пришел вместе с Ильиным в больницу навестить ее:

— В каких местах мы побывали, Леша, ты и представить себе не можешь. У нас тут такого ввек не увидишь. Вот поправлюсь — опять туда поедем.

Она знала, что не поправится, знала, но все же сказала так, должно быть, специально для Михаила, чтобы не каялся.

— Я так ни капельки не жалею, что поехали. Мне другой раз даже снится: степь, солнце, виноград, как янтарь, желтый..

Когда Татьяну хоронили, Валентина с красным от слез лицом говорила Наталье (Ильин слышал):

— Твоя мать все мечтала в Городок вернуться. И чего ей там нравилось, господи! Пустая степь, солнце, как сковородка раскаленная...

Матвеев пришел на похороны со Звездочкой на пиджаке, держался солидно, на поминках почти не пил.

Давным-давно, когда Матвеев и Ильин были мальчишками, только что из ремесленного, их на заводе обучал сварке Григорий Матвеевич Пронин. Было ему лет пятьдесят, и он казался им стариком. Они так и звали его между собой — старик Пронин. Почему-то он не любил Матвеева и, когда тот ушел со сварки в сборочный, сказал Михаилу:

— Все равно бы от него на сварке толку не было, пусть идет.

Конечно, он был несправедлив к Кольке. Тот и тогда умел работать, просто сварка ему не особенно нравилась, а Пронин этого не прощал, как личное оскорбление.

— Меня сам Патон уважал, — говорил он Михаилу, — Патон Евгений Оскарлович, знаешь?

Михаил не знал.

— Ну так знай: Патон — академик, мы с ним на Урале в войну работали, танки варили.

Он так и говорил: «варили танки» и «мы с Патоном». В пятьдесят девятом году Пронин умер, а еще десять лет спустя Ильин с Татьяной приехали в Киев на экскурсию от завода, и экскурсовод, когда проезжали по мосту через Днепр, рассказывал о Патоне, об автоматической сварке под флюсом, о том, как на Урале в сорок втором году «патоновским швом» впервые в мире соединили броневые борта танков. И Ильин подумал: «Вот как все связано в жизни, уж если однажды аукнется, так непременно где-нибудь откликнется».

На Большом заводе таких сварщиков, как Ильин, может быть, и не было. А теперь, когда он уехал, кто же там, интересно, считается лучшим?

«Чего тебе посулили?» — спрашивал Матвеев. Так до сих пор, должно быть, и не верит, что Ильин поехал просто так и о том, что поехал, не жалеет, а вот о том, что пришлось уехать...

...Кромка готова к сварке. Никто не должен прикасаться к металлу, следы от пальцев могут нарушить точность работы. Ах, какая она точная, эта тонкая линия шва! Да не толпитесь вы! Дайте взглянуть! Вот этот? Этот. Молодец! Молодец, Ильин!

Микронная точность. Сварщики это могут, это в их руках. Другим сложнее. Другим эту необходимую для продукции точность надо выдать на гигантских станках. А если их качнуло и полетела к чертям регулировка, когда здание дало трещину?

В том-то и оно, как говорила когда-то бабка. В том-то и оно.

На поминках Матвеев держался солидно, почти не пил. И вообще стал как будто другим.

— Заважничал, что ли, Колька? — спросил Ильин у сына (Илюша, уйдя из института, работал у Матвеева в бригаде).

— Да не в этом дело, — засмеялся сын.

— А чего смеешься?

Разговор произошел на днях, ехали вместе с завода. Ильин как раз тогда жил у сына после похорон.



— Да смешно: он теперь все боится, что его забудут. Забудут в президиум посадить или в газете не упомянут. Ребята шутят, что он, видно, заболел от этого, столько переживаний...

Когда-то Матвеев был у них вроде как член семьи. Ни один праздник не проходил без него и без тети Веры, как Ильин и Татьяна вслед за ребятами называли его жену.

— Мы ведь, считай, родственники,— говорил обычно Матвеев после первой же рюмки.— Верно, Михаил? В одной комнате, считай, жили, всех перегородок-то два шкафа.

Но Ильин никогда особенно не любил его хвастливого шумного присутствия. И то, что сегодня на сороковины он не пришел, было даже к лучшему. Каким-то странным тоном он теперь разговаривает, словно посмеиваясь и над Ильиным и над Большим заводом: «Ну, вы там, кажется, хотели нас обскакать, а вот что вышло...»

Разве в том дело, что хотели кого-то обскакать? Хотя, конечно, шуму было много. Самого Ильина столько раз приезжали фотографировать — не сосчитать! «Что они, сдурели?» — говорил он Макашину, глядя на очередной свой портрет в каком-нибудь журнале. У Макашиных в доме все газеты и журналы, где хоть строчка была про Большой завод, бережно сохранялись. «Ну накопил ты макулатуры!» — смеялся Ильин.

Макашин тоже смеялся, но видно было, что ему нравится весь этот шум. Он даже частенько вслух читал какую-нибудь заметку за столом при всех, разворачивал газеты, журналы, сдвинув в сторону рюмки: «Погляди! Небось не видел? Вон чего про нас пишут!»

Ильин понимал, что должен теперь испытывать Макашин. Стыд. Ему стыдно, что вроде оказался в дураках. Потому и кричал тогда зло и несправедливо, что — стыдно. Ведь как ни крути, получается, что он назвал людей со всей страны, расшумелся, расхвастался... Ну не он один, конечно, но и он тоже. Ильиных, например, лично он позвал, а они вроде сбежали. Не станешь же каждому объяснять про Таню, про ее болезнь. Даже Толе Григорьеву он не смог ничего объяснить, не смог.

Если бы Таня была, они бы вернулись.

Ильин в первый раз так отчетливо подумал про это: «Если бы Таня была, мы бы вернулись».

Юсупов плакал, когда они уезжали. Сидел у них на кухне и плакал. Выпили, конечно, перед этим, не без того, но ведь не потому взрослый мужик заплакал. Чего-то ему, значит, жалко стало — до слез.

...От центральных дверей главного корпуса начинается проспект Циолковского. Никакого проспекта, по правде говоря, еще нет, но так задумано, чтобы от дверей главного корпуса начинался проспект. Вернее, чтобы он замыкался этим самым корпусом, а начинался бы на пересечении многоэтажных улиц нового Городка. И чтобы тополя вдоль тротуаров, цветники, фонтаны и через каждые двадцать — тридцать метров стенды с фотографиями лучших рабочих Большого завода.

За то время, что Ильин жил в Городке, проспект построить не успели. Просто заасфальтировали наспех дорогу от центральной проходной и вырыли по обе стороны два котлована под будущие здания.

Но стенды с фотографиями поставили, и на первом, если считать от проходной, висел портрет Ильина...

«Если бы Таня была, мы бы вернулись».

Ильин взглянул на часы. Уже почти одиннадцать, скоро смена кончится. Многие почему-то не любят вечернюю смену, а он так наоборот — больше любит вечернюю. И здесь, в Колпине, и в Городке на Большом заводе ему нравилось выходить в вечер. Спокойнее, и

начальство в цехе не суетится. На Большом, впрочем, частенько до самого гудка начальство из цеха не выходило. По две смены, считай, отбывали. В том числе и Макашин.

Цех огромный, но и Макашин не маленький: издали видать. Ильин смотрит в щиток на электрод, но видит и то, что делается вокруг. Видит Макашина, как тот медленно, то и дело возле кого-то останавливаясь, идет по зеленым плитам пола.

Вот что значит новый завод! На старом никто и не замечает, какого цвета пол. Может быть, коричневый? Или просто грязный?

А там — зеленый. Как футбольное поле. Только это не одно поле, а несколько. «Красота, кто понимает!» — воскликнул Толя Григорьев, когда Ильин впервые привел его в цех. Он и сам-то к тому времени всего без году неделю работал на Большом заводе, но Толино восхищение принял как бы и на свой счет: знай, мол, наших!

Когда по корпусам пошли трещины и начались разговоры, будто грунтовые воды из-за того, что их неправильно отвели, размывают почву под Большим заводом, всего обиднее было думать, что такую красоту придется ломать и что-то там строить заново, укреплять, подлаживать... Такую-то красоту?!

Кто же все-таки виноват во всем этом деле? Есть тут, в конце концов, виноватые?

Юлия Рубеновна, когда Ильин спросил ее об этом, ответила:

— Есть, конечно.

— Кто же?

Ее лицо стянулось, как перед слезами.

— Все, — сказала она, — все в разной мере.

— Ну, — усмехнулся Ильин, — когда все, значит, никто.

Уезжая из Городка, Ильины половину вещей оставили, как будто не насовсем уехали, а на время. Вообще разве узнаешь, где тебя смерть застанет и где судьба жить заставит...

Половину вещей не взяли, даже ковер со стены снимать не захотели, а вот альбом с фотографиями Татьяна, оказывается, забрала, его-то и обнаружил Ильин в одном из ящичков. Аккуратно обернут и перевязан тесемкой: у Татьяны все по порядку.

Сначала шли родственники Михаила: отец, мать. Ее и знает только по этой фотографии. А вот это сестры Анна и Мария, еще молодыми, в одинаковых белых беретах, голова к голове, в одинаковых кофточках. На другой фотографии они уже пожилые, сидят прямо, руки на коленях. Это Илюша снимал, когда всей семьей ездили в Житово.

Было лето, как один день, яркий, солнечный. От станции до деревни добирались на попутке. Татьяна с Наташкой в кабине, а они с Ильей в кузове, и когда подъезжали к повороту на Житово, то чуть не проскочили поворот, потому что Михаил, как оказалось, не узнал места.

— Я помню, что за пшеничным полем, не доезжая трех берез, сворачивали, — рассказывал он сестрам, — а тут, смотрю, ни поля, ни берез...

Все изменилось, и особенно сестры. «Как постарели!» — испугался Михаил, но виду не подал. С последней их встречи прошло тогда семь лет, и он их помнил такими, какими они приезжали в гости к отцу на Дегтярную. Тетя Шура, жена отца, не знала, куда их и посадить, чем угостить получше. Делала это и потому, что сама была добра, и потому, что знала: для мужа ее самый большой праздник — дети. Он и не женился, пока они были маленькими, не захотел приводить в дом мачеху.

Миша помнит, как отец говорил: «Мачеху детям не приведу ни за что, нажился я с отчимом».

Отец отца, родной дед Михаила, не вернулся с японской войны, а неродного деда Миша застал, был он угрюмым, ходил с палкой и замахивался ею на бабу, когда напивался пьяным.

На похороны Татьяны приезжала из Житова только Маня, старшая сестра, а Нюра приехать не смогла, у самой муж больной лежит.

— А чего же твой мужик не приехал, Виталий-то? — спросила Маня у Валентины.

— Он вчера в командировку улетел, в ФРГ, — ответил Антон, и что-то такое было в его голосе, как будто хвастается.

Валентина промолчала, а Ильин подумал: «А если б не улетел в ФРГ, приехал бы?»

Поссорились грубо, как враги. Три месяца прошло, а обида не затихла, саднит. У Макашина небось не саднит: ему там было чем заняться, в Москве-то. Опять новая работа, новые люди, а про тех, что прежде были, наверно, забыл. Новая работа — вертись, привыкай. Теперь вот в ФРГ уехал. Может, правда, и вернулся уже, кто его знает.

Ильин наконец нашел то, что искал: фотографию Татьяны, на которой (он знал) она больше всего себе нравилась. В Городке такая же, только увеличенная, висит над диваном..

«Надо будет альбом ребятам оставить. Зачем в Городок увозить?» — подумал он внезапно, не удивившись, впрочем, своим мыслям, как будто еще раньше это решил, как будто это само собой разумелось, что теперь, когда все кончено, он возвращается в Городок.



---

---

## АЛЬФОНСАС МАЛДОНИС



### ИЗ НОВОЙ КНИГИ

#### Под знаком Весов

*А. Бярногасу.*

Здесь те, что жили, те, что будут жить.  
Здесь есть окно, чтоб свет дошел досюда.  
Кто скажет, неизменна ль суть сосуда,  
Если вино иль воду в нем хранить?

Коль ты один, то одинок ли ты?  
Преграды нет и нету расстоянья,  
Когда захочешь ты прильнуть к сиянью  
Небес, и человека, и воды.

Захочешь ты прибежище сыскать,  
А стены все равно тебя обстанут,  
И льдины о речное устье грянут,  
И в мокрых соснах будет месяц спать.

Вон той тропой в те времена и ты  
Сквозь дымку неизвестности неверной  
Несешь непрочность оттепели первой,  
Где смешаны вода, и первый снег, и льды.

Утратив дом, найдете свой приют...  
Все перевесят несколько минут,  
Где грех преобразится в искупление,  
В отчизну — травы, и слова — в решенье,  
И пыль Вселенной — в комнатный уют.

#### Мужество рождения жизни

Из листьев слагаются псалмы  
Про жизненную отвагу.  
Начало стены — по камню,  
Начало тропы — по шагу  
Складывают человеки,  
Надеясь выращивать жито.  
О, мысли святые!  
Навеки  
Мудрость потом добыта.  
Лишь для того родился мы —  
Для веры и для доверья.

Мужеству жизни из листьев  
Гимны слагайте, деревья.  
По камню слагайте стену,  
По шагу слагайте тропы,  
Упорно и постепенно,  
Как складываются строки...  
Оно ведь тверже гранита,  
Святое мужество это,  
В нем все заложено, слито,  
Запомнено и не забыто —  
В рождении жизни и света.  
И в этом наша защита.

\* \* \*

Зори алым светом  
Заливают пажить.  
Значит, будет ветер,  
Весь ячмень поляжет.

Замутит озера.  
Сроки лета кратки.  
Улетят, как птицы,  
Пестрые палатки.

Шумны полустанки.  
А в округе зябко.

Вон родного дома  
Шиферная шапка.

Снимут шапку с поля,  
У шоссе положат.  
Городские дети  
Забегут, быть может.

Ведь природу любят.  
Все у них в порядке:  
Беленькие дачи,  
Пестрые палатки.

### Тихий натюрморт

Коричневый стол  
Поглаживает солнце,  
Переминаясь вдоль окна.  
Вблизи разросшихся берез,  
Как старец, копошится  
экскаватор.

А в кухне протекает кран,  
Роняя по одной  
Железистые капли.  
Покинутая нами тишина  
Там обитает в одиночку.  
И лишь заблудший телефон

Несмело зазвучит  
И сразу смолкнет.  
На подоконнике  
Зелено-медная сухая муха  
Старается заполнить  
Лист времен  
Молчаньем тишины.  
И день за днем.  
Пылинка за пылинкой  
Слагаются в огромность  
Безымянных  
И многочисленных времен.

### Кормление зимних уток

Совершенно седой старик,  
Трясущийся, согбенный,  
Кормит декабрьским утром  
Стаю гогочущих уток  
На берегу Нерис  
Дымящимся паром.  
Как понимают друг друга  
Зазимовавшие утки,

Чистящие перья,  
Гогочущие в воде.  
Слезящиеся глаза старика  
Видят их неясно.  
Он улыбается.  
Утки плещутся,  
Гогочут их голоса.  
Всем прекрасно.

### Пора посадки цветов

Время полоть травы.  
Пора семян и рассады.  
По-детски глядит утрами  
Нежный цветок на гряды.

Грозы поля засевают.  
Тучки вновь приплывают.  
Глядит босоногое время  
В ту изначальную пору,  
Где босы мы, простоволосы,  
Слышится матушкин голос.

Ой вы косыньки-косы,  
Ой студеные росы.

Сколько цветов опало.  
Сколько песен пропало,  
Сердцу от этого горше  
И на душе тревожней..  
Лети, бѣгтя пылинка,  
Туда, где скользкие тропы,  
Где колкий гравий дорожный..  
Когда оплетут сердце  
Корней старые нити,  
Перед цветком весенним  
Голову преклоните.

\* \* \*

О, сердце тяжкое мое,  
Куда ты мчишь,  
Зачем стучишь?  
Спешишь  
До содроганья жил.  
Я, может,  
Непосильный груз  
Себе на плечи  
Возложил?  
И ты,  
Как ошалевший конь,  
Нахлестываемый кнутом,  
Без удержу  
С горы понес,  
Чтоб опрокинуть в пыль  
Потом  
Хозяина и воз.

*Перевел с литовского Д. САМОЙЛОВ.*

---

---

---

БОРИС ШИШАЕВ

★

## ЗАСТУПНИКИ

Рассказ

1

**Г**орячий ветер с пылью — вот что в этих степях самое плохое. Никакого спасу от пыли негу. Скрипит без конца на зубах — аж нервы бесятся. Идешь в столовую обедать, ну, думаешь, сейчас на-верну от души. А в еде опять же пыль, хоть и вкусно готовят. Как она, черт, на кухню-то заползает? Пожуеть немного, похрустишь песком, и пропадает весь аппетит. И на руках пыль, и в волосах — расческой не продерешь. — и под одеждой всюду, даже в трусах. Смешивается с потом и раздрает все тело. А печет сверху — ой-ой-ой! Сбросить бы с себя эту просоленную рубаху, штаны, поплавать бы в прохладной речной водичке! А так что ж — можно шоферить и тут. Дороги хоть и грунтовые, но прямые и твердые, дождей, говорят, не бывает до осени...

С такими мыслями Веня Дубков, привыкший не унывать парень, гнал по раскаленной казахской степи свой груженный зерном «газон».

И еще думал Веня о том, что, может, и не послали бы с автокомбината на целину помогать убирать урожай, если б имел он семью — жену и сына или даже двоих сынков. Или сына с дочкой — тоже хорошо. А то, конечно, кого же и посылать как не его. Кругом один, живет в общаге. Мать не в счет — государство взяло у нее Веню на свои руки, когда он был маленький. Пристрастилась к регулярной выпивке и халатно относилась к материнскому долгу. Пришлось выра-стать в интернате. Сейчас если сказать, что мать жива, то это лишь название. Совсем отступилась от нормальной жизни, возится в грязи и сраме. Даже бесполезно заботиться о ее существовании. Приедешь, наведешь порядок, денег дашь, а через два дня опять сплошное безоб-разие. Заботиться, ясное дело, надо — мать есть мать, — но одна толь-ко спокойная жалость к ней и больше ничего...

И жениться никак не выходит. Ребята, смотришь, гоп-гоп — и го-тово. На скольких уж свадьбах отгулял. А у самого — никак. Из себя невидный, чернявый, как цыган, чего там. А уламывать не мастак. За-чем лезть, если ты ей не глянешься? Надо, чтоб ее к тебе тянуло. Чтоб все подобра. Его-то Веню, давно уже тянет к одной, но пока безре-зультатно. Может, еще потому, что простой совсем — за модой гнать-ся не привык, ходит нормально.

Да... Не семейный — вот она и командировочка. Да какая! Меся-цем не обойдешься. Всего два года назад отслужил в армии на Алтае, и пожалуйста — опять приходится гонять по степям. Но там подобной пыли не наблюдалось. Перелески, леса даже встречались. А здесь ровно кругом, ни единого деревца — самая настоящая сковородка.

А вообще-то разобраться — не все ли равно, где баранку крутить? С запчастями тут богато, с пропитанием тоже полный порядок. Правда, совхозное начальство жмет все время, подгоняет — давай-давай, пока погода. Вот и приходится носиться по-бешеному. А на этих дорогах, в такой крошечной пыли, и до беды недалеко. Были уже случаи. Ну ничего. Всякое видали и на большой пыльной сковородке перетерпим — авось до конца не зажаримся. Не бери в голову, как любили ребята говорить в армии. Веня улыбнулся и лихо сдвинул на затылок сделанную из газеты пилотку.

Навстречу, вздымая за собой огромные плотные клубы пыли, мчалась машина. «„Урал“... — привычно определил Веня, как только увидел ее вдаль.— Не слабо нарезает». Когда сблизилась, «Урал», не сбавляя скорости, посторонился нехотя и совсем мало — видать, водитель казался себе таким же мощным, как его автомобиль, и считал, что все, кто меньше, должны уступать ему дорогу. Пришлось пройти правой стороной по жестким кочкам обочины. «Наверняка из кузова сыпанулось зерно», — подумал с досадой. Веня терпеть не переносил таких пузырей безмозглых — от них на дорогах одна нервозность, а то и хуже. «Ничего,— успокоил он себя,— может, еще встретимся, вмятина на крыле у него приметная».

Весь белый свет затмилась поднятой «Уралом» пылью. Солнце багровым сгустком едва просвечивало сквозь нее. Веня вслепую нащупал середину дороги — он давно уже научился чувствовать землю колесами — и придавил газку, чтоб поскорее вырваться из этой противной, медленно оседающей мути. Пыль уже начала рассеиваться, и вдруг совсем близко возникла кабина летящей на него машины, красновато вспыхнули и погасли во мгле ее фары. Ни свернуть в сторону, ни дать по тормозам Веня не успел. Лишь увидел на секунду судорожно вцепившегося в руль парня в солдатском выгоревшем х/б, его искаженное ужасом лицо, и страшный железный удар потряс и смял сознание.

Очнулся Веня, когда пыль уже осела. При столкновении его вышибло из кабины, и теперь он лежал на земле метрах в двух от своего грузовика, неловко подвернув под себя руку. Медленно перекатившись на другой бок, Веня почувствовал вкус крови во рту, тяжкую тупую боль во всем теле и вслед затем услышал надсадный прерывистый вопль: «А-а-а! Ы-ы-ы!» И увидел, что плотно влипший в его машину «ГАЗ-66» горит — языки пламени, потрескивая, лижут искореженное железо кабины. «Он же там! — Догадка пронзила мозг, заставила забыть о собственной боли.— Зажало, видать!» Веня вскочил было, хотел броситься к горящему грузовику, а ноги подломились — прострелило до самого глубокого нутра, и он упал. Мутная пелена начала сгущаться перед глазами. Наверно, кости в ногах были сильно поломаны. Веня, изо всех сил удерживая в себе сознание, пополз к машине. Подножка уже нагрелась. Обжигаясь, он оперся на нее, приподнялся и стал остервенело дергать дверцу, но та не поддавалась — заклинило намертво. Стоны внутри не прекращались. Тогда Веня прополз под своей машиной на другую сторону и попытался открыть кабину незнакомого шофера оттуда. Но и здесь изуродованная дверца была зажата вглухую. Подстегнутый отчаянием, Веня ухватился за то место, где выдвигается стекло, подтянулся на руках и встретил безумный, умоляющий взгляд. На заплаканном лице парня мучительно белел оскал, вздулись до синевы вены на худой мальчишеской шее. В глубине кабины ворочалось пламя, горячий смрад царял в горле.

— Но-оги! — без голоса прокричал парень, увидев Веню.— Зажало! Руби скорей ноги! Руби-и!..

— Сейчас, браток... — Веня задышался.— Сейчас как-нибудь. Все кругом смяло, двери заклинило... Потерпи, братишка... Я стоять не могу. Надо из кузова. Потерпи.



Он отцепился и упал, ударившись коленями о подножку. Опять остро стегануло болью, но Веня напрягся жестко против нее, придавил боль всеми внутренними силами и быстро пополз к заднему колесу. Скрипя зубами и крупно дрожа от натуги и пронизывающей рези в глубинах тела, он почти на одних руках вскарабкался наверх, тяжело перевалился через высокий борт и грохнулся на дно кузова, опять едва не потеряв от боли сознание. Доски были горячими, один угол у кабины пылал. Веня схватил ломик, который оказался здесь, и, лежа на боку, выбил уцелевшее чудом стекло. Из кабины пахло жаром и гарью, но он все-таки собрал в себе еще сил и терпения для того, чтобы просунуться туда в лихорадочной надежде вызволить парня из жуткого плена. Протиснулся, давась дымом, и увидел: тот, судорожно выгнувшись над спинкой сиденья, стремясь хоть как-то защититься от огня, который уже охватил ноги, льет на себя из канистры густую темную жидкость.

— Не надо! — захлебнулся визгом Веня. — Масло! Масло же!

Он сумел дотянуться до плеча водителя, схватил даже за х/б в том месте, где остался темный след от погона, и потянул к себе, но было уже поздно. Одежда на зажатом в кабине парне вспыхнула разом снизу доверху, Вене обожгло руки и опалило лицо. Веня выдрался из окошка, завыл от ужаса и пополз по горячему кузову, нащупывая ломик. По всем его нервам продолжала безотчетно и загнанно метаться надежда — дверь кабины ломиком как-нибудь... Выбросив из кузова ломик, он перегнулся через задний борт, кувырком полетел на землю и после падения ничего уже больше не видел. И не слышал, как некоторое время спустя гулко рвануло бак, потом второй.

## 2

В мещерское село Прудки чете пенсионеров Потапкиных пришла телеграмма, которая содрогнула и оглушила стариков подобно резкому удару грома среди полной тишины и ясного неба.

В телеграмме сообщалось, что внук их Потапкин Вячеслав Егорович погиб трагически при исполнении рабочего долга. Выразалось глубокое соболезнование от имени руководства, партийной, комсомольской и профсоюзной организаций, всех рабочих и служащих зерносовхоза «Кийминский», а также просили телеграфировать о возможности приезда по вопросу похорон и, если таковая имеется, уведомить о своем выезде, чтобы там, на месте, могли встретить.

Старик медленно опустил с телеграммой в руке на табуретку, низко склонил голову и молчал, словно закаменел и наглухо отрешился от всего мира. А жена его Устинья вцепилась в край стола, чтобы не упасть, и слезы потекли по ее морщинистому лицу. Она напрягалась, стараясь подавить рыдания, потому что старик был человеком суровым, прошедшим войну от начала до конца, раненным не единожды и не любил, когда при нем громко плакали.

Устинья крепилась сколько могла, а потом не выдержала. Седая ее голова затряслась, и, тоненько подвывая, старуха пошла на огород, в баньку, закрылась там в темноте, упала на колени и дала выход своему необъятному горю — зарыдала с причитаниями.

А старик сидел дома все так же и думал о том, как жестоко, не по-божески обходится с ними жизнь. Зла никому не делали, на чужое не зарились, трудились-ломались в полной честности, а она гнет и лупит без всякой пощады. Была у них единственная дочь Вера, а что получилось? Душою добрая, тихая, настырности ни на грош, вот и упустила свое время — осталась одна, замуж не вышла. И ведь не сказать чтобы какая-то там никудышная с виду, вроде все при ней. Другие совсем без образа и то мужиков исправных оттяпали, а тут поди ж ты... Устроилась в городе, работала там где-то по ремонту железной дороги. Ну и выясняется вдруг — родила, а сама болеет.

Поехал, привез их сюда. Оказывается, врачи сильно предупреждали — нельзя рожать, годы не те, поздно, беда может выйти, а Вера не послушалась, родила. Наседал на нее сначала, кто, мол, такой выискался, что за ухарь, где живет, из-под земли поганца выкопаю. Но Вера так ничего и не сказала. Чахла, чахла потихоньку, а потом померла.

А Славик остался. Записали его на себя, стал Егорычем — по деду. И рос — одна отрада. Уважительный, старательный, в руках все спорилось. Хулиганства никакого. Окончил в районе училище — и хошь тебе шофером, хошь на тракторе. Кормилец настоящий. Ждали — из армии придет, этим только и жили. А он отслужил свои два года и домой сразу не поехал, устроился где-то там, рядом со своей частью, в совхоз на хороший заработок — решил потрудиться до осени. Чтобы, значит, вернуться в Прудки с деньгами, старикам в тягость не быть — одеться на свои и бабке с дедом материально помочь. Вот ведь какой парень. И ждать-то немного осталось, а вон оно чем обернулось...

Егор Фомич долго сидел сгорбившись, без слез, и только когда вспомнил, как Славик с первой своей полочки купил ему пиджак, а бабке веселый цветастый платок, из глаз выкатились и упали на пол две маленькие слезинки.

Вошла чуть живая Устинья, вытирая фартуком лицо, и он тяжело разогнулся, встал и погладил ее по плечу.

— Да, мать... Совсем мы с тобой обездолились. Крепись уж как-нибудь. Такое дело... Надо ехать, привезу его... А ты зови баб, готовьтесь тут.

Посоветовались и решили, что ехать лучше из Москвы самолетом — все-таки быстрее. Сняли с книжки деньги, все какие были, и Егор Фомич отправился в ночь на автобусе из райцентра.

В Москве добрые люди подсказали, как лучше добраться до аэропорта, откуда можно улететь в те места, где погиб Славик. Егор Фомич приехал в этот аэропорт и узнал там, что самолет, который ему нужен, летит только вечером. Хотел купить билет и дать срочную телеграмму в совхоз, чтобы ее успели получить до его прибытия, однако билетов в кассе не было. Егор Фомич растерялся и стал рассказывать, сбиваясь, какая случилась беда. Молодая кассирша в красивом форменном костюме, не дослушав до конца, ответила, что могут отправить только по телеграмме. Телеграмма была при нем, и когда Егор Фомич вытащил ее торопливо и протянул дрожащей рукой в окошко, девушка быстро пробежала глазами текст и велела подойти к кассе за час до вылета.

— Мне ведь туда сообщить надо, чтоб встретили. Я там не знаю ничего. Вдруг сообщу, а вы на самолет не посадите, — охрипшим голосом сказал Егор Фомич.

— Сообщайте, дедушка, — успокоила кассирша. — Улетите обязательно.

Спокойный понятливый парень помог найти телеграф, оформить как полагается телеграмму, и Егор Фомич отослал ее. После этого он сел на свободное место среди множества пассажиров и, опять закаменев, не видя и не слыша вокруг себя ничего, просидел так до самого вечера. А когда настала пора идти за билетом, даже удивился быстроте протекшего времени.

Билет сразу дали, и вскоре Егор Фомич уже летел в строгом чистом самолете, отвернувшись от людей, и глядел на возрастающее отчуждение земли в круглое окошко, пока она совсем не скрылась под облаками. «Эка вознеслись... — думал он с горечью. — А вот чтоб каждый человек прошел свое по земле полностью, не сложил голову в самом начале, как вышло со Славиком, — этого устроить не можем. Все больше вверх и в стороны...»

Когда обходительная девушка стала разносить всем еду, Егор Фомич вспомнил — ни крошки не держал во рту с тех пор, как уехал из дома. Не хотелось есть и сейчас, но он постеснялся сказать, что ему ничего не надо, неудобно было сидеть и не притрагиваться к еде, когда так аккуратно и культурно заботятся, поэтому пришлось взять кусок курицы и жевать с трудом, стараясь не уронить чего-нибудь на пол. А потом Егор Фомич осмелился и решил, хоть и застревало в горле, съесть все принесенное, раз уж выпал такой случай — ведь неизвестно, как там, впереди, будет, сил потребуется много, а если долго не питаться, они улетучатся.

Ступив на незнакомую, даже в темноте ночи пышущую жаром землю, он с замирающим сердцем пошел вместе со всеми и в зале аэровокзала вздрогнул, услышав свою фамилию, которую произнес ровный женский голос, усиленный мощными динамиками: «Товарищ Потапкин, вас ждут справа у здания аэровокзала, около машины «УАЗ» под номером шестьдесят три — сорок восемь». Голос повторил фразу еще раз, и Егор Фомич даже огляделся скованно — показалось, будто все вокруг знают, что эти громкие, неизвестно откуда звучащие слова обращены к нему.

На освещенной площади перед аэровокзалом он сразу увидел в стороне зеленую легковую машину и рядом с ней двоих мужчин — один в годах, другой молодой. Оба напряженно всматривались в толпу. Егор Фомич направился к ним.

— Доброго здоровья, — сказал он. — Вы, случайно, не меня ждете? Потапкин я. Прилетел вот...

— Егор Фомич? — подался навстречу и порывисто протянул руку высокий худой мужчина в соломенной шляпе. — Вас, вас ждем... Лазаренко Василь Данилыч, председатель рабочкома. — И привлек к себе старика другой рукой, потерся подбородком о его голову. — Так уж случилось... Разделяем ваше горе... Соболезнуем всей душой... Эх, да что там! Пошли.

Он усадил Егора Фомича на заднее сиденье, устроился рядом с ним и шофер, такой же молодой, как Славик, повез их по городу среди быстрого мелькания огней. Егор Фомич ни о чем не спрашивал. Лазаренко тоже молчал некоторое время, боясь неудачно приступить к трудному объяснению, а потом наконец заговорил с заминками:

— Понимаете... Пришлось вас вызвать. Мы бы, конечно, отправили... Но случай тут особый... — Он снова умолк, мучительно подыскивая фразы помягче.

— Вы уж это... — выручил Егор Фомич. — Давайте напрямик, по мужицки — как и чего там... Я фронт прошел, видал всякое. Не бойтесь, не упаду.

Председатель рабочкома почувствовал облегчение от его твердых слов и угрюмо рассказал все, что знал о происшедшем на пыльной степной дороге.

— Значит, не осталось почти ничего? — тихо спросил старик.

— Совсем мало... Вот мы и думали — может, не стоит отправлять на родину, чтоб не травмировать всех родственников. Нелегко ведь... такое. Ну и вызвали посоветоваться. Может, лучше здесь — со всеми необходимыми почестями?

— Нет, — сказал сурово Егор Фомич. — Я его домой увезу.

Выехав из города, часа два с лишним ровно мчались по степи, потом впереди показалась россыпь огней, разрослась постепенно, и машину приняла строгая пустынная улица. Пронеслись по ней, свернули на другую улицу, нырнули еще куда-то, и шофер остановил машину, выключил двигатель. От охватившей тишины зазвенело в ушах. У подъезда двухэтажной совхозной гостиницы их встретил крутоплечий лобастый мужик — бригадир шоферов, с которыми возил зерно Славик. Поднялись наверх и провели Егора Фомича в комнату, где было две кровати. На столе стояли закуска и бутылка водки. Ста-

рик не отказывался, он чувствовал — самое время поддержать душу, и водка поможет.

— Ну что тут скажешь... — поднялся с рюмкой в руке председатель рабочкома. — Не могу, волной все внутри.. Пусть земля ему будет пухом.

— Работал-то как? — спросил Егор Фомич.

— Безотказный, четкий был парень. Души в нем не чаяли... — Бригадир поднял голову, и слезы заблестели на его глазах. — Хоть и пришел к нам Славка совсем недавно.

— Вот и мы со старухой тоже... Ну ладно, светлой памяти.

Когда закусили и оттаяли немного, Лазаренко сказал, что главным делом займутся часов в девять утра, а сейчас Егору Фомичу необходимо отдохнуть с дороги, и бригадир Володя останется с ним тут.

— Со мной оставаться не нужно, — ответил старик, — у вас небось дела, свои семьи ждут. А за меня не бойтесь. Я лучше это... Один.

Они поняли и не настаивали. Показали, где находится уборная и выключается свет, и, тяжело повздыхав, ушли. Егор Фомич разделся и щелкнул выключателем, но темноты, которая заполнила комнату, ему показалось мало. Он лег и укрылся одеялом с головой.

Утром пришел Лазаренко и повел его к директору совхоза. Директор, немолодой уже, грузный, но полный упругой суровой силы казах, в русской речи которого почти не чувствовалось акцента, не стал говорить никаких установленных для такого случая слов. Притянул к себе старика за плечи тяжелыми руками и пробормотал глухо:

— Прости, отец, что не уберегли.

Потом молча пожал руку Егора Фомича секретарь парткома.

В совхозе решено было почтить память погибшего водителя Попакина по всем надлежащим правилам.

— Ну а сейчас что ж... — сказал директор. — Вы, Егор Фомич, будьте пока с нами. В двенадцать соберутся все кто может на площади, и простимся как полагается. А ты, Василий Данилыч, подбери троих ребят помоложе да побойчее, и поезжайте — пусть сделают там все необходимое. Ящик цинковый уже готов, вчера еще звонили. И везите сюда.

— Не надо ребят, — встревоженно вскинул голову Егор Фомич. — Они молодые, зачем им страсть такую? Не видали и не надо. Я лучше сам, своими руками... Мне не впервой.

— Ну что вы... — с болью посмотрел на него директор. — Вам же и без того тяжко.

— Ничего. Я выдержу. А их — не надо.

И Егор Фомич все для последнего пути внука сделал сам.

В двенадцать на площади совхозного поселка собралось много народу, съехались на своих машинах шофера. Цинковый, наглухо запаянный ящик поместили на табуретке перед собравшимися. Егор Фомич стоял рядом с ним и слушал, как говорят хорошие речи о Славике — молодой шофер, потом бригадир, потом секретарь парткома и наконец сам директор зерносовхоза.

Лицо старика не выражало ничего, кроме суровой сосредоточенности. И лишь в тот момент, когда разноголосо взвыли гудки стоящих вокруг машин, что-то болезненно дрогнуло во всей его фигуре, слегка подогнулись ноги.

Во время поминального обеда Егор Фомич, сидя за отдельным столом с начальством, глядел в зал столовой на переговаривающихся негромко людей и в основном молчал. Только на вопросы отвечал кратко да кивал, если что-нибудь объясняли. Поэтому усталый пред-

седатель рабочкома даже вздрогнул от неожиданности, когда старик спросил его:

— А парень тот, который со Славиком столкнулся, где он сейчас?

— Жив, бедолага. Говорят, в больнице. Состояние пока тяжелое. Поправится — будут судить. Да, ведь я же забыл совсем! Следователь из прокуратуры звонил — ему с вами увидеться надо.

В районную прокуратуру поехали сразу после обеда. Следователь оказался совсем молодым. Он с печальными глазами высказал свое соболезнование и стал спрашивать, какой у Егора Фомича и его жены возраст, где они живут, а сам все старательно записывал. Потом прочитал бумагу, в которой говорилось, что Егор Фомич и Устинья считаются потерпевшими людьми, и опять начал выспрашивать, теперь уже о Славике — не был ли тот хулиганистым парнем, не ездил ли как лихач на машине до армии. Старик ответил, что ничего такого за внуком не замечалось, наоборот, он относился ко всякой технике разумно и старательно и еще тогда успел получить благодарность от их колхозного начальства во время уборки урожая.

Следователь дал ему расписаться внизу на листке, куда занес все ответы Егора Фомича, и объяснил: потерпевший имеет право предъявить гражданский иск обвиняемому, а также той организации, за которой закреплена машина обвиняемого.

— Это какой еще иск? — спросил Егор Фомич.

— С обвиняемого Дубкова, например, можете взыскать все расходы на погребение...

— Да мы что — на свои не похороним? Чего с него взыскивать, когда такая беда. Он сам, говорят, еле живой. Виноваты-то вроде оба. Так я слышал.

— Правила эксплуатации автотранспорта нарушили оба. Но ведь ваш внук погиб.

— А тот если живой остался, значит, и драть с него? Мертвый виноват, и живой виноват, а родня мертвого дерет с живого. Не людски как-то... — заволновался Егор Фомич.

— Ну, тут вас никто не принуждает, я только объясняю. А той организации, где числился Дубков, тоже иска предъявлять не желаете?

— А организация-то при чем? Славика они не воскресят...

— Моя обязанность — ввести вас в курс дела относительно прав потерпевших. А уж вы можете поступать, как считаете нужным. Больше у меня вопросов нет. Если хотите уточнить что-нибудь — пожалуйста.

— Уточнить я хочу, — сказал Егор Фомич. — Этот самый Дубков, кажись, в больнице. Как там у него?

— Повреждения тяжкие. Переломы ног, ребер, сильное сотрясение мозга. Поседел, плачет все время.

— Тут заплачешь...

Следователь промолчал. Егор Фомич тоже несколько мгновений сидел молча и вдруг объявил:

— Мне его повидать надо.

— Зачем это? — растерялся следователь. — Вам и так нелегко... На суде и увидите. А сейчас зачем?

— Как зачем? Он последний глядел на Славика. Славик на его глазах... Говорят, вызволить хотел, сам чуть не сгорел.

— Да, пытался спасти. Есть доказательства. В кузов с перебитыми ногами забрался. Но вы поймите — у человека нервное потрясение. Ему сразу хуже станет. Да и врачи не разрешат. Лучше потом, на суде.

— Какой нам еще суд — не поедем мы опять в такую даль. Мне бы его хоть как-нибудь повидать, издалека. Я людей нутром чую. Ты уж меня уважь, сынок.

— И далеко к тому же. Он в больнице километров за сорок отсюда...

— У нас машина,— сказал Лазаренко, который сидел у двери и в разговор до сих пор не вмешивался.— Домчим враз.

— Ну хорошо... — согласился наконец следователь.— Поедьте, раз такое дело.

Когда ехали, Егор Фомич спросил:

— Звать-то его хоть как?

— Вениамин Иванович,— ответил следователь.

В больнице следователь отыскал доктора, отвел в сторону и долго говорил ему что-то, изредка кивая в сторону старика. Вид у врача был недовольный, но он все-таки сходил в палату — узнал, наверное, обстановку — и сказал, тревожно глядя то на следователя, то на Егора Фомича:

— Спит, слава богу. Я уж вас попрошу... Понимаю, конечно... Но состояние не из легких, и волнение ему сейчас совсем ни к чему. Так что будить не надо.

— Мы не разбудим,— успокоил Егор Фомич.— Мне только глянуть — и все.

Доктор, приложив палец к губам, впустил их в палату, где находилось несколько больных, и указал взглядом на койку у окна. Парень лежал на спине с закрытыми глазами. Ноги, толсто обернутые белым, были подвешены к блестящим железкам. Следователь осторожно прикрыл за собой дверь, и в этот момент парень вдруг повернул голову и посмотрел на вошедших.

Веня вовсе не спал, просто лежал, плотно сомкнув веки, чтобы хоть как-то отгородиться, спрятаться душой от белого света. И когда он увидел следователя, который уже навевывался сюда раньше, то сразу понял, что это за старик пришел вместе с ним. Слезы потекли по Вениным щекам, теряясь в подсыхающих ссадинах, и он выдохнул с глубоким всхлипом:

— Н-не с-сумел... Не сумел в-выручить...

— Ну вот.— Врач с досадой махнул рукой.— Я так и знал! Все, хватит, товарищи. Попрошу вас выйти.

Егор Фомич обмерил его с головы до ног тяжелым взглядом.

— Доктора, а не сознаете. Рази можно человека в таком расстройстве оставить?

Он решительно направился к Вениной койке, пододвинул стул и сел рядом.

— Такое оно, значит, дело, сынок... — осторожно коснулся старик руки парня.— Ты уж, видать, догадался — дедка я Славика. А плакать, Веньямин, не надо. Возьми себя в руки и держись как мужик.

— Я не плачу,— сказал Веня.— А они текут и текут. Выручить не удалось...

— Дак ведь ты все приложил. Как положено на фронте. Оно и мы, бывало,— тык, мык, а никуда не денешься. Нас десяток, а они сотнями прут. Выше крыши не прыгнешь. И не терзай себя так. Мы со старухой понимаем — беда есть беда. И они.— Егор Фомич оглянулся на следователя,— разберутся по справедливости. Не бойся, не обидят. Ехали одинаково, ничего не видать. Могло и тебя вместо него. А могли и оба. Тут уж судьба.

Слезы у Вени не останавливались.

— Мать-то с отцом знают? — спросил Егор Фомич.

— Я один вырос.

— Ах ты господи. Один, значит... А вот видишь — мужик вышел настоящий. Не за себя, за других душой болеешь. Это уж ты мне поверь. Я в людях смысл знаю, повидал всяких. Только не плачь.

— Спасибо.— сказал Веня.— Плакать я не буду.

— Вот и хорошо.

К кровати приблизился доктор, и Егор Фомич поднялся.

— Ну ладно, Веньямин, мне надо ехать. А ты крепись. Вот сейчас уйдем — слезы вытри, и все. А то, видишь ты, страдание какое. — Он нагнулся и погладил Веню по курчавым, иссеченным свежей сединой волосам. — Оно, конечно, тяжело. Но у тебя жизнь впереди. Выпрямишься. Не выручил нынче — в другой раз кого-нибудь выручишь. Лечись тут как следует и придешь в порядок. Ну, бывай здоров, сынок. И ничего не бойся.

И старик не оглядываясь твердо зашагал к двери.

## 4

После похорон внука старикам Потапкиным стало казаться, что вставать утром, вести домашние порядки, а потом опять ложиться спать — тягостное и ненужное дело. На отведенном им жизненном пути, словно в коридоре, погас впереди свет, и идти дальше, в темноту, не хотелось.

Они всячески скрывали друг от друга это безнадежное состояние, но проку было мало, наоборот, получалось еще заметнее. Егор Фомич чаще обычного говорил старухе бодрые слова и потому сделался непохожим на самого себя, а Устинья почти каждый день украдкой отлучалась в баню поплакать, но принять вид лица, который имела до отлучки, ей не удавалось, и старик все понимал.

Он долго не решался рассказать Устинье о том, что виделся с парнем, столкнувшимся в дорожной пыли со Славиком, — выжидал, когда горе у нее в душе осядет поглубже. А потом наконец выбрал подходящий момент и открыл, как тот, сам весь разбитый-поломанный, стремился спасти их внука и чуть не сторел вместе с ним и как этот Веньямин казнится теперь — шутка ли, на его глазах в мучениях погибал человек, а вызволить не вышло, вот и плачет парень, и голова поседела в одночасье.

— И раз уж повезло, не погиб — он в дальнейшем все для жизни крепко сделает. Настоящий мужик потому что. И ведь без отца, без матери, как Славик наш...

— Бог ты мой! — впервые отвлеклась сердцем от своей беды Устинья. — Тоже сирота, и принять такие мучения. Где же справедливость-то, господи? И молодой такой же?

— Видать, постарше нашего. Но ненамного.

— Рассказывал тебе про Славика-то? Как что...

— Я не спрашивал. Ему и так тяжело. Мне до этого рассказали. Плачет, не сумел, говорит, вызволить...

— Ну и чего у него — где болит-то?

— Ноги поломаны, голову стрясло, еще там... А потом это... Нервы его не отпускают. Плачет и плачет.

— Страсть-то какая. Сумеют хоть вылечить-то?

— Должны. Оклемаются потихоньку. Только вот судить потом будут.

— Судить? За что? Рази он нарочно? Такая беда — и судить.

— Говорят, правила нарушили оба. Не остереглись в условиях. А он живой остался — выходит, ему и отвечать. Закон такой.

— Да неужель засудят?

— Навряд ли. Торопились оба по делу. Молодые, ясное дело, горячие... Но Веньямин-то себя не жалел, спасал. Разберутся.

— Дай бог.

После этого разговора Устинья нет-нет да и вспоминала со вздохом:

— Как там теперь Веньямин... Один, наведать некому...

— Ничего, — отвечал Егор Фомич. — Фамилия у него Дубков. И сам сбитый навроде дубка. Подыметя.

Прошел месяц, другой... Медленно, со дня на день переваливаясь, катилось ненужное старикам время.

И вдруг из Казахстана прислали повестку. В ней значилось, что Егор Фомич Потапкин вызывается в районный нарсуд в качестве потерпевшего по делу Дубкова Вениамина Ивановича. Проезд обещали оплатить.

Старик прочитал все это дважды, повертел бумажку дрожащей рукой и проворчал сумрачно:

— «Вызываетесь»... Чудаки люди. Думают, нам игрушка — мотаться туда-сюда в такую даль. Говорил же им — не поедем. Потерпевшие — и ладно. Мы всю жизнь потерпевшие.

Он бросил повестку на стол и пошел за водой. Больше за день Егор Фомич не сказал по этому поводу ни слова. Устинья тоже молчала.

Ночью старик ворочался на своей скрипучей кровати, кряхтел и никак не мог уснуть. Ему вспомнился разговор со следователем про иск, и сразу пересохло в горле. «А ведь всурьез вроде тогда следователь-то, — подумалось тревожно. — Молодой, неопытный, видать... Подходу к людям пока нету. Не разберется, как положено, и, чего доброго, обидят парня. Всякое бывает...»

Устинью на печи не было слышно. Но когда Егор Фомич встал и потихоньку прошел на кухню, чтобы попить холодной воды, она спросила неожиданно:

— Не спишь, Егорий? Чего не спишь-то?

Он вздрогнул.

— Чего-чего! Сама там не кукуй, и я усну.

Утром опять молчали, отводя друг от друга глаза. Первым не выдержал Егор Фомич.

— Я, мать, это... — глядя себе под ноги, сказал он. — Думал тут всю ночь. Сомнение берет... Суд — он, конечно, справедливый. Но мало ли чего... Следователь — сосунок совсем. Как бы там Веньямина не того...

— Вот и я тоже! — живо откликнулась Устинья.

— Погоди. Если, к примеру, заявим, что претензий у нас никаких нету, — куда они денутся? А то иск там какой-то... Он хлебнул — на всю жизнь зарубка останется и без всяких-яких. Так что, выходит, надо бы мне опять поехать.

— Конечно, надо. Грех его в обиду давать. Егорий... — Устинья осеклась, а потом попросила робко: — Возьми уж, ради бога, меня с собой. Тебе дорогу оплотют. А мне займем. Отдадим как-нибудь. Возьми, а то изведусь я тут одна-то. А вдвоем поохотней...

— А что! — В груди у Егора Фомича словно разжались клещи, которыми все там было сдавлено. — И поедем. Нечего тут одной. Зови Марью Кудыкину, она порядки сведет, поросенка покормит. Пустоту молоть к тебе каждый день ходит, небось и помочь не откажет. И денег найдем. Поедем, чего нам теперь.

И они поехали — на этот раз на поезде из областного города. Устинья племянница купила им билеты и проводила. Егор Фомич послал председателю рабочкома Лазаренко телеграмму, чтоб опять там встретили.

В вагоне было много разных людей, неподалеку сидели две старушки, тоже деревенские, как выяснилось за разговором, и Устинья очень хотелось поделиться своим горем, рассказать, зачем собралась вместе со стариком в такие далекие края. Но она знала, что Егору Фомичу это не понравится, и потому на вопрос, куда и для чего едут, отвечала скрытно: «По делу».

А Егор Фомич смотрел в окно на незнакомую природу, на дома, построенные совсем по-иному, чем у них в Прудках, и удивлялся: какая же большая держава. Едешь и едешь, и сколько уже разных земель позади, и сколько еще их будет, и приедешь — там, может, только середина, а дальше опять же пространство и конца не видеть. И на-



до же — среди такого великого простора столкнула судьба, шмякнула лоб в лоб двоих неизвестных друг другу ребят, и один погиб в муках, а как теперь у другого все сложится, неясное дело.

Лазаренко встретил их на вокзале, обнял, словно родных людей, и отвез в район, определил там в гостиницу.

## 5

Старики отдохнули ночь после дороги, а утром к положенному часу явились в нарсуд.

Народу в суде было немного. Все быстро расселись по своим местам, длиннолицая женщина в очках указала, где сесть Устинье и Егору Фомичу, и два милиционера ввели в зал Веню. Веня сильно хромал и тяжело опирался на палку. На нем были легкая болоньевая куртка и потертые брюки, недавно, видимо, выстиранные, но не глаженные. Седина заметно белела в густых жестких кудрях, и Егору Фомичу бросилось в глаза, что ее прибавилось. Опустив голову и одиноко глядя в одну точку, Веня приблизился к стулу и медленно опустился на него впереди всех.

— Господи... — прошептала Устинья, но Егор Фомич выстрелил глазами сурово, и она умолкла, крепко сжав ручки потертой сумки, которую держала на коленях.

— Встать! Суд идет! — сняв очки, строго приказала длиннолицая.

Все встали. Из двери напротив вышел грузный лысеющий мужчина, за ним еще двое — один помоложе, другой пожилой, казах. Они разместились за главным столом. Тот, что появился первым, сел в середине, и Егор Фомич с Устиньей поняли: это судья. Вслед затем сели остальные, и суд начался. Прокурор — стройный и представительный, одетый по всей форме — перебирал какие-то бумаги за отдельным столом справа. А защитником оказалась молодая женщина, очень приглядная, располагающая к себе.

Когда Веню стали спрашивать о его личности, вставить на больные ноги ему было трудно, и судья разрешил сидеть. Егор Фомич счел это хорошим признаком — понимают, как пострадал человек, значит, должно все выйти по справедливости. Конечно, без суда нельзя, острастка нужна — и Венямин и другие шофера в дальнейшем поостерегутся ездить так быстро и не думать, какая от такой езды может произойти беда, но уж в тюрьму парня, ясное дело, ни к чему. Наказание-то вон оно — с ног до головы в нем торчит.

Устинья остро вслушивалась в ответы Вени — он рассказывал о себе тихим безучастным голосом — и была довольна, что для судей ничего плохого в его жизни не находится. Ей даже казалось, будто и раньше она знала о нем это хорошее, да и вообще все. Неожиданностью явилось лишь упоминание Вени о матери, которая, оказывается, есть, но сбросила сына с рук в самом его младенчестве, и ставить парня на ноги пришлось чужим людям.

Зачитали обвинительное заключение, и за скупыми казенными словами снова всплыло перед стариками то, что случилось жарким летним днем на пустынной, окутанной пылью дороге. Каждый из них опять всем существом ощутил неимоверные страдания внука, и нежданно царапнула сердце досада — столкнувшийся со Славиком парень сидит здесь живой, а внука больше нет и не будет никогда. Горе, получив новый толчок, начало расти из глубин, поднялось в полную силу и в который уж раз затопило обоих. Устинья дрожащей рукой вытирала слезы, кусала носовой платок и только каким-то чудом сдерживалась от рыданий. Егор Фомич, опустив голову, оцепенел в каменной отрешенности, и как происходил дальше суд, о чем там говорили — они уже не понимали.

Потом стало отпускать постепенно, и старики увидели впереди сгорбленную, вздрагивающую спину Вени, услышали ровный уверенный голос судьи:

— Ну что вы, Дубков. Не надо плакать. Возьмите себя в руки и расскажите по порядку. Значит, пытались спасти, помочь...

— Не сумел я его выручить. Не удалось... — со всхлипом выдавил из себя уже знакомые Егору Фомичу слова Венья.

— Вот и расскажите о ваших действиях. Суду это необходимо.

Егор Фомич нагнулся к Устиньиному уху и прошептал:

— Не отошел еще парень. Нервы-то не отпускают.

— Да-а... — покачала она головой. — Досталось...

Венья наконец пересилил себя и с мучительными перерывами начал рассказывать, как он ползал вокруг горящей машины и пытался открыть дверцы, но ничего не вышло, как залез в кузов и разбил стекло лобиком. Прокурор сказал:

— Вы утверждаете — залезли. Насколько мне известно, у вас были переломы обеих ног, а также ребер. А ведь борт кузова у «ГАЗ-66» высокий. Каким же образом удалось залезть?

— Я на них разозлился.

— На кого?

— На переломы.

— Ну хорошо, разозлились. А ноги-то, наверное, все равно не действовали.

— Ноги не действовали. Одними руками карабкался. И на злости... Только без толку...

В горле у Вени булькнуло — этот звук в наступившей тишине услышали все, — и прокурор подождал, когда подсудимый успокоится. Справившись с нервами, Венья продолжал отвечать на вопросы. Он вспомнил, как зажаты в кабине парень вылил на себя масло, и старики повторно обожгло сильной душевной болью. Но теперь они побороли ее быстрее, потому что к ним понемногу вернулась способность сознавать еще и Венину беду, который во время происшествия, сам находясь в тяжелом состоянии, оказывается, сумел даже схватить Славика за плечо и, возможно, вытащил бы, если б не обернулось все так худо.

Егору Фомичу и Устинье понравилось отношение к Вене молодой женщины-адвоката. Вопросы она задавала по-доброму, Венья отвечал ей гораздо спокойнее, из этого разговора всем было видно, что хоть и трудно сложилась у парня жизнь, но человек он хороший, смелый и, когда случилась авария, совсем не думал о себе, хотел любыми судьбами спасти Славика.

Попросили встать потерпевшего. Старик вздрогнул, услышав свою фамилию, и тяжело поднялся. Прокурор спрашивал о Славике, о его родителях, и Егору Фомичу пришлось рассказать, как они с Устиньей заменили внуку отца с матерью. Еще были вопросы о том, какую получают пенсию, есть ли у них другие дети и внуки. Егор Фомич сначала разъяснял все терпеливо, а потом решил и рубанул:

— Я, товарищ прокурор, чую, куда вы гнете. Внука мы потеряли... — Он вздохнул судорожно. — Горе тяжелое. И Славика теперь никто не вернет. Пенсия у нас, понятное дело, невеликая. Но нам со старухой хватит. Так что с Дубкова Веньямина мы драить ничего не собираемся.

— Речь идет о нанесенном вам ущербе... — попытался объяснить прокурор.

— Этот ущерб — его уж не возместить, — прервал Егор Фомич. — И нечего.

— Вы хотите сказать, — обратился к нему судья, — что претензий к подсудимому не имеете?

— А какие к нему претензии? Беда есть беда. Он и так вон по уши в ней — рази не видно? Хлебнул — на пятерых под завязку. И спасал

от души. По-фронтовому. А не вышло — куда денешься? Чего его мытарить...

Прокурор пожал плечами. Вопросов больше ни у кого не было, и Егору Фомичу разрешили сесть. Адвокат уважительно смотрела на стариков повлажневшими глазами.

Дальше все вроде складывалось для Вени благополучно. Пригласили из коридора свидетеля, и шофер-казах, нервно жестикулируя, быстро обсказал, как увидел на дороге большой огонь, подъехал к пылающей машине и, с трудом подобравшись — такой сильный был жар, — успел оттащить от заднего борта Веню, у которого уже дымилась сапоги. Свидетелю показали ломик, и он подтвердил — да, тот самый, валялся на земле рядом с Веней.

Потом читали разные бумаги. Из них настораживали лишь те, где категорически сообщалось о нарушении правил, об ущербе государству, но и Егор Фомич и Устинья не относили всего этого полностью на счет Вени. Так уж вышло, думали они, судьба, и разве можно кругом винить только парня?

И вдруг огорошил прокурор. Он произнес спокойную строгую речь, в которой много было о гибели Славика, о всяких ущербах, и в конце сказал: наказание Вене полагается — шесть лет. Старики переглянулись пораженные. Егор Фомич хоть и знал, что нельзя в суде вылезать со своими словами без спросу и в любое время, но удержаться не смог.

— Это как же так? — Он встал. — Мы со старухой сюда ехали, чтоб заявить — досады, мол, на парня не держим, и обижать его зря не стоит... А тут, выходит, не поняли. Внук погиб, и урон государству есть — ничего не попишешь. Но они же оба гнали не по правилам. Здесь надо разобраться...

Устинья тоже робко поднялась и, укоризненно качая головой, с дрожащим в голосе упреком поддержала:

— Мы ведь сюда ехали...

Губы у нее тряслись.

И прокурор и судьи за большим столом растерялись на некоторое время, а потом судья тяжело вздохнул и разъяснил, что в суде зря никого не обижают, а нарушать порядок заседания не положено, и если имеются какие дополнения, то их можно высказать в конце.

Пришлось старикам сесть. Заговорила адвокат, и тревога их стала улетучиваться. Адвокат обрисовала со всех сторон трудную и честную жизнь Вени, сказала, что он, как только начал работать, сразу стал помогать матери, которая не принимала никакого участия в его воспитании, деньги посылал, навещал всегда. И на основной работе — там, откуда приехал, — и здесь, на уборке, отзываются о нем как о человеке старательном и добросовестном. Адвокат подтвердила это бумагами. В случившейся беде, продолжала она, свой человеческий долг Дубков выполнял героически — за спасение водителя Потапкина боролся до последнего.

У Устиньи опять глаза наполнились слезами, но на этот раз от хорошего чувства — от справедливости слов молодой женщины. Заканчивая свою речь, адвокат попросила определить подсудимому Дубкову наказание без лишения свободы.

— Молодец девка! — взволнованно шепнул Устинье Егор Фомич. — Враз все на место поставила. Молодая, а справедливая.

— Ума палата, — убежденно отозвалась Устинья.

Дали последнее слово Вене.

— Я виноват. Признаю полностью, — сказал он тихо и снова всхлипнул. — Выручить не сумел...

— Да ты, сынок, не вали на себя лишнего-то, — вторично сорвался Егор Фомич. — Заладил — не сумел, не сумел!.. Ты до конца спасал — защитник правильно говорила.

Судья вежливо остановил:

— Товарищ Потапкин, вы поймите: тут ведь не колхозное собрание, а суд. Давайте соблюдать порядок.

После этого он объяснил Вене: ему вменяется в вину не то, что не сумел спасти водителя Потапкина, а нарушение правил эксплуатации автомобильного транспорта, повлекшее за собой гибель человека.

— Ясна вам формулировка?

— Мне все ясно,— ответил Веня, вытирая слезы.— Я признаю.

— Ну а теперь,— судья бросил взгляд в сторону Егора Фомича,— пожалуйста, потерпевший, если есть дополнения.

— Дополнение у меня одно,— приподнялся старик.— Надо учесть по справедливости. И все.

Судьи ушли на совещание. Веня с трудом встал со стула, сказал что-то милиционерам, и его повели из зала. Грубая палка звучно стучала об пол. Егор Фомич с Устиньей, не зная, куда им деваться, остались на своих местах. Старик хотел выйти в коридор — может, парень там где-нибудь курит, так хоть поддержать, бодрости маленько придать,— но подумал, что, видать, и это не положено, и продолжал сидеть.

Ждали с полчаса. Потом милиционеры привели Веню, все собрались и, выйдя с заседателями из комнаты, судья зачитал приговор. Читал он степенно, в приговоре сообщалось уже известное, и плохого, казалось бы, ничто не предвещало. Но конец был суровым. Подсудимый Дубков приговаривался к лишению свободы на пять лет.

Егор Фомич вскопчил ошарашенный.

— Товарищи судьи! Да как же это выходит! Куда годится-то? Тогда давайте и нашего осудим, чего там осталось. Вынем и осудим. А пыль на дороге? Она ни при чем, что ль? Пускай тогда пыли на дорогах не будет! Ну и ну!..

Судья молча смотрел на него страдальческим взглядом, но наконец нашел момент и осторожно прервал:

— Уверяю вас, товарищ Потапкин, решение суда справедливое. Совершилось преступление, и за него нужно нести ответственность. Ей-богу...— Он вдруг улыбнулся растерянно и совсем по-простому, обвел взглядом всех присутствующих.— В первый раз в моей практике... Потерпевшие в роли защитников. И как у вас силы хватает... на такое. Понимаю ваши чувства. Но и вы поймите, товарищ Потапкин. Закон есть закон. Подойдите ко мне после. Я вам все объясню.

Но Егор Фомич уже знал, что никакие объяснения теперь не помогут. Судья говорил по бумаге еще о чем-то, но слова не проникали больше в сознание старика. Вконец растерялась и Устинья. Егор Фомич сидел, угрюмо глядя в пол, но потом поднял голову, жестко опустил кулак на спинку стоящего перед ним стула и сказал самому себе тихо, но упрямо:

— Ну ладно, раз такое дело...

Веня в сопровождении милиционеров уже выходил из зала, и старик встрепенулся, рванулся за ним, повалив с грохотом стул. Устинья заторопилась следом. Егор Фомич нагнал Веню в коридоре и схватил за руку.

— Ты, сынок, голову не склоняй. Понял? Они тут чего-то напутали. Но правда повыше есть. Найдем, не бойся.

Веня больше не плакал, ему словно полегчало. Он даже улыбнулся вымученно и сказал:

— Спасибо, дедушка. Спасибо.

Один из милиционеров — тот, что был помоложе,— осторожно отстранил Егора Фомича.

— Не положено, гражданин. Нельзя.

И Веню повели дальше, на улицу, где ждала машина. На улице Егор Фомич забежал вперед и опять преградил путь.

— Хоть адрес-то наш запиши. А, Веньямин? — говорил он торопливо. — И не унывай. Добьемся. У нас там Москва рядом. До министров дойду...

— Пропустите... — оттирал его плечом молодой милиционер. — Нельзя, отец. Не положено. Служба есть служба.

— А ну-ка замолкни, сопляк! — задрожав, рывкнул вдруг Егор Фомич. — Стоять перед старшим без слов! Заладил свое! Запиши лучше адрес наш и дай ему! Ну!

Милиционер отпрянул испуганно и почему-то сразу послушался — достал записную книжку и ручку. Старик стал диктовать адрес, а Устинья тем временем вынула из сумки объемистый белый сверток и совала сбоку Вене.

— Возьми, сынок. Хоть поешь там. Яблочки моченые, сало... Возьми, не стесняйся.

— Не положено, мамаша, да поймите вы... — оглядываясь с отчаяньем, упрашивал ее другой милиционер.

— Так уж и не положено! — осмелела в свою очередь Устинья. — Сам небось ешь от пуза, а человеку нельзя?

Веня нерешительно взял сверток, потом ему дали бумажку с адресом и помогли забраться в машину.

— Спасибо, — бормотал он. — Спасибо. Я не забуду.

А в последний момент обернулся и, прижимая сверток к груди, еще раз через силу улыбнулся.

— Крылья не опускай! — крикнул Егор Фомич. — И напиши сразу! А правду найдем!

— Найде-ом! — подтвердила Устинья.

И машина поехала.

Пошли в свою сторону и старики. Егор Фомич шагал размашисто, Устинья, едва попевая, семенила рядом.

— Накрутили, едрена корень, запутались! — рубил он ладонью воздух, сердито оглядываясь на неказистое здание нарсуда. — И думают — правда на них тут совсем осеклась. Ничего, голубушка, отыщется. Дойдем!

— Пока то да се, — с женской деловитостью прикидывала Устинья, — надо ему посылочку собрать. Отощал парень сильно. Вот приедем — и как раз поросенка резать. Закоптишь свининки, и пошлем постненькой.

— Закоптить — это мы враз! — бодро отвечал Егор Фомич. — Закоптим, не упустим — по первому разряду.

Они шли уверенно, не чувствуя уже ни усталости, ни бессилия, потому что впереди, там, где было темно, снова забрезжил для них всепобеждающий свет жизни.



---

---

## АЛЕКСАНДР НАУМОВ



### СТИХИ

\* \* \*

В горах говорят: опасайтесь терять высоту;  
покуда возможно, маршрут продолжайте по верху.  
Подъемы трудны, а у сил есть предел, на поверку;  
и где-то придется прочувствовать истину ту.  
Живем и живем. В ожиданье, в полете, в поту  
легко опуститься, каких бы высот ни достигли.  
И что ни прошли мы, в каком ни калили нас тигле —  
душа невозвратна: опасно терять высоту.

\* \* \*

Пряный зной. Не клевер и не мята —  
чем-то вечным пахнет тишина.  
Одуванчик в шапке Мономаха —  
как она тебе, не тяжела?..  
Где-то глина глянет сквозь колосья.  
Дней испод — под нами,  
а поди,  
    колеи распятые колеса  
здесь одни и помнят о пути.  
Облаков висячие террасы  
в синеве стоят над головой,  
и жуков гудящие кирасы  
отливают грозной синевой.  
Оглядись — и защититься нечем  
ото всей сияющей красы,  
и один отчаянный кузнечик  
чинит очумелые часы.

\* \* \*

Постоянство пространства, и света,  
и любви постоянство, и зла.  
А ведь долгая жизнь, как ракета,  
нас в иные миры занесла.  
Дело сделаем, фразу доскажем  
и запьем небывалым вином,  
но уже ничего не докажем  
тем, оставшимся в мире ином.

---

---

---

В. ПЕСТЕРЕВ



## В ОДИН ОСЕННИЙ ДЕНЬ

*Рассказ*

Собака спала спиной к батарее парового отопления, вытянувшись во всю длину своего грузного, не первой молодости тела. Ее уши неловко подвернулись и напоминали тронутые первым заморозком опавшие кленовые листья. Но стоило хозяину переломить пополам одностволку, как она неуклюже вскочила, подбежала, присела на задние лапы и возбужденно забила о паркетины большим лохматым хвостом. Сквозь сильный запах ружейного масла до нее донесся другой, почти стершийся из памяти, однако ничем не истребимый, — давно сгоревшего пороха. Она уловила его дрожащими ноздрями, и чудесные воспоминания горячими волнами прошли по ее чуткому, встрепенувшемуся телу. Всем своим стареющим существом с непривычной тоской и болью она вспомнила долгий легкий бег по припорошенной инеем траве, а на языке ощутила горьковатый привкус обожженных птичьих перьев и протестующе пульсирующей крови.

Но видя, что хозяин остается на месте, собака опять подскочила, сделала вид, будто хочет броситься ему на грудь, однако не бросилась, а лишь сильно и коротко встряхнула свое тело резким кругообразным движением. Нетерпеливо подрагивая, она следила за хозяином, взмахиwała головой, отчего ее большие уши взлетали кверху и шлепались с мягким шерстяным звуком.

Хозяин протер ствол длинным складным шомполом, потом долго всматривался в тускло-матовое отверстие ствола, рассовал по карманам блестящие, пахнущие медью и парафином патроны, а собака, охваченная возбуждением, подбегала к двери, возвращалась, оглядываясь на него преданно и с любовью.

Одностволка удобно уместилась на хозяйском плече, и, прежде чем выбежать в тяжелую парадную дверь, собака взглянула на причудливую серебряную насечку, витиевато бегущую от ложа к неестественно длинному стволу.

Она не могла знать, что это ружье, купленное давным-давно за границей, — своеобразная реликвия, хотя и изучила его до мельчайших подробностей; как часто она подолгу разглядывала длинный ствол, покрытый потемневшим лаком, исцарапанный приклад и ожидала, что хозяин снимет ружье со стены, а она трепетно подбежит к двери, стуча хвостом по своим сильным, цепко стоящим на земле ногам.

Хозяин так и не стал настоящим охотником, несмотря на то, что было время (и собака вспоминала его с щемящей радостью) — они любили подолгу бродить в окрестностях города, где водились перепела в полях и утки на реке. Но это было скорее развлечением, не приносящим никому беспокойства и вреда. Потом незаметно все это ушло

в прошлое. Она постепенно превращалась в старого домашнего пса, хотя и не сразу, но свыкшись с привычками хозяина и переняв их...

Спустившись по выбитым ступеням, собака осторожно ступила на жестко приминающуюся траву сквера напротив дома и вздрогнула от обжигающе-колкого прикосновения к лапам, разнеженным в домашнем тепле. Стена дома, погруженного в утренний полумрак, деревьев, трава — все было покрыто густым пушистым инеем. Пересилив себя, она бросилась вслед уходящему хозяину, чей размытый силуэт словно расплывался впереди, с томительной радостью почувствовала резкий запах, идущий от его тяжелых, на толстой подошве ботинок, и постаралась идти так, чтобы боком касаться его левой ноги.

Во дворах соседних домов, почуяв чужую, залаяли дворняжки, и кое-где в окнах загорелся яркий свет. Собака хорошо знала и помнила эту дорогу: мимо темных просыпающихся домов с редкими освещенными окнами, мимо платанов с оголенными ветками; когда-то все это будило в ней предчувствие радости, а сейчас показалось чужим и ответно настроженным. Они слишком давно не охотились и сегодня вышли скорее для того, чтобы прогуляться, но утренняя сырость и темнота вселили в них недоумение и неуверенность.

Собака стала слишком старой и многое успела утратить из прошлых ощущений, когда все было совсем по-другому, когда она чувствовала в себе безудержный азарт заманчивой охоты, восторг и жажду движения, когда могла бежать целый день не уставая. А сейчас словно нарушилось что-то: теплое единение с хозяином, радовавшее лет восемь назад, привязанность, не уменьшившись, стали обыденными и привычными.

В окне большого дома были видны силуэты каких-то людей. Они сидели, низко опустив головы, и что-то безмолвно делали; и эти люди в ранние утренние часы в окружающем безмолвии, в своей жизни, незнакомой и загадочной, казались чужими и одинокими.

Оставив позади дома, хозяин с собакой подошли к трамвайной остановке, долго ждали громыхающий, визжащий на поворотах вагон, который должен был отвезти их к мосту через вечно бурлящую реку; смотреть на нее в эти часы было зябко и неудобно. Река шумела где-то далеко внизу, и чувствовалось, какая она грозная и мутная от идущих в горах тоскливых осенних дождей.

Дома в инее и тумане, враждебный собачий лай, промерзший трамвай, люди, сидевшие в нем нахохлившись, запечатлелись в памяти собаки и заставили ее теснее прижаться к хозяину.

Они вышли из трамвая, и на мосту их охватил пронзительный сырой ветер, приносящий откуда-то с гор чистые забытые запахи. Собака ступила на твердый настил и, осторожно ставя лапы, пошла на другую сторону, где тоже были дома, а за ними сумрачные громады гор с пологими склонами, и возникшее ощущение бодрости разбудило в ней тихую радость. Такую же радость она почувствовала и в хозяйстве. Точно время между прошлым и настоящим перестало иметь какое-нибудь значение, и ей показалось, что она вовсе не стара, а тело ее, как и прежде, легкое и поджарое. Она даже пробежалась легкой трусцой, но настил моста был таким холодным и твердым, что она быстро устала и опять пошла спокойным осторожным шагом.

По скользким, подмороженным за ночь камням они спустились к воде и направились к городским окраинам, где река делала плавный широкий поворот, образуя просторную излучину. Собака помнила, что здесь, на островах, поросших торчащей щетиной высохшего камыша, жили утки.

Они зашагали навстречу пугающе ворчливому шуму реки, и расцвет словно нехотя стал уступать место неприглядному осеннему дню. С севера прямо на них надвигались клочковатые тучи, сквозь которые редко и поэтому неожиданно проглядывали голубые пятна чистого неба. Окружающее пространство на короткий миг становилось при-



ветливым, но на реку и кустарники на берегу вновь набегала мрачная, угрожающая тень, и все вокруг опять казалось скучным, серым и неинтересным.

Остановившись, собака долго смотрела вслед плывущей по речным волнам причудливо изогнутой палке, которая то исчезала, то становилась торчком и как бы вытягивалась и вдруг мучительно напомнила длинную шею плывущей утки. Собаке захотелось броситься в воду и, сильно работая лапами, догнать эту существующую лишь в воображении птицу, схватить зубами мокрый вздрагивающий комок, но она удержалась. Палка скрылась в угрюмом однообразии волн, собака поежилась и отряхнулась, словно ледяная вода и впрямь только что давила на ее тело свинцовой тяжестью.

Тяжелой рысью она обежала кусты, и ей опять показалось, что старость еще не наступила; и опять устала и вновь перешла на размеренный шаг. Однако горечи в ней не было; осенний воздух, сырой и бодрящий, вдохнул в нее силы, ровно и часто билось сердце, тело разогрелось от мерного движения.

Неожиданно в чистом воздухе закружились снежинки; белая мелкая крупа посыпала колючие ветки шиповника, на которых атели крупные капли ягод. Река шумела навстречу на долгом изгибе переката, заглушая посторонние звуки и даже шорох хозяйских шагов, и в собаке, как давным-давно когда-то, вспыхнула любовь к этому времени года, неприглядному, но пробуждавшему теперь почти стершиеся из памяти дни. Она любила осень за то, что именно в эту пору они с хозяином часто уходили далеко-далеко за город. Потом ей снился безудержный бег между деревьев по мягкой податливой земле, даже во сне чувствовался запах собственного разгоряченного тела. И ей показалось, что и хозяин думает о тех далеких временах, поддавшись чарующему ритму ходьбы. Он шел легко и непринужденно, машинально поправляя за спиной ружье. Собака привычно скользила взглядом по изысканной вязи серебряной насечки, переводила взгляд на его высокую фигуру, теплый шарф на шее, короткие волосы, которые ерошил порывистый ветер.

Собака не была охотницей в строгом смысле этого слова, хотя родословной стыдиться ей не пристало. Просто и хозяин не был охотником и не научил ее всему тому, что положено знать универсальной «птичнице». Охота служила развлечением, и она неосознанно понимала это. Встречаясь где-нибудь с породистыми сородичами, она чувствовала их превосходство над собой, но никогда не испытывала зависти. Важно было знать, что нужно хозяину, и стараться во всем угодить ему. Производя как можно больше шума, она охотно бежала в камыши, тонким чутьем улавливая кисловатый запах утиных гнезд, бросалась ему навстречу и застывала в радости, когда утка, не выдержав, гулко хлопая крыльями, взлетала вверх. Следовал выстрел, и, предвкушая добычу, собака кидалась в воду, старалась сразу же схватить трепещущий комок за бьющееся крыло.

Она до стесненного дыхания любила смотреть на хозяина, когда тот прижимал приклад ружья к напряженному плечу; вместе с ним подрагивающим в нетерпении телом она ощущала прикосновение гладкого дерева, как бы сливаясь с хозяином, видела бесконечно далеко впереди ружейную мушку, замирающую вслед трепещущему утиному полету. Ее охватывало неизъяснимое раздражение, если рассеивался густой дым и утка, подхлестнутая выстрелом, продолжала лететь, постепенно сливаясь с пеленой легкого речного тумана...

Не останавливаясь, хозяин машинально снял с плеча ружье, и собака увидела, как ласково, хотя и бегло провел он рукой по исцарапанному прикладу, коснулся пальцами хищно изогнутого спускового крючка. Держа ружье в левой руке, правой он достал желто блестящий патрон и послал его в ствол. Щелкнул, взвывая, курок, и этот

щелчок на секундное мгновение заглушил неумолчный шум реки. Заряженное оружие приобрело загадочный, многозначительный смысл.

Они продолжали идти навстречу течению, и слева от них возвышался сырой, с порыжевшими пятнами кустарников берег. Дальше был редкий лес с прогалинами, на которых, раскорячившись перепутанными ветками, одинокие и группами росли ветлы. Собака помнила эти деревья ранней весной, когда они, распустившись тонкими листочками, издали напоминали прозрачные облачка дыма.

С недоумением оглядевшись, собака вдруг брезгливо заметила, как переменялся с тех давних пор окружающий их пейзаж. Там, где раньше за поворотом у подножий гор были поля с редкими деревьями, стояли серые дома. Дальше за домами она увидела заводские корпуса, выкрашенные в монотонный белый цвет, которых раньше там не было. Выстроившись в однообразное каре, обрамленное неестественно одинаковыми тополями, издали они казались безжизненными, но стоило подойти поближе, как сразу же, даже на другом берегу реки, слышалось их мощное дыхание. Хотя здесь все вроде было как и прежде. Так же разливалась река, обтекая образовавшиеся от наносного песка и ила поросшие камышом островки, неровными коричневыми мазками видимые отсюда над свинцового цвета водой. Но чужими были запахи. Собака взглянула под ноги, осторожно подходя к воде, и только тут обратила внимание на какой-то ржавый мусор, валяющийся тут и там. Камни у самой воды были покрыты бурой, местами замерзшей слизью, едко пахло мазутом, и запустение ощущалось кругом.

Она потрогала лапой тонкую корочку льда, переходя большую замерзшую лужу, остановилась у польньки и понюхала воду. На нее дохнуло бензином. Резко встряхнув головой от неожиданности, она увидела свое отражение, висячие уши и глаза, моргающие с удивлением. Обернувшись к хозяину, она не удержалась и шлепнулась об лед грузным телом. Задние лапы погрузились в ледяную воду. Отряхнувшись, виновато посмотрела на человека, но тот ничего не заметил...

Собака не понимала слова «когда-то», хотя оно и складывалось для нее в стройное переплетение образов.

Когда-то они ходили здесь, и все было совсем по-другому. Справа за рекой серыми пятнами возвышались теперь новостройки. А когда-то там были поля, зараставшие летом густой высокой травой, по которой бежал ветер; оттуда неслись запахи разгоряченной земли. Собака всегда поворачивалась навстречу этим запахам, вытягивая в струну свое длинное тело, и подолгу смотрела на редко стоящие пирамидальные тополя, неприкаянно и горделиво уносящие верхушки в бесконечно далекое небо. Когда-то было жаркое лето, солнечное и беззаботное, и ящерицы, встревоженно шурша, разбегались в разные стороны от них. Когда-то, заглушая шум реки, здесь в кустах и деревьях поодаль раздавалось птичье пение, стрекотали кузнечики и звенели сверчки; в лужах, остававшихся после весеннего разлива, отчаянно орали лягушки и плюхались в воду при их приближении; высоко в небе плавал почти невидимый ястреб, высматривавший добычу. Когда-то хозяин, истомленный ходьбой и жарким солнцем, останавливался, торопливо стаскивал с себя одежду и, мелькнув стройным мальчишеским телом в воздухе, бросался в стремительное течение и, вынырнув далеко от берега, сильно и коротко взмахивая руками, плыл обратно. С волнением следя за ним, собака не выдерживала, осторожно входила в желтую от размытых где-то там, в горах, глинистых берегов воду и, напрягая тело, плыла ему навстречу, стараясь быть рядом. Потом они выходили на берег, и собака принималась отряхиваться, отчего брызги летели во все стороны радужным веером, а хозяин бросался на горячие камни и замирал в блаженстве. И мир ка-

заля уютным и понятным, и не хотелось никуда идти, а только лежать и наслаждаться покоем...

Хозяин, опустив голову, невольно ускорил шаги, и собака побежала следом.

Ветер переменял направление, и разметавшиеся пряди туч стали менять очертания. По небу в разные стороны поползли вихри, постепенно вытягиваясь с востока на юго-запад.

Хозяин шагал в сторону густого кустарника на берегу, как раз напротив завода, и по каким-то неуловимым признакам собака вспомнила и это место. Где-то здесь была лодка, привязанная ржавой цепью к короткому бетонному столбику. Собака помнила лодку — длинную, черную, с вечно хлопаящим днищем, куда набиралось много воды. Ее нужно было вычерпывать старым черпаком. И еще собака помнила, с каким нетерпением бросался хозяин к лодке, как торопливо гремел цепью и ключичинами. Однако на этот раз он подошел к черному, лежащему на боку телу как-то неуверенно, обошел его, оставая на мокром песке глубокие вдавленные следы. Как и прежде, в лодку набралась вода, и, сняв с плеча ружье, хозяин аккуратно прислонил его к ракитнику, нагнулся и резко опрокинул лодку вверх дном. Вода потекла с шумом, ломко и хрустяще заскрежетали льдинки.

Стараясь не наступать в лужи вокруг, собака тоже приблизилась, обнюхала пахнущие плесенью и старым просмоленным деревом борта, и ей передалось сомнение хозяина. Она мешалась у его ног, пока он стаскивал лодку в воду, вместе с ним смотрела, не набирается ли опять вода. Из углубления на носу он достал старый черпак, довольно искусно сделанный из консервной банки, и собака вспомнила и его до мельчайших подробностей: когда она усаживалась на дно, черпак всегда оказывался перед самым ее носом. Хозяин поднял его вверх. Жестяное полукружие сильно прохудилось, ржавчина проела дырки с рваными краями, сквозь которые собака мельком увидела небо и облака. Бережно, точно невесть какую ценность, хозяин положил черпак на место и побежал к кустарнику. Там он достал спрятанные тяжелые и обмерзшие весла и, возвращаясь назад, недоверчиво оглядывал и их, пытаясь определить, выдержат или нет ветхие лопасти.

Вставив весла в ключины, он взглядом приказал собаке улечься у его ног. Черпак опять оказался у самого ее носа; ей было неудобно лежать, в ноздри назойливо бил запах ржавчины, днище было мокрым, передние лапы царапали наросшие за ночь льдинки, и она с пронзительной четкостью вспомнила все эти ощущения, испытанные в далеком прошлом...

Она смотрела на хозяина, и горячая любовь к нему разливалась в ее груди. Она завозилась на месте, с томящим возбуждением втянула подрагивающими ноздрями его запах и закрыла глаза. И хозяин точно вылепился из этого запаха, в котором воплотилось все то, что называлось ее домом. В этом запахе как бы отразилась масса предметов и вещей: кусок мыла в прибитой к стене мыльнице, принадлежности для бритвы, диванная подушка, табак, кожаная куртка, ботинки, ковер на полу и сердито урчащий безжизненно-белый холодильник на кухне.

Собаке захотелось прикоснуться к человеку, и она потянулась к нему влажным холодным носом, ожидая ласки, прижалась к его коленям. Он, казалось, не заметил этого...

Осторожно взмахнув веслами, хозяин послал лодку вперед, и собака сразу же всем телом ощутила, как сильно и безжалостно уперлось в левый борт лодки едва приметное в этом месте течение. Вода упруго и плотно сдавила утлые борта и днище; собаку стала бить дрожь, и она поглядывала на человека жалостно и доверчиво. Он греб нервно, нетерпеливо, лодка двигалась наискось против течения неровными толчками. Собака чувствовала, как быстро он устал; от его тела повеяло жаром.

Вскоре у правого борта показался первый островок, но они обогнули его и направились к следующему. Собака жадно втянула носом воздух, но от проплывающего мимо островка пахло водой и гниющими растениями, и как бы зорко ни всматривалась она в бурые, беспорядочно торчащие камыши, не заметила на нем никаких признаков жизни.

Течение стало немного потише, и лодка пошла ровнее. Может, хозяин освоился с греблей, а может, движение разогрело и немного развеселило его: он взмахивал веслами уже без судорожных усилий.

Наконец лодка уперлась носом в песчаный берег, качнулась, накренилась, но встала прочно. Собака вылезла первой, отряхнулась и огляделась вокруг. Здесь также пахло гниющими травами, было пусто и уныло, и сколь бы глубоко ни втягивала она ноздрями воздух, не могла уловить ни малейшего запаха, хотя бы отдаленно похожего на приторно-терпкий запах утиных гнезд.

Привстав и взглянув на хозяина не слишком уверенно, собака устремилась в камыши, которые стали бить ее по груди и передним лапам жестко и ломко. Ей было неприятно касаться ногами холодной хлюпающей почвы, она все еще старалась поймать резкий, будоражащий дух птичьих гнезд, от которого коротко и сильно вздрагивают мышцы всего тела. Но воздух был по-прежнему пуст.

Шлепая по воде, она обежала островок, стараясь не наступать на ржавые банки и битое стекло, остановилась и затем стала прочесывать его по диагонали. И опять камыши больно хлестали ее по груди, но она продолжала бежать, и память подсказывала ей обрывочные, мимолетные, почти забытые воспоминания: короткий птичий вскрик, оглушительное, переходящее в свист хлопанье крыльев, выстрел, тугой волной бьющий в уши, и тяжелый, трепещущий в зубах ком из мокрых перьев, непокорный и испуганно-протестующий.

Хозяин остался стоять рядом с лодкой и даже не снял ружья с плеча. Он следил за собакой спокойно, и лицо его ничего не выражало, а может, ей просто так казалось. Тяжело дыша, она вернулась к нему, стыдясь глядеть в глаза. Ощувив на ушах его прохладную руку, она влезла в лодку и опять улеглась на сырое дно. Резко оттолкнувшись от берега, хозяин впрыгнул в лодку сам, она круто качнулась и зачерпнула невысоким бортом воды. Собака съежилась, но продолжала терпеливо лежать, чувствуя холодную струю, подтекающую под напрягшееся брюхо. И как только течение подхватило их, с островка вдруг взлетела, коротко трепеща крыльями, утка и устремилась к противоположному берегу. Хозяин бросил грести и долго смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, растворившись среди кустов и серых камней на другой стороне.

Хозяин аккуратно разрядил ружье, и собака увидела приветливо блеснувшую медь в его руках. Он опять взялся за весла, и течение понесло их быстро и покачивая.

Собака смотрела, как хозяин вытаскивает лодку, как прячет весла, слышала, как шуршит галька под его ногами, и вдруг ощутила беспредельную усталость. Она стояла, широко и неловко расставив ноги, и, не будь прибрежный песок и камни такими холодными, с удовольствием улеглась бы, положив голову на передние лапы.

Хозяин стоял над лодкой, трогая покрасневшими пальцами переносицу, точно вспоминая что-то, и вдруг улыбнулся и полез в карманы.

Собака знала, зачем он делает это: всякий раз, когда они возвращали лодку на место, хозяин оставлял что-то в специальном ящичке, вделанном в лодочный нос. И сейчас он нагнулся и протянул руку. Но вдруг выпрямился, и на лице его отразилось разочарование. Собака моргнула вместе с ним. Все еще растерянно улыбаясь, он держал в

руке заплесневелую, истлевшую по краям бумажку, которую неизвестно кто и неизвестно как давно оставил здесь.

Собака надеялась, что теперь они повернут домой, но хозяин шагал на север, где река сворачивала к древнему монастырю, в котором они бывали не раз. Она побрела следом, и в ее теле не осталось и крупицы той радости, которая переполняла ее с утра.

Они удалялись все дальше и дальше к горам, обрамлявшим все видимое пространство вокруг. Поросшие густым лиственным лесом, горы казались безжизненными и угрюмыми в тусклом свете осеннего дня.

За платиной электростанции, которую они перешли, начинался довольно крутой подъем, усеянный большими камнями, и собака никак не могла понять, зачем хозяину понадобилось подниматься вверх. По его спине она видела, как он утомлен, как нелегко дается ему каждый шаг. Глядя на ссутулившуюся спину, она сама почувствовала себя старой и уставшей.

Казалось, монастырь был недалеко, но они шли к нему очень долго. Метрах в трехстах от цели хозяин снял с плеча ружье, уложил его в небольшую впадину и аккуратно заложил камнями.

Склон становился все круче и у самой монастырской стены сделался почти отвесным. Им пришлось идти по извивающейся между мокрых скал тропинке, на ней были вырублены в камне стершиеся почти ступени. Преодолев последнюю, хозяин присел на обломок выщербленной скалы, собака улеглась рядом, следя за выражением его лица. Он смотрел кругом с видимым удовольствием, поглаживая одной рукой шерсть на ее спине. Собака видела, как осторожно оглядывался он по сторонам, словно впервые видел и серое небо, и горы, поросшие лесом, и электричку, ползущую по железной дороге, и реку далеко внизу. Она чувствовала, как все это в один миг сделалось ему близким до боли. Она многое научилась узнавать в своем хозяине, и серый день перестал быть для нее серым...

Они продолжали смотреть на долину, в которой, сливаясь в единую, смешивали воды две реки, на дорогу, бегущую вверх блестящими зигзагами. На склонах кое-где лежал снег, над всем этим плавно неслись низкие облака, чуть дальше, вдали, в туманной дымке, жил и дышал город.

Собака незаметно задремала. Очнулась она, когда хозяин встал и пошел внутрь монастыря. Они долго ходили по вытертым монастырским плитам, потом стали спускаться вниз, стараясь не поскользнуться на изъеденных временем ступенях.

Собака помнила дорогу, но шла сзади и поэтому не сразу увидела мальчишку, идущего им навстречу. Она увидела его, когда он был совсем близко, шагал, размахивая руками, и за его худыми приподнятыми плечами подпрыгивало в такт ходьбе длинное ружье.

На всякий случай она вышла вперед, стараясь определить, можно ли ожидать от идущего человека опасность, но ничего не ощутила. Тем не менее она почувствовала, как напрягся, насторожился хозяин, как умиротворение в нем сменилось недоверием и враждебностью.

Мальчишка прошел мимо, и, бегло оглядев его, она увидела за его спиной затейливую вязь серебряной насечки, исцарапанный приклад, но не придавала всему этому никакого значения. От ружья пахло чужим домом, чужими людьми. Но она видела, что хозяин не может оторвать взгляда от этого ружья, и, когда он окликнул мальчишку, собаку поразили тревожные нотки в его голосе...

Мальчик обернулся очень доверчиво, широко улыбаясь, подошел поближе и протянул ружье, стараясь, чтобы ствол смотрел вверх. Хозяин, глядя подозрительно и недобро, взял ружье, неопределенно махнул рукой куда-то вниз. Ничего не понимающий мальчик переводил взгляд с собаки на хозяина, а тот сказал что-то гневное, сжал гу-

бы и направил на него ствол. Она чувствовала исходящие от хозяина силу и раздражение, тревожаще бьющие ее по нервам.

Мальчишка, ни слова не говоря, стал отступать и вдруг, резко повернувшись, побежал по склону вверх, размазывая что-то на лице.

Хозяин закинул ружье за спину и, не глядя по сторонам, стал спускаться вниз, но неожиданно остановился, остолбенело глядя себе под ноги: во впадине, где они оставили ружье, из-под груды камней торчал приклад и старый, потертый кожаный ремень. Хозяин подбежал, бросился на колени и стал разгребать камни. Тускло блеснуло серебро насечки...

Он взял в руки оба ружья, долго разглядывал растерянно и удивленно.

Собака физически ощутила, как все в нем преобразилось, заклокотало, болезненно отдаваясь в ней. Он стал удивительно похож на себя прежнего, в юности, она вспомнила его стоящим на земле, с широко расставленными ногами. Он вел ствол вслед пролетающей утке, и в лице его светилось напряжение и тайная неуверенность, которую он изо всех сил старался скрыть. Она увидела и себя в этот момент, точно и впрямь только что раздался выстрел и утка ломко и беспорядочно падала вниз, а сама она бросается к ней, предчувствуя переполненным слюною ртом хрупкое птичье тело с нежными косточками.

Через некоторое время хозяин уже бежал за мальчишкой, оба ружья неловко болтались за его спиной. Маленькая фигурка была далеко впереди и вскоре вовсе исчезла за поворотом. Хозяин быстро устал, но продолжал идти, тяжело дыша.

С холма они спустились на дорогу, которая петляла мимо чахлах истрепанных деревьев. Хозяин пошел спокойнее, и собака всем своим существом чувствовала в нем это спокойствие, словно он приобрел наконец цель и уверенность в правильности этой цели, и всякое маломальски незначительное движение стало последовательно направленным.

Они методично отмеряли шаг за шагом, и собака, настроившись на внутреннее состояние человека, почувствовала, как необходимость идти куда-то и там, куда они идут, сделать что-то чрезвычайно важное заглушает в ней усталость. От хозяина исходили горячие волны возбуждения, и эта возбужденность передавалась ей. Она знала (и поэтому была уверена в себе), что в решительную минуту должна быть рядом с хозяином, и еще знала, что эта решительная минута непременно наступит...

Уже виделось село недалеко, когда они подошли к маленькой речушке, через которую был переброшен узкий мост из аккуратно пригнанных друг к другу бревен, увидели небольшую отару овец под присмотром старого человека в телогрейке и лохматой папахе. Хозяин спросил о чем-то человека в папахе, и собаку беспокоил его неуверенный голос. Старик пожевал губами, протянул в сторону села худую коричневую руку. Хозяин опять что-то сказал ему и протянул ружье. Старик спокойно принял его, поставил прикладом на влажную землю и оперся на него как на посох. Хозяин кивнул и пошел назад.

Собака смотрела, как бегают друг за другом молодые барашки, уловила на себе добрый, немного насмешливый взгляд старика. Потом она затрусилась прочь, но обернулась, и хотя пастух в лохматой папахе, опираясь на ружье, смотрел куда-то в сторону, она знала, что он прекрасно видит и ее, собаку, и хозяина, который торопился уйти...

Среди холмов и деревьев не было ветра, и наступила тишина. Словно не было в мире ни городов, ни заводов, ни громыхающих по железнодорожным путям поездов. Люди куда-то исчезли вовсе или спрятались, и хозяину не нужно было куда-то спешить. И серые облака, видные между чахлыми кронами осенних деревьев, перестали ка-

заться серыми, а стали вдруг перламутровыми, сквозь них едва приметно просвечивало солнце.

Они не сразу услышали раздавшийся сзади враждебный оклик. Собака резко оглянулась и оскалила зубы, и мышцы ее напряглись помимо воли. Она, охотничья собака, которая и зубы скалила только лишь тогда, когда цель ее ускользала, почувствовала наступающую опасность, ощутила в себе готовность защищать хозяина.

И хозяин услышал наконец и оглянулся, и улыбка не успела сойти с его лица. Он остановился, поджидая, машинально поправляя ружье за плечами. К ним приближались трое, и среди них был мальчишка, у которого хозяин отобрал ружье.

Лицо старшего из подходивших людей изображало скорее усталость, второй же с угрозой сжимал в руках злополучное ружье. Хозяин молча переводил взгляд с мальчика на отца, потом на старшего брата, а лицо его было растерянным. Собака, напрягшись, страдала вместе с ним.

Старший из троих покачал головой, и собака поняла, что его опасаться не следует. Но в этот момент другой вскинул ружье, которое все время сжимал в руках...

За мгновение до этого в ней проснулся безотчетный страх: она не поняла ничего и удивилась ярости, которая заклокотала в ней, когда чужой человек направил на нее ружье. Это его ярость отозвалась в ней, и она бросилась на человека. Страшный, красного цвета удар ослепил и сбил ее с ног. Она перевернулась на месте, судорожно вздрогнула, и все ей стало безразлично...

Хозяин остался стоять на месте и не видел, как ушли люди, только что бывшие здесь. Он стоял и старался не смотреть на собаку, которая замершей грудой лежала на мокрой дороге и бессмысленно скалила зубы в серое, безжизненное небо. Прошло немало времени, прежде чем он набрался сил подойти к ней. Потрогав ее рукой, он почувствовал, что тело стало уже холодеть и деревенеть. Он взял его на руки, неудобно закинул ружье за спину и побрел по дороге туда, где шумела река, шумела отчужденно, угрожающе и нетерпеливо. Ружье мешало ему, но он не замечал этого, все шел, прижимаясь лицом к грязной шерсти, и совсем потерял счет времени. Он не заметил, как опять, в который раз за день, пошел снег, потом перестал, и выглянуло ненадолго солнце.

Он подошел к реке, опустил тело собаки на землю, долго умывался, стараясь смыть с лица и рук грязь и еще что-то. Потом он сидел на накренившемся борту лодки и силился уловить связь между всем тем, что только что произошло на его глазах и не без его участия, и не мог. А связь была, он это чувствовал...

Он долго сидел и смотрел на проплывающий мимо мусор и очнулся лишь тогда, когда небо очистилось от туч и стало холодно. Потом он снял с себя ремень, привязал к шее мертвой собаки тяжелый камень и все это бросил в быструю неприветливую воду.

Когда он возвращался домой, был уже вечер, незаметно окутавший все вокруг вязкой, настороженной темнотой, а в далеком небе холодно и неприкаянно горели крупные немигающие звезды.



---

---

## ТАТЬЯНА АНДРОНОВА



### СТИХИ

#### На хуторе

Здесь бор и степь соединились —  
пески, ковыль, разгул души,  
да струи ветра в стебли бились.  
Пред соснами горюй, пляши —  
ни осудить, ни обнаружить,  
нет никого, безлюдье, стужа...

В такую осень дом немодный  
костром, горящим у крыльца,  
тебя, избранник благородный,  
встречал и пыль смывал с лица  
водой нагретою. Метался  
огонь, и ветер в окна рвался.  
Но за костром — лишь след верблюжий,  
и никого, безлюдье, стужа...

А в доме стол — на ножке львиной  
и скатерть, тонкая до дыр;  
зато в сухарнице старинной —  
лепешки и восточный сыр,  
наливка в пиале с каймою.  
«Мне брови подвести сурьюмо?»  
Но ты не весел, ты — устал,  
сидишь, глаза прикрыв лениво.  
Поздней, в раскаянье тоскливом,  
то время счастьем называл.

\* \* \*

Для писаний и мечтаний  
разлиную новый свиток.  
Я не помнила б скитаний,  
если б не души избыток!

Если б не души избыток,  
о других — о, ни полслова!  
Пережита и забыта  
вдохновения основа.



Но под небом, так прекрасным,  
на Земле, еще красивой,  
быть безгласным и бесстрастным —  
нету участи глумливой.

Пусть удачлив кто-то где-то,  
все ж ура — преодоленью!  
Пусть вблизи безмолвной Леты  
мне назначено селенье —

эх, сама себе устрою  
вознесенье вместо пыток!  
Мне бы жить такой игрою,  
если б не души избыток.

Если б не души избыток —  
жизнь проста: вот зло, вот счастье.  
Но раздумьями добыто  
в ней сложнейшее участие.

И меня в любое время —  
обретений и крушений —  
лишь гнетет пустое бремя  
приблизительных свершений!

Я жила бы, сберегая  
ум и сердце — вечный слиток,  
мир иной, судьба другая,  
если б не души избыток!

\*:\*

Приехал и смотрит сурово,  
в отчаянье губы дрожат,  
и просит сказать хоть слово,  
как тысячу лет назад.

Как тысячу лет до мгновенья,  
которым живу сейчас.  
Дымят и смолят поленья,  
очаг старомодный погас.

Темнеют портреты, их лица  
таинственны. Спущена ткань  
на окна. И чуть золотится  
шкатулки резная грань.

И бронзовый ключик запрятан,  
чтоб письма для нежных услад  
хранить с улыбкой, но свято,  
как тысячу лет назад.

Лишь поздно и горько (в несчастье)  
возвышу я эту любовь...  
Пока же восторгом и властью  
волнуется юная кровь.

Пока мне — забавно, и свечи,  
как встарь, отрешенно горят.  
Длинные и прерывисты речи,  
как тысячу лет назад.

И так же уму непослушна  
любовь. Не понять наперед,  
что женщина мило бездушна,  
что горе мужчины пройдет.

И он умоляет угрюмо,  
испуган назойливый взгляд.  
И перстень, и бархат костюма,  
как тысячу лет назад.

Уйди же, дом этот — бездомный,  
он знал отреченья не раз!  
Утешит тебя мир огромный,  
как всех утешал до нас.

\* \* \*

Повсюду созидание людей —  
мечты, стихи, содружества, сомненья,  
распад или блистание идей  
от столкновенья и объединенья.

Врастает в мозг знакомая среда,  
все радости — стары, давно известны,  
все горести — стары, давно известны,  
как патина на доме у пруда.

Там в башенке, под аркою ворот,  
висит фонарь, истерзанный дождями,  
и, как печать отверженности, вход  
сухой листвой завален, желудями.

И пусть аллея сумрачна, мертва —  
зайдем туда, в бессильное старенье,  
взглянуть на увяданье естества  
и научить себя благодаренью!

Вон окна, полукруглы и узки,  
цветные стекла в европейском духе,  
вон идол у дверей, его виски  
покрыты мхом и трещина на брюхе.

И если к потолку поднять лицо,  
от дерева повеет темной прозой,  
но медное прекрасное кольцо  
венчает лампу с ангелом и розой!

Давай присядем за овальный стол  
на шелковые вытертые кресла.  
И здесь кого-то истомил обол  
в житейском море, горьком или пресном.

Неужто мы с тобою повторим  
простое предсказанье слово в слово —  
в таких же радостях и горестях сгорим  
и ничего не привнесем другого?

Не может быть! Блистание идей  
позолотит лихие нимбы духа!  
Ведь мы поэты, нет у нас затей —  
есть столкновенья зрения и слуха!

Есть свой, живучий, творческий закон,  
не знающий вовеки угасанья —  
из чувств бесчисленных выбирает он  
лишь несколько, достойных описанья.

А потому; а потому сто раз  
мы обойдем на версты всех ничтожеств,  
всех подлецов — на версты, всех ничтожеств  
и не услышим их ничтожных фраз!

Хотя, увы, мы праведны слегка  
и свойственны натуре нашей срывы,  
но справедливость сохраним, пока  
сердца горят и этим, может, живы.



---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ



## НА ВОЙНЕ

*Из дневников и писем родным*

«**И**З не бросай моих писем, Берточка, я не все успеваю записывать в дневнике. Когда кончится война — мои письма смогут напомнить мне детали, которые я успею к тому времени забыть. А ты ведь знаешь, что значат для нашего брата детали». Так писал Илья Львович Сельвинский жене Берте Яковлевне Сельвинской 27 февраля 1942 года.

Из писем к жене, племяннице, из дневниковых записей сам, собой сложился материал о генерал-майоре В. И. Книге. В этого легендарного конника Сельвинский был просто влюблен и мечтал создать о нем поэму, но, к сожалению, успел написать только «Песню 72-й Кубанской казачьей дивизии».

Илья Львович ушел добровольцем на фронт в августе 1941 года. Направлен он был на Крымский фронт. Там Сельвинский воевал в гражданскую войну, защищая Симферополь, где он родился, Евпаторию, где учился в гимназии, Перекоп, Керчь... Его семья находилась в эвакуации в городе Чистополе-на-Каме, куда Илья Львович и писал эти письма. В них переплетается и сливается воедино личное и гражданское. Он не представлял себе во время войны жизни в тылу. Он признавался, что фронтовая жизнь обогащает его душу.

7 июня 1943 года Сельвинский отчитывался о своей фронтовой работе на заседании военной комиссии Союза писателей СССР. Он читал военные стихи, которые присутствующие встретили очень тепло. Поэт А. Яшин, в частности, сказал: «Я присутствовал в Литинституте на прощании Сельвинского со студентами. Это было трогательное прощание учителя со своими учениками. Тогда еще не было ясно, когда он поедет, но было ясно, что он поедет на войну. Сельвинский остался хорошим большим поэтом, каким он был. Приятно сознавать тем товарищам, которые учились у него, и мне в частности, что он остался учителем для нас и сейчас. Я слышал, как краснофлотцы отбирают самое лучшее из стихов наших советских поэтов и читают их по радио. Я слышал, как краснофлотец читал стихи Сельвинского «Я это видел» — самые гневные из стихотворений Сельвинского. Мне хотелось высказать пожелание другим нашим собратьям, нашим старшим товарищам, во что бы то ни стало устоять, но не снижать уровня, требовательно относиться к каждой строчке, писать так, как пишет наш старший товарищ. Так держать!»

Итак, начал Сельвинский воевать на Крымском фронте, а закончил войну на 2-м Прибалтийском. Прошел путь от интенданта 2-го ранга до подполковника.

9 мая Сельвинский поехал в Кандаву вместе с несколькими советскими офицерами принять оружие у капитулировавшей немецкой дивизии. В письме к жене от 10 мая 1945 года он пишет, что стоило жить «ради одного этого переживания — абсолютного ощущения победы, ради одного этого шагания внутри каре побежденных врагов, ради этого триумфа, который можно сейчас пережить только на фронте».

---

Публикация дочери И. Сельвинского Ц. ВОСКРЕСЕНСКОЙ.

## Дневник

3.10.41

Вчера мне довелось пережить, пожалуй, самое страшное в жизни. В 1918 году, когда я был заместителем конюха в отряде Груббе и стоял в районе Турецкого вала, я все время ходил за комиссаром и приставал к нему с одним и тем же вопросом: «А когда же будет страшное?» Он просто бесился. «Да вот же. Немцы стреляют. И атака была... Разве это не страшно?» «Ну да. Конечно, наверное, страшно. Но по-настоящему страшное, понимаешь? П о - н а с т о я щ е м у?» Бедный комиссар искренно обижался за своих врагов и пытался сделать их страшнее, чем они были. Думал ли я тогда, что через двадцать три года приблизительно на том же месте мне покажут действительно страшное. После взятия нами деревни Асс, о котором я уже писал, немцы снова выбили нас оттуда, и мы снова затевали наступление. 2 октября член Военного совета 51-й армии Николаев, его порученец Мелехов, шофер и я ехали в «эмке» по направлению к переднему краю обороны. Наша артиллерия, спрятавшаяся в скирдах сена, успешно обстреливала позиции фашистов. Но авиация наша была занята помощью Одессе и бомбежкой Бухареста. На Крым крымской авиации уже не хватало. Немцы это отлично знали. И вот спустя 15 минут после обстрела поднялась эскадрилья «юнкерсов» и «хейнкелей» и понеслась на поле, занятое артиллерией, для ее подавления. Наши пушки мгновенно смолкли. Хотя фашистские летчики понимали, что орудия спрятались в скирдах, но так как скирд этих было великое множество, то возник вопрос: какую именно бомбить? Так фашисты и летали над полем, не зная, что предпринимать. И вдруг они увидели нашу «эмку». Догадавшись, что в такое время на таком поле в такой машине может ехать только крупный начальник, они развернулись и пошли на нас. Мы выскочили из машины и бросились в стороны. Самолеты вели себя, как на параде. Зная, что наша авиация далеко и что на этом поле нет ни зениток, ни зенитных пулеметов, они подробно и красиво выстраивались, с видимым удовольствием делали над нами круги и затем принимались за дело. Мы насчитали 27 самолетов. И все они налетели на нас. Пока одни пикировали над нашей несчастной «эмкой» и бомбили ее фугасками в 20 и 50 кило, другие, кружась над нашей четверкой, били по нас из пулеметов на высоте 100 метров. Я остановился. Место было ровное — без падин и морщинок. «Если он бросит бомбу,— думал я,— тогда лучше лежать. Но если лечь, а он выстрелит из пулемета, это плохо — я сам увеличиваю площадь обстрела. Лучше уж стоять. Да, но тень? Если стоять, то ведь по тени он обнаружит и меня...» Но долго думать не приходилось. Вот, коротко и красиво картавя пулеметом, приближается изящная хищная птица. Даже сейчас я не могу отказать ей в красоте. И вдруг совсем передо мной с неба хлынула как бы струя красной крови: летчик стрелял д н е м трассирующими пулями! Это было — как я потом понял — по-настоящему страшно. В яркий солнечный день струя крови с неба. Я глядел на нее в оцепенении. Машина пронеслась мимо и развернулась над озером. За ней шла вторая. Потом третья. До звона в ушах непривычно было мне думать, что все эти большие, красивые и дорогие машины охотятся... за мной. Именно за мной! Я, Илья-Карл Львович Сельвинский, москвич, проживающий по Лаврушинскому переулку в доме № 17,— именно я и есть та цель, ради которой они поднялись с аэродрома и, связываясь в воздухе строгой субординацией между ведущими и ведомыми, летали, нагруженные бомбами и бронебойными пулями. И так же, как когда-то на Камчатке медведица зарычала именно на меня, хотя я в нее не стрелял, а только смотрел, как другие стреляют,— так и сейчас самолеты метили в меня, хотя я в них не целился. Эта «забота» о моей скромной личности в какой-то мере наполнила меня высокомерием. Этот весь парад с фейерверком... ради меня? Вернее, ради моего трупа?

Через минуту несколько звеньев разворачивались уже для нового залета. Но по курсу гремели, жужжали, стрекотали, дышали и лязгали — новые. Я успел уже оправиться от своей поэтической каталепсии и бросился бежать к озеру. Надо мной снова осязаемо — круглыми звуками, похожими на лопающиеся пузыри,— закартавили очереди. Но теперь я уже был не тот, что минуту назад. Я вскинул карабин и стал стрелять по тем, кто стрелял в меня. В конце концов, чем черт не шутит? А вдруг я собою что-либо такое... Вскоре я заметил ложбинку. Бросился туда. Как случилось, что я цел? Жив? Не понимаю. Однако жив. Бегу. По доро-

ге — труп, с головой, накрытой плащ-палаткой! Из-под нее торчит винтовка. Жаль оружия. Нагибаюсь. Ташу ее из-под трупа. Не пускает. Больше того — дергает! Я откинул с его головы палатку — смотрю, а это живой. Глядит на меня молодой паренек — и крупные слезы текут по его щекам.

— Ай-ай-ай! Как не стыдно! — говорю. — Ты что? Девочка? Или боец?

Он зашмыгал носом, увидя мои две шпалы на петлицах, но тут же покосился на небо и — снова закутался с головой. Дитя! По ребячьей привычке он считал, что если он не видит чего-либо неприятного, то и это неприятное не видит его. Пулеметные очереди продолжались. Но у меня уже было чудесное настроение, как всегда, когда моя жизнь (или, что страшнее — репутация) поставлена на карту! В ложбинке я увидел Николаева и Мелехова. Они улыбнулись мне, как родному, которого не видели лет десять.

В штабе дивизии за обедом мы смотрели в глаза друг другу с каким-то влюбленным выражением и анализировали свои чувства. Николаев, выдавший виды вояка, говорил, что такого «шикарного» налета он еще ни разу в жизни не переживал. Всю дорогу до Симферополя мы говорили об этом налете. Только сейчас нам стало по-настоящему страшно. Я вспомнил афоризм: трус дрожит перед опасностью, а храбрый — после нее.

### Письма

28.9.41

Дорогая Берточка!

Пишу тебе в перерыве между двумя выездами на передовые; последние четыре дня провел очень интересно: участвовал в ночной разведке, которая взорвала мост ж/д; попал под минометный обстрел; вчера днем участвовал в наступлении. По пути в С. нашу машину 40 километров преследовал самолет и, когда мы выбегали в поле, строчил по нас из пулемета. Хвала аллаху — мы остались целы, но стадо, которое подверглось обстрелу, потеряло штук 15 голов.

Сейчас наша армия переживает самый серьезный момент своего существования: ближайшие 2—3 дня решают очень многое. Мы все в разъездах. Достаточно сказать, что, проведя 3 суток на передовых и вернувшись ночью в газету, я через два часа снова был вызван и снова поехал в часть. Писать уже не приходится — не только вообще, но и для газеты. Нас используют как политсостав. За эти несколько дней я пережил больше, чем за 10 лет. Война, черт возьми, дело серьезное. Очень трудно привыкнуть к этой мысли, но это так. Сначала, когда идешь с батальоном в атаку, кажется, что все это какая-то огромная кинопостановка: бойцы, покрытые мокрыми плащ-палатками (шел дождь), в железных касках и с винтовками наперевес идут спокойно и медлительным шагом. Что-то торжественно-мрачное в этом марше. Что-то напоминающее похоронную процессию. Потом на броневике подкатывает полковник. Он стоит на подножке — ему некогда — и кричит: «Быстрее, быстрее!» Это похоже на крик режиссера. Но вот налетает самолет — три бортовых огня, как три иллюминатора, — и сразу броневик с полковником взлетает вверх колесами. Тут же минометный обстрел. Маленькие визгливые гильзы разрываются: огонек, черный снизу и серо-сизый сверху дым — и на 50 метров вокруг летят осколки. Тут же рвется шрапнель. Воздух весь в дымках, в визгах, в залпах. Врага не видно и не будет видно: он не выйдет. Но самолет, но дымки, но огни — это и есть враг. Кажется, что с нашей стороны — люди, а с их — вещи. И люди воюют с вещами. Вот уже степь затянута пороховым куревом, а в ней по колено в дыму бредут удивленные, брошенные коровы. Очертя голову, поджав хвост, улепетывает собака. Поднимаются и, хлопая крыльями, гогочут домашние гуси. Рядом — деревушка. Жителей нет, но все напоминает о том, что здесь жили довольно зажиточные люди: баштаны полны арбузов, тыков, синих баклажанов, перцев... На току — большие насыпи зерна. И всюду скирды, скирды, скирды, которые через 10—15 минут боя начинают пылать.

Зашел я в один домик. Здесь жила девочка, любившая рисовать: стены, как обоями, оклеены ее рисунками — розы, собачки, девочки с неизменно согнутым коленом. И хотя все это очень беспомощно, но напомнило мне Таточку.

На базе узнал, что нашими сбиты два самолета. Кое-кто из экипажа уцелел. Посылаю тебе фото одного эсэсовца. Может быть, это тот самый, который обстре-

ливал мою машину. По роже видно, что человек этот мыслить не привык, но зато привык делать любые подлости и злодейства.

Ну, дорогая моя, будь здорова! Целую горячо тебя, Таточку, Ци-Ци и бабушку.

Илья.

Действующая армия

9.12.41

Дорогая!

Сегодня у меня праздник: получил сразу три открытки—две от тебя и одну от Таточки. Ты пишешь, что получила мое письмо от 28.9 и что будто бы оно очень тяжелое. Этого я, откровенно говоря, не понимаю. Дело в том, что 27—28—29 сентября происходили очень тяжелые бои, в которых я имел счастье участвовать. Я подчеркиваю — счастие! Эти три дня обогатили мою душу. То, что я остался и жив и даже цел — почти чудо. Но важно, конечно, не это, а то, что если бы я больше ничего на войне не переживал, кроме этого, то и тогда я считал бы, что очень многое пережил. Я об этом рассказываю друзьям как-то вскользь, а об отдельных эпизодах и вовсе не рассказываю, так как на фронте каждый день происходят потрясающие события, где смерть и героика — быт, как-то неловко говорить о себе и своем молодечестве. Я знаю, например, что Гоффеншера<sup>1</sup> послали как-то на передовую линию, где ему пришлось замещать командира батальона в боевой обстановке,— но и он об этом старается не говорить, а только отвечает на вопросы. Таков стиль фронтовиков. Но тебе я бы, конечно, рассказал обо всем с огромным наслаждением, так как об этом хочется поделиться именно с теми, кому ты дорог. У меня, например, был момент, когда мы с шофером пролетали на грузовике через деревню А., о которой нам было известно, что в ней наши. Но только мы въехали в деревню, как на нас наскочили немцы. Мой шофер рванул в сторону прямо на забор, сломал его и хотел по дороге в сторону, но в это время машина задохлась и стала. Немцы начали палить из автоматов, и кто-то крикнул: «Kraft vertceuge, halt!»<sup>2</sup> Тогда мы оба выскочили из машины: шофер, чтобы завести ее, а я, чтобы прикрыть его действия. У меня были две гранаты. Но дело осложнилось одним обстоятельством. Когда меня учили метать гранату, во мне произошел какой-то заскок: граната взрывается через четыре секунды после того, как ее встряхнули; для успеха дела нужно ее встряхнуть, затем бросить, если же бросить не встряхнувши, то противник может схватить ее с земли и метнуть в тебя же. Поэтому рекомендуется сначала ее встряхнуть. Так вот — заскок мой выражается в том, что я после встряхивания считая до четырех, а потом бросаю. Этого нельзя делать, так как в этом случае граната взрывается в руке и губит самого метателя. Итак, при работе с учебной гранатой я никак не мог преодолеть в себе этого странного заскока. Зная эту свою особенность, я, будучи на фронте, не зарядил гранат, а только держал их при себе для декорации. И вот теперь я выскакиваю с двумя гранатами, которые никакого смертоубийства в себе не несут. Но в жизни главное — не теряться. Я выскочил на немецкий отряд, крикнул: «Цурюк!!!» — метнул мертвую гранату и сделал вид, что падаю из боязни быть взорванным. Когда метатель, бросив гранату, сам падает, значит, граната «в рубашке», а это страшная штука. Увидев, что я упал, немцы взвыли и тоже упали. Я просчитал до четырех, вскочил и бросил вторую. В это время мотор затарахтел. Через минуту мы уже летели в поле, а немцы не только не пытались нас преследовать, но даже не стреляли в догонку: по-видимому, они ожидали взрыва второй гранаты и боялись поднять голову. Люди всюду люди. Не всякий рискнет жизнью, даже если добыча уходит.

Ты понимаешь, какой подъем должен был я испытывать после такой удачи! На следующий день я вместе с членом Военного совета Николаевым попал под обстрел и бомбежку тридцати самолетов, а нас было всего-навсего четыре человека и одна брошенная нами машина — вот и вся площадь обстрела. Об этом я тебе, помнится, писал подробно, так что повторяться не хочется. Были и еще кое-

<sup>1</sup> Гоффеншер В. Ц. — критик.

<sup>2</sup> Все, кого я ни спрашиваю, не знают, что это такое. Говорят, такого слова нет. Но я его абсолютно ясно слышал и запомню на всю жизнь. Может быть, я его неверно записал?

какие эпизоды. Так что, как видишь, переживания мои были такого высокого накала, что тяжелым мое письмо никак не могло быть. Опасности никогда не угнетают меня — наоборот, возбуждают! Я чувствую огромный прилив сил, как бы вдохновение — и счастливи!

...Я, например, просто не представляю себе, как я бы мог быть сейчас в тылу! Все-таки это не финская кампания, а война, потрясающая всю нашу родину, война, от исхода которой зависит все будущее нашего народа и его культуры. В такой войне быть на фронте — это не только исполнение своего долга, но и достижение личного счастья. Все дело в том, как это самое счастье понимать.

...Так что ты не горюй за меня: не будь похожей на тех обывательниц, которые повторяют: «Хорошо такому-то — он дома, а мой муж должен мучиться на фронте». Уверяю тебя, я не променял бы своих боевых лишений на мирное существование... И в конце концов это ведь справедливо: я — человек большой физической силы и личного мужества, значит, мне и на руду писано быть на войне...

Так что не хандри. Другое дело, что когда мужья дома, то и семье материально легче. Конечно, что уж говорить. Но потерпите, мои дорогие... Наберитесь мужества. Сейчас весь мир в огне — люди теряют не только свои ванны и американскую мебель: у огромного количества людей нет уже родины! А это страшней.

Пиши мне часто. Может быть, в связи с разгромом немцев под Ростовом письма будут идти быстрее. Сейчас я к тебе много ближе, чем месяц назад. Крепко, крепко целую тебя, детей и бабушку.

Твой Илья.

### 1.3.42

Дорогая!

В ближайшее время пойду в атаку на немцев в конном строю. Казачьей дивизии поручено большое дело, и я решил идти вместе с кубанцами, как поэт и солдат, куда они не разрешат поставленной перед ними задачи. На Кубани не было, кажется, хаты, в которой я бы не ночевал. Я знал чуть ли не каждую бабушку, каждую молодуху, каждую девчонку и мальчишку каждого. Теперь я встретился с их отцами, мужьями и братьями.

Если из этой операции я не вернусь живым — пусть это не будет для тебя катастрофой. Можешь быть уверена, что твой муж погиб в бою так, как погибают в бою патриоты, для которых понятия России и революции слиты воедино.

Когда-то, еще в «Челюскиннине», я писал. «Раз умирать — так уж лучше в армии», а поэты, как известно, неплохо выполняют свои пророчества...

За спиной у меня большая трудная жизнь, полная всяких подвигов и горя, любви и обид, то есть такая именно жизнь, которой и должен жить поэт. Смерть в бою должна быть достойным завершением такой жизни. Я счастлив, что судьба предлагает мне этот вариант. Но никогда не надо думать только о самом худшем: очень возможно, что мы еще встретимся, моя золотая, и еще будем видеть послевоенный расцвет нашей страны, счастье наших детей и внуков. Но при всех условиях — каков бы ни был исход моей жизни — благодарю тебя за все хорошее, что ты дала мне своим существованием.

Прощай, но, может быть, и до свидания!

Твой Илья.

Не знаю, много ли я дал в течение своей жизни Циле и Тате, но пусть помнят только о хорошем... Я их люблю каждую по-своему и всегда хотел им только добра.

Сохрани теплоту к моим сестрам!

Шлет тебе привет легендарный конник Василий Иванович Книга.

### О Василии Ивановиче Книге

...Сейчас я живу в казачьей кубанской дивизии. Здесь я познакомился с человеком, о котором мы с тобой еще слыхали в Москве: человек этот Василий Иванович Книга. Теперь он генерал-майор. Когда-то, еще в годы гражданской войны, Книга был конником типа Буденного, Апанасенки и др. Тогда его характеризовал такой анекдот. Бывало, спросят: «Василий Иванович, а какая у вас обыкновенно тактика?» Он неизменно отвечал: «Окружить и до речки!» Между прочим, в



«Командарме 2»<sup>3</sup> есть одна его фраза: «Труп лег на 12 верст» (это во втором варианте). Более очаровательного, милого, теплого существа я не встречал даже в гражданском обществе, не говоря уж об армии, где старые рубаки уже черствеют и как бы покрываются коростой рубцов. Уютный — ну просто как плюшевый медвежонок. Привязался я к нему за эти десять дней, как к родному. Самый голос его всегда ласковый, отеческий, добрые глаза его, которые не умеют сердиться даже тогда, когда он кого-нибудь распекает. Просто не верится, что при большой доброте этого человека он был способен рубить головы! А он это делал и делает лихо. О комиссаре он сказал, подмигнув мне, чтобы тот не слышал: «Рубит не по правилам. Но ничего — головы слетают». Вежлив Василий Иванович необычайно. И видно по всему — эта вежливость доставляет ему огромное удовольствие. Для него это экзотика!

Живем мы вчетвером в домике некой Фатьмы. Здесь живут: генерал (спит на кровати), поэт (спит на правах гостя на тахте), комиссар дивизии Дроздов (спит на полу. Чудесный человек, о котором напишу тебе особо) и адъютант Криворучко (спит рядом с комиссаром). Кроме нас в этой же хате живет хозяйка — татарка Фатьма, которую Книга зовет Феней, и две ее сестры: Майфуза, которую генерал зовет Марусей, и Нина (как ее татарское имя — не помню). На дворе пятый день льет дождь. Военные действия с обеих сторон задержаны. Даже в воздухе бои реже. Положение для фронта редкое. Чем же мы занимаемся? С утра генерал принимает начштаба, а комиссар — начполита. Они получают обстановку, отдают приказания. Затем — завтракаем, это обычно яичница, иногда каша. Молоко обязательно. И уж совершенно обязателен чеснок. Кроме того, каждому выдается по стакану водки. Я питаю к ней, известно моим друзьям, невыносимое отвращение. Но боюсь обидеть старика — честно пью. После завтрака либо генерал, либо комиссар едут в тот или другой полк. С ними еду я. Если дождь маленький — едем верхами. Если большой — на тачанке. К обеду все обязаны быть вместе. Если комиссара нет, генерал есть не будет. «Нушать хочете? — спрашивает он меня. — Подождите еще капельку. От сейчас вин придэ (и тут же поправляется), он придет». Считай, что это уже по-русски. «Ну, не может же того быть, чтобы он это. К обеду. Тут же ж у меня порядок. А на, лейтенант, сбегай на бугор: чи не видать тамо комиссара?» Криворучко «бежит», постоит в снях. Потом вернется и докладывает: «Какой-то всадник на горизонте. Может, он». «Ну, вот видите, — обращается ко мне генерал, — я ж говорил. Не может того быть, чтоб он это». Потом приезжает комиссар. Ему 37 лет. Это военный новый, не книгинской школы, и Книга его немножко побаивается, хотя привязан к нему чрезвычайно. Мы садимся обедать. Комиссар рассказывает что-нибудь своим нижегородским сказом, точно не быт, а песню. И генерал, как эхо, повторяет за ним последние слова. Но вот обед кончился. Генерал идет на боковую. Мы с комиссаром ложимся на тахту — она длиннющая, так что лежим в одну линейку: где кончается он — начинаюсь я, а иногда наоборот.

С этого момента начинается самое интересное для генерала: то комиссар, то я читаем по очереди вслух Горького и Толстого. У комиссара глуховатый приятный басок. Слушать его наслаждение. Особенно когда он читает Горького: сам горьковчанин, он говорит на «о» и до боли напоминает говорок Алексея Максимовича. Генерал реагирует очень живо. Но на юмор не отзывается никак. Если расскажешь анекдот с игрой слов или острым ответом, он всерьез начинает обсуждать возможность того или иного положения. Например, в немецком журнале юмореска:

Х о з я й к а. Как вам не стыдно, Марта, вы беременны.

М а р т а. Да, но ведь и вы тоже.

Х о з я й к а. Но ведь я от своего мужа.

М а р т а. И я от него же самого.

Старик подумал и серьезно сказал: «Вот это уже нехорошо. Совсем нехорошо. Ай-ай-ай... Ну, куда ж теперь такую держать?» «Да и выгнать неудобно», — говорю ему в тон я. «Да, да... Правда ваша... Как же теперь выгонишь? Не годится это, а? Вот положение». И все это с душой и с такими добрыми глазами, что просто сердце тает.

<sup>3</sup> Пьеса И. Сельвинского.

Но весело и по-ребячьи прыскает, когда кто-нибудь кого-нибудь треснет в книжке по башке или кто поскользнется и упадет. А иногда реакция самая неожиданная. «День клонится к вечеру, — читает комиссар. — Но погода стояла все та же: дождь лил как из ведра». «О! О! — крикнул генерал. — Ну в точности, як у нас». Потом поглядел на меня и поправился: «Как у нас». «Иван Иванович вышел на крыльцо, — продолжает комиссар, — и молодежато взглянул на небо». «Ишь ты какой!» — восклицает генерал. Но спустя десять минут, а то и меньше он уже уютно посапывает своим коротеньким носом, причем пышные усы его развеваются так, что от них на полные щеки ложатся тени. Генерал спит. Но это не значит, что можно прекратить чтение. Как бы не так. Пока читают — он спит. Но только замолчишь — просыпается от тишины, как от бомбы. «Га? Шо? Ты читайть, читайть. Я ж не сплю». Мы читаем, и генерал, сквозь сон отреагировав раза два невпопад, опять засыпает.

Но спать ему не дадут. Иногда это красноармеец, пришедший к генералу по личному делу. Книга совершенно чужд зазнайству, бюрократизму и т. д. Принимает он всех и каждого. Узнав от лейтенанта, что его хочет видеть боец, он встанет с постели, сунет ноги в валенки — и ждет: в толстых солдатских ватных штанах и в белой солдатской рубаше. Вошел боец. Выстроился. Еще не совсем очнувшись от сна, генерал слушает рапорт, после чего подходит к бойцу, протягивает руку для пожатия и очень вежливо и потешно шаркает ножкой: в его время было принято шаркать. Иногда он распекает: «Солода ты такой! Лентяй! Нехай! И что у вас за родители такие, шо таких нехаев выродили. И шо за жена у вас, дура такая, шо за вас пошла?!» Но глаза при этом такие добрые, что только басок комиссара придает этому распеку вес. А комиссар, между прочим, подает только репличку. Есть у него и коварство. Однажды он заснял на фото тех бойцов, которые ходили мокрыми курицами, но сие отрицали. Он показал им карточки: «Ну? Теперь будете спорить? Ага! Прикусили язычки! Ага-ага!»

Детали: «Морская пехота? Так ведь же это лучшие сыны!»

«— А! Так ты ж кавалерист!»

— А вы откуда узнали?

— По запаху».

«Мои закоренелые друзья».

«Не люблю я таких людей! Не люблю таких халатных. Людей!»

Вообще о нем писать — это целая идиллия.

Каждый день он спрашивает у Майфузы: «А чи нет ли мне на почте писем?» Однажды он что-то особенно загрустил. Тогда комиссар и Майфуза написали сами письмо, вложили в конверт, запечатали и как ни в чем не бывало приносят. Но лейтенант, которому было неприятно, что любимого генерала разыгрывают, все ему заранее рассказал. И вот я наблюдал картину, в которой играло три человека: комиссар и Майфуза, с одной стороны, и генерал — с другой. Комиссар сидел, уткнувшись в книгу; Майфуза, стесняясь так, как будто ей придется сейчас целоваться, протягивает Книге письмо. Книга же абсолютно естественно раскрывает конверт и... невыразимо доволен: «Маруся! Спасибо тебе, деточка, за письмо. Знаешь, шо оно значит — письмо. Э, письмо на хронте это, брат, великое дело. А чи вы знаете, комиссар, кто пишет?» «Кто?» — интересуется комиссар. «Та Марья Павловна!» — говорит генерал таким тоном, точно это должно страшно обрадовать комиссара. Комиссар, конечно, рад. «Ну, вот видите, а вы беспокоились. Что же она вам пишет?» «Ну, понятно шо, секреты. Не все ж вам знать можно. За любовь и у роде того. Но вообще дело. Спасибо тебе, деточка, шо принесла. И завтра тоже принесешь чи нет?» И вот в продолжение всего вечера он не переставал благодарить Майфузу. Девочка краснела до слез. Комиссар тоже насторожился — но старик был совершенно невозмутим. «Главное, — рассуждал он, шагая в нижней рубаше и в валенках по хате из угла в угол, — главное, шо хорошо? Вот ждал письма — и оно пришло!» В этот момент я достал платочек заграничный, бежевый и раскашлялся в него (я немного простужен). «Э! — сказал генерал. — Хфеничка! А где мой белый платок, шо вы вчера стирали? Дайте его товарищу». «Да мне не нужно, — протестую я, — платок совершенно чист. Это цвет такой — беж». «Возьмите, возьмите! От когда его постирають — тогда выяснится, что он бэж чи шо другое. — И снова к Майфузе: — Спасибо тебе, деточ-

ка, за письмо. Это ж внимание к человеку! Утром не было письма. Так она его — раз, побежала, сама даже написала, абы штоб старику приятно было». Тут, конечно, все мы прыснули, и веселее всех смеялся сам товарищ генерал.

Ко мне он относится чрезвычайно бережно и даже как-то раз признался: «Вы, наверное, читали больше, как я». Единственно в чем он пускался на хитрость — это кони. Старик норовит возить меня в тачанке, боясь, что я «сожгу коню спину». Он не знал, как я езжу — хорошо ли, худо ли, но был уверен, что скорее худо: не казак, мол. Но я, конечно, орал, что дело не выйдет и что я ему не Бабель (а Бабеля он терпеть не может). Ну, как только скажу «не Бабель», он вздохнет, но даст своего любимчика — дончака по имени Сахалин.

Прости, что я все письмо посвятил незнакомому тебе человеку. Это только говорит о том, до чего мне хочется о нем писать.

Действующая армия.

6.4.42

Дорогая моя Б. Я.!

...О стихотворении «Я это видел». Ваши наблюдения над тем, как реагируют писатели, совпадают с общим отношением к нему. Когда Павленко приехал в Краснодар и пришел в редакцию «Большевика», там с гордостью показали ему мое стихотворение, напечатанное у них, и стали ему читать вслух. Тогда Павленко цыкнул на них: «Вы не умеете читать! Это же гимн ненависти! Дайте я прочту сам!» И стал читать. Говорят, прочел замечательно. В Краснодаре записали это стихотворение на шаринофоне в моем исполнении. В 4 часа дня я стоял в толпе на улице у радиорупора и слушал свой голос, как и всегда не узнавая его. Но дело не в этом. Неслись автомобили, звенели трамваи, а люди стояли, как на молитве. слушали и плакали. Об этом же говорят сотни красноармейских писем. По-видимому, я что-то такое затронул очень глубокое. Но сам я не слышу этого стихотворения. Я вижу сквозь него только тех, кого я видел во рву, и знаю, что не выразил и сотой доли того, что должен был выразить.

Вчера я несколько часов прошагал в хате, где я живу, из угла в угол. На столе горела свеча. За мной ходила тень. В других комнатах все спали. Я думал о своей судьбе поэта и о народе, с которым я так сжился за время войны. Я убедился, что народ, особенно красноармейцы глубоко верят и любят комиссаров, так как видят в них первых своих друзей. Возвращался я как-то с фронта в Керчь. Машини все застряли в грязи — дождь лил с неделю. Грязь была такая, что иногда из нее подымалась лошадиная голова, оглядывала пейзаж и снова ныряла в жижу. Достаточно сказать, что грязь эта прекратила военные действия с обеих сторон. Пришлось, короче говоря, пойти к линии железной дороги. Это неприятно, так как дорога, во-первых, все время обстреливается самолетами, а во-вторых, никогда не знаешь, когда попадешь к месту назначения. Дошел я до линии, смотрю, стоит «санлетучка»: с фронта к проливу движутся раненые. Но вагонов было мало. Пришлось использовать открытые платформы. Поезд шел с утра — раненые промерзли. Один с босыми ногами (где были его сапоги, я так и не понял), молоденький паренек, просто плакал, как девочка. Мимо проходили командиры разных рангов, он их не окликал. Но вдруг он увидел меня: «Товарищ комиссар! Скажите им, чтобы поехали! Что же это будет?» — и снова заплакал. Он ехал с утра и меня видеть не мог. Я появился только на этой станции. Но раз я комиссар, значит, есть кому за него болеть душой. Я побежал по начальству, стал прищипывать, но ничего нельзя было сделать: путь был изуродован бомбами, и пока его исправят, пройдет час. Я снова вернулся к нему: он плакал уже тихонько. Во-круг на него кричали другие раненые, и он боялся, что они услышат и опять обругают. Я влез к нему на платформу, снял с себя ватник, который выдается под шинель, и укутал ему ноги. Раненые заворчали, но я дал им папиросы, и они сразу повеселели. Вообще, я заметил, что наш народ от самой маленькой радости быстро сбрасывает с себя душевную тяжесть. Потом я соскочил вниз, прицепился к поручню, и мы поехали. Сойти мне надо было в... [зачеркнуто цензурой], а состав шел дальше. Я пошел попрощаться с моим новым приятелем. Увидев меня, он снял с себя мой ватник и сказал: «Спасибо, товарищ комиссар, возьмите». Но

как я мог взять? Неизвестно, сколько ему еще ехать до пролива, а там через лед и снова движение. Пропадут ноги. «Нет, — говорю, — берите его себе. У меня есть другой». Конечно, за этот ватник мне влетит по первое число, так как эта вещь казенная, вписанная мне в аттестат. Но как я мог отобрать его у этого мальчишка? Я думаю, что любой комиссар поступил бы так же, потому что паренек с такой верой обратился ко мне за сочувствием, что я бы вырвал из себя собственные нервы.

Но возвращусь к моему вчерашнему хождению по комнате. Мне очень редко приходится собирать мысли и думать о своих путях поэта. Вчера мне дали задание написать стихотворение, посвященное партизанам Крыма. Им на парашютах сбросят подарки, и в подарках должны быть листовки с моим стихотворением. Учти, что партизаны-то находятся в тылу у немцев. Для них внимание народа — поддержка морального характера значит очень много, гораздо больше, чем приветы челюскинцам, когда они сидели на льдине. Редактор освободил меня на вечер от всякой нагрузки, и я начал писать сонет «Орлам Крыма». Во время работы вдохновляло меня стихотворение Пушкина, посланное им декабристам:

Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье...

Написал я его быстро. Но волнение не улеглось. И вот оно-то и заставило меня ходить по комнате из угла в угол. Я думал о том, какой я счастливый! В 40 лет, казалось бы, что еще может дать поэт? (Я имею в виду п р и н ц и п и а л ь н о новое.) Вспомнил свой путь от цыганских до «Пушторга», от «Пушторга» до «Электростанционной газеты», от нее к «Рыцарю Иоанну». Это жизнь не одного, а десяти, двадцати поэтов. Я вспомнил свои же строки из «Арктики», сказанные о Звереве:

Он сам смотрел на жизнь свою.  
Как ночью смотрят на небо.  
.....  
Как будто прожил ее не он,  
А все его поколение.

...Только сейчас, брошенный в войну вместе с миллионами людей, я чувствую, как я, немолодой уже, в сущности, человек, расту. Просто расту, как растут дети: в голову. Я стал впервые за свою жизнь чувствовать в себе черты народного трибуна. Возьми хотя бы одни названия моих теперешних стихотворений: «Южным славянам», «Еврейскому народу», «К бойцам крымского фронта», «Воззвание к армиям крымского плацдарма», «Германии» и т. д. и т. п. Дело, конечно, не в названиях, но при моей щепетильности в вопросах социально-политического порядка нужно было, конечно, ощутить свое п р а в о разговаривать с народами и массами как с собеседниками. В этом отношении много помогает мне партия и высшее полит. командование. Мне некогда бывает думать: имею ли я право разговаривать с нациями, с миллионами? От меня требуют, значит, я в своем праве. Это право дала мне война, самый факт того, что и мои плечи вместе с плечами нашего народа несут на себе огромную тяжесть судьбы СССР и всего мира. Этого права не было у меня до войны. А сейчас, видишь, есть. Мне самому интересно, куда пойдет дальше движение моего дарования, вернее, участи поэтической моей жизни. Мне, конечно, трудно. Очень трудно. Я ведь никогда не был массовиком, а тут приходится работать в газете для красноармейцев...

...Так что видишь, мне сейчас очень интересно жить на свете. Человек — существо загадочное. Где предел его сил, преграда его развитию? Мне кажется, что и в 70 лет я еще буду развиваться...

Будь здорова, родненькая, целую тебя очень.

Твой Илья.

9.5.43.

Красавица моя, женка!

Сегодня наш с тобой праздник: 19 лет! Прожили мы их с тобой как 19 дней, правда? Мне кажется, что я до сих пор к тебе не привык. И хотя я внушаю себе, что на войне нельзя много думать вообще, а о семье в особенности, все-таки са-

мо думается. Это вроде того, как нажимаешь на больной зуб: больно и сладко. Я даже начал писать стихотворение о жене, которое начинается так:

Если крепко думать о жене,  
Знает каждый: победить нельзя!  
Сердце станет мягче и нежней,  
Все вокруг да около скользья...

Но кончить не успел, так как выехал на передовую, где сейчас и нахожусь. Третьего дня был у меня случай, из которого я понял, что я уже стал наконец по-настоящему взрослым человеком. Выехали мы на передовую с зам. редактора Литовченко. За недавно взятой станцией К. шла дорога на станицу Н., о которой в Информбюро было сказано, что она наша. Туда-то мы и ехали. Было 12 часов дня. Противник контролировал дорогу, но пока было все благополучно. И вдруг я обратил внимания на то, что по той дороге, где мы ехали, никого, кроме нас, нет. Странно. Если это на передовую, должны идти обозы, пополнение, навстречу же санитарные машины. А тут — ничего. Спросили кого-то из колхозников, прятавшихся в норке: «Там станица Н.?» «Да,— говорит,— там». Литовченко настаивает на том, чтобы мы продолжали путь, я же задумался. «Это ненормально!— говорю я ему.— Тут что-то не так». — «Как же не так? Посмотри на карте: прямая дорога на Н.» — «Но почему же никого нет?» — «Не знаю!» Я говорю ему, что без разведки ехать нельзя. Он согласился, глаза у него тревожные, но боюсь, что я потом буду рассказывать, будто мы струсили, он настаивал на поездке. Если бы я сказал «ладно!», мы тут же тронулись бы дальше. Но я не соглашался. Наконец чтобы как-нибудь выйти из положения, я говорю: подождем кого-нибудь с той стороны. Решили подождать. Через полчаса показалась телега. Мы ждем. (Это все в условиях близкого громохання орудий и нестерпимого воя самолетов, которые ни на минуту не прекращали драться над самой нашей дорогой.) Телега подкатила. «Откуда?» — «Из хутора». — «До передовой далеко?» — «Три километра. Но тут идет дорога смерти: она вся простреливается минами». Мы переглянулись с Литовченко и решили ехать в Н. ночью. Но теперь уж я потребовал, чтобы мы заехали предварительно в разведотдел и взяли «обстановку». Приезжаем. Рассказываем. На нас смотрят, как на сумасшедших: «Вы хотите в станицу Н.?» «Ну да!» «Но ведь она... не наша».

Представляешь? Значит, если бы мы даже и проскочили по дороге через мины, мы попали бы прямо в руки немцев точно рождественские поросята.

А кто все? Жены!! Правда? Вот что значит 19 лет. Опыт, матушка, опыт. А я думал, что, кроме стихов и зверей, я уже ни в чем ничего не понимаю.

Целую тебя, моя кошуручка, кони, голубонька, 100 000 раз и еще один уже абсолютно индивидуально.

Твой по гроб жизни

Илья.

Целую обожаемых дочерей и глубокоуважаемую ба.

PS. Я сижу в халупе у разбитого окна, полного сирени. Оно все содрогается от грохота орудий. Но так как это грохот не аш, то он звучит для меня, как виолончель. Халупа входит в состав полуразрушенного совхоза «Пятилетка». За этим совхозом, на окаймленном деревьями поле, лежат ничком трупы наших бойцов. По их позам я сразу понял, что это храбрецы. Действительно: оказались гвардейцы. Я ходил среди них и представлял себе бой. И вдруг как бы для полной ясности картины на поле, где я стоял, ударили 2 мины. Литовченко стоял на дороге и видел это. Он стал кричать, чтобы я вернулся. Но я уже не мог оторваться. У меня неодолимое любопытство... Особенно на поле боя. Тут уже моя зрелость мне изменила.

22.9.43

Дорогая моя, родненькая!

Сегодня получилась из Москвы телеграмма Щербакова: «Предоставить писателю Сельвинскому трехмесячный творческий отпуск». Но, с другой стороны, сегодня же Березин мне сказал, что представляет меня к новому ордену. Так что ты сама понимаешь, если я сейчас уеду, они гоняться за мной с орденом не будут.

Как только окончится Таманская операция, я уеду в Москву. Это может быть очень скоро. Сегодня есть сведения о взятии Анапы. Возможно, что к утру возьмем Темрюк.

Когда я пишу эти строки, за окошком бьют зенитки. Но это не имеет значения. Еще каких-нибудь 7—10 (maximum) дней — и Кубань вся на свободе, как сол, выпорхнувший из клетки.

Так приятно мне будет вернуться домой после победоносной операции. Да еще плюс два ордена, которых ты не видела. Вот только писать я как будто разучился. В самом деле: почему так бывает? Чем больше орденов, тем хуже писатель. Ну, да с твоей помощью как-нибудь налажусь, правда? Войду в колею, буду пить по утрам какао, а в 12 часов бабушка будет приносить мне на стол шкварки, а потом буду ездить зимой с тобой на дачу в нашей собственной машине и сам править. Нервы-то и отойдут. Вот только не знаю, как быть с Крымом? Ведь кончится Тамань — начнется Крым. Крым-то я брать обязательно должен. Одесса — так и быть пропущу. Но Крым? Симферополь, Евпатория, Керчь... Это же будет моя эпопея, «Крым». Я над ней буду работать после войны лет 5, а может быть, и все семь. Как над «Челюскинщиной». Но ты не пугайся: во-первых, брать Крым мы поедем вместе. Ты будешь моим тылом, ладно? Въедем вместе в Коктебель. (У меня в Крыму будет своя машина. Не собственная, но своя.) Найдем где-нибудь Марью Степановну<sup>4</sup>. Будем вспоминать о Волошине. А я с тобой и на фронте буду хорошо работать, потому что, когда мы вдвоем, я думаю только о поэзии, а без тебя приходится думать о тебе и обо всех подружках, а их много.

Ну, наболтал я, точно спьяну. Сама понимаешь: две радости сразу — и орден и телеграмма. Я уж теперь и на передовую боюсь ездить; я заметил, как у человека радость, так его пуля и находит, а грустного щадит. Вероятно, человек от радости забывает об осторожности. Ну-ну, «фатит», как ответила мне одна семилетняя девочка. Я спросил ее: «Сколько тебе лет?» Она ответила: «Фатает».

Целую, целую тебя, твое предыдущее и последующее.

Твой Илья.

Хутор «Красный партизан»  
28.10.43.

Дорогая моя, обожаемая доченька Татуся!

От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Ужасно жалею, что не смогу присутствовать на твоём торжестве. Но ты прости своего беспутного папку: пусть тебе кажется, что своим прощением ты помогаешь фронту воевать. Скоро, доченька, мы увидимся и тогда закатим пир горой — и за 15.9<sup>5</sup>, и за 24.10<sup>6</sup>, и за 2.11<sup>7</sup>.

Что делать? Выдался такой годик. Но годик все-таки хороший: он принес нам победу. Не грусти, солнышко, не клади мне камня на сердце. Твое молчание или вежливые письма очень огорчают меня. Я ни в чем перед тобой не виноват. Ни в чем! История нас рассудит!

Пока что я заслужил орден Отечественной войны I степени. Такие ордена всем и каждому не дают. Это единственный орден, который после смерти владельца не переходит в казну, а остается в семье. Это как бы частица моего бессмертия. Пройдут годы, и если имя мое, как имя поэта, будет забыто, то в семье моей через десятки поколений оно сохранится: твои правнуки будут видеть в столовой или гостиной на подушечке под стеклянным колпаком золотой орден, который в то время уже никому выдавать не будут. Они будут сидеть за столом или стоять у этого стеклянного колпака и говорить:

— А папа нашей прабабушки Татьяны — герой Отечественной войны.

— Да-а... В подполковниках служил. В Крыму воевал, на Кавказе, Кубани. Вот и правнучек его, Илья тоже, весь в своего пращура. Только в войну и играет.

<sup>4</sup> Жена М. Волошина.

<sup>5</sup> 15 сентября — день рождения жены И. Сельвинского.

<sup>6</sup> 24 октября — день рождения И. Л. Сельвинского.

<sup>7</sup> 2 ноября — день рождения дочери Татьяны.

— А правда, что подполковник и стихами баловался?  
 — Этого не знаю. До нас это не дошло.  
 — Нет, баловался. Я видела даже книжку с его именем: какая-то «Улюлюковщина» или что-то такое в этом роде. Читать это, конечно, невозможно. Но — напечатано.

— Такое время тогда было. Прозу не понимали. Только в рифму и говорили.

(И т. д. в том же роде...)

А ты будешь сидеть, старенькая, седенькая, и улыбаться мудрой улыбкой, вспоминая, как ты когда-то ревновала своего папку к Крыму и вообще к войне.

Люблю тебя, моя золотая девочка. Ужасно скучаю по тебе. Пиши мне, очень тебя прошу. Только пиши от души, а вежливости не нужно.

Твой па.

Полевая почта 63475-«А».

9.5.45.

Дорогая моя женка!

Горячо поздравляю тебя с великим днем Победы! Нам с тобой особенно дорого, что он совпадает с днем нашего брака, правда? Теперь каждый год в этот день наш народ будет праздновать дату нашей свадьбы. Вот здорово!

В этот день в 1942 году мы отступали в Крыму. Это был один из самых тяжелых дней в моей жизни, так как все с свои личные несчастья я могу как-то превозмочь, но когда терпит катастрофу армия, то есть целое, в котором я только частица, — здесь особенно горько ощущение бессилия. Но сегодня, 9.5.45 я еду с генералом В. принимать дивизию, которая сдалась на капитуляцию. Понимаешь? 350 000 сдаются на нашем фронте. Всех я, конечно, пересмотреть собственными глазами не сумею. Но уж дивизию... Итак, еду. Жди письма. Крепко, крепко целую тебя и детей.

Илья.

30.5.45.

Дорогая Берточка!

Не писал тебе уже дней десять: уезжал в Восточную Пруссию. Был в Кенигсберге, Лабиау, Гранце, Зеебаде, Тильзите, а также в Литве: в Мемеле и Шяуляе. По дороге заехал в Либаву. Ехал я в грузовой машине «додж». Со мной девять офицеров — и все под моей командой. Поездка была чудесная: дороги в Пруссии почти все асфальтированы и окаймлены то липами, то кленами, то березами, а машина «додж» делает по 60—70 км в час. Быстрее иной легковой. По дороге сворачивали на фольварки или хутора. В Литве население всюду осталось на своих местах, но в Германии разбежалось кто куда. Так что фольварки стоят пустые, и только по запаху можно заключить, что жили здесь сытно: были и кони, и коровы, и поросята. На одном фольварке я нашел на земле бумажку в 5000 марок (2500 рублей на наши деньги). Следовательно, водилась и монета. Где теперь эти люди? Частью убежали в Западную Германию, частью попрятались и теперь вылезают на поверхность и идут к родным очагам. Когда мы проезжали через Тильзит, мы были единственными людьми в этом городе. Разрушение полное. Вдобавок даже эти руины продолжают еще взрываться. И вот на одном хуторе мы нашли женщину, которая шла к себе домой в Тильзит, уверенная, что найдет свое гнездо. По дороге ей стало плохо, она изнурена голодом и ходьбой, и вот забрела на первый попавшийся хутор. Мы дали ей хлеба и воды и пошли бродить по комнатам. И вдруг в соседней за отодвинутым от стены шкафом мы увидели труп старика, высохший, как мумия. Ничего более омерзительного, чем этот труп, я в жизни не видел. (Описывать его не стоит.) Я вернулся к женщине и спросил ее, знает ли она о том, кто находится за стеной. «Нет! — ответила она. — Там живут какие-то незнакомые мне люди». Она ничего не знала о трупе. Воображаю ее ужас, когда она, окрепнув, пройдется по квартире и увидит мертвеца, тоже, очевидно, забредшего на ночлег.

Такие сценки не единичны. Да, дорого обошелся немцам Гитлер. Но дети везде дети. В одном фольварке я очень сурово разговаривал с одной старухой, у которой несомненно сыновья или внуки имели отношения с фашистами, а мо-

жет быть, и были фашистами. И вдруг подходит ко мне маленькая девочка лет 4—5 и очень уверенно и спокойно берет меня за руку. Она, наверное, очень соскучилась об отце.

Извини, Берточка, что вместо письма я пишу тебе статью. Но я так насыщен впечатлениями. Тут как-то совпало все — и вид побежденной Германии и бродячий образ жизни, который мы с офицерами вели. Официально нам не предлагалась еда, а спать предлагали нам в разрушенных гостиницах. Но благодаря моему имени я устраивал офицерам ночевки в госпиталях с банями, ужинами и завтраками. В одном госпитале пришлось, однако, выступить. И вот представь картину: зал Дома Красной Армии полон. Я вхожу и иду к сцене. Вдруг команда: «Встать... смирно!» Зал встает, и немецким шлепающим шагом ко мне направляется майор — замкомандира по политчасти. Подойдя ко мне на три шага, он вытянулся в струну и отрапортовал: «Товарищ подполковник! Раненые бойцы и офицеры таких-то госпиталей готовы к заслушиванию ваших стихотворений. Докладывает майор такой-то!» Я стараюсь сохранить серьезность и не приснуть, тоже, конечно, вытянулся, взял под козырек и в таком положении выслушал рапорт, после чего скомандовал: «Вольно!» «Во-ольно!» — заорал на публику майор, и зрители сели. Так начался мой концерт на приморском курорте Гранц. После первого стихотворения «Русская пехота», когда публика зааплодировала, вдруг за кулисами оркестр грянул гимн. Мы все встали и стояли вытянувшись до тех пор, пока капельмейстеру не показалось, что он достаточно выразил свое отношение к товарищу подполковнику и его стихам. С большим трудом удалось уговорить майора разрешить мне вести концерт собственными музыкальными средствами. Капельмейстер очень на меня обиделся: он хотел играть гимн после каждого стихотворения, как привык это делать на собраниях после каждого приветствия кого-либо из членов президиума, и вдруг такая нечуткость со стороны московского гостя...

О Кенигсберге, Тильзите etc, etc писать не могу. Это было бы невежливо по отношению к моей очаровательной жене, которая все-таки ждет от меня письма. Скажу только, что города разрушены, но памятники стоят: это очень странное ощущение. В Тильзите в скверике стоит бронзовый лось и глядит на какой-то погоревший дом; в Кенигсберге перед разрушенной ратушей бодаются два зубра, а рядом, недалеко, над группой наших могил и еще свежими траншеями, полными трупного запаха, высится Шиллер. Любопытно, что наши войска, уничтожая монументы императоров и министров, сохранили писателей и зверей.

Как ты, Берточка, живешь? Почему мне не пишешь? За все время, что я отсутствовал, от тебя пришло только одно письмо, в котором говорится, что ты получаешь от меня по два письма в день. Не находишь ли ты, моя darling, что соотношение сил несколько неравномерно? Переехали ли вы на дачу? Как дела с машиной? Как материальные твои дела? Что с одноклассником?..

Пиши мне много и часто. Слышишь? Иначе буду ругаться. В конце концов ты меня так и не поздравила с нашим браком. Точно наш брак — это твое частное дело, не имеющее ко мне никакого касательства. Как-никак, Берточка, в брак вступают двое, причем если одна сторона женщина, то другая, вообрази себе, мужчина. Жду писем и демобилизации, но боюсь, что ни того, ни другого в ближайшее время не дождусь.

Целую тебя и бабушку. Детей не целую: они меня забыли.

Н. В. В Кенигсберге женщины убирают камни с улиц. Они либо в штанах, либо в купальных халатах. В общем, некрасивые, но бывают и исключения.

Н. В. На стене при въезде в Кенигсберг огромная надпись краской «Wir halten Königsberg!» А под ней другая, углем: «Здесь прошли гвардейцы Толстиков!»...





---

---

# О ЧЕРКЕ И НАШИХ ДНЕЙ

ОЛЕГ ЛАРИН



## БЕРЕГ СЮЖЕТОВ

1

**П**осадка есть посадка. Едва только к центру Карпогор подкатил рейсовый автобус, как вся толпа, прежде сонная, уныло-равнодушная, вдруг сорвалась с места, заговорила на сто ладов и переборов. По случаю субботы все ожидали вместительный «ЛиАЗ», а тут вместо него шлепала заляпанная едкой грязью, латаная-перелатаная колымага, которой нужно было по крайней мере вдвое увеличить свои габариты, чтобы принять всех желающих. Водитель открыл двери, и те, кто посильнее и побойчее, работая локтями, ринулись занимать места. На стонущих под тяжестью тел автобусных ступеньках замелькали кирзовые и резиновые сапоги, валенки с галошами, модные мокасины на высоком каблуке, и за каких-нибудь пять минут рейсовая машина была заселена не хуже, чем коммунальная квартира послевоенных времен.

Мне повезло. Мой портфель надежно покоился на чьих-то ногах, одна рука сжимала металлический поручень, а локоть другой защищал спину, потому что сосед с тыла пытался взвалить на нее бензопилу «Дружба» в брезентовом кожухе... Вспомнилось поневоле, что в последний раз с такими же приключениями я садился на грузо-пассажирский катер «Выя», и было это на пинежской пристани Шилега добрый десяток лет назад.

Скрипя тормозами и пробуксовывая на поворотах, автобус выбрался из сутолоки карпогорских улиц и покотил среди плавных, покатых взгорий Суровый аскетизм тайги иногда уступал место певучим и мягким очертаниям полей с грузными, как ржаные буханки, стогами. Сквозь осенний факельный бег деревьев за окном изредка проступала Пинега, слепила глаза светло-желтыми косами песчаных отмелей, на которых подобием тюленьего лежбища покоились завалы сплавных бревен. Окружающий пейзаж тихо и ненавязчиво поворачивался ко мне лучшей своей стороной, все дышало покоем, застывшей вечностью. Если бы только не дорога! Она кидала нас с ухаба на ухаб проваливалась в ямы с коричневой застойной жижей, расплскивалась ручьями. И что-бы удержать равновесие, мы буквально вжимались друг в друга.

Молодая компания с заднего сиденья оглушительным смехом поддерживала угасающий дух пассажиров. Парни ехали в Верколу на свадьбу к своему товарищу и вели себя так, как и полагается молодым, полным жизни и озорства парням в их двадцать с небольшим лет. Один из них долго и придирчиво приглядывался ко мне, а потом не выдержал:

— А я ведь вас помню. Честное слово, помню! — Он попытался приподняться с сиденья, но тяжелая сумка со свадебными подарками придавливала его книзу. — У карпогорского дебаркадера это было, ночью, в году эдак... семьдесят втором. Вспоминаете? Мы с ребятами рыбу ловили, а вы с дядей Сашей Поликарповым на моторе прикатили. Мы вас тогда ухой накормили. Вспоминаете? И дядя Саша все попыты-

вался: «Случайно, не из семги уха-то? А то ведь, ребята, могу прижучить. И товарищ корреспондент не поможет». Вы ведь корреспондент, так?..

Парень улыбался и одновременно удивлялся своей памяти, даже извинялся за нее: надо же, столько лет прошло и был он тогда сопливым мальцом — а помнит, все помнит. Ни одна мелочь не укрылась от его всевидящего глаза. Недаром говорят: детская память — как увеличительное стекло.

И я тоже вспомнил — светлая летящая река в космах тумана, корона новорожденного солнца над синей кромкой лесов и застывший у руля рыбинспектор Александр Иванович Поликарпов, весь иззябший, взъерошенный, с воспаленными от бессонницы глазами. Вот он причаливает к берегу, и нас окружает толпа ребятишек с удочками в руках. В глубине зарослей, укрытый от ветра, пылает их костер, отбрасывая длинные пляшущие тени. Один за другим закипают котелки, и вот уже готова ароматная уха... И все это под аккомпанемент ребячьего смеха, незлобивых подначек и невероятных историй.

Одна из историй показалась мне тогда любопытной. Речь шла о бойкой молодке, жившей в «бог весть каковские» времена, которая мечтала о новом сарафане из парчи. Но здесь, на Пинеге, купить парчу было невозможно, и вот молодка недолго думая взяла котомку и, не сказав никому ни слова, отправилась пешком в столичный град Питер... Четырнадцатилетний парнишка, рассказавший эту историю, был очень удивлен, когда я сообщил ему, что он довольно близко к тексту передал содержание известного рассказа Федора Абрамова «В Питер за сарафаном». Но еще больше удивился я сам, узнав, что мальчик никогда не слышал об этом рассказе... Случай, который лег в основу произведения, действительно произошел на Пинеге. Женщина, в дни своей молодости ходившая в столицу за парчовым нарядом, жила неподалеку от Карпогор — то ли в Кевроле, то ли в Ваймушах, и Федор Александрович часто навещал старуху, записав все подробности ее тридцатидневного путешествия.

Мы бы, наверное, припомнили еще немало подробностей той холодной ночи у карпогорского дебаркадера, но в это время автобус остановился, открылись двери, и новая волна пассажиров развела нас в разные стороны.

И все же парень «включил» мою память...

## 2

1970 год, июнь. Тогда я увлекался фольклором, тайнами народных ремесел, диалектной лексикой. И вот, оформив отпуск, вооружившись литературой по северным народным говорам, я отправился в путь: сначала ехал поездом до Котласа, потом плыл на теплоходе по Северной Двине, летел на тихоходном «Ан-2» в глубь заболоченной тайги, шел пешком по лесной дороге, пожираемый лютым комарьем. И спустя трое суток, с тремя волоками позади добрался наконец до верховьев Пинег.

Что я знал тогда о Пинеге? Красивая речка, поэтичная, вольная, о которой писал Александр Серафимович, Александр Грин (оба здесь до революции отбывали ссылку), американский публицист Алберт Рис Вильямс, Михаил Пришвин, а в 60 — 70-е годы — Федор Абрамов, который родился и вырос здесь в многодетной крестьянской семье.

Карабкаясь по лесистым склонам, пинежские деревни утверждали себя монументальными срубами изб с крутыми бревенчатыми взвозами, с бойкими коньками на крышах, с теремковыми ставенками и узкими «косящатыми» оконцами. Будто в хороваде, к реке сбегали ломаные линии прясел и изгородей, чем-то напоминающие древнерусский алфавит. Тесными рядами стояли за околицей амбары на курьих ножках, наполовину вросшие в землю черные баньки, скрипели колодцы-журавли. По реке бесшумно скользили осиночки — лодки, похожие на струги древних новгородцев, с высоко вздернутыми носами. В некоторых домах можно было встретить узорчатые прялки, веретена, вальки, медные братины, а иногда и старопечатную книгу в переплете из телячьей кожи. О давности русских поселений в этих местах свидетельствовала уставная грамота новгородского князя Святослава Ольговича (1137 год), упоминавшая Пинегу в числе княжеских владений.

А в остальном жизнь здесь шла таким же ходом, как и всюду на русском Се-

вере. В тайге работали трелевочные тракторы и лесовозы, на полях зрели урожаи ячменя, овса, картофеля, кормовых трав.. Тишина древних сел была озвучена треском моторных лодок на реке, звонкой декламацией есенинских строк из раскрытых окон школы: «Тихо дремлет река. Темный бор не шумит...» А рядом, в конторе совхоза или лесопункта, обсуждались планы лесозаготовок, решались вопросы мелиорации богатой пинежской поймы...

Хорошо помню, как в деревне Нюхча меня принимала восьмидесятидвулетняя Феодотья Александровна Меньшина — женщина каких поискать! Непререкаемый авторитет и среди своих земляков, и среди диалектологов, этнографов, фольклористов, которые давно и прочно обжили пинежские селения, записав только от бабы Доти несколько десятков сказок, бывальщин и притчетов.

«Я эту роботушку робатывала», — глухим, надтреснутым голосом произносила баба Дотя, отвечая на мои неуклюжие вопросы о своей трудовой жизни. А «роботушек» этих было столько — на пятерых мужиков разложить, и то выйдет много. Она обшивала всю семью, прядла, ткала, вязала, вышивала, плела из лыка и бересты, ухаживала за скотиной... Но это, так сказать, чисто женские обязанности. Однако на ее долю выпала и грубая мужская работа. Феодотья Александровна могла часами рассказывать о том, как нужно «раскрывать» дерево, как снимать с него наружные покровы, что такое заподлицо, лапа, обло и какие нужны балки, стропила, стойки и распорки, чтобы связать сложную кровлю. Кроме всего прочего, она косила, пахала деревянной сохой — «андреевной», — корчевала пни, вязала рыбацкие сети, вила веревки, гнула полосья и дуги, смолокурничала и при этом подняла на ноги множество детей, внуков и правнуков. Она первая в деревне вышла на лесоповал с поперечной пилой, доказав всем односельчанам, что прежнюю, малопроизводительную лучковую, пора списывать со счетов...

— Сапогами раз премировали, а другой раз пятьсот рублей денег дали, — сказала баба Дотя с некоторой гордостью. — Чего не было! Десять лет в лесу лешакалась, все-то знаю. Хошь в мешке занеси в лес-то, так выйду — не заблужусь. Сынов малых, с дробовку величиной были, тоже к лесной работе приучала. А теперь вон ни кто стала, ни кто да и ни кто больше... Ой, говорить не могу, как не могу!..

— Да вы хорошо говорите, баба Дотя! — подбодрил я ее.

— Лонись с ученой девкой-то хорошо я говорила, хорошо: песни пела, сказки и старины сказывала. Я много старин-то знаю, как не знать-то!.. Она и на карточку меня сымала, на патрет. А вот не пришла карточка-то. Я и с дробовкой стояла дак, и с батожилом ходила, а вот не пришла, не пришла...

— Может, вы к окну сядете? — спохватился я. — Здесь светлее, и я вас сфотографирую.

— Ой, да я куды хошь сяду, родимое мое, — заохала, запричитала Феодотья Александровна. — Чего ты молочко-то не пьешь? Пей, пей, молочко утрешнее. А может, чаю поставить? Так я мигом...

И хотя сказок от бабы Доти я так и не дождался — то ли память у нее приослабла, то ли настроение было неподходящее, — зато на следующий год я набрал их целое лукошко.

Было это уже в другой деревне, в Верколе, на родине Федора Александровича Абрамова. Дом, куда меня определили на постой, никакими декоративными изысками не отличался, да и хозяйка его тоже. Евдокия Ивановна Чаусова все больше помалкивала, отделяясь от меня ничего не значащими репликами типа «ну да», «вот-вот», «ахти-мнеченьки», или вдруг застывала в каком-то вопросительном остоленении, думая о чем-то своем, далеком. Она тайком поглядывала в окно и вздыхала. Было такое впечатление, что она ждала кого-то и это ожидание явно затянулось. Как информант-языкотворец (есть такой термин у собирателей устной речи и фольклора) хозяйка не представляла особого интереса — ученые обычно предпочитали людей говорких, шумливых, чтобы слова сыпались из них, как горох.

Но вот дверь открылась, и на пороге показались три студентки-практикантки Архангельского педагогического института. В руках одной из них был магнитофон «Репортер-3», а две другие держали наготове толстые тетради с закладками. И тут я понял, кого ждала Евдокия Ивановна. Ничего вроде не изменилось на ее каменно-непо-

движном лице, все так же бесстрастно звучали ее реплики «ну да» и «вот-вот», но искра пробежала, это точно — уж больно напряженно стало в избе.

Как я слышал, девушки около месяца жили в Верколе, обошли верхний конец села и часть нижнего, перезнакомились со всеми фольклорными старухами, вытряхнув из их памяти «жемчужные раковины», а вот про бабушку Чаусову, видимо, позабыли или оставили ее на потом. Такая догадка мелькнула у меня, когда хозяйка усаживала гостей за стол и суежилась вокруг заварного чайника, подкладывая в него разные корешки и травки «для духовитости».

— Бабушка, нам говорили, что вы сказки сказываете? — с ходу набросилась на нее самая резвая из студенток, эдакая богиня плодородия с подведенными синими тенями глазами. В ее наигранно-бодром голосе чувствовался уже приобретенный некоторый профессионализм.

— Сказ-ки? — с такой же наигранной интонацией переспросила Евдокия Ивановна.

— Да, да, сказки, — с улыбкой повторила собирательница. Она прочно утвердилась на стуле, демонстрируя всем своим видом, что от нее просто так не отделаешься.

— Ахти-мнеченьки! — воскликнула польщенная бабуся. — Да кто ж вас, бажоные, навел на меня, какой злыдень?

Девушки дружно засмеялись.

— Так люди говорят, — продолжала наседать синеокая богиня. — К тому же в нашей картотеке вы числитесь как активный информант.

— Ой беда! — продолжила свою игру Евдокия Ивановна. Ее кругленькие глазки светились детским торжеством. — Нашенских баб хлебом не корми — набрешут, напоют в уши, что было и чего не было. От сатаны! — с удовольствием произнесла старуха. Она разлила чай и уселась на краешек стула, сама, однако, не притрагиваясь к блюду. — Что такое чёкла, слышали? Всякая баба почесать языком любит, только у каждой по-разному выходит. Ежли просто разговорчива — тебя говоркой назовут. Говорких у нас любят. А ежли уж порато бойка, рот не закрывается — значит, чёкла!

Она помолчала-помолчала и вдруг без всяких предисловий:

— Сказки, значит, ищите?

— Сказки, сказки, — закивали радостно студентки. — Говорят, много сказок вы знаете.

— На воз не покладешь — во сколько знаю! — гордо заявила Евдокия Ивановна. — Никакая типография не сочинит.

— Вот бы и рассказали нам!

— Ишь, размышлялись! Больно длинны у меня сказки-то — убьетесь. До ночи буду сказывать!

Девушки захлопали в ладоши, заверещали и кинулись обнимать хозяйку.

— Ну да ладно, — великодушно разрешила себе старушка. — Нам ведь на работу-то не бежать. Магнитофон пишет?.. — И Евдокия Ивановна начала: — Живало-бывало летнее времечко жаркое. Было озерко, и в озерке было жарко. А жил там ерш, чудной такой ерш — не плавал, а летал. Губы толсты, язык короток, а чешуя — будто закатом облитая. Вот те крест, святая икона!.. Садилось, значит, ершишко на липово дровишко, и поехало ершишко ко озеру ко Ростовскому, чтобы себя показать и на мир поглазеть. Только пяты щелкают..

В это время со стороны Пинеги послышался нарастающий реактивный гул, и я прильнул к окошку.

Вздымая каскады брызг, вся в радужном сиянии, по реке мчалась амфибия. Она была похожа на ревущую оранжевую рыбу из экзотического моря, а точнее — на новейший гоночный автомобиль, только без колес. Жителям столицы эта машина показалась бы диковинкой, а здесь к ней привыкли, как к лошади или трактору, и даже успели окрестить женским именем Афимья. Вот уже третий год амфибия проходила испытания на Пинеге и прочно вписалась в таежный пейзаж.

«Ершишко на липовом дровишке» продолжал свой путь ко озеру ко Ростовскому, а экспериментальное скоростное судно на воздушной подушке носилось взад-вперед по реке, сотрясая стекла в веркольских домах, и водитель не жалел двигатель, пробую

его в разных режимах... Сказка не посягала на действительность, а действительность как бы подтверждала реальность сказочного сюжета.

В каких бы деревнях я ни побывал, я всюду видел, как прошлое перепуталось, перепелось с настоящим, а настоящее — с будущим. И очень трудно было подчас провести грань, чтобы не нарушить этого удивительного в своем роде единства: вчера — сегодня — завтра. Рядом с аэропортом, где приземляются современные авиалайнеры, можно было встретить двухэтажную прадедовскую избу с замшелым коньком-эхлупнем на стыке стропил и скатов. В этой же избе рядом с иконой, выложенной фольгой от шоколада, можно было увидеть новейшей марки телевизор, холодильник, собрание сочинений русских классиков и услышать песню «Роза, цвет алый, виноград зеленый...» — песню далеких предков. Здесь под одной крышей жили дед, родившийся при лучине, и внук, который управлял амфибией. И как бы последний ни гордился своей причастностью к веку техники и гремучих скоростей, в его речи нет-нет да и проскальзывали дедовские обороты: «Вчера на передышке (коридор перед избой) порато студено было» — или: «При худе худо, а без худа ишшо хуже» (то есть с плохой женой плохо живется, а одному жить и того хуже). А восьмидесятилетний дедушка при всей его внешней дремучести охотно козырял словами «культивация», «мелиорация», «суперфосфат» и, случалось, отправляясь на стариковские посиделки, прихватывал с собой внуков портативный стереомагнитофон, правда называя его на свой лад — «стерво»...

Да и Евдокия Ивановна, сама того не замечая, часто пользовалась словами из чужого лексикона или же до неузнаваемости переиначивала их смысл. Ее говор представлял собой живую, свободно развивающуюся стихию, в которой наряду с древними, унаследованными от прошлого элементами прослеживались современные процессы, завязывались оригинальные языковые модели для выражения общепринятых понятий. Так, более чем прохладное отношение ко мне она объяснила тем, что поначалу заподозрила во мне... наложника. Наложник в ее представлении — человек, который собирает налоги, а у нее были утеряны какие-то справки о прививке овец, которых она держала в личном хозяйстве, потому и вела себя так настороженно-молчаливо. Слово «командировка» ассоциировалось в ее сознании со словом «ссылка», а наука о космосе получила название «косметика»...

Ну а со сказками в тот вечер нам просто не повезло. Не успела уговориться, отхлопать положенные километры туполевская амфибия, как с улицы раздался новый шум. Совхозный грузовик с нудным, затяжным стоном одолевал гору и в том месте, где стояла хозяйкина изба, так резво взял третью скорость, что из кузова посыпались мешки с комбикормом. Водитель уехал, даже не оглянувшись. «От сатана! От балахрыст!» — буквально взвилась со стула Евдокия Ивановна, наблюдавшая эту сцену из окна. Девушки-практикантки, строчившие в своих тетрадях не поднимая голов, поначалу приняли эти высказывания в адрес прощельги ерша, который к середине сказки стал вести себя по меньшей мере неприлично. Смысл сказанного дошел до них, когда старуха хлопнула дверью.

Она стояла посередине улицы у груды полиэтиленовых мешков с развороченным нутром и знаками требовала нас к себе. Другая бы на ее месте ругалась и охала, призывая свидетелей, которые уже сгрудились у раскрытых окон напротив, однако в голосе ее звучала спокойная и деловитая озабоченность: «Давай-ка подставляй спину, парничок!» Взвалив на меня самый большой мешок, из которого белой струйкой сочилась порошок комбикорма, Евдокия Ивановна тут же обратилась к студенткам: «А вы, деушки, заметайте коровью муку в ведра. К управляющему домой понесем, тут недалеко. Он уж разберется что к чему. Негоже добру-то пропадать!..»

И вот какая процессия потянулась по главной улице Верколы: впереди шел я, и шел довольно ходко, потому что за мной из рваного полиэтилена струился шлейф комбикорма, к которому мигом пристроились невесть откуда взявшиеся овцы; следом за мной, согнувшись под тяжестью ноши и переваливаясь на больных ногах, колобком катилась маленькая Евдокия Ивановна, а по бокам ее сопровождали юные филологини с ведрами, в жизни которых среди однообразия сельского покоя появилось хоть какое-то развлечение.

Только увидев управляющего отделением совхоза, старуха позволила себе расслабиться. Она честила его с непритворным материнским усердием, воздавая сторицей за все содеянное, и не жалела красок. Никакого чинопочитания! Мне даже показа-

лось, что это не она, а он ходил у нее в подчиненных. Досталось и за «балахрыста»-шофера, у которого совести ни на грош; и за пустыющие, заросшие «нежитью поганой» крестьянские угодья, где прежде сеяли жито и овес; и за так называемых графских лёжней (лентяев), которых пора бы «с тычка на тычок положить» (устроить взбучку), а то ведь деньги-то получают, а работы «шиш да маленько»... Многое припомнила управляющему бесстрашная Евдокия Ивановна — тот только кряхтел да ежился. Однако за комбикорм сказал спасибо, а с шофером пообещал разобраться.

## 3

С этой чертой характера северян я сталкивался не первый раз: никакого почтения перед начальством. И одновременно — никакого зашательства, мстительного, мелочного злорадства по поводу тех или иных недостатков. И вот ведь что интересно: за глаза Евдокия Ивановна говорила о сельском руководителе вполне уважительно, называя его непременно по имени-отчеству, а вот здесь, на людях, выбрав управляющего в качестве громоотвода, припомнила ему не только нынешние грехи, но и обидную кличку, которая приклеилась к нему еще с детства. Тут, мне кажется, вполне уместно процитировать очеркиста А. Васинского, который писал о северянах: «К ним, кажется, даже оканье пристало из любви к правдивости. Говорят: «дОбрОгО здОрОвья», — значит, так оно и есть. Как произносится, так и пишется. Как думается, так и говорится»...

Откуда, из каких недр истории пошли эти черты, естественные для северян, как дыхание? Всех путешественников, побывавших здесь, и раньше поражали особое достоинство, душевная крепость этих людей, а вместе с тем совестливость, правдивость, подчеркнутое уважение к своему и чужому труду. На русском Севере веками не знали замков, к заезжему «барину» неизменно обращались на «ты» и первыми протягивали руку при знакомстве, перед губернским чином не ломали шапок и всегда очень строго, особенно женщины, блюли свою «выходку» — горделивую осанку.

В начале века в Москву, Петербург и Харьков приезжала пинежская сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова. На столичных подмостках неграмотная нищенка-горемыка стала артисткой, баловнем толпы. Ее фотографировали, интервьюировали, катали в дорогих автомобилях. Известный поэт сложил в ее честь стихи, не менее известная художница написала с нее портрет. Скульптор Сергей Коненков, пригласив сказительницу в свою мастерскую, вырезал из сухого, выдержанного кряжа одну из лучших своих работ — «Вещую старушку» с узелком и посохом в руках.

Марья Дмитриевна бывала на светских приемах, писатели и артисты с чувством целовали ее сморщенную руку — ту самую, которая еще недавно тянулась за подающим. В доме одного московского богача произошел любопытный случай. Какая-то знатная дама, приглашенная на концерт сказительницы, вошла в салон, когда Марья Дмитриевна уже начала исполнение былины. Усаживаясь, дама заремела стулом и покраснела. Не прерывая пения, как августейшая особа, бабушка приветствовала ее легким наклоном головы, сделав незамеченной и для себя и для других эту бестактную оплошность.

Для всех, кто знал бабушку Кривополенову, она так и осталась загадкой. Все былины, песни и сказки, по ее собственному признанию, Марья Дмитриевна заучила с голоса от своего девяностолетнего деда, который был рыбкаком-помором. Ну а характер, нравственные основы поведения? Откуда эти независимость, деликатность, это «сиятельное» деревенское достоинство, будь перед ней самый образованный и знатный вельможа или неграмотный глупый крестьянин? Сказительницу не удивил аэроплан, который ей показывал Коненков на Ходынском поле, но в Третьяковской галерее она встала на колени перед васнецовскими былинными богатырями, о которых знала все или почти все. Она могла позволить себе дерзкую шутовскую выходку в петербургском салоне, могла потрепать по лысине почтенного профессора, члена многих академий, — и могла разрыдаться от «несказанной» щедрости бедняка чиновника, подавшего для ее внука часы с цепочкой. Она держала в прихойе приехавшего навесить ее наркома Луначарского за то, что тот не встретил ее на вокзале, «никакой подводы не подал», — и тут же за одно доброе слово, добрый взгляд, забыв про свои оби-

ды, принималась вязать для него шерстяные варежки с узорами, «чтобы руки не зябли, когда дрова рубишь»...

Говорят, она и смерть свою приняла, не изменив себе. Сидела как ни в чем не бывало у деревенских знакомых, вязала, пела, чаевничала — и вдруг, почувствовав сильное недомогание, тихо выскользнула из избы. Чтобы не обременять хозяев, чтобы не мешать всеобщему веселью!.. Подняли ее, уже замерзшую, на окраине деревни, началась агония; в последние минуты, когда пришло сознание, она все пела свои былины. Пела до тех пор, пока не закрылись глаза...

Мне на Севере часто попадались люди, своим нравственным обликом напоминавшие эту замечательную женщину. Впрочем, они вовсе не задумывались над тем, нравственны их поступки или нет. Они просто жили, исполняли свой долг, и исполняли его с какой-то неисчерпаемой щедростью сердца, не подозревая в себе особых достоинств и даже вышучивая тех, кто выставял их в ореоле праведников.

Расскажу, например, о супругах Заварзиных — Иване Степановиче и Манефе Ильиничне. Сразу же оговорюсь: имена и фамилии моих знакомых я изменил — читатель поймет почему.

Познакомился я с ними случайно лет шесть назад, и не забыть мне этого знакомства. Встречаемся мы и сейчас, но редко, часто переписываемся и даже обмениваемся посылками (мне — клюква, им — гречка).

Трудно отыскать более несхожие натуры! Даже внешность супругов подчеркивает эту несхожесть. Иван Степанович — маленький, худенький, пряткий, как болотный кулик, весь на шарнирах, одним словом — вечный подросток. Манефа Ильинична — высокая и дородная, с медлительно-величавой походкой новгородской боярыни и открытым, чуть насмешливым взглядом черных смоляных глаз. Он — крутой, ершистый, любит начальству перо вставить (и не всегда обоснованно); она — мудрое спокойствие и радушие. Он — крикун и задира, скиталец, бегун, странник, перекасти-поле, с туманными поисками не совсем понятного ему самому нравственного идеала, максималист в большом и малом; она — строитель, «наседка», хранительница домашнего очага, умеренная, аккуратная, рассудительная хозяйка. Если для одного сам процесс творчества дороже творения, а порыв «очертя голову» стоит в иерархии ценностей где-то рядом с геройским поступком, то для другой всего важнее мир, порядок и спокойствие в семье...

Вот в такой диспозиции двух полярных сил я и застал эту супружескую пару, когда впервые попал в их дом, а точнее говоря, когда привел туда крепко подгулявшего, в разорванной до пупа рубашке Ивана Степановича, с которым только что познакомился на паромной переправе, где он выяснял отношения с проезжим заготовителем. Манефа Ильинична поняла все с первого взгляда, с молчаливым укором приняла «поклажу» с моего плеча и бережно уложила на кровать. Иван Степанович тут же забылся сном наигравшегося за день младенца.

В такой ситуации, как подсказывает опыт, лучше всего побыстрее смотаться, пока хозяйка не раскрыла рта, но я медлил, переступая с ноги на ногу, как купальщик перед тем, как войти в воду. Во второй половине избы из полуоткрытой двери я увидел... розы. Цветущие розы! И не где-нибудь в оранжерее, а в простой крестьянской избе, в ста пятидесяти километрах от Полярного круга! Манефа Ильинична заметила направление моего взгляда и печально усмехнулась.

— Можно взглянуть? — попросил я. И она, не говоря ни слова, так же печально кивнула.

Розы, мальвы, тюльпаны, гортензии пышным цветом заполнили все подоконники. Но я, признаться, тут же забыл о них, потому что в глаза мне бросилась добрейшая морда льва, вырезанная на деревянной панели. Такой же лев, только нарисованный, глядел на меня с побеленной русской печи — был он толст, ленив и безучастен и больше походил на домашнего кота, который привык нежиться на теплой лежанке, а ловить мышей давно разучился... По углам висели вышитые полотенца, кружевные салфетки, на дверях порхали райские птицы с зелеными клювами. Одна из табуреток была расписана ослепительно рыжими букетами, на другой качались крупные розы, оплетенные травяными нитями тончайших расцветок. Огромное домо-тканое покрывало, во всю стену, горело багряными ягодами в окружении яркой зелени, и я поневоле вдыхал их дразнящий запах. Не изба, а цветущий полдень!

Видя, с каким интересом я рассматриваю домашнюю «живопись», Манефа Ильинична заметно подобрела. «Это — я, это — Ванюша, это — я, это — Ванюша, а это мы вместе делали», — она водила меня из угла в угол, объясняла и показывала, кто какую вещь сделал, из какого материала или краски и сколько времени на это было потрачено.

Манефа Ильинична встала на приступок печи и вытащила с лежанки берестяной короб, расписанный травным орнаментом. Открыв крышку, она разложила передо мной подложки рукавичек — и словно утренняя заря вспыхнула в избе. Разнообразие цветов и оттенков наполнило сухую прорезь орнамента трепещущим зноим раскаленного лета. От чистоты и свежести красок захватывало дух. Не случайно, наверное, для красного цвета в Древней Руси придумали названия: червчатый, багровый, гвоздичный, малиновый, маковый, жаркий, рудый, кармазинный; для желтого — песочный, шафранный, соломенный, лимонный. В одной рукавичке всех этих оттенков было в избытке.

Из века в век передавалось на Севере великолепное мастерство вязания. Относятся к этому ремеслу по-крестьянски свято и практически одновременно: какая работа без варежек — руки застудишь. А чтобы дело спорилось, чтобы «роботной» дух не угасал, покрывали рукавицы вот этим разноцветным узором. И в каждый узор, в каждый значок орнамента вплетались воспоминания о летних беззакатных днях, о северном сиянии, о безмерной красе родной земли. Вспомнились слова А. В. Луначарского, который на одной из лекций в Коммунистическом университете имени Свердлова в Москве говорил: «Приезжала в столицу одна из замечательных сказительниц — Кривополенова. Я ей часто задавал вопросы и одновременно получал ответы, чрезвычайно меткие. Она вязала рукавицы, и притом пестрые. Я спрашиваю: почему, бабушка, делаете вы рукавицы такими пестрыми, а не одного цвета? — А скучно, говорит, будет!» Думаю, что этой пестротой красок все северные крестьянки высказывали свою затаенную мечту о счастье.

Но поговорить с хозяйкой дома мне так и не удалось. В избе появилась запыхавшаяся зоотехник из отделения совхоза и буквально Христом-богом стала умолять Манефу Ильиничну, чтобы та подменила на ферме заболевшую доярку. Уговаривать Заварзину не пришлось. «Я сейчас, я мигом». Она выскочила в боковую комнату, чтобы переодеться, и, по-моему, даже обрадовалась тому, что, несмотря на ее пенсионный возраст, люди все еще в ней нуждаются.

На следующий день я появился у Заварзиных с фотоаппаратом и магнитофоном. Иван Степанович сидел на кровати, свесив босые ноги, чесал впалую грудь и помалкивал. («Организм своевольничает», — пожаловался он.) Манефа же Ильинична охотно позировала перед объективом, выкладывая из вместительных коробов свои и мужнины вышивки (да, да, Иван Степанович тоже был дока по этой части!), кружева, вязаные чулки и рукавицы, домотканые коврики и покрывала и даже новогодние маски, очень смешные: «негр», «овца», «упитанный таракан», «глухая рыба», «пьяный муж». Она показала мне, как пользоваться краском — домашним ткацким станком, — и я, двигая резными деревянными рычагами и гребнями, сумел выткать что-то похожее на геометрический орнамент. Она объяснила, что не только от традиционного узора, но и от вкуса мастерицы, от выбранного ею материала, устойчивых красок, от подбора разноцветных нитей, дающих таинственную игру света и тени, зависит качество и внешний вид домотканого полотна. И вообще проявляла завидные для ее лет и комплекции проворство и веселость.

Иван Степанович только кричал и посмеивался: «Ежа б те за пазуху!» А она повернула к нему румяное лицо, игриво повела плечами и запела... частушку: «Не ругай меня, Ванюша, я ни капли не пила. С аппаратом шел Олеша (это я, стало быть. — О. Л.) — я без памяти была». В это время по радио сообщили об очередном космическом полете, и Манефа Ильинична, почти не задумываясь, мигом откликнулась на это событие: «Мы на Севере живем, все растим морковку. Космонавты в небесах делают стыковку»...

Иван Степанович расцвел, развеселился, и бес кольнул его в ребро. В голубых несвежих кальсонах выскочил на середину избы и выдал: «Мои глазки как салазки, только не катаются. Я не знаю, почему девочки влюбляются»... Услышав про «девочек», супруга неодобрительно нахмурилась и ответила язвительной припевкой: «Рань-



ше девок угощали сладкими конфетами. А теперь их угощают только сигаретами». «Я мальчишка боевой Лешуконской волости,— строго предупредил Иван Степанович, выдвывая ногами кренделя.— Завлеку, гулять не буду — у м'ня хватит совести». Ох как вспыхнули глаза у добрейшей Манефы Ильиничны! Серым коршуном налетела на обидчика-супруга: «Хоть мне милый изменил, я упала перед ним. Я упала и сказала: «Голоштаный ты налим!»...» А потом пошли песни, плясовые и хороводные, на-улочные и любовные, и снова сыпались частушки — долго продолжалась эта шутовская перепалка, до тех пор, пока за Манефой Ильиничной снова не пришла зоотехник с фермы...

Вторую встречу с супругами Заварзинными я ожидал с особым нетерпением. Дело в том, что Центральное телевидение сняло о них фильм по моему сценарию. (Есть такие фильмы-десятиминутки, которые показывают в перерывах хоккейного матча.) И когда монтаж был закончен, режиссер пригласил меня на контрольный просмотр. Заварзинских песен и частушек я, правда, не услышал, зато увидел много красивых кадров с цветами на подоконниках, вышивками, кружевами, домоткаными холстами, среди которых эдакой Грановитой палатой высилась дородная Манефа Ильинична, одетая в старинный северный сарафан. Все было в высшей степени профессионально. Но заварзинская душа вместе с Иваном Степановичем ушла из этой картины: видимо, не вписался он в эту красочную этнографическую пастораль. «Почему?» — спросил я у режиссера, когда мы остались одни. «Характер неподходящий,— усмехнулся он.— Вроде как у меня: резко континентальный. А вот Манефа Ильинична... я таких еще не встречал. Мудрец, праведник и актриса одновременно!» Слово «актриса» отдавало пошлостью, но я промолчал. «Мы сняли то, что вы написали,— «народный промысел» в исполнении бабушки Заварзиной. А надо было снимать в упор: пусть сидит и рассказывает, сидит и рассказывает. И все. Полнометражно! Это же целая философия народного духа... Вы не обижайтесь,— сказал режиссер, положив мне руку на плечо.— Вы ухватили верхушечную часть характера, ботву, так сказать. А ведь корни-то там, внизу!»

В сущности, он был прав, хотя «ботва» и резанула мне слух. Что я знал о Манефе Ильиничне? Так, смутные догадки, интуитивные предположения. Да и что можно было узнать о человеке за две-три беседы у самовара. Иван Степанович, с которым мы на неделю отправились порыбачить, тот раскрылся сразу, без предисловий — таким, каким вылепила его жизнь, в остром переплетении противоположностей. В нем было много утреннего, детского, наивно-сентиментального, но он мог «взбрыкнуть копытом», как, например, на паромной переправе, и обидеть ни в чем не повинного человека.

Я помню тихое раннее утро, когда мы плыли по реке. Сквозь легкий парной туман, чуть подсвеченный солнцем, мы не сразу заметили подюжины сверкающих лаком «жигулят», которые приткнулись к песчаному берегу. Людей вокруг не было. Спящие автомобили, словно железные динозавры, припали к бегущей воде, и я невольно усмехнулся. Залитая солнцем река, праздничный щебет птиц — и это скопище техники, незряче глядящее на проплывающие мимо сплавные бревна. Было в этом что-то безжалостное — от унылого урбанизма, от мрачных предсказаний фантастов, когда не люди, а вещи будут управлять миром и человеку не останется ничего другого, кроме как стать послушным придатком порожденной им же самим цивилизации.

Но вот одна из машин, багрово-закатного цвета, словно очнулась от сна. Зевая, водитель завел мотор и въехал в реку, наполовину утопив колеса. Разувшись и закатав штанины, с брезгливым равнодушием он принялся чистить и смывать грязь с бортов, бампера, ветрового стекла. И при этом не замечал ни утра, ни солнца, ни оглушительных криков куликов-перевозчиков. Не говоря уж о том, что он просто-напросто пакостил реку: от «жигуленка» вниз по течению плыли жирные мазутные пятна. «Купание красного коня» продолжалось до тех пор, пока его владельца не одернул Иван Степанович: «Эй ты, Тихон с того света спихан, кончай травить фауну!» И это, как ни странно, действовало.

Образно говоря, Иван Степанович не видел или не хотел видеть леса, он хотел видеть каждое дерево в отдельности. Для него не существовало мира в целом, для него каждый отдельный человек представлял собой детище этого мира. Потому он так и буйствовал, не давая покоя ни себе, ни кроткой супруге, что отнюдь не каж-

дое «детище» укладывалось в систему его нравственных ценностей и представлений. Отсюда и вечное его скитальчество, странничество.

Подобно герою лесковского рассказа «Чертогон», который обязательно должен был перебеситься, «выгнать черта», Иван Степанович, едва открывалась навигация, отправлялся на поиски своей воли. Воля в его представлении была своего рода катарсисом, высвобождением застоявшихся в нем сил и страстей. Куда только не мотала его судьба — и на целину, и в Сибирь, и на Курилы, и в Среднюю Азию, и на Кавказ, где он подвизался по столярному и слесарному делу. А однажды пришлось зимовать на полярной станции Земли Франца-Иосифа, откуда Ивана Степановича, по его словам, выпроводили как «врага всяческой неправды».

Чем больше мы с ним общались, тем отчетливее я приходил к мысли, что Заварзин жил как бы в двух культурных слоях, но резкой грани между ними не существовало. Один слой, исконно народный, вынесенный им из деревенского детства и юности, накладывался на другой, приобретенный за годы войны, занятий на курсах и в дни бродяжничества, — в результате получилась мешанина. В какой-то момент наносный реквизит культуры стал довлеть над «почвой». Одной ногой он оттолкнулся от привычной среды, а другую никак не мог приставить к тому идеалу, по всей вероятности выдуманному, к которому так стремилась его беспокойная, ищущая душа.

О себе он рассуждал с охотой и нелюбопытно. Однажды мы рыли с ним яму (Заварзин решил подновить подгнивший фундамент рыбацкой избушки, где мы останавливались на ночлег), и он вдруг спросил:

— Все копаешь, копаешь, а что дальше будет — думал?

Я воспринял вопрос напрямик, без подвоха.

— Как «что»? Песок будет, потом глина с песком, вода подпочвенная. А там, глядишь, и до базальта докопаемся.

— Да нет, я не в том смысле, — отмахнулся Иван Степанович. Он уселся на краю ямы и закурил «беломорину». Дух «дикой воли» витал над его бедовой головой со вздернутым хохолком на затылке. — Вот мы роем с тобой яму, так. Все роем и роем — никакого роздыху себе не даем и ни об чем таком не помышляем. Как заводные, так. — Он выдержал паузу и произнес со значением. — И вот наступит момент, когда и тебе и мне будет казаться, что мы лезем вверх, а не вниз. Понял?

— Ну и что?

— А вот что, — почти уже было рассердился Иван Степанович: таким я оказался несообразительным. — Философии ты не чувствуешь, и мысль твоя за веревочку привязана... Трагедия будет с человеком. Тра-ге-дия! — закричал он на весь лес. — Человек то верил в одно, а оказалось другое. Человек шел к одной цели, а оказалась бог знает где... Вот и у меня так вышло, — произнес Иван Степанович с запоздалым признанием, произнес спокойно, как о раз и навсегда решенном деле. Он сидел, опустив седеющую голову с непокорными вихрами, и табачный дым оббивал его пальцы. — Сколько я Манефке своей горя-то причинил — ой-ей-ей! Детей настрогал да и в бега. А все воля, воля виновата, она меня сгубила, едрит твою навыворот!.. Личная воля она ведь что? — с воодушевлением рассуждал он, не замечая комаров, которые облепили его лицо и шею. — Она ведь все для себя — «раззудись плечо, размахнись рука», так. Сплошной синий простор и трын-трава!.. Вот что я тебе скажу — запомни и запиши. Личная воля без уважения другой воли — это все распутство и форменное безобразие. Тиран ведь тоже волен: что хочу, то и ворочу, и никто ему не помеха. Тут еще кое-что требуется...

— Ум, например, — подсказал я.

— Это само собой, — снова отмахнулся Иван Степанович и недовольно поморщился. — Вот елочка в тени растет — думаешь, у нее ума нет? Гляди, как к солнцу тянется. Ветки свои, как антенны, выставила, соображает что к чему... Ум у всякой твари есть, да не втолкан весь. Человек без ума как-нибудь проживет, не шибко много ему и надобно, так. А без совести — нет! Совесть всему голова, — сказал он наставительно. — Ум без совести вреден, опасен даже. Ум — гордец и нахал. Он глядит вокруг себя и посмеивается: все вы грязные твари, один я белый соболек. Жить нужно, как бабка мне в детстве сказывала: уясни истину и содержи в уме, пока вкусит сердце... Запиши!

Историю о том, как Иван Степанович познакомился с Манефой Ильиничной, я

слышала трижды: впервые от супруга на рыбалке, второй раз — от супруги, когда «скиталец» подрядился пасти совхозное стадо, а потом, перебивая друг друга, они рассказывали вместе, на два голоса.

Познакомил их тихоходный колесник «Сурянин», утробное, дрожащее корпусом судно с листовничными плицами, которое побило чуть ли не все рекорды долголетия. Тогда, летом 1944-го, он был как вестник из другого мира: «Сурянин» доставлял письма, газеты, хлеб. Нередко пароход выгружал пассажиров, и тут же, на берегу, шла заготовка дров для парового котла. Три раза в сутки колесник делал длительные остановки, ожидая, пока люди разведут костры, сварят похлебку, искупаются и снова заберутся на палубу.

В ту навигацию Манефа Ильинична работала матросом на «Суряnine». И вот однажды во время рейса жестокий грипп свалил с ног всю команду. Трое оголодавших мальцов и семидесятилетний дед Мармидон (тоже матрос) лежали под навесом, прикрытые кусками брезента. Рядом с ними приткнулся раненый фронтовик, почти подросток, который после долгих скитаний по госпиталям возвращался домой. Манефа Ильинична помогала больным чем могла: варила лекарственные зелья из багульника, корней шиповника и брусничного листа, а истощенному, заросшему щетиной фронтовику делала перевязки. Бинтов не было, так приходилось рвать свое исподнее, кипятить его в котле и тогда уже пускать в дело. Солдатик дрожал от озноба и все время просил перенести его поближе к борту: «По родной речке соскучился». Это был первый, да еще с медалями во всю грудь, фронтовик, которого она видела в своей жизни.

На мой вопрос, понравился ли ей Иван Степанович, когда раненый лежал на палубе, Манефа Ильинична ответила так:

— А то нет?! Нос крючком, голова тычком, а на рябом рыле горох молотили... А тощей-то был, тощей — ребра-то повылазили, лопатки торчком стояли. Глаза только, как у лешего, пыхали. Прямо огненный перелив!.. Я тогда, грешным делом, подумала: пошто это таких недомерков на битву зовут да еще медалями награждают? Неужто стоящих мужиков не осталось?..

— А я ведь притворялся тогда, ей-бо, притворялся! — тут же перебил ее супруг, чтобы сказать свое веское слово. — Она как заводная бегала, Манефка-то, — туда-сюда, туда-сюда. Здоровяшша така девка-то, усадистая. Как остановка — она мешки с мукой выгружает, дрова колет, травками лечебными запасается, так. Как отъехала — похлебку варить, белье стирать, палубу драить. И все бегом. За штурвалом тоже стояла: сил-то у ей — на пятерых мужиков хватит и еще милиционеру останется... Лежу я в уголочке, а ум-то у меня бродит: надо, думаю, девку-то того — зачалить. Негоже добру-то пропадать! («У-у-у, сатаноид!» — воскликнула в этом месте Манефа Ильинична.) ...Ну вот, чуть что в боку кольнет, я и кричу: «Сестренка, пи-и-и-ть!» А она уж и бежит, Манефка-то: «Что, солдатик, что, мой родименький? Да я ж для тебя горы сворочу, а на ноги поставлю!» («Во врать-то горазд! Ну давай, давай, ври дальше. Не впервой слушать-то!») Эй-бо, не вру, с места не сойти. Это она сейчас люрует, а тогда влюбленная была: медалей-то у мужика — во-о!.. Ну ладно, пошли дальше... Прибываем мы, значит, на пристань, так. Она за мешки хватается и давай их туда-сюда шуровать. С палубы на берег, с палубы на берег — аж искры летят. А мы рядом лежим и из открытой двери вроде как по телевизору ее смотрим. Передача «А ну-ка, девушки!» называется. С Манефкой в главной и единственной роли. (Здесь Манефа Ильинична снова не выдержала: «Ишь, что выдумал, басалай чертовый! Как поворотится язык, так и бурмасыт незнамо что. При чем тут передача-то, ветродуй? Пошто хорошую передачу хаишь? Олег Игоревич, не пиши и в уши свои не бери!») А я снова соображаю: надоело, понимаешь, на палубе валяться да вонючий брезент нюхать — хорошо бы травкой подышать. «Сестренка! — кричу. — Подсоби на берег сойти, нужда поджигает». А она уже тут как тут. «Для милого дружка, — говорит, — и сережка из ушка!» Берет меня, как дите малое, — и к сходням. И так мне тепло стало, как в пуховую перину попал. А Манефка-то красная со стыда — где это видано, чтобы девка дролю свою на руках носила! «Где тебя положить? — спрашивает. — Здесь?» А сердце у ней так и бьется, так и бьется. «Нет, — говорю, — подалье». Не хочется мне, понимаешь, из объятий-то ейных выходить, лежу как у бога на печи. «Здесь?» — говорит снова. «Нет, подалье...» (Манефа Ильинична, чувствуя, что ей не переговорить вошедшего в азарт мужа, махнула на него рукой и смеялась вместе

со мной.) И что придумал-то я, едрит твою навыворот, вот послухай. «Сестренка,— говорю,— неси-ка ты меня обратно на палубу, чтой-то расхотелось по нужде-то». А кругом старух да детишек — дождем не смочишь: шары выкатили, перемигиваются. Она тут и пристыдилась вся. «Нет,— говорит,— ты все-таки лежи. Мешки снесу — тогда вернусь за тобой». Ну ладно, жду. Как выгрузка закончилась, возвращается моя Манефка, а глаза книзу держит и молчит. Подхватила меня, идем обратно. А я уже все продумал, слова приготовил и голос прокашлял. Вступаю в дипломатические переговоры. «Манеф!» — говорю. А она шепотом: «А-а-а?» — голосочек-то сла-а-абенький. «Ты меня несешь?» — спрашиваю. «Несу». «А знаешь, давай теперь я тебя буду носить». Она молчит, не смеется, только сердце об ребра стучается. Чует, что неспроста разговор завел. «Выходи-ка за меня замуж!» — говорю. И что было на душе, все вызволил. Ее тут и закачало. Стоит, как березка на ветру, — туда-сюда, туда-сюда. А мы уж на сходни ступили, внизу-то вода плещется, того гляди навернемся. А купаться-то и неохота!.. Спасибо дедке Мармидону, что рядом был, — выручил. Подхватил меня с Манефкой и на палубу вытолкал. Здесь она в чувство-то и пришла. «Согласна!» — говорит...

— Неужели так и было, Манефа Ильинична? — не выдержав, спросил я. И был почти уверен, что сейчас последует опровержение.

Но она ничего не ответила, мигом согнала улыбку с лица, стала разливать чай и колоть сахар: сидела передо мной недоступно-напряженная боярыня новгородской формации...

Недавно пришло письмо от супругов: приглашают на лето в гости; говорят, из Ленинграда придет младший сын-аспирант, который изучает фольклор, — так что у меня появился конкурент. Манефа Ильинична сочинила полсотни новых частушек, навязала дюжину разноцветных рукавичек («Одну пару для тебя приготовила»), а Иван Степанович срубил новую баньку с петухом на крыше: «Приезжай — попаримся!..» Конечно же приеду!

Ну а теперь пора возвращаться к воспоминаниям о Верколе.

#### 4

Из многочисленных бесед, которые тогда затягивались порой за полночь, я узнавал от Евдокии Ивановны Чаусовой о многовековой истории Верколы, о простоты, нередко драматичных отношениях внутри малого сельского коллектива, о том, как поскудела земля, загубленная по вине трактористов, привыкших «отрабатывать» погонные метры: их тяжеленные плуги, по-видимому, так глубоко врезались в землю, что выворачивали на поверхность водонепроницаемые пласты глины, а скудный природный слой гумуса — хранителя плодородия — проседал в подпочвенные слои. О том, что некоторые люди из руководства, вместо того чтобы с предельной осторожностью провести операцию по оживлению земли, списывают свою лень и головотяпство за счет погодных и прочих «объективных» причин...

— Да ты, поди, читал об этом, — сказала сурово бабушка Чаусова. — Федюшка-то наш пишет «Пекашино», а мы все понимаем «Веркола». Он ведь на нашей жизни все зубы себе съел и каждого в строку вставил. Кому на радость, а кому на тоску-печаль. Вот пекариха-то, Катерина Макаровна, какой год позорится (мучается, переживает)...

И я догадался, правда не сразу, что речь идет о повести «Пелагея», которая была напечатана в «Новом мире», и тут же вспомнил статью Федора Абрамова в «Литературной газете», где он рассказывал о предьстории создания этого произведения и о том неожиданном для писателя резонансе, который оно вызвало в Верколе, особенно у веркольской пекарихи Екатерины Макаровны Абрамовой.

Фольклорные увлечения были на время забыты. На следующий же день я отправился в сельскую библиотеку, чтобы освежить в памяти абрамовскую статью «Сюжет и жизнь», и только после этого постучался в маленький домик на скате горы, где жила знаменитая пекариха, послужившая писателю одним из главных прототипов образа Пелагеи.

Пелагея человек, у которого все горит под руками. Человек, который любит работу, и работа любит ее. Ей давно за пятьдесят, но она и не помышляет о пенсии.

Каждое утро с первыми петухами она отправляется за реку в свою пекарню, где «ломит за двоих, за троих». «Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее — вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги да без этого жернова ей и дышать нечем». Пелагея отказывает себе в еде и одежде, работает на износ, в две смены, и все ради дочери, ради того, чтобы ее красавица Алька ни в чем не знала нужды. Конец повести печален: дочка вырастает в черствого, развращенного баловня. Не закончив школу, она уезжает в город и домой возвращается лишь для того, чтобы справить шумные поминки по умершей матери.

«Пелагея» была написана на знакомом писателю пинежском материале: многие веркольцы узнавали себя по отдельным репликам, портретным деталям. Знакомо им было и здание самой пекарни, которое находится на противоположном берегу Пинеги, у белых развалин Артемьевского монастыря, окруженное вековыми соснами и старой, почти обвалившейся изгородью... Узнала себя и, к сожалению, превратно истолковала образ главной героини пекариха Екатерина Макаровна. Вскоре после того, как повесть была опубликована в «Новом мире», Федор Александрович пришел в родное село. Как-то на улице он столкнулся с Екатериной Макаровой, учтиво поздоровался, а в ответ вместо приветствия услышал обидные слова:

«Слышали, слышали, Федор Александрович, как меня прописал... Сказывали... Пелагея сундуки накопила... Пелагея на ситцах да крепдешинах помешалась... Две плюшевки завела... А того не слышал, как Пелагея робила? Муж больной, сколько лет трясучись ходил да лежкой лежал, свекор немощен, мать-свекровушка тоже рукой не пошевелит, четыре девки мал мала меньше... Да как думаешь, легко Пелагее было? О сундуках Пелагея думала?»

Стоит ли говорить о том, какие чувства испытал писатель. Оправившись от шокового состояния, сбиваясь на скороговорку, он принял горячо объяснить, что ее неверно просветили, наговорили бог весть что. И в доказательство Федор Александрович привел неотразимый (с его точки зрения) довод: Пелагея, героиня одноименной повести, умирает, а она, Екатерина Макаровна, «слава богу, не только жива, а еще и работает, да так работает, что и молодой за ней не угнаться»...

Но на пекариху это не подействовало. Она осталась при своем мнении: писатель очернил ее. По всей видимости, повесть его она не читала, а целиком положила на ту информацию, которую принес ей «деревенский телеграф».

...На мой стук никто не отозвался, и я, приоткрыв дверь, шагнул в сени, а оттуда в горницу, из которой доносились хриплые позывные «Маяка». Обстановка в избе была самая что ни на есть деревенская. Кое-где потрескавшиеся стены источали слабые ароматы увядших трав, хвои и вкусной домашней снеди. С только что прогретой печи тянуло сушеными грибами, кореньями, ароматом волглого березового листа.

На свежевымытом полу, подстелив домотканый половичок, спиной ко мне сидела хозяйка и разговаривала с крошечным котенком. Меня она не видела.

— Ты исть-то будешь, басалай лешевый?! — звонко выкрикивала пекариха, подталкивая неразумного котенка к блюду с молоком.

Тот упирался, щетинил дымчатую шерстку и тем самым развеселил хозяйку, речь ее стала нежной, словно баюкающей:

— Пташечка ты моя махонькая, полоуменькая. Счас я тебе творожику наложу, со сметанкой и сахарком — похлебай... Глазки твои спать хочут. Давай в кроватку уложу. Тоже вот мать бедна — народила вас много да и умерла...

И тут она увидела меня, испуганно ойкнула, и котенок шмыгнул под кровать. Екатерина Макаровна выпрямилась, и я увидел нестарую еще женщину небольшого росточка, сухонькую, с тонкими у запястьев руками, на которых отпечатались следы шрамов и порезов. Вспомнив абрамовскую героиню, сутки напролет выстаивавшую у раскаленной печи, как орудовала она тяжеленными ухватами и рычагами, я невольно удивился: откуда только силенка бралась в эдаком худеньком тельце?!

Видя, с каким пристальным вниманием я разглядываю ее, Екатерина Макаровна, видно, смекнула, что за человек и по какой надобности явился в ее дом. С сурово поджатými губами отчеканила:

— Песен не пою, сказок не знаю. Так что, мил человек, не туда ты дорожку топтал. Недосуг мне! — Но видя, что я никак не реагирую на ее вежливое выпроваживание, может быть даже извиняясь за свой несдержанный характер, неожиданно пред-

ложила:— Садись давай! Че встал, как Исус на распятии? Из Москвы, говоришь? Ну-ну... Нас тут цельными партиями навещают — и из Москвы едут, и с Ленинграду. Разговоры с нами разговаривают, на фотки заснимавают. Прямо жуть! И чего вам дома не сидится, молодежь?

Так же естественно — не потому, что мучает стариковская страсть к разговорам, — выложила она мне последнюю новость о том, что совсем недавно вышла на пенсию и потому чувствует себя одинокой и неприкаянной: нечем руки занять.

— Раньше-то, бывало, четырнадцать часиков отстукаешь в пекарне и домой бежишь с тяжелыми ведрами. Дома-то поросенок кричит, хлебных помоев просит. Дети малые, а у меня их четверо, тоже заботы требуют: кого за двойку взгреешь, кому зашьешь что, кому постираешь. А как печь истопишь да еду сготовишь — сразу к мужу. Муж-то у меня с фронта контуженным пришел, его паралич хватил и речь отнял. Какой год ходил трясучись... Вот и крутилась, как белка в колесе. Все бегом, бегом. И ничего... не жаловалась, никаких болезней не знала. А тут, — она горестно всплеснула руками и рассмеялась, — плечо на ровном месте повредила. Хоть бы пенек какой попался али колдобина — было б кого ругать! — а тут ровное место. Прямо жуть! И за что меня бог покарал, за что? Ох и разнесчастный я человек!..

— А кто теперь в пекарне работает? — спросил я, чтобы снять тягостное напряжение.

— Невестка моя, — сказала Екатерина Макаровна. — Невестка теперь мои хлеба подымает. Я ведь пекарню в худые руки не отдам. У ей, конечно, маленько похужее выходит, ну ничего — девка она сноровистая, жильная. Да и робит-то она в одну смену. Не как я!..

Наш разговор катился без всякого намека на интервью. Екатерина Макаровна уже позабыла, что я корреспондент, и почти не обратила внимания на то, что я включил магнитофон. Удивительно охотно расстилала она передо мной повесть своей нелегкой жизни, проверяя пристальным взглядом, так ли я понял сказанное, не соврну ли чего... Спокойствие изменило ей лишь однажды — когда речь зашла о ее земляке Федоре Александровиче Абрамове.

— И не прощу никогда и не поздоровкаюсь! — почти кричала, распалая себя, пекариха, и остановить ее было невозможно. — Я в него еще матюком кинула. У меня вся жизнь пророблена, а он смеется на мне...

Когда она немного поутихла, я попытался объяснить ей, что никакого очернительства со стороны писателя нет и быть не могло. Повесть «Пелагея» — это прежде всего художественное произведение. У автора, когда он писал «Пелагею», перед глазами было несколько таких пекарих, и совсем не обязательно каждой из них видеть в героине собственное отражение. Кроме того, прибавил я, не надо доверять длинным языкам деревенских кумушек. И в заключение процитировал строки из газетной статьи Федора Александровича, посвященные ей, Екатерине Макаровне Абрамовой:

«Пекархой... я восхищался всегда. Восхищался ее живым, деятельным умом, ее житейской и хозяйственной сноровкой. И конечно же, ее трудолюбием. Человеку давно уже за пятьдесят, здоровышко так себе, дети все пристроены — ну чего, казалось бы, убиваться, чего не сидеть дома? А она работала... в осеннюю грязь и слякоть, в зимнюю лютую стужу, в весеннюю распутицу — шлепала за реку на свою пекарню... Я не уверен, что этот номер газеты дойдет до нее. И как знать — не просветит ли ее опять кто-нибудь по-своему?

Пусть. Мне все-таки после этой статьи легче будет встретиться с нею в следующий раз».

В издательстве «Мысль» вскоре после этого у меня вышла книжка очерков «В ритме Пинеги», где среди других глав и подглавок была и такая — «Веркольские прототипы». Честно говоря, посылая книгу Федору Александровичу, я втайне побаивался его реакции. Даже ставил себя на место писателя: приятно ли тебе будет, рассуждал я, если «по тылам» твоих литературных прототипов будет бродить некто с магнитофоном, выискивая и вытаскивая на свет божий то, что является писательской кухней и прошло через писательское воображение? К тому же тетралогия «Пряслины» тогда еще не была закончена — «Дом» только писался — и дальнейшая судьба пряслинских героев, возможно, не ясна была даже самому автору.

Ответ пришел на удивление скоро. «Прежде всего хочу от всей души поблагодарить Вас за книгу как пинежанин, — писал Федор Александрович. — Хорошо написа-

на, много в ней поэтических наблюдений, много любви к моим землякам. И может быть, даже чересчур много. Вам это странно? Не удивляйтесь, ведь, ободренные Вашим примером, на Пинегу хлынут полчища туристов. А туристы — это бич, это бедствие. Туристы тащат, крадут все старое, исконное, топчут и уродуют природу. (Потом в книге «Бабилей» он напишет: «На пинежских погостах не увидишь теперь медных иконок и крестиков — с мясом вырваны из столбиков и крестов. А на Мезени, сказывают, туристы даже коньки у домов спливают. Но и это не все. На той же самой Мезени был случай, когда коллекционеры-изуверы хвост у живой лошади отрубили.») Поэтому я против тех поэтических соблазнов, которыми — вольно или невольно — Вы заманиваете в мою обетованную землю современных дикарей. Слишком радужно Вы представляете себе и перспективы Пинеги»... И в свойственной ему откровенной и насмешливой манере, известной мне по его статьям, писатель обрушивался на тех лесозаготовителей, которые бездумно поклоняются «кубикам» поверженного леса («Соснового бора уже сегодня по всей Пинеге не сыщешь!»), превращая таежные площади в гигантскую лесопилку. С чувством безысходной горечи он говорил о пустующих пашнях и сенокосах, о мертвых, брошенных домах, «бревенчатых мавзолеях», в каждом из которых покоится душа хозяина-земледелца.

Абрамовская боль-любовь к отчей земле выплескивалась через край. Даже в страничных замечаниях, которые он выставил мне как знаток быта и народной культуры, чувствовался отнюдь не благостный ревнитель и оберегатель пинежской старины, а прежде всего воинствующий современник, по-крестьянски основательный, по-научному дальнзоркий.

Слово «дом» Федор Александрович трактовал с какой-то особой значимостью. «...А избу от дома Вы отличаете? — спрашивал он у меня в письме.— У нас эти понятия совершенно разные. Если говорят: «у него одна изба» — это значит последний бобыль, даже двор к избе не сумел прирубить». И это действительно так: в старых северных домах под одной крышей располагаются изба-зимовка, изба-летница, боковые горницы, проходной заулок-чулан, вышка-светелка над жильем. Кроме того, есть еще сени с лестницей на крыльцо, хозяйский двор с разными хлевами и клетями и огромная, как клубный зал, повесть — самое просторное помещение, где сушили и хранили сено. Эти постройки вобрали в себя многовековой строительный опыт: ведь суровый климат повелевал строить так, чтобы в зимнее время можно было работать, не выходя из дома... В последующих книжках о Севере я учел это замечание.

«Есть, однако, в книге и кое-какие погрешности и неточности... кое-какой налет «интеллигентщины», — писал далее Абрамов.— О некоторых неточностях и погрешностях я хочу сказать — думаю, они прийдутся, если дело дойдет до переиздания книги».

Выписав мою фразу: «В глухой, задебрянной Верколе было не легче...» — Абрамов, как мне кажется, просто обиделся, хотя и попытался упрятать свои чувства в оболочку вопросительного упрека и недоумения: «Ну как же так можно о Верколе?! Ведь такой красавицы деревни по всей России не сыскать!» И хотя я не принял замечания (на Пинеге, на мой взгляд, есть куда более живописные селения — Высокая Гора, например, или же Усть-Ежуга, Явзора, Шотогорка, Марьины Гора), все же пожалел о том, что написал такие слова: «глухая», «задебрянная» — для уроженца Верколы они звучали почти как оскорбление.

В заключение своего письма Федор Александрович сразил меня такими словами, перечитывая которые я и сейчас не могу отделаться от горького чувства: «Не верю, что Е. М. (пекариха Екатерина Макаровна.— О. Л.) подобрела ко мне. Нет, нет, она до сих пор не разговаривает со мной. И вообще Вы тоже обидели ее... «Я в него еще матюком кинула»... Кровная обида! Не все можно писать в строку»...

Помнится, уходя от Екатерины Макаровны, я и сам не был уверен в том, что моя «миротворческая миссия» удалась. И хотя лицо пекарихи излучало в тот момент искреннюю, неподдельную радость, а руки ее прыгали от волнения, когда я читал ей строки из абрамовской статьи, меня все же не оставляла мысль, что все это, возможно, мимолетно и быстротечно и что жизнь деревенская с ее светотенями и полутонами гораздо лучше расставит все за и против, нежели доводы случайного добродетеля.

У возвращения есть легкий привкус горечи. Сошел с автобуса, оглянулся по сторонам — и растерялся: куда это меня занесло?.. Глаза равнодушно блуждали по новехоньким, с иголки, домам, по тесному лабиринту проулков с непросыхающей грязью

и не находили привычных ориентиров прошлого. Я смотрел на Верколу из своего далека и не узнавал ее. Очевидно, я въехал в деревню «не оттуда». Можно было бы, конечно, расспросить пассажиров или встречавших их местных жителей, разодетых по случаю свадьбы в броский городской ширпотреб, но мне не хотелось расписываться в собственной беспомощности. Веркола должна открыться сама!

Обычно я подплывал к ней с верховьев и уже издали как бы принимал парад стариннейших построек. Село тянулось по высокому правому берегу, выставив впереди себя дозор амбаров и бань. За ними виднелись крыши домов первого порядка, колодцы-журавли, потом открывались крутые бревенчатые взвозы, поленницы дров и узкие «косячатые» оконца, в которых солнце разжигало малиновый пожар.

Веркола вымахала по косогору на четыре километра, и избы так тесно жались друг к другу, что это рождало невольную ассоциацию со средневековым городом. Ощущение тесноты объяснялось еще и тем, что я почти нигде не видел деревьев. Каждую полосу земли между домами оккупировали грядки с луком, редиской и картошкой. Если в южной и центральной России приятно встретить зелень в палисаднике, то здесь, где человек окружен лесами, самой большой радостью было открытое место. «Эти леса утомляют,— сказал мне, помнится, управляющий веркольским отделением совхоза «Быстровский» Николай Петрович Чаусов.— А тут выглянешь в окно — и все видно: небо, улица, река. И комарью негде плодиться»...

«От леса кормились, лесом обогревались, но лес же был и первый враг,— писал Ф. А. Абрамов в «Братьях и сестрах».— Всю жизнь северный мужик прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него: глушил поля и сенные покосы, обрушивался гибельными пожарами, пугал зверьем и всякой нечистью. Оттого-то, видно, в пинежской деревне редко кудрявится зелень под окном... доселе живо поверье: у дома куст — настоится дом пуст».

По утоптанной тропинке я вышел на угор, увидел стальное лезвие Пинегги, дорожку, карабкающуюся вверх, стайку бань и амбаров на курьих ножках — и все стало на свое место. Вот они, ориентиры памяти! Теперь можно было не спеша обдумать дальнейший план действий. Но первым делом, конечно, в сельсовет.

Евгений Иванович Минин (в произведениях Абрамова по крайней мере трое персонажей носят эту фамилию) собирался уже уходить, когда я появился на пороге его кабинета. Был он еще молод, да и председательский стаж — неполных два года, и поэтому в первые минуты знакомства не знал, как держаться с представителем прессы. Из разговора выяснилось, что в мой последний приезд в Верколу ему было что-то около семнадцати, учился он тогда в вельском сельхозтехникуме и каждое лето, приезжая на каникулы, работал в совхозе. Жизнь Минина шла по нехитрой крестьянской формуле: где родился — там и пригодился. Сначала полевод, механизатор, потом бригадир комплексной бригады и наконец председатель сельского Совета.

Евгений Иванович сообщил, что в деревне нынче проживает около 500 человек, и в течение последних пяти—семи лет это число не убывает. 120 человек трудятся в отделении совхоза «Быстровский», который ориентируется в основном на выращивание кормов для молочного скота. В личных приусадебных хозяйствах содержится 37 коров и сотни полторы свиней и овец. Почти в каждом доме телевизор, холодильник, стиральная машина.

— С работой вот у нас только нелады,— вскользь заметил председатель.— Парни-то еще приживаются — механизаторы всегда нужны,— а вот девушкам подчас заняться нечем. Статистика, прямо скажем, невеселая: из выпускников, что остаются после школы в деревне, девушки составляют чуть больше двадцати процентов. Вот и приходится нашим парням искать невест на стороне.

— Ну и как, находят?

— На-хо-дят,— улыбнулся по-свойски Минин.— Вы о свадьбе-то нынешней слышали? Говорят, со всего района народ съезжается. Один шофер женится—из Шардомени взял невесту. Сам-то он коренной, веркольский, а ведь что задумал-то, вот послушайте. Еще ни о какой женитьбе и слова не было сказано, а он уже стал дом новый строить, обстановкой заводиться. Да и не он один так делает. Многие! Их невесты еще и в глаза своих суженых не видели, а у них уже фундамент стоит готовый, тес и бревна припасены, участок разбит на грядки... Вот и растет наша Веркола, вглубь растет, в ширину. Свыше ста новых домов поставлено за последние годы. Да и каких домов! Некоторые хозяева даже телефон себе провели...



Мы шли по улице мимо пятистенных и шестистенных теремов, которым не страшны ни ветры, ни стужа. И рядом с теми, что простояли век, всегда можно было узнать новенький сруб — он светился румянцем отесанных бревен... Да, Веркола бесспорно подновилась, помолодела, вырос экономический потенциал села — это видно и без цифр. Но есть вещи, которые порой не видны с первого взгляда, — то, что мы называем нравственным климатом.

Заговорив об этом с председателем сельсовета, я имел в виду открытое письмо землякам Федора Абрамова, опубликованное несколько лет назад в районной «Пинежской правде», а затем напечатанное в газете «Правда». Письмо, навеянное многолетними веркольскими наблюдениями и направленное против людей равнодушных, нерадивых, зараженных бактерией приобретательства, утративших общественную активность. Горько и беспощадно говорил писатель о тех своих земляках, у которых «исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статьями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием?..» И это о своих-то земляках, «братьях и сестрах», с которыми столько прожито и пережито!

Летом сорок второго здесь шло сражение за хлеб, за жизнь. «Снаряды не рвались, пули не свистели, но были похоронки, была нужда страшная и работа. Тяжелая мужская работа в поле и на лугу. И делали эту работу полугодные бабы, старики, подростки». Целый батальон солдат ушел из Верколы на Великую Отечественную. Двадцатидвухлетний фронтовик Федор Абрамов, которого из-под блокадного Ленинграда привезли в родную деревню долечивать тяжелые раны, увидел тогда немало людского горя и страданий. «Но еще больше — мужества, выносливости и русской душевной щедрости»...

Нравственный закон, по которому в те годы жили люди, писатель определил в первом своем романе: «Другая, великая, невѣдомого доселе размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу. Она, эта сила, делала подростков мужчинами, заглушала голодный крик ребенка... самое большое счастье сейчас было в том, чтобы безраздельно, целиком подчинить себя этой силе, ибо она беспощадно отбрасывала, карала все то, что пыталось выбиться из общего русла, зажечь своей обособленной жизнью...»

А тут в той же Верколе писатель увидел медленный, но неотвратимый распад прежде монолитного социального и нравственного организма. Наряду с ростом народного благосостояния происходила деформация народной души. За внешне бурным течением жизни скрывалась внутренне невозмутимая инерция — тот самый питательный бульон, который с годами плодит вокруг себя палочки равнодушия, неверия, общественного недоверия. Спокойная мудрость, доброта, одержимость в работе — и тут же беспробудная лень, апатия, отсутствие волевых качеств, какое-то безразличие по отношению к близким. Культ машины, с одной стороны, и культ личного, «паучкового» счастья — с другой. Запущенные поля, луга и выпасы вокруг деревни — и аккуратно возделанные грядки под окнами собственного дома. Жажда хозяйственных перемен, нравственного обновления, нежелание мириться с участью стороннего наблюдателя, который видит «сгноенное сено, погибающих телят, пьяных подростков», — и одновременно унылое бездействие, нежелание вмешаться в ход жизненных событий, в судьбу конкретного человека... «...«Мы ничего не можем, ничего не решаем!» — это самый ненавистный мне образ мышления, с которым необходимо бороться, ибо многое на местах зависит от нашей собственной активности, от поведения каждого человека, — говорил Федор Абрамов. — И мне кажется, что наиглавнейшая общегосударственная задача сегодня — активизировать тех, кто погружен в болото равнодушия, безразличия и неверия в свои силы».

Открытое письмо «Чем живем-кормимся» произвело освежающее, поистине озонирующее действие. «Молвлено на Пинеге — аукнулось по всей стране», — отреагировал один из читателей «Правды». Проблемы, поставленные в письме, остро обсуждались на специальной сессии веркольского сельсовета, где присутствовал сам писатель. «Признаюсь, я опасался — правильно ли поймут меня земляки, не вызовет ли письмо обиды. Ведь в одном доме живем, нету для меня житья без родной Верколы... — рассказывал Федор Александрович в одном из интервью. — «Вот теперь мы знаем, что ты не

зря писателем прозывается»,—простодушно выразилась одна старуха. Но был и упрек, упрек почти единодушный: покруче бы надо, пожестче. И это, должен сказать, радостно больше всякой похвалы, потому что это значит — люди наши не утратили чувства самокритичности и требовательности к себе, жив в них дух святого недовольства, а раз так — значит, есть готовность бороться за обновление жизни»...

— Четыре года прошло, как письмо напечатано,— заговорил Евгений Иванович,— а у нас его помнят, даже очень помнят. Потому как правда, куда ни поверни. Зрение-то у Абрамова — дальнобойное!.. На сессиях сельсовета мы его часто вспоминаем. Не специально вспоминаем, нет,— подчеркнул Минин,— а потому, что к месту и ко времени критика его приходится. И очень крепко иным товарищам достается. А у некоторых абрамовские слова до сих пор попереки глотки стоят... Эх, да что тут говорить!—махнул рукой председатель.— Я еще бригадиром был и помню, как он к нам на разводы приходил, особенно перед сенокосом. Встанет в уголке, чтоб никому не мешать, и слушает, кого на какую работу посылают. «Ты чего это там, Александрыч, стенку подпираешь? — позовет кто-нибудь из трактористов.— Иди к нам! Давай беседу для возбуждения духа!» — Минин от души рассмеялся, так его задела воспоминания.— У нас ведь мужики не очень-то церемонились — писатель ты или кто. А на «ты» к нему как к своему обращались, и он это понимал и ценил. Душевный был человек, хотя и с норовом—никому спуска не давал... Помню, косим мы как-то в Хорсе, целая бригада на луг высыпала, раннее-раннее утро. А один механизатор, сачок и балаболка, уткнул косу в землю и все смотрит, смотрит вверх деревьев. «Ты чем это залюбовался?» — спрашивает у него Федор Александрович, а сам-то он наравне со всеми работает. «Да вот,— отвечает балаболка,— жду, когда солнышко взойдет, румяный свой лик выкажет». А Федор Александрович громко, чтоб все слышали: «Пока,— говорит,— твое солнышко взойдет, роса все очи выест». Начисто сразил лодыря!..

— А фамилия его как? — из любопытства спросил я.

— А что фамилия? — насторожился председатель и принял официальный вид.— Абрамов — фамилия. Ну да если имя-отчество опустить, вы все равно не поймете, о ком речь. У нас тут, считайте, полдеревни Абрамовых.— И он, не напрягая памяти, принялся загибать пальцы.— Надежда Федоровна — раз, Пелагея Федоровна — два, Зинаида Игнатьевна — три, Татьяна Абрамовна — четыре, Владимир Петрович — пять, Виталий Петрович — шесть, Михаил Иванович — семь, Любовь Николаевна — восемь, Владимир Михайлович — девять, Валентин Михайлович — десять... Учтите: детей и внуков не считаю... Есть еще Анна Васильевна Абрамова-первая и Анна Васильевна Абрамова-вторая...

— А почему Екатерину Макаровну забыли? — остановился я.

Минин посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом, словно удивляясь моей осведомленности, но ответного любопытства не проявил.

— Да нет, не забыл,— нахмурился он.— Как можно забыть пекариху! Мы ведь мальцами к ней часто заглядывали, корочки горячие выпрашивали. Идешь, бывало, из школы, а она там чугунками да ухватами орудует — только локти мелькают. А хлеб у нее был — одни духи, прямо как на воздушной подушке. Немного укусишь, а полный рот нажущь. Я уж такого хлеба больше не пробовал.— Он помолчал немного и прибавил: — Умерла Екатерина Макаровна...

Евгений Иванович продолжал что-то рассказывать, но я уже слушал его вполуха. Перед глазами стояла сухая, костистая женщина с тонкими у запястьев руками, которая кормила балованного котенка: «Пташечка ты моя махонькая, полоуменькая. Счас я тебе творожику наложу, со сметанкой и сахарком — похлебай!»... И котенок жмурился от удовольствия, щетиня дымчатую шерстку... Как вам жилось в последние годы, пекариха Екатерина Макаровна? Что снилось по ночам? Что печалило и радовало в ваши неполные семьдесят лет? И какова та сторона вашей жизни, что была скрыта от постороннего взгляда?.. Много, очень много вопросов хотелось задать человеку, которого уже не было. Смерть подвела черту под этой судьбой.

Председатель глянул на часы и спохватился: «На совещание опаздываю. Завтра ведь День работников сельского хозяйства». Запутанными проулками он вывел меня к дому Дмитрия Клонова («Вот уж кто вам все расскажет и покажет!»), и мы распрощались.

В старой записной книжке у меня была пометка: «Зайти к Клопову Д. М.— интересно!» Сейчас уже трудно припомнить, кто из пинежан дал мне этот адрес и почему во время прежних поездок в эти края я не воспользовался им. Фамилия Клопова снова всплыла в памяти, когда, готовясь к этой поездке в Верколу, я говорил по телефону с вдовой писателя Людмилой Владимировной Крутиковой-Абрамовой. Она сказала, что за последние семь-восемь лет Федор Александрович очень близко сошелся со своим соседом, веркольским дорожным рабочим и художником-самоучкой Дмитрием Михайловичем, с которым не однажды плавал по Пинеге, ходил в лес по ягоды, работал на сенокосе и даже выступал по архангельскому телевидению.

Клопов — народный мастер.

В кабинете Федора Абрамова в Ленинграде я видел целую стаю деревянных резных птиц, которые висели в углу под потолком. Были среди них и клоповские — с гордыми, одухотворенными ликами, с лебединым выгибом шей, они отличались особым изяществом отделки... Существует легенда, что когда-то, в стародавние времена, эти резные полумифические существа считались символами света, воплощением семейного счастья. Они обладали той необходимой мерой условности, которая пробуждает фантазию. Как фамильный тотем-оберег, птицу подвешивали в переднем, красном углу деревенской горницы, где располагался обеденный стол. На него ставили самовар, и птица, повинуясь токам горячего воздуха, медленно и торжественно поворачивалась по кругу, излучая добро и покой...

Точно такие же птицы смотрели на меня из сумрачного угла, когда я перешагнул порог мастерской Дмитрия Клопова. Легкий сквознячок из открытой двери привел их в движение, и они плавно кружились, подвешенные на нитке, шелестя тонкими крыльями. Иногда, в зависимости от освещения, птицы напоминали то лебедей, то павлинов, то тетеревов и в то же время не были похожи ни на одно пернатое существо.

Мастер стоял, распахнув полы телогрейки, весь залепанный бетонным раствором и смоляными стружками, и разделял топором свежую тесину.

— Полы перестилаю, — зычно объявил Дмитрий Михайлович, освобождая для меня табуретку. Был он крепок, жилист, по-кошачьи увилист, глаза светились дерзким, шальным огнем; по внешности — настоящий российский мастеровой. Да и вел себя Клопов так, будто мы с ним уже знакомы, только вот давно не виделись. О книжке «В ритме Пинег» высказался коротко и без всяких церемоний:

— Москвичам, может, и интересно, а мне скучно. Надо ее того... отредактировать. — О другом литераторе, побывавшем в Верколе года три назад, отозвался с еще большей категоричностью: — Прядильщик слов! У него одни завитки вокруг пустоты. А что касается Федора Александровича, — сказал он, глядя мне в глаза, — я вам ничего не скажу. Сам буду писать воспоминания! — И, прицелившись к тесине, вонзил топор в чистое, звенящее дерево, как бы давая понять, что большего от него не добьешься.

— Ну а о вас-то написать можно? — пошутил я.

Клопов охотно откликнулся: «Да сколько угодно! Хоть фельетон...» — и этой репликой, сдобренной заразительным смехом, снял напряжение первых минут знакомства. Сказочные птицы, перестав шелестеть хрупкими крыльями, усталились в окно, в осяянный лесной простор, откуда все они вели родословную и где когда-то качались на ветру обыкновенными основными ветками.

На рабочем столе стояла фотография в грубой деревянной рамке: Федор Александрович Абрамов и Клопов, оба при галстуках, неотрывно смотрят в объектив и над чем-то посмеиваются. Как объяснил Дмитрий Михайлович, этот снимок сделал Кейо, финский переводчик абрамовских книг, и было это в Ленинграде, на 3-й линии Васильевского острова, во время празднования 60-летнего юбилея писателя. Показывая на Клопова, Кейо тогда спросил у Абрамова: «Это, случайно, не Михаил Пряслин?» На что Федор Александрович ответил с загадочной улыбкой: «Кое-что есть и от него»...

Стены мастерской были увешаны и заставлены картинами, берестяными туесами, детскими игрушками — шаркунками, моделями избушек на курьих ножках, — свежими загрунтованными холстами. Тут же стоял миниатюрный токарный станок «Универсал-3», на котором мастер вытачивал свои инструменты. Один пейзаж с протокольной точно-

стью воспроизводил открывающийся из окна вид, и я понял, что Клопов работал над картиной, сидя на моем месте. Странное дело, почти все этюды были написаны в приглушенных темно-коричневых и темно-закатных тонах. Крошечная часовенка, прижатая тяжестью холодного свинцового неба. Черные промороженные избы под сполохами северного сияния. Белесый разлив реки, печальная лодка, уткнувшаяся в песок. Исхлестанная ветрами лиственница на открытом угоре.

— Почему так мрачно, Дмитрий Михайлович?

— А некогда! — моментально отпарировал Клопов. — Работа у меня такая. Обслуживаю дорожный участок от Кушкопалы до Явзоры, а это больше полсотни километров. Пока колею в порядок приведешь, где мост подправишь, где воду с проезжей части спустишь, где кусты срежешь — вечер уже и наступил. Вот и пишешь этюд, пока свет еще мерещится. У меня ведь каждый луч на вес золота. — Он засмеялся, довольный. — Эх, да все это так... баловство. Я вам сейчас настоящую живопись покажу.

Он выбежал в сени и вскоре вернулся с ворохом замшелых, почти истлевших досок, бережно опустил их на пол.

— Ну, что это будет? Думайте, думайте!..

Толстенные, почерневшие от времени плахи были изъедены жучком-короедом и издавали слабый запах глена, болотной гнили. На суковатой искрошенной поверхности дерева проглядывали какие-то странные значки — крестики, квадраты, неправильной формы овалы и звездочки, в прорези которых набилась древесная пыль. Я осторожно провел ладонью по иссохшей доске и увидел почти заплывшие буквы — ЧПМ... КИО... АПВ. Сразу заработала память.

— «Братья и сестры»... Деревянная книга Пекашина?

— Точно! — почти выкрикнул Дмитрий Михайлович. Синяя мальчишеская радость разливалась в его глазах. — Из сенокосной избушки вынес, в десяти километрах отсюда. В романе она Синельга называется, а по-нашему Хорса. В Хорсе все Пряслины косили, и сейчас там у нас сенокосный участок...

Это были плахи от обеденного стола, за которым сживали, «обжигаясь немудреной крестьянской похлебкой после страдного дня», целые поколения веркольцев. И каждый, приезжая на сенокос, оставил здесь памятку о себе. Неграмотный человек расписался крестом, елочкой или овалом, а грамотный вывел автограф из трех букв, составляющих фамилию, имя, отчество, даже указал дату. «И может быть, этот вот стол и есть самый полный документ о людях, прошедших по пекашинской земле», как писал Федор Абрамов.

Сидя на корточках, мы нашли подпись, которую сделал Клопов в 1947 году. — КДМ. Буквы были ровные и прямые, выполненные с некоторым изяществом, — видимо, еще и тогда, в отроческом возрасте, сказывалась в нем тяга к украшению жизни. На другой доске я увидел размашистые, твердо выведенные инициалы АПВ. Их оставил в 1933 году мастер на все руки Антипин Павел Васильевич — память о нем, как сказал Клопов, долго еще жила в деревне: приметный был человек, ходил на медведя и лося, добывал пушнину и в суждениях всегда оставался свободным и независимым...

Вчитываясь в деревянную летопись Верколы, я хотел найти знакомых людей. И с помощью Дмитрия Михайловича нашел их. ЧНП, 33 — Чаусов Николай Петрович, бывший управляющий отделением совхоза, ныне пенсионер. В 1971 году он здорово помог мне, когда я разыскивал прототипов абрамовских героев... Клопова Ивана Осиповича (КИО, 46) и его жену Александру Андреевну мне рекомендовал председатель сельсовета как сердечных, гостеприимных людей — у них свободен верх лома и там всегда можно остановиться на ночлег. А с Абрамовым Валентином Михайловичем (АВМ, 49), племянником писателя, я познакомился на автобусной остановке, когда тот собирался ехать на работу в лесопункт Лосево.

Осторожно переворачивая сохшиеся доски, я все надеялся найти инициалы АФА, но черное еловое дерево хранило молчание.

— Нет его подписи, и не ищите. — сказал Клопов. — Не любил расписываться. Один раз, правда, поставил свой автограф, а потом вернулся и почистил ножом... А жаль! — вздохнул мастер. — Этим доскам цены нет. Для будущего музея — центральный экспонат... У вас, случайно, нет знакомых химиков?

— Зачем? — не понял я.

— Как зачем — спасать надо дерево! — воздел руки Дмитрий Михайлович. — Сами видите, гниет оно, разрушается. Хорошо бы пропитать его биозащитным препаратом. А где достать это «био»? Только у химиков.

Он снял заляпанную телогрейку, помыл руки и, накинув на плечи нейлоновую куртку, сказал строго и повелительно:

— Встали и пошли! Тут недалеко.

И на этот раз ему не пришлось повторять дважды.

Узкая осыпающаяся тропинка змеилась по скату горы, обходила амбары и банки, иногда исчезала из виду, спускалась под откос и снова карабкалась вверх. А там, внизу... «Там, внизу, за огородами — голубые разливы лугов с чернеющими шапками зародов, за лугами серебрится Пинега, а за рекой, на том берегу, высоко-высоко на красной щелье громоздятся белые развалины монастыря»... Картина, которая открылась передо мной, целиком совпадала с абрамовским текстом. А когда я увидел одинокую, иссеченную ветрами лиственницу на открытом угоре, я тут же вспомнил начало из «Братьев и сестер», где говорится о том, что деревню «распознают по лиственнице — громадному зеленому дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занес сюда летучее семя или уцелела она от тех времен, когда тут шумел еще могучий бор и курились дымные избы староверов?».

Но... лиственница была не одна. Я смотрел и не верил глазам своим. Под материнским присмотром древнего дерева качалась на ветру целая поросль юных саженцев. Лиственничек было ровно семь — по числу домочадцев в пряслинской семье: Татьяна, Федор, близнецы Григорий и Петр, Елизавета, мать Анна, Михаил... Желтый ковер опавших иголок устилал старательно взрыхленную и ухоженную почву... Клопов сказал, что три недели назад саженцы эти посадили артисты Архангельского драматического театра — исполнители ролей Пряслиных в одноименном спектакле, которые приезжали сюда, чтобы вместе с веркольцами отметить 25-летие со дня выхода в свет романа «Братья и сестры». Дмитрий Михайлович вдруг остановился в растерянности: «А где же таблички? Здесь у каждого деревца таблички стояли. Кто ж их унес, сволочи?!» — но тут же опомнился, сорвал шапку с головы.

В двух шагах от нас, за зеленым штaketником, высился скромный деревенский обелиск с пятиконечной звездой.

«Бывало, с какой стороны ни подходишь, а уж красную звезду заметишь. Ее не минуешь взглядом»... Удивительно, он описал чужую могилу, не подозревая о том, что сказанно о своей собственной.

«Из земли взят и в землю ту же пойдешь», — говорил на похоронах Владимир Солюхин... Человек ушел из отчего дома, ушел в дальний и трудный путь, сказал все, что мог сказать о своей малой родине в большой Родине, — и снова вернулся в отчужденную землю, к своим «братьям и сестрам», от имени которых был рукоположен в литературу и историю. Иногда кажется, что в его книгах выразился духовный опыт целого поколения, что это лишь осмысление того, что носится в воздухе. Но особенность хороших книг как раз в том и состоит: они выражают то, что хотели бы сказать, все... Это был голос бесстрашной и взыскующей правды. И пока течет Пинега, память о нем будет нетлена, потому что он заслужил ее своим целительным словом.

«Занавешивай, Веркола, светлой Пинеги зеркало...» — звучали у могилы строчки стихов Ольги Фокиной. Но была середина мая, ярко светило солнце, и река не хотела рядиться в траурные одежды. Воздух раскалялся от птичьего звона, приближая время весеннего наряда. И сотни людей со всей страны, собравшиеся на этом угоре, смотрели на Пинегу глазами Федора Абрамова.

«Внизу, под откосом, глухо плескалась вода. Затопило все подгорье: пожни, поля, огороды. Уцелела только узкая полоска горбылей у леса. А так — море разливанное, ни конца, ни краю... Время от времени из заречья, оттуда, где на красной щелье холодно сверкают сахарные развалины монастыря, доносился глухой, протяжный гул. Это, подточенные половодьем, срывались в реку камни и глиняные оползни. Оттуда же, с заречных озимей... трезвонили гуси да изредка печально, как осенью, подавали свой голос журавли».

К могиле подошла ветхая, согбенная старуха. Лицо ее показалось мне знакомым по телевизионному фильму «Течет река Пинега», вернее, по тем кадрам, которые в последний момент не вошли в картину — то ли не укладывались в хронометраж, то ли вызвали нарекание у начальства... «Федорушке-то, чай, скучно одному. Поговорю-ка с ним, пожалуюсь, — зашептала она, вскидывая на нас с Клоповым выцветшие, подслеповатые глаза. — Сколько травы-то натоптала, а смертушко все не идет»...

Дмитрий Михайлович наклонился ко мне: «Это Анна Васильевна Абрамова-пер-

вая — старинная его соседка. Знала Федора Александровича еще годовалым ребенком. Каждый вечер сюда приходит» — и слегка потянул меня за рукав: пойдём-ка давай, не будем мешать старому человеку.

Анна Васильевна опустила на колени, и я услышала слова древнего северного плача: «Ты скажи, не утай, Федор свет Александрович, ты в какой **такой** путь снаряжился-то, во которую путь-дороженьку, в каки гости незнакомые, нежеланные? Собрался ты, снаряжился-то на вечное житье, бесконечное...»

Она выражала свои чувства искренне, просто и красиво, и в глазах у нее стояли слезы. То были отголоски почти забытого погребального обряда, при совершении которого близкие покойного, и прежде всего женщины, плакали «плачем великим». Клопов отвернулся, а я стоял в немом оцепенении, не в силах двинуться с места, слушая речитатив старорусского причета, рожденного, быть может, тысячу лет назад, во времена языческие, когда с покойным разговаривали как с живым человеком, поверяя ему свою боль-кручину и желанную тоску...

Солнце, уже прощальное, закатное, протянуло багровую дорожку на реке и слепило искрами, бликами. Одинокая лиственница на угоре казалась изваянием самой тишины...

Я уже заканчивал этот очерк, когда вдруг получил письмо с Пинеги. Писал мой давний знакомый Евгений Горончаровский, баянист карпогорского Дома культуры. «Когда в октябре Вы приезжали в Верколу, Вас там неверно проинформировали, — общал он. — При посещении могилы Федора Александровича Абрамова якобы обнаружилась пропажа табличек, на которых были написаны фамилии артистов Архангельского драмтеатра имени М. В. Ломоносова, посадивших саженцы лиственницы. Недавно в Карпогорах нобывал Клопов Дмитрий Михайлович, от которого я узнал, что с табличками все в порядке. Их занесли в дом Федора Александровича, потому что начались затяжные дожди, а надписи были выполнены гуашью, и от влаги краска стала смываться. Кто позаботился о табличках, Клопов точно не знает, но утверждает, что сам видел их после Вашего отъезда в целости и сохранности».



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМЫ

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА



## УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД

**В** Марбурге одна из новых улиц названа именем Пастернака. Ведет она к Дому Ломоносова («Ломо-хаус»), студенческому общежитию, каких здесь немало. Марбург — университетский городок в прямом смысле слова. Здесь все вокруг университета, все для университета. Так было и во времена Ломоносова, и в те годы, когда приехал сюда учиться Борис Пастернак.

«Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних на Гиссенской дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городком, шоссе пропадало за лесом», — пишет Пастернак в «Охранной грамоте».

Каштаны остались, но Гиссенская дорога называется теперь Гиссельбергштрассе, это уже не окраина (хотя город по-прежнему невелик; поднявшись на «хмурую гору», где расположен замок, видишь его весь как на ладони, утопающий в зелени). Дом, в котором жил Пастернак, отмечен мемориальной доской, как и другие места, в которых обитали знаменитости.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.  
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.

«Когтистые крыши» — точный образ. В Марбурге кровли крыты не красной черепицей, как обычно у немцев, а темными пластинами шифера; когда смотришь на город сверху, внизу не то чешуя, не то втянутые когти.

Пастернак приехал в Марбург изучать философию. Он слушал Германа Когена, одного из корифеев марбургской школы неокантианства, в то время ведущего направления западной философии. Относясь с пиететом к Канту, марбуржцы произвольно толковали Канта, его мысли искажались в духе субъективного идеализма. Хорошее знание первоисточника и здравый смысл возвращали иногда Когена к Канту, но было далеко не всегда так, как на семинарском занятии, которое описал Пастернак.

Профессор спросил студента, что думает «старик» (то есть Кант) по какому-то вопросу. «Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умноженья идей на это полагалось ответить как на пятью пять. — «Двадцать пять», — ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало легкое видоизменение ответа, не удовлетворившее его своей несмелостью. Легко догадаться, что, пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, мой ответ варьировался со все возрастающей сложностью. Все же пока говорилось о двух с половиной десятках или примерно о полусотне, разделенной надвое. Но именно увеличивающаяся нескладность ответов приводила его во все большее раздраженье... Тогда с движеньем, понятым как, дескать, выручай, Камчатка, он колыхнулся к другим. И: шестьдесят два, девяносто восемь, двести сорок пять, — радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю разликовавшегося вранья и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мой собственный ответ. Последовала новая буря, мне в защиту. Когда он взял все в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил, откуда я и с какого у них семестра. Затем, сопя и хмуясь, попросил продолжать, все время приговаривая: „Правильно, правильно, вы догадываетесь? Ах, ах, старик!“».

Когда читаешь, что пишет Коген о Канте, иногда невольно встает в памяти семинарское занятие из «Охранной грамоты» и как бы слышишь недовольный голос профессора: «Опять двадцать пять! Нет, пусть пятью пять будет двести сорок!»

Ныне Кант снова в почете в Марбурге. Но иначе, чем при Когене. Профессор Рейнгард Брандт, заведующий кафедрой философии, видит свою главную задачу не в том, чтобы интерпретировать Канта, а в том, чтобы восстановить в подлинном виде его мысли. Брандту поручено довести до конца академическое полное собрание сочинений Канта, начатое уже восемьдесят лет назад. Некоторые кантовские тексты (рукописное наследие, записи лекций в первую очередь) были опубликованы с искажениями. Брандт восстанавливает их подлинное лицо. Последние тома академического издания, видимо, придется выпускать заново.

Марбург должен стать для Канта тем, чем Бохум служит для Гегеля. При Бохумском университете давно работает Архив Гегеля — мощный исследовательский центр. Так будет и в Марбурге. Пока есть только печать «Архив Канта» и один сотрудник, успешный, правда, уже отличившись: на захламленном чердаке частного дома он нашел рукопись, помеченную 1793 годом, — студенческую запись курса антропологии, прочитанного Кантом. Такого рода записи обладают правами оригинала. Другое достижение В. Шарка (так зовут сотрудника) — он доказал, что один из главных трудов Канта, «Метафизика нравов», издан небрежно: в типографии перепутали страницы рукописи, а Кант не заметил этого. Теперь готовится новое издание книги — в первоизданном виде.

Меня познакомили с Брандтом, и первый вопрос, который я ему задал, касался кантовской «Логики». Готовя советское издание Канта («Трактаты и письма» — М., 1980), я усомнился в аутентичности текста. В нем имеются явные расхождения между формулировками, причем некоторые из них резко отличаются от того, что можно найти в других кантовских работах. Брандт решительно отвергает авторство Канта. «Логика» — труд не Канта, а его ученика Иеше.

— Только в силу ошибочного решения Прусской академии наук «Логика» Иеше оказалась включенной в девятый том полного собрания сочинений Канта, хотя очевидно было, что это только обработка кантовских материалов. «Логика» нельзя рассматривать как первоисточник, это неудачная компиляция.

Я рассказываю Брандту о достижениях советского кантоведения. На русском изданы все основные труды Канта, в Калининграде регулярно выходит ежегодник, посвященный Канту, профессор Столович недавно обнаружил считавшуюся утраченной Тартускую кантиану (собрание писем и рукописей, которое попало в свое время в Дерпт, а затем было передано в Берлин для опубликования и назад не вернулось), ведется (совместно с учеными ГДР) поиск кантовских рукописей, вывезенных в конце войны из Берлина. Восемь папок и один кожаный портфель были уложены в ящик, помещенный в подвале имения Больтенхаген близ Грейфсвальда. Когда осенью 1945 года были приняты меры для перемещения рукописей в более надежное место, там их не оказалось. В 1981 году через газету «Книжное обозрение» (от 11 сентября) я обращался к лицам, знающим что-либо о судьбе пропавших материалов, с просьбой сообщить об этом. Просьба остается в силе..

Вернемся, однако, к Пастернаку. Он стал одним из любимых студентов Когена. Отец будущего поэта Леонид Пастернак, приехавший в Марбург, наблюдал однажды такую сцену: по улице в центре оживленной толпы вышагивает важно профессор Коген, по правую руку от него, как наиболее доверенное лицо, — его сын Борис. То, что увидел, запечатлел на рисунке, который недавно был воспроизведен в книге, изданной в Марбурге и посвященной университету. Там же впервые напечатана репродукция с портрета двадцатилетнего поэта на фоне Балтийского моря — работы его отца.

Коген хотел видеть Пастернака философом, предлагал ему сдать в Марбурге докторский экзамен. Но поэту было суждено стать поэтом. Внутренняя, глубинная связь с философией осталась у Пастернака на всю жизнь, внешне дело выглядело как разрыв. «Прощай, философия!» — говорил он, покидая Марбург. Эти слова из «Охранной грамоты» выбиты ныне на мемориальной доске. Немцы, читая их, улыбаются: с философией распрощаться нельзя, рано или поздно ты вернешься к ней, как блудный сын, и она в лучшем случае простит тебя, в худшем — накажет. «Кто хочет выжить, должен философствовать».

Афоризм этот я впервые услышал лет пятнадцать назад от одного марбургского студента, случайно встретившегося мне в Берлине. Он окончил естественное отделение, но работать по специальности не стал, поступил на философский факультет. Афоризм



казался тогда не ко времени: на Западе бушевали студенческие страсти, молодежь не философствовала, а демонстрировала, бунтовала, ей казалось: еще один решительный натиск — и все проблемы решены. Теперь страсти несколько утихли. Во время последней поездки в ФРГ, о которой рассказываю, мне не раз приходилось слышать: сегодня нельзя действовать опрометчиво, без теоретической подготовки. Один неверный шаг, скоропалительное нажатие кнопки — и конец всемирной истории, конец жизни на Земле. Вот почему надо философствовать, размышлять, думать, спорить и не спешить с действиями. Семьдесят семь раз отмерь и все равно не спеши отрезать. Конечно, когда рядом с твоим домом ставят ракеты, надо протестовать. Но в принципе — «кто хочет выжить, должен философствовать».

Юго-западное радио ФРГ уже давно проводит ежемесячные опросы ведущих критиков, какие книги (из появившихся) они считают лучшими. Список лучших книг противостоит списку бестселлеров, как хороший вкус — ситуации на книжном рынке. Жюри состоит из 30 ведущих критиков страны. Каждый называет 7, по его мнению, наиболее достойных новинок; первое место из названных дает 17 очков, второе — 10, третье — 9 и т. д. 10 книг, получивших наибольшее количество очков, составляют список лучших книг месяца. Список сообщается по радио и рассылается подписчикам. Издательство «Инзель» уже выпустило два сборника со списками лучших книг, приложив к ним наиболее интересные рецензии, две из которых привлекли мое внимание.

П. Вапневский рецензирует книгу В. Хильдесхаймера «Марбот». Речь идет о вымышленной биографии, тонкой стилизации под столь излюбленный сегодня документальный жанр. Хильдесхаймер так и сыплет мнимой эрудицией, ссылается на архивные документы, свидетельства великих современников. Он приводит портрет «работы Делакруа» своего никогда не существовавшего героя. Рецензент принимает тон, предложенный автором. Хвалит его за ученые изыскания, отмечая, однако, досадные неточности, сведения о Марботе он дополняет некоторыми собственными. Нигде не ставится под сомнение аутентичность главного персонажа. Изящно написанная рецензия заканчивается, однако, неожиданной фразой, заставляющей задуматься внимательного читателя: «Конечно, «мифу нельзя верить на слово»... но здесь миф, используя Хильдесхаймера как инструмент, блестяще принял форму истины».

Роман П. Низона «Год любви» повествует о некоем швейцарском писателе, поселившемся после развода в Париже, о его противоречивых переживаниях, окружении, воспоминаниях. Как поступает рецензент (В. Герцог)? Чтобы избежать фраз типа «с одной стороны... с другой стороны», «хотя... но», он пишет не одну, а две рецензии. В варианте А герой романа — страдающая личность, болезненно реагирующая на свое одиночество и обретенную свободу. В варианте Б герой одержим творчеством, рад одиночеству, обретенной свободе и т. п. В результате возникает адекватное представление о книге, написанной вполне профессионально, в соответствии с требованиями «новой интимности», повышенного интереса к внутреннему миру личности, но в то же время достаточно неоригинальной. Рецензент не произнес ни одного хулительного слова; единственное, что он себе позволил, — ирония. И задумываешься над тем, каким образом книга заняла место в списке лучших.

Просчеты возможны. Списки лучших книг отражают мнение профессионалов-критиков, которое, однако, не всегда совпадает с мнением образованной читающей публики. Чтобы узнать последнее, Юго-западное радио провело опрос читателей. 8 тысячам подписчиков бюллетеня лучших книг разослали анкету с просьбой назвать 7 любимых произведений мировой литературы. Ответ пришел от 1200 человек. В результате возник список из 199 названий. Многое в нем оказалось сюрпризом.

Первое место заняла философская книга «Иметь или быть» Э. Фромма. Это критика буржуазного образа жизни, где главное не бытие, а обладание, где жизненные ценности превращены в меновые стоимости. Книга вышла давно, но остается в центре внимания.

Второе место — «Верноподанный» Генриха Манна. Это тоже сюрприз: критика обычно ставит Томаса Манна выше его брата. Но «Волшебная гора» оказалась на четвертом месте. (На третьем — повесть для юношества «Бесконечная история» М. Энде.)

Пятый в списке — «Степной волк» Г. Гессе, затем «Штиллер» М. Фриша, «На полном скаку» М. Вальзера, «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери, «Человек без свойств» Р. Музиля.

Второй десяток открывает Библия. После нее снова Э. Фромм — «Искусство любви». И только тогда «Фауст» Гёте, за которым сразу следует «Сто лет одиночества» Г. Маркеса. Далее «Глазами клоуна» Г. Бёлля, «1984» Д. Оруэлла, «Жестяной барабан» Г. Грасса, «Улисс» Дж. Джойса, «В поисках утраченного времени» М. Пруста. Двадцать четвертое место занял «Процесс» Ф. Кафки, тридцать второе — «Урок немецкого» З. Ленца, тридцать третье — «Берлин—Александрплац» А. Дёблина, тридцать четвертое — «Седьмой крест» А. Зегерс. Петер Хандке (философско-искусствоведческое эссе «Уроки гряды Сент-Виктуар») оказался на пятьдесят четвертом месте, Петер Вайс («Эстетика Сопротивления») на семидесятом. А Томаса Бернхарда, кумира западногерманской критики, которая в числе лучших книг не раз отводила его романам первое место, вообще нет в читательском списке. Впрочем, нет здесь и Шекспира, и Шиллера, и Льва Толстого.

Русская классическая литература представлена Гончаровым («Обломов») и Достоевским («Братья Карамазовы», «Идиот»), советская — только Айтматовым («Джамиля»). Из философской классики упомянут не Кант и Гегель, а Платон («Апология Сократа»).

Достойное место занимает «Манифест Коммунистической партии». Это характерно: все возрастающий интерес к философии, сопряженный с недовольством тупиковой ситуацией в экономике и политике, неизбежно приводит к Марксу. Сегодня нельзя представить себе теоретическую работу без ссылок на основоположников научного социализма. Маркса изучают, цитируют, интерпретируют, критикуют, дополняют, пытаются оторвать от... коммунистического движения.

Среди множества листовок, которыми буквально засыпан Марбургский университет, привлекают внимание отмеченные двумя буквами — МГ. Когда-то на фронте (где довелось мне быть военным переводчиком) эти две буквы означали «пулемет» (машиненгевер). Здесь МГ расшифровывается как Марксистская группа. Но образ пулемета неизменно вставал передо мной, когда я слушал об МГ или читал ее печатную (псевдомарксистскую) продукцию.

Никакой позитивной практической программы МГ не имеет. Ее лозунг (по словам газеты «Франкфуртер рундшау»): «Высшая форма практики — теория». Лозунг импонирует интеллектуалам, среди которых группа и ведет работу. Это элитарная организация, производящая тщательный отбор при приеме в свои ряды. Желая вступить в нее долгое время числится симпатизирующим и только после надлежащей проверки становится членом. В этом есть определенное сходство с масонской ложей. Окончательные цели МГ остаются тайными. Скорее всего они, как и у масонов, прямо противоположны тому, что говорится на публику. В отличие от масонов МГ ведет активную пропагандистскую работу, проводит собрания, издает брошюры, листовки и газету. Члены МГ приходят на собрания других организаций, вступают в спор, пытаются переговорить выступающих. Прямо как из пулемета строчат. Когда я готовился к докладу на кафедре профессора Брандта, меня предупредили, что возможно появление кого-либо из молодых МГ, чтобы я не был удивлен, отвечал осмотнительно и сдержанно, чтобы не дать повод для скандала, им только это и надо.

Михаэль Хагемейстер, сотрудник университета и мой гид по Марбургу, провел меня в книжную лавку группы. Здесь все дешево, многое раздается бесплатно. Обслуживают подтянутые, фанатичного вида парни и девушки. Пулемет им пришлось бы кстати.

Когда мы вышли из лавки, Хагемейстер сказал:

— Посмотрите сюда и сравните.

Он указал на культурный комплекс «Спартак», коммунистической организации студенческой молодежи. Действительно, разница разительна: у спартаковцев все проще, спокойнее, человечнее. Теорию они не забывают, но помнят о повседневной житейской практике, о досуге, о развлечениях. Листовки коммунистов напечатаны на дешевой бумаге (обычно на ротапринтере), отличаются спокойным, деловым тоном.

Листовки МГ крикливы, полны демагогии. Серия листовок «Галерея великих умов» «разоблачает» наиболее влиятельных в ФРГ философов. Одна посвящена Зандкюлеру, профессору Бременского университета, коммунисту. Название листовки — «Ханс-Йорг Зандкюлер — воинствующий апологет ревизионизма». Профессор обвиняется в уходе от наиболее актуальных проблем. Проводимые им ежегодно в Бремене теоретические конференции посвящены якобы второстепенным вопросам, представляемым на них одни и те же лица, он упрощает марксизм, сочетает его с фрейдизмом и т. д.

и т. п. Другая листовка той же серии — «Вейцеккер — квантософ и попик мира». Здесь те же передержки. Дискредитируется известный физик, уважаемый борец за мир: «Без сомнения, нет никого другого, кто мог бы так мило скомпоновать, как Вейцеккер, все популярные пошлости буржуазного миротолкования в одно универсальное целое, в котором узнала бы себя немецкая интеллигенция».

Броская листовка под заголовком «Кому мешают русские?». На фотографии, снабженной надписью «Русские идут», изображены комбайны, убирающие хлеб. Казалось бы, ясно: русские заняты мирным трудом и никому не мешают. Нет, в листовке ставится под сомнение мирная политика Советского Союза, выдвигаются демагогические обвинения в отсутствии у нас планового хозяйства, в наличии эксплуататоров, низкой оплате труда.

Создается впечатление, что цель МГ — посеять тревогу, сбить молодежь с толку, внушить беспокойство. Выступая от имени марксизма, МГ стремится лишить западно-германское студенчество марксистских ориентиров. Деятельность группы направляется рукой опытных провокаторов.

Я разглядываю пачку печатной продукции МГ, выполненной на прекрасной бумаге, безупречной в полиграфическом отношении. Как бы угадывая мои мысли, Хагемайстер говорит:

— На какие средства существует группа, неизвестно. Ясно, что не на студенческие гроши...

Слово «зеленый», употребленное в политическом контексте ФРГ, я впервые услышал в 1980 году. Книга отзывов в музее Карла Маркса в Трире, а в ней свежая запись: «Был красным, стал зеленым». Автор записи, бородатый юноша, старательно выводит под ней свою фамилию. Я спрашиваю его, как и почему он «позеленел». Оказывается, под красными молодой человек понимает террористов. После того как руководительница группы, к которой он примыкал, повесилась в тюрьме, он изменил ориентацию, понял, что людей надо не убивать, а воспитывать.

Я сказал ему, что у нас в годы гражданской войны зелеными называли бандитов, прятавшихся в лесах. Собеседник мой замаха л руками.

— Мы ни от кого не прячемся и с бандитами у нас ничего общего. Мы против любого насилия, в первую очередь над природой! Мы против безудержной гонки вооружений! Мы против безудержного промышленного роста! Мы против...

— А за что же вы? — перебил я его.

Молодой человек задумался, но потом выпалил:

— За спасение среды обитания и за свободу личности!

Он вынул из сумки книгу и посоветовал мне прочесть ее. Герда Целентин, «Прощание с левиафаном. Экологическое прояснение политических альтернатив». В первом попавшемся книжном магазине я купил ее и на досуге прочитал.

Основная мысль Герды Целентин проста: спасение современного мира — в децентрализации производства и управления. Крупные державы исчерпали себя, их деятельность привела к тому, что в человеке исчезает природное начало. Для восстановления гармонии с природой нужен конгломерат малых государств. Источник энергии будущего не атом, таящий в себе опасность всеобщего уничтожения, а доброе, старое Солнце. Солнечная энергия, добываемая на повсеместно разбросанных небольших установках, устранил необходимость в левиафане (так со времен Гоббса именуют сильную государственную власть).

Но «зеленые» не анархисты. Отрицательное отношение к левиафану не мешает им заниматься политической и государственной деятельностью. После последних выборов они представлены в бундестаге. На скамьях высшего законодательного органа ФРГ появились молодые люди в ковбойках и женщины в джинсах. На заседание в парламент они приходят с зелеными ветками. Одно из первых проведенных по инициативе «зеленых» мероприятий — обсуждение в бундестаге вопроса о гибели лесов в ФРГ...

И вот теперь, оказавшись в Марбурге с пачкой книжных новинок, подаренных мне издательством «Зуркамп», я прежде всего взялся за бестселлер, который, по свидетельству прессы, ярко отражает унастроение «зеленых» и показывает причины их популярности. Книга называется «Критика цинического разума». Ее автор писатель-философ Петер Слотердаик обвиняет в цинизме тех, кто толкает сегодня человечество на путь самоуничтожения. Борьба с политическим цинизмом — задача номер один! Пусть снова зазеленеет умирающее дерево мировой мудрости!

Надо сказать, что позитивная часть книги автору не удалась. Дальше общих фраз и кантовского призыва: «Имей мужество пользоваться собственным умом» — он не пошел. Его намерения благородны, но крайне расплывчаты (как и программа «зеленых»). Его книга сильна критическим пафосом, направляемым, правда, не всегда по нужному адресу. Ныне любой теоретик в ФРГ, если он хочет, чтобы его читали, не смеет умалчивать о марксизме. Слотердаjk говорит о нем много и, как правило, неудачно. Он повторяет расхожий тезис о двух Марксах — раннем, хорошем, и позднем, «плохом».

Если отвлечься от этих и подобных им неудачных высказываний, книга Слотердаjка важна как выразительное описание феномена современного цинизма, в том числе политического, ведущего к фашизму. Автор противопоставляет современным циникам древних киников. Последние были одиночными чудаками, выставлявшими напоказ свои странности. Современный циник — массовый тип, не претендующий на уникальность, это социальное явление, враждебное обществу, но разтворившееся в нем. Цинизм сегодня — сознательная антитеза морали, открытое, а порой лицемерно прикрытое пренебрежение нравственными нормами. Современный циник просвещен, образован, он знает все необходимые формулы, порой клянется ими, умеет казаться принципиальным и произносить зажигательные речи во славу принципов, но ведет себя, руководствуясь одним — беспринципностью. Он виртуоз двоемыслия, вернее, в мыслях и на деле у него одно, а на словах другое. Каждый шаг свой, каждое движение, каждую мелочь он оценивает только под одним углом зрения: какая от этого выгода. Всю культуру, всю сложную конструкцию духовности он считает пустой иллюзией, предназначенной для того, чтобы таким, как он, легче было обделывать свои делишки.

Борьба с цинизмом для Слотердаjка — проблема выживания человечества, обуздания гонки вооружений, цинизм сегодня на руку только политическим авантюристам. «Критика цинического разума осталась бы академической игрой в бисер, если бы не прослеживалась связь между проблемой выживания и опасностью фашизма». Фашизм — кульминация цинизма. Философы на Западе, полагает Слотердаjk, не принимают всерьез неофашизм, считая его ниже всякой критики. Но тем хуже для критики: отыскивая достойного противника, она упускает наиболее опасного. А Слотердаjk вступает с ним в бой.

Он дает выразительную типологию социального цинизма, показывая основные компоненты фашистской диктатуры. Это циник-фюрер, мастер политической манипуляции, далее ученый-циник, обеспечивающий научно-техническую сторону господства, и, наконец, безликая толпа мелких циников, готовая выполнить любой приказ. Примеры заимствованы из художественной и философской литературы.

Прообраз фашистского циника-фюрера Слотердаjk видит в Великом инквизиторе Достоевского. Злобная антропология Великого инквизитора «нашептывает ему, что человек должен и хочет быть обманутым. Человеку нужен порядок, а порядок требует господства, господство в свою очередь требует лжи. Кто хочет господствовать, должен сознательно использовать для этого религию, идеалы, соблазн и (при необходимости) насилие». Прообраз ученого, готового служить преступным целям, — гётевский Мефистофель. В нем нет ничего от христианского сатаны, это дитя эпохи Просвещения, его сила — всемогущество научного знания. Циник-эмпирик, он противостоит кантианцу Фаусту, искателю истины, добра и красоты. Крах Мефистофеля — провал позитивистской науки: душа человека ей неподвластна. Тип массового, безликого сознания описан Хайдеггером в книге «Бытие и время». Хайдеггер обозначил его безличным местоимением *man*. Это все вместе и никто в отдельности, унифицированный индивид, представляющий бесценный материал и для Великого инквизитора и для Мефистофеля.

Оценивая современную идеологическую ситуацию в ФРГ, Слотердаjk находит определенные черты сходства с тем, что переживала Германия накануне прихода Гитлера к власти, главное — «скрытую готовность к катастрофе». Полвека назад «катастрофильный комплекс» привел к капитуляции перед национал-социализмом, сегодня дело может кончиться атомной катастрофой. Что делать? «Выходить из вагона» (то есть устраниваться от дел) или продолжать опасный путь? Оставаться или бежать прочь?

Альтернатива вполне реальна: Слотердаjk сообщает, что западные немцы во все большем количестве покидают свою страну, бегут в США, Канаду, Индию, куда угодно, подальше от будущей атомной катастрофы. В том, что сообщение Слотердаjка не выдумка, я убедился вскоре после прочтения его книги.

В Мюнстере, куда ~~направился~~ из Марбурга, я остановился в небольшой гостинице на краю города. Сидевший за конторкой хозяин извинился: номер, который я выбрал, еще не прибран, придется подождать минут десять, меня угостят хорошим кофе, разумеется, за счет администрации. Он стал меня расспрашивать, откуда я приехал, надолго ли в Мюнстер. Через десять дней гостиница закроется, дом пойдет на снос.

— Расширяете дело?

— Наоборот, сворачиваю. Улетаю в Сидней. В Австралии дочь с мужем, внуки.

— Соскучились?

— Дело не в этом. Австралия — единственный континент, который уцелеет после третьей мировой войны. Только не подумайте, что я плохой патриот, что меня не волнует судьба родины. Беда Германии в том, что после Бисмарка в стране не оказалось ни одной мыслящей государственной головы. Одна тупая, самодовольная мелкота. Две трагические войны с Россией — железный канцлер этого не допустил бы. Воевать с государством, которое провидением определено в союзники! Меня не интересуют ваши внутренние дела, но я знаю: внешние интересы у нас общие. Гитлер — безумец и преступник, мне это было ясно с самого начала. В партии я никогда не состоял, только в гитлер-югенд, но там были все. Затем меня призвали в армию, а солдат вне политики. Мы выполняли приказ. За высадку в Норвегии у меня был Железный крест первой степени. На Курской дуге попал в плен. В плену вступил в «Союз немецких офицеров». Вы должны помнить, он примыкал к Национальному комитету «Свободная Германия», но не сливался с ним. Национальный комитет возглавлял коммунист Вайнерт, а нами руководил генерал-фельдмаршал Паулюс. У нас был кайзеровский флаг — черный, белый, красный — и программа Бисмарка — союз с Россией. Нынешний союз Федеративной Республики с Америкой — очередная глупость, преступление против нации. Боннские господа, как бы они себя ни называли — социалистами или христианами, — повторяют ошибки прошлого, ведут антинациональную политику. Потакать им я не намерен. Поэтому я уезжаю. Хотите еще кофе? Нет? Тогда вот ваш ключ, комната прибрана, извините за задержку, желаю вам приятного пребывания в Мюнстере.

Снова о книжных новинках. Братья Бёме, Хартмут и Гернот, один — профессор литературоведения в Гамбурге, другой — профессор философии в Дортмунде, сочинили объемистый фолиант «Другое разума. О развитии структур рациональности на примере Канта». Название мудреное, но книга рассчитана на широкую публику. Читатель тянется к философии — философы стараются говорить на понятном языке, последнее для ФРГ является новым. Философский труд снабжен картинками — случай редкий в истории мировой мудрости, особенно немецкой. Есть среди них и довольно фривольные, предназначенные для того, чтобы сразу приковать читательский интерес. Действительно, как пройти мимо книги, где на старинной гравюре изображен живой сфинкс — ламя, покрытое чешуей четвероногое с головой человека. «У ламии, — говорится в пояснительном тексте, — лицо прекрасной женщины и большие, правильной формы груди. Эти бестии представляли огромную опасность для путешественников; завидев мужчину, они обнажали бюст и заманивали его подойти поближе. Когда тот приближался, они убивали его и пожирали».

А вот полотно Иоганна Генриха Фюсли «Ночной кошмар». Изображена спящая красавица в окружении отвратительных чудовищ, порожденных во сне бессознательной работой психики. Репродукция этой картины украшала кабинет Фрейда.

Теперь уже можно догадаться, о чем книга — о фрейдистском истолковании Канта. Психоаналитики тревожат тень великого философа не впервые. Подражая своему учителю, пытавшемуся на свой лад истолковать творчество Леонардо да Винчи, они уже набили руку на «выявлении» тайных, психосексуальных источников кантовского критицизма. Схема довольно проста: подавленная сексуальность вызвала у Канта недомогание к показаниям чувств, отсюда, мол, и возникла концепция вещи самой по себе. Обладая Кант чуть большей половой раскованностью, не видать ему «Критики чистого разума» как своих ушей.

Кант в изображении братьев Бёме — женоненавистник. «На заднем плане кантовской философии угрожающе гарцуют амазонки. Самый глубокий страх его — быть подавленным женским началом, которое рождает аффекты, как буйные воды ломают плотину. Страх и агрессия — таков динамический базис кантовского отношения к природе, бессознательно отождествляемой с женским началом. Это коллективная иллюзия буржуазии, впоследствии литературно воплощенная в романтизме. В противополож-

ность этому умопостигаемая сфера морали представлена мужской неприступностью. В кантовской теории желания смутно различимы и архаическое пение сирен, и ужа-сающий образ Медузы; им противостоит нравственный закон, выступающий от имени отца. Мужская, нравственная воля подчиняет себя этому закону, в результате у умопостигаемого субъекта возникает неосознанное влечение к отцу. В нравственном законе, которому субъект подчиняет себя добровольно и полностью, ищет он любовь и защиту отца от запретных и угрожающих вождений женщины... У Канта эдипова структура субъекта становится теорией человека. Он говорит о половой любви не иначе как в терминах униженности, животности, овеществления и презрения. Отсюда рукой подать до книги «Пол и характер» Отто Вейнингера».

В другом месте Кант сравнивается с Кафкой. «От Канта ведет прямая дорога к Кафке». Кант дает «классическую формулу морального мазохизма», Кафка — физического (самоубийство в новелле «Приговор», сцены мучительства и убийства в «Процессе» и т. д.). «Сексуальность,— уверяют братья Бёме,— внушает Канту отвращение».

Все эти квазиученые пассажи, все нагнетаемые здесь психоаналитические страсти — чистый домysel, замешанный на досужих анекдотах о личной жизни Канта. Достаточно открыть его труды «Метафизика нравов» и «Антропология», чтобы легко найти высокие и мудрые слова и о половой любви и о супружеской этике. Молодой Кант не чуждался женского общества, одно только его прозвище «галантный магистр» говорит о многом. В кривом зеркале фрейдизма все искажено до неузнаваемости. Книга братьев Бёме, написанная небрежно, содержащая взаимоисключающие положения,— дань вчерашней моде, реминисценция движения «новых левых», ниспровергавших устои традиционной культуры, в том числе полового поведения.

Ныне все выгладит иначе. Поговаривают о том, что «сексуальная волна» уступит место «новому пуританизму». Секс-шопы прогорают. Было такое заведение в центре Франкфурта, рядом со старой ратушей, а теперь его нет. В мартовском номере за этот год в журнале «Шпигель» помещена сенсационная заметка о переориентации одной из религиозных сект, которую возглавляет гуру Бхагван. Еще недавно здесь исповедовали безудержные и беспорядочные половые связи. «Каждая клетка вашего тела — половая»,— вещал гуру, призывая пребывать в состоянии оргазма двадцать четыре часа в сутки. На снимке, сделанном три года назад в его резиденции, изображен хоровод обнаженных, пляшущих в экстазе. Но вот гуру состарился, начал страдать разными недомоганиями, а времена переменялись. «Пророк» изрек новую истину: человечество обречено на гибель, умрут в ближайшие годы миллиарды людей. Путь к спасению — половое воздержание. Если уж кому невмоготу, тот должен принять предохранительные меры, в частности прикасаться к своему партнеру только в резиновых перчатках, которые членам секты раздаются бесплатно.

Читатель знает, что, отдавая дань моде, натуралистическими подробностями и непристойностями щеголяя подчас и маститые писатели на Западе. Теперь художественная литература в этом отношении возвращается в традиционное русло. Расскажу о двух произведениях, которые мне показались достойными внимания.

Последнюю повесть Петера Хандке критика не приняла, объявила неудачной; заговорили о творческом кризисе писателя. У меня на этот счет возникло свое мнение, которое изложу ниже. Начну с названия. «Der Chinese des Schmerzes» означает буквально «Китаец боли». Во внешности героя, от лица которого ведется повествование, есть что-то китайское. Но дело не только в этом, важнее его душа. Средство проникнуть в душу — сновидение. Андреас Лозер видит многозначительный сон о «ядре мировой истории»: заполненный китайцами ресторан, где на эстраде вместо представления происходит массовая казнь — обнаженные жертвы покорно склоняются перед обнаженными палачами, которые двуручными мечами измельчают их на глазах безучастной публики. Все воспринимают происходящее как должное, все потеряли способность переживать, никто не чувствует боли. Более точный перевод названия повести мог бы быть «Этот не знающий боли китаец».

Лозер прислушивается к своей душе и ничего не слышит (глагол *lösen* в тех краях, где происходит действие, значит прислушиваться), он утратил ощущение душевной боли, утратил душевное равновесие. Школьный учитель Лозер прекратил занятия и не знает, ушел ли окончательно с работы или только находится в отпуске. Отец семейства, он оставил близких и поселился отдельно. «Ты стоишь вне общепринятого права»,— говорит ему случайная «спутница жизни».

Действительно, то, что совершает Лозер, в понятие права уложить нельзя. По дороге в гости в горах (дело происходит близ Зальцбурга) Лозер видит на дереве свеженамалеванную свастику. «Этот знак — безобразный образ моей печали, всей печали и беспокойства этой страны». Нагнав хулигана, выводящего фашистский знак, Лозер убивает его камнем, а тело сбрасывает в пропасть. Затем продолжает свой путь в гости, играет весь вечер в карты в пристойном обществе, где присутствует и священник, возвращается восвояси, спокойно спит, отправляется путешествовать.

«Все эти дни я не испытывал чувства вины. Я испытывал нечто худшее: будто я проткнул кому-то сердце иглой, а снаружи раны не видно, и все меня поздравляют. А я живу с тех пор — этого слова мне не избежать — проклятым». И в проклятом своем состоянии Лозер не чувствует боли, его не мучает раскаяние. Нет, перед нами не современный вариант «Преступления и наказания». Лозер скорее анти-Раскольников. Возникает в повести и анти-Соня Мармеладова — упомянутая выше случайная дама. Лозер не спрашивает ее имени, она — его, они просто говорят друг другу «ты». Любовь? «О какой любви вы все время твердите? Половая любовь? Любовь к человеку? Любовь к природе? Любовь к труду? Когда придет любовь, я почувствую себя в безопасности. Иначе это не любовь», — говорит сам себе Лозер. Рассуждать Лозер горазд, чувствовать, увы, нет.

Лозер не отдает себя в руки правосудия. Более того, он обретает давно потерянный душевный покой, снова начинает преподавать, приходит в свой дом; рассказав сыну о случившемся, видимо, получает одобрение. Так Лозер обретает свидетеля, который также безучастен и нем. Был изначально еще один немой свидетель — природа. Эпилог повести — описание городского пейзажа; «равнодушная природа», говоря словами Пушкина, продолжает сиять «красою вечною», и нет ей дела до людских свершений.

Лозеру так и не пришло в голову, что убитый им человек мог быть вовсе не убежденным фашистом, а просто бедняком, нанятым на грязное дело. Мера наказания в данном случае не соответствует мере преступления, а самосуд недопустим. Хандке — антифашист, он-то знает, что бороться с фашизмом фашистскими методами значит играть на руку фашизму. Жаль, что, ставя диагноз современной болезни, имя которой — бесчувственность и вседозволенность, он так закамуфлировал свою позицию, что голол героя можно принять за голос автора.

У Т. Берхарда в последнем романе «Пропавший» дело обстоит не проще. Рассказ и здесь ведется от первого лица; весь роман — непрерывный внутренний монолог (без единого абзаца в тексте). Рассказчик вспоминает двух своих покойных друзей — гениального пианиста Глена Гульда, скончавшегося за инструментом, и несостоявшегося музыканта Вертхаймера, покончившего с собой. Вертхаймер ушел из жизни скандально, отправился для этого из Австрии в Швейцарию, где жила его сестра, и повесился в ста метрах от ее дома.

Когда-то все трое учились музыке в Зальцбурге. Уже тогда стало ясно, что Глен — гений, а два его друга — посредственности. Одного (рассказчика) Глен называл Философом, другого (Вертхаймера) — Пропавшим. Философ, как полагается философу, примирился со своей участью, бросил музыку и вот уже несколько лет занят жизнеописанием Глена Гульда. А Пропавшего замучила зависть и неудовлетворенное честолюбие. «Он хотел быть художником, стать художником жизни ему было мало, хотя как раз это понятие и содержит в себе все то, что делает нас счастливыми, если мы проникательны. Он влюбился в свое страдание. даже без памяти влюбился, думал я, весь проникся своим страданием. Я бы сказал, что он страдал от своего страдания, но страдал бы еще больше, если бы его страдание вдруг прекратилось». Типичный неудачник, он упивается несчастьем. Злобно третирует сестру, живет в охотничьем домике в лесу, но природе не любит, ходить привык только по асфальту. Состоятельный человек, он разбрасывает деньги на свои капризы, но хозяйке постоялого двора, с которой у него возникли близкие отношения и которая просит займы на хозяйственные нужды, он не дает ни гроша. Да и друзья его практически таковыми не являются, он их терпеть не может. Откуда такая неуравновешенность, такой эгоцентризм? По мнению рассказчика, Вертхаймеру предназначено было стать неудачником, он родился «пропащим».

Что касается Глена, то он родился музыкантом-виртуозом. Но в искусстве жить и общаться с людьми ушел недалеко от Вертхаймера. Рассказчик дал ему прозвище Невосприимчивый. С окружающими он обращается бесцеремонно. Однажды во время игры на рояле ему мешал ясень, который виден был в окне, он выбежал в сад и соб-

ственноручно спилил дерево, хотя достаточно было задернуть занавеску, а дело происходило в чужом доме. Публика ему противна, и, чтобы не видеть ее, он прекращает выступления, последние двадцать лет живет отшельником, совершенствуя для себя свое мастерство:

Да и сам рассказчик живет не в любви, а в ненависти к людям. «Я не был свободен от ненависти к Глену, думал я, я ненавижу Глена всегда и любил его одновременно». Ненавидит рассказчик свой собственный дом. Приехав на похороны Вертхаймера, он находится в двадцати километрах от дома, где не был пять лет, но ночевать собирается на постоялом дворе; о доме он вспоминает с неприязнью. «Я ненавижу эти комнаты и содержимое этих комнат, и если я выходил из дому, то ненавижу людей перед домом». И родная Австрия не радует рассказчика, он покинул ее и живет в Испании. Вот его отношение к «простонародью»: «Время от времени возникает представление, что мы сидим вместе с ними, к кому мы чувствуем пожизненную привязанность, с этими так называемыми простыми людьми, которых мы представляем себе совершенно иначе, чем они есть на самом деле. Стоит нам действительно сесть за стол вместе с ними, как сразу понимаем, что они не таковы, какими мы их представляли, и у нас совершенно нет ничего общего с ними. В течение всей жизни мы стремимся к этим лицам, рвемся к ним, а они, распознав наши чувства, отталкивают нас, и притом самым решительным образом. Вертхаймер часто рассказывал, как он терпел неудачу в своей потребности соединиться с так называемыми простыми людьми, так называемым народом... нам нечего искать за столом народа».

Странный человек этот рассказчик. Он живет в мире ненависти и готов примириться с ним. И что это за апология избранности, противостояние элиты «быдлу»? Что за фатализм личной судьбы, когда воспитанию и самовоспитанию не остается места? Что думает обо всем этом автор, мы так и не узнаем. Остается допустить, что он согласен с рассказчиком.

В новой пьесе Т. Бернхарда «Внешность обманчива» есть любопытный диалог. Два старика, в прошлом артисты; один просит другого назвать автора какой-то цитаты.

«Роберт (*стараясь угадать*). Достоевский?

Карл. Нет.

Роберт. Тургенев?

Карл. Нет.

Роберт (*после паузы*). Толстой?

Карл (*торжествуя*). Нет.

Роберт. Лермонтов.

Карл. Конечно, нет. При чем тут Лермонтов?

Роберт. Стендаль.

Карл. Да нет же.

Роберт. Флобер.

Карл. Ничего подобного.

Роберт. Вольтер.

Карл. Конечно, Вольтер. Как ты подумал, что русский писатель мог написать такую фразу? Неужели ты не чувствуешь, что в ней нет ничего русского и взята она не из романа?

Роберт. Я был убежден, что речь идет о русском писателе».

О какой фразе шла речь, остается неизвестно, это не важно для хода пьесы. Не важно это и для наших рассуждений, интересен сам факт: по мнению автора, который чутко фиксирует дух эпохи, знание русской литературы является само собой разумеющимся для западного интеллигента средней руки. То, что раньше было прерогативой специалистов, становится теперь общим достоянием.

Что касается специалистов-славистов, то они порой открывают пласты нашей культуры, нам самим плохо известные, толкают нас к дальнейшим изысканиям, получается плодотворное сотрудничество. Марбургский славист М. Хагемайстер, которого я уже упоминал, пишет диссертацию о русском утописте Н. Ф. Федорове, мечтавшем о преодолении смерти и завоевании космоса. Я снабдил его новыми материалами. А мне Хагемайстер подарил книгу В. Муравьева «Овладение временем», вышедшую у нас в 1924 году и ныне переизданную им фотомеханическим способом. (Таким же образом к 90-летию автора Хагемайстер переиздал и «Диалектику художественной формы» А. Ф. Лосева.) Валериан Николаевич Муравьев — забытое имя. Представитель старой



интеллигенции, он увлекся марксистской идеей преобразования мира и выпустил работу, которая органично вписалась в творческие поиски и утопические мечты тех лет. После победы Октября казалась близкой и победа над земным тяготением и самой смертью. Об этом многие тогда говорили и писали. Исходя из того, что абсолютного времени нет, Муравьев пытался обосновать возможность управления временем и таким образом достичь бессмертия, более того — вернуть жизнь умершим. Воскресение и воскрешение, настаивал он, — различные вещи. Первое — идея спиритуалистов, второе — научная проблема.

А вот направление — биокосмисты. Я впервые слышу о нем от Хагемайстера, который опубликовал по этому поводу специальное исследование. Эпиграфом к работе он взял лозунг биокосмистов «Смерть смерти! На штурм Вселенной!», воспроизводя фразу в русском оригинале. Глава биокосмистов — Александр Агиенко (поэт, выступавший под псевдонимом Святогор). В западной литературе принято отождествлять биокосмистов с анархистами. Хагемайстер показал их отличие: биокосмисты в противоположность анархистам выступали в поддержку советской власти. Издавались журналы «Биокосмист» и «Бессмертие». Биокосмист А. Ярославский опубликовал в 1926 году фантастический роман «Аргонавты Вселенной» — о полете на Луну с использованием ракетного двигателя. Биокосмистом был и поэт Дегтярев, один из основателей творческого объединения «Кузница». По свидетельству Л. Кассиля, К. Циолковский считал себя биокосмистом.

Вот так, побывав в Марбурге, я не только ознакомился с современной духовной ситуацией в ФРГ, но и прочитал неведомую мне страницу из недавнего культурного прошлого родной страны.

---

---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. МЕЩЕРЯКОВ



## ЗАГАДКА ГРИБОЕДОВА

**В** каждой области знания немало проблем, над разрешением которых и ученые и любители трудятся многие десятилетия. Вспомним хотя бы некоторые. В химии, например,— утраченный секрет древнегреческих чернолаковых сосудов, в лингвистике — расшифровка этрусского языка.. В литературоведении одна из таких загадок — год рождения Александра Сергеевича Грибоедова.

Начало сомнениям положено самим автором «Горя от ума». В послужных списках Грибоедова за вторую половину 1813 и 1814 годы (он в это время числился в Иркутском гусарском полку) указано, что от роду ему в первом случае двадцать лет, во втором — двадцать один год. Следовательно, год рождения корнета Грибоедова — 1793-й. В паспорте, полученном Грибоедовым 8 мая 1816 года в связи с выходом в отставку (паспорт этот неоднократно воспроизводился в печати), сказано иное: «...от роду 22 года». Значит, родился он 4 (15) января (день и месяц он сам указывал в переписке) 1794 года.

Исповедные книги московской церкви Девяти мучеников, что на Пресне (так называемый Пречистенский сорок), свидетельствуют, что Александру Грибоедову в 1805 году было десять, в 1807-м, соответственно, двенадцать, в 1810-м пятнадцать лет. Получается, что он родился в 1795 году.

Последняя дата подтверждена трижды. Казалось бы, все в порядке. Недаром она и принята почти повсеместно: и в Краткой литературной энциклопедии, и в учебниках, и в календарях... Увы, все врут календари! Точность записей в исповедных книгах оставляет желать лучшего. В них фиксировался довольно протяженный отрезок времени — от великого поста перед пасхой до осеннего успенского поста включительно. Кроме того, возраст в них проставлялся со слов исповедуемого или его родителей, что обычно давало нечеткую картину. Например, в исповедных книгах церковей, входящих в тот же Пречистенский сорок, что и Девятинская церковь, возраст Н. М. Карамзина и С. Л. Пушкина (отца поэта) указан весьма приблизительно. Карамзину по ведомости сорок четыре года, а Пушкину тридцать восемь лет, тогда как на самом деле историографу было сорок два года, а С. Л. Пушкину сорок один.

Неудивительно, что уже вскоре после смерти А. С. Грибоедова в литературе о нем начался разнобой в датах. В «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара (1838) статью о Грибоедове до ее опубликования просматривали ближайшие друзья драматурга С. Н. Бегичев, А. А. Жандр, В. Ф. Одоевский, и означенный здесь год рождения — 1793 — не вызвал у Жандра и Одоевского возражений. Только Бегичев заявил, что правильной датой следует считать 1795-й, но в печать это попало лишь в 1892 году. А в 1856 году известный историк М. И. Семеvский на страницах журнала «Москвитянин» подчеркивал: «...автор «Горя от ума», родившийся, как известно, в 1794 году, января 4-го дня...».

Спустя еще два десятилетия в «Русской старине» (1874, № 10) появилась маленькая статья Н. П. Розанова, за которой, однако, стояла огромная изыскательская работа. Тщательно исследовав метрические книги церковей всех московских приходов с 1790 по 1796 год, Розанов ни в одной из них не обнаружил записи о рождении Грибоедова, хотя точно известно, что последний родился именно в Москве. Оговорил Розанов и такую деталь: «К сожалению, метрические книги некоторых церковей за показанные годы, впрочем, весьма немногие, по случаю неприятельского нашествия в 1812 году в архиве консистории не сохранились».

Н. П. Розанов ввел в научный оборот и сведения о том, что по исповедным ведомостям Николаевской на Песках церкви в 1790 году Н. Ф. Грибоедова (мать драматурга) в возрасте двадцати двух лет числилась девицей, проживающей в родительском доме. По его словам, «записи и о браке родителей А. С. Грибоедова в метрических книгах московских церквей не оказалось».

За истекшие годы поиски документов о рождении драматурга предпринимались неоднократно, но ощутимых результатов почти не дали. Так, В. Е. Якушкин на основе анализа предыдущих разысканий пришел к выводу, что наиболее вероятным годом рождения А. С. Грибоедова следует считать все же 1794-й.

Тем временем вокруг этой даты происходили какие-то странные события. Известный библиограф и литературовед В. В. Каллаш сообщал, что в самом начале нынешнего столетия во время вторичного посещения им могилы Грибоедова в Тифлисе он обнаружил, что прежде стоявшая на надгробии цифра 1795 была затем изменена на 1791. Мистификация? Не похоже... Каллаш был серьезным ученым и в подобных проделках не замечен, тем более что и сам недоумевал по этому поводу.

Почитатели Грибоедова все же не отчаивались. В делах Московской городской управы, которая в то же самое время выясняла точную дату появления на свет автора «Горя от ума» с целью празднования его юбилея и установления памятника великому писателю, в докладной записке гласного члена управы Н. И. Шамина подчеркивалось: «Надпись на памятнике гласит: «Александр Сергеевич Грибоедов родился 1795 года, января 4 дня, убит в Тегеране 1829 года, января 3-го». Памятник делался в Москве у Кампиони по заказу вдовы поэта Нины Александровны, причем она переписывалась с матерью и сестрой Грибоедова, конечно, лучше, чем кто-либо, знавших год его рождения». Эти строки написаны в мае 1908 года, так что утверждение Шамина противоречит сообщению Каллаша. Ни о каких изменениях даты на памятнике Шамина не упоминает.

Еще одна попытка фронтальной проверки церковных архивов Москвы была предпринята исследователем жизни и творчества Грибоедова Н. В. Шаломытовым, который обратился к московскому митрополиту с просьбой произвести розыски по Московской епархии «во всех приходских церквях по метрическим книгам фамилии Грибоедовых за 1790-е годы в целях выяснения года и места его (А. С. Грибоедова. — В. М.) рождения». Это прошение, однако, не встретило никакого понимания, и Московская духовная консистория признала его «неудобоисполнимым».

Кое-какие новые сведения появились только в 1954 году. Историк русской литературы А. И. Ревякин, еще раз просмотревший церковные ведомости, обнаружил, что в начале июля 1792 года дьячок церкви Спаса Преображения на Песках (все тот же Пречистенский сорок) записал: «В доме Федора Михайловича Вельяминова, что стояща у его отставного секунд-майора Сергея Ивановича Грибоедова родилась дочь Мария, крещена июля 4 дня, восприемником был бригадир Николай Яковлевич Тиньков, восприемница была надворного советника Ивана Никифорова Грибоедова жена его Прасковья Василевна». Эта запись помогла выяснить дату бракосочетания родителей Грибоедова — 1791 год.

А. И. Ревякин в метрической книге Успения на Остоженке (снова все тот же Пречистенский сорок) выявил еще одну запись, помеченную началом 1795 года: «Января 13 в доме девицы Прасковьи Ивановны Шушириной у живущего в доме ея секунд-майора Сергея Ивановича Грибоедова родился сын Павел, крещен сего месяца 18 дня. Восприемником был генерал-майор Николай Яковлевич Тиньков».

Естественно, в одном месяце два младенца у матери родиться не могут. Поэтому А. И. Ревякин заключил, что Александр Грибоедов родился годом ранее. Ход рассуждений его был таков. А. С. Грибоедов «не мог родиться в 1790 г., так как в этом году его мать, будучи девицей, еще пребывала в родительском доме». И второй момент: «Документальные данные о рождении Марии Сергеевны решительно опровергают дату 4 января 1793 года как дату рождения драматурга, так как он не мог родиться через шесть месяцев после своей сестры»<sup>1</sup>. Таким образом, «по методу исключения из всех предполагаемых дат рождения остается дата 4 января 1794 года», что, кстати, подтверждается и паспортом 1816 года.

<sup>1</sup> «Ученые записки Московского городского педагогического института им. В. И. Потемкина». Вып. 4. 1954, т. XLIII, стр. 113.

Эти выводы вскоре поставил под сомнение крупнейший исследователь и знаток жизни и творчества Грибоедова Н. К. Пиксанов. В письме А. И. Ревякину от 7 февраля 1955 года он указывал: «Все-таки дата, 1794 год, Вами устанавливается не документально, а логически, «по методу исключения»; паспорт 1816 года не может быть высшей инстанцией в тяжбе»<sup>2</sup>.

Выводы А. И. Ревякина оспаривал и П. С. Краснов, выдвигая другие причины. Он отметил «неквалифицированность» записи о рождении Павла Грибоедова, поскольку в ней упомянут лишь один восприемник новорожденного — Н. Я. Тиньков; по существовавшим церковным правилам, утверждал он, «кроме восприемника, при крещении должна еще присутствовать и восприемница»<sup>3</sup>. По мысли П. С. Краснова, найденный Ревякиным документ должен относиться к А. С. Грибоедову. Просто дьячок, возможно приверженный зеленому змию, записал вместо Александра Павла, а заодно спутал и дни.

Однако аргумент П. С. Краснова несостоятелен. Еще митрополит Киприан в XIV веке в «Поучении новгородскому духовенству о церковных службах» указывал: «...неслично двема крестити, ни мужю с чужою женою, ни с своею женою, но одному годится крестити. или от мужьского полу или от женьского». Но, может быть, в XVIII столетии это правило уже было недействительным? Нет, и позднейшее издание середины XIX века подтверждает: «Необходимо при крещении лиц мужескаго пола быть одному восприемнику, а для лиц женскаго пола одной восприемнице. Если бывает и более иногда, то в метрическую книгу должна вписываться только одна пара». Стало быть, нет оснований утверждать, что запись ошибочна. Видимо, Павел Грибоедов умер в раннем детстве и не отложился в памяти тех, кто общался с семейством Грибоедовых, как и последняя дочь Настасьи Федоровны Софья, о которой она сама сообщает в письмах в феврале — сентябре 1797 года.

И все же доводы А. И. Ревякина в массе других выглядели бы наиболее весомо, если б он сам со временем не отказался от них. В 1977 году в «Истории русской литературы XIX века» автор работы писал: «Точная дата рождения Грибоедова неизвестна. Исследователи высказывают различные предположения: 1790, 1794, 1795. Вероятнее всего, он родился 4 (15) января 1790 года в Москве». Вскоре и эта позиция показалась ему сомнительной. Во втором издании своей работы (М., 1981) Ревякин утверждал уже: «Точная дата рождения Грибоедова неизвестна. Исследователи высказывают различные предположения: 1790, 1794, 1795. Ни одна из этих дат не имеет полной, неоспоримой, документально подтвержденной достоверности».

Итак, мы вновь у исходной точки. Рылся в церковных книгах и автор этой статьи и тоже ничего не обнаружил. Поиск не привел ни к какому результату.

И не мог привести. По той причине, что подобного документа, видимо, не существовало. В жизни Грибоедова многое окутано тайной. Но если часть этих загадок объясняется простым стечением обстоятельств (невозможность сохранять полный архив при кочевом образе жизни, трехкратная гибель грибоедовских бумаг и, наконец, небрежное отношение драматурга к своим рукописям), то одна из них — год рождения А. С. Грибоедова — создана была его родными, автором «Горя от ума» поневоле некоторое время поддерживалась, а его потомками оберегалась и после гибели писателя.

И расшифровывать эту загадку следует, отправляясь не от документа, а от косвенных свидетельств его друзей и знакомых. В результате систематизации их показания, подкрепленные и документально, образуют весьма четкую картину, причем выявляется не только год рождения, но и история брака родителей А. С. Грибоедова.

Для начала обратимся к литературному произведению, автором которого была весьма близкий к А. С. Грибоедову, печально знаменитый впоследствии Ф. В. Булгарин. При жизни Грибоедова репутация издателя «Северной пчелы» еще не являлась слишком явной, что отчасти и объясняет дружбу Грибоедова с Булгариным. В 1833 году Булгарин написал роман (издан он был в 1835-м) «Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни». Оставим в стороне содержание книги. Нас интересует в ней одна линия. Под именем Алек-

<sup>2</sup> ИРЛИ АН СССР (библиотека и грибоедовское собрание Н. К. Пиксанова).

<sup>3</sup> П. С. Краснов, «Еще раз о дате рождения Грибоедова» («Русская литература», 1975, № 4, стр. 153—154).

сандра Сергеевича Световидова выведен А. С. Грибоедов. Булгарин хорошо знал многие подробности жизни драматурга, что доказывается различными его воспоминаниями. Начало характеристики Световидова в болгаринском романе, в сущности, воспроизводит реальную биографию Грибоедова. «Александр Сергеевич Световидов принадлежит к хорошей и старинной дворянской фамилии и был в дальнем родстве с князьями Ольгердовыми. В юности Световидова пример родителей и недостаток нравственного образования едва не увлекли его на стезю порока и едва не свергнули в бездну разврата, если б сила ума его и характера не удержала его. Родители его жили в Москве. Первоначальное воспитание получил он дома, под надзором французского гувернера, молодого повесы... С двенадцатого года Александр Сергеевич брал частные уроки у профессоров университета, на пятнадцатом стал слушать университетские лекции, а на осмнадцатом выдержал экзамен на степень кандидата по философскому факультету».

В том, что Световидов — это Грибоедов, не сомневался уже В. Ф. Одоевский, который хорошо знал его и сам сделал драматурга в 1824 году героем фельетона «Последствия сатирической статьи». Фельетон явно расходился с болгаринской концепцией грибоедовского характера и дарования. Прочитав же «Чухина», Одоевский записал: «Дашков, Грибоедов просто представляются глупцами, хотя я узнал несколько поговорок Грибоедова, которые, вероятно, записал Булгарин».

Действительно, постигнуть всю глубину натуры Грибоедова Булгарину не было дано, но память его хранила множество подробностей биографии автора «Горя от ума», которые он и запечатлел в своих мемуарах и во многих публикациях в «Северной пчеле».

«Наложив» реальную биографию Грибоедова на те сведения, что сообщает о Световидове Булгарин, получаем любопытное совпадение (или расхождение с общепринятой хронологией) в датах. Известно, что в 1803 году Грибоедов учился в Благородном пансионе при Московском университете, в 1806—1808 годах — на словесном отделении университета, по окончании которого получил звание кандидата словесности. В 1810—1812 годах он посещал вольнослушателем лекции на этико-политическом отделении, готовясь к экзамену на степень доктора прав. Опираясь на общепринятую дату рождения автора «Горя от ума» — 1795-й, — получаем: в 1802 или 1803 году (точная дата поступления в пансион не определена) Александру Грибоедову было семь или восемь лет, в 1808-м — тринадцать, в 1810-м — пятнадцать. У Булгарина возрастной ценз иной. Его герой приобщается к учению с двенадцати лет, университетские лекции начинает слушать в пятнадцать, а диплом получает в восемнадцать... Прибавим к этому и словно ненароком оброненное упоминание о дурном примере родителей.

Разумеется, основывать на косвенном доказательстве такого рода иную дату рождения Грибоедова невозможно. Ведь это все же роман, а не документ. Но и в «Воспоминаниях о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове» (1830) Булгарин, говоря о дате рождения автора «Горя от ума», употребил какую-то странную формулировку: «Грибоедов родился около 1793 года».

В 1836 году Пушкин опубликовал «Путешествие в Арзрум», несколько страниц в нем посвятив Грибоедову. В частности, он писал: «Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств». Н. К. Пиксанов полагал, что здесь подразумевалось участие Грибоедова в дуэли Шереметева с Завадовским, у которого он был секундантом<sup>4</sup>. Но он ошибался. Слухи о неблагоприятном поведении Грибоедова в этой истории Пушкиным оговорены специально: «...даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении». О толках на этот счет писал и А. А. Бестужев: «Я был предубежден против Александра Сергеевича. Рассказы об известной дуэли, в которой он был секундантом, мне переданы были его противниками в черном виде».

Упомянув о «следствии пылких страстей», Пушкин несомненно имел в виду нечто иное. Думать так заставляет последующая фраза: «Он почувствовал необходимость расчеститься единожды навсегда со своей молодостью и круто поворотить свою жизнь». Именно так и поступил Грибоедов в 1818 году после трагического исхода дуэли, закончившейся смертью Шереметева. Это событие сильно повлияло на беззаботного доселе драматурга и отчасти побудило его принять назначение в дипломатическую миссию на Востоке. Сопоставляя эти два предложения, приходишь к мысли,

<sup>4</sup> Н. К. Пиксанов. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л. 1934, стр. 164.

что в первом подразумевается нечто, заставлявшее Грибоедова изначально держаться в тени «облаков», возникших помимо его воли. Слова многозначительные, но все же туманные. Современники, вероятно, понимали их подспудный смысл, а мы вынуждены его выискивать.

Сказанное Пушкиным в «Путешествии в Арзрум» может быть несколько прояснено с помощью планов неоконченного романа «Русский Пелам» (1834—1835). Сохранилось пять вариантов плана этого нереализованного пушкинского замысла. При этом «все герои задуманного романа, кроме самого Пелама, его отца и его брата Порового, названы именами прототипов — действительно реально существовавших лиц, характеры и обстоятельства жизни которых служили основой для создания будущих художественных образов»<sup>5</sup>.

Мне представляется, что Грибоедову в планируемом романе отводилась немаловажная роль. Перечислим отдельные моменты из биографии героя, которые позволяют так думать. У Пушкина Пелам помогает Ф. Орлову увести девушку. Он влюбляется в женщину из высшего света. Соблюдая требования кодекса чести, Пелам отказывается вести нечестную игру в карты, принимает на себя обязанности секунданта Орлова. Есть и упоминание, что отец Пелама ведет широкий образ жизни, растрчивает свое состояние, нанимает сыну гувернеров, но сам им не занимается. Примечательно упоминание, что Пелам «для заработка переводит водевили», заводит себе любовницу «на счет графа Завадовского».

В биографии автора «Горя от ума» были сходные эпизоды: его отец вел жизнь не по средствам и оставил наследников ни с чем. Фигура отца не оставила никакого следа в душе Александра Сергеевича, с раннего возраста предоставленного гувернерам. Конечно, здесь налицо и типовая ситуация, относящаяся не только к автору прославленной комедии, но приложимая, например, и к самому Пушкину. Однако в сопряжении с другими фактами и такая подробность становится значимой. В уже упоминавшемся фельетоне Одоевского «Последствия сатирической статьи» (в черновой его рукописи) отмечалось, что Грибоедов пережил период увлечения картами. Еще раз напомним: он был секундантом в поединке Шереметева с Завадовским, причем в одной из сплетен намекалось, что Грибоедов и сам приволокнулся за Истоминой. Правда, Пушкин мог опираться и на другой, действительный, факт. Грибоедов в письме С. Н. Бегичеву от 4 января 1825 года упоминал о своем соперничестве с графом М. А. Милорадовичем, у которого он отбил Е. А. Телешову. Была у Грибоедова и несчастная любовь, которая ему «испортила полжизни». В завершение этого «жизнеописания» Пелама следует отметить, что Пушкин стал встречаться с Грибоедовым в салоне Шаховского именно тогда, когда будущий автор «Горя от ума» начинал переводить водевили, хотя и делал это не для заработка. И наконец, сближение Пелама с «обществом умных» (декабристы) опять заставляет вспомнить о Грибоедове.

Понятно, что смысл и функции образа литературного персонажа, предстоящего перед нами лишь в трансформирующихся отрывочных планах вынашиваемого произведения, должны быть неизмеримо шире непосредственного материала, используемого Пушкиным. Зная, какое впечатление производила личность Грибоедова на Пушкина (да и не только на него одного), зная о пристальном интересе поэта к процессу морального перелома в душе человека (а такой перелом и совершался в психике Грибоедова в конце 1817 — начале 1818 года, после трагического исхода дуэли Шереметева с Завадовским), можно предполагать, что Пушкин во многом списывал своего Пелама с Грибоедова.

Отчасти эту версию подкрепляет и хронология. Роман о Пелама начат не ранее конца октября 1834 и оставлен не позднее апреля 1835 года. В апреле же Пушкин принимается за «Путешествие в Арзрум», отказываясь от завершения «Пелама», но сохраняет в новом произведении две темы — Грибоедова и декабристов. Таким образом, предположение, что грибоедовская тема так или иначе должна была присутствовать в «Пелама», обретает новое подтверждение.

И тем не менее все это зыбко, неопределенно. Пойдем далее. Еще при жизни Грибоедова и по его настоянию В. С. Миклашевич, гражданской женой А. А. Жандра, одного из самых близких друзей писателя (ни от Жандра, ни от Миклашевич Грибоедов не имел тайн), был начат роман «Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия».

<sup>5</sup> Н. М. Романов, «Эволюция пушкинского замысла романа о Пелымо» («Русская литература», 1981, № 4, стр. 192—193).

Но сначала два слова о взаимоотношениях Грибоедова с Жандром и Миклашевич. Жандр подружился с Грибоедовым еще в 1815 году, а немного позднее познакомил его с Миклашевич. Все трое принимали самое горячее участие в судьбе сосланного декабриста А. И. Одоевского, которого Грибоедов особенно любил, называя его «дитя моей души». Жандр же посвятил Грибоедову несколько стихотворений. После гибели драматурга Жандр и Миклашевич в рукописном памфлете опровергли порочащую память русского посла клевету, доказав, что он пал жертвой политических интриг. В 1840 году А. А. Жандр выступил в защиту «Горя от ума», необъективно оцененного Белинским.

Напомнить об этом надобно, чтобы подчеркнуть: ни Жандр, ни Миклашевич, горячо любившие Грибоедова, просто не в состоянии были бросить тень на его репутацию.

Итак, вернемся к роману В. С. Миклашевич. Он был окончен в 1836 году, им заинтересовался Пушкин, собиравшийся даже сочинить к нему эпиграфы, но не успевший осуществить свое обещание. Получилось, однако, так, что «Село Михайловское...» опубликовали лишь в 1864—1865 годах, после кончины В. С. Миклашевич.

В 1865 году А. А. Жандр писал: «Сочинительница не выдумывала ничего: в ее книге нет ни одного лица, которое не жило бы во время происшествия и не действовало так, как она его описала. Современные ей старожилы низового края, которых я видал в Петербурге уже очень пожилыми, узнавали, чей портрет изображает почти каждое лицо романа».

Заручившись таким свидетельством одного из современников, на чьих глазах создавалось произведение, выделим особо пласт романа, в котором присутствуют Грибоедов, А. И. Одоевский, Рылеев. Они выведены в «Селе Михайловском...» под именами Рузина, Заринского и Ильменева. А. А. Жандр на этом останавливался специально. «Ильменев, Заринский (декабристы) и молодой Рузин (Грибоедов) не похожи на нынешних молодых людей. Характер их, речь, даже наружность двух последних совершенно сходны с оригиналами».

Нас интересует только ключ к разрешению загадки года рождения А. С. Грибоедова, ключ, который содержится в романе В. С. Миклашевич. Чтобы воспользоваться им, необходимо познакомиться со страницами романа, посвященными взаимоотношениям Рузина (Грибоедова) с родителями. «Мать очень обрадовалась под каким бы то ни было предлогом увидеть сына, которого родитель, по-видимому, не очень жаловал. Он воспитывался, против желания матери, не дома; в службу записан очень рано; жил всегда на службе. Кроме этого, воля Пелагеи Матвеевны во всем исполнялась,— да и не могло быть иначе: Рузин все получил с женьбой: чины, деревни, деньги, вещи, словом — все...»<sup>6</sup>.

Чуть позже тот же мотив разрабатывается в деталях. Вот разговаривают две приживалки: «— Не в пронос слово, пересказывают, будто сынок Пелагеи Матвеевны также шел в приданстве,— не в осуд будь молвлено...— Мати божия: добрая слава лежит, а худая летит! — Так, стало, не спуста брехали? Видно, генералу никто не шепнул, где бы взять с прибылью...— Во всем сама ему открылась; я, согрешила, своим ухом подслушала... Слов-то не разобрала: очень тихо между собой говорили; только что она навзрыд все проплакала.— Ну, оно так и будет: умоляла, чтобы сиречь прикрыть венцом-то прогрессу... а на слове-то, видно, уж было положено? — Накануне свадьбы, любезная, у жениха уж и палимаж был нашит на шляпе, мати божия. Ведь не спарывать! А нечего, вышел от нее как смерть бледный и сел в столовой, призадумавшись...— А разве он у них до брака проживал? — Да где же? Хорошо, что собой-то смазливенький, а то бы и перекусить было нечего»<sup>7</sup>.

Особое внимание стоит обратить на диалог Ильменева с молодым Рузиным:

«— А который тебе год, скажи-ка, милый Валерий? — Матушка мне считает восемнадцать лет; но я не верю женской хронологии, я думаю, что мне гораздо больше»<sup>8</sup>.

Внимательно проанализировавший роман Миклашевич, В. Э. Вацуру пришел к осторожному выводу: «...реальные происшествия и подлинные биографии предстают в «Селе Михайловском» в трансформированном виде; они подчинены литературному

<sup>6</sup> «Село Михайловское...». СПб. 1864, ч. I, стр. 144.

<sup>7</sup> «Село Михайловское...». СПб. 1865, ч. II, стр. 232—233.

<sup>8</sup> Там же, стр. 249.

заданию и каждый раз требуют выяснения и обоснования»<sup>9</sup>. С этим заключением нельзя не согласиться. Разумеется, каждая гипотеза должна быть подкреплена доказательствами. Но вот дальнейшее утверждение исследователя кажется неубедительным. Подробно пересказав взаимоотношения Рузина с родителями и историю их брака, Вацуро заканчивает сюжет так: «Все это принадлежит литературному методу и жанровой традиции семейного «романа тайн» с его снами, предчувствиями, узнаваниями по портрету и т. д.— и искать здесь реальных обстоятельств жизни Грибоедова в родительском доме было бы совершенно бесплодно»<sup>10</sup>. Слов нет, все отмеченные элементы «романа тайн» в «Селе Михайловском...» налицо. И если опираться на роман Миклашевич как на единственное свидетельство очевидца, знавшего тайну рождения Грибоедова, можно и в самом деле вступить на шаткую почву догадок и предположений. Если же суммировать приведенные выше косвенные данные с другими фактами и связать их с некоторыми документами, то реконструируемая мозаика обретет более четкие очертания.

Начать с того, что реплика Рузина («...не верю женской хронологии, я думаю, что мне гораздо больше») повисает в воздухе, если не учитывать, что она попадобилась автору как своего рода «опознавательный знак», намек на реальность описываемого. Это сообщение далее никак не реализуется. Но ведь и малоопытный писатель не станет вводить детали, которые впоследствии не используются. Кроме того, известно, что «Село Михайловское...» в рукописи прочли такие квалифицированные читатели и редакторы, как Пушкин, Жуковский и Греч. Кто-нибудь из них обратил бы внимание Миклашевич на ненужность данной фразы. Однако этого не случилось. Видимо, такая реплика представлялась им вполне уместной.

Получается, что Пушкин, Миклашевич и Булгарин говорят об одном и том же, только с разной степенью определенности. Но при жизни автора «Горя от ума» и десятилетия спустя открыто упоминать, что Грибоедов рожден до брака его родителей, конечно, представлялось неудобным.

Этими соображениями руководствовался, видимо, и Д. А. Смирнов, дальний родственник Грибоедова (племянник драматурга по материнской линии) и его первый биограф, которому мы обязаны многими чрезвычайно ценными сведениями об авторе бессмертной комедии. Публикуя одну из неизданных при жизни работ Д. А. Смирнова, Н. В. Шаломытов снабдил ее крайне интересным примечанием: «В бумагах покойного директора Публичной Библиотеки А. Ф. Бычкова сохранилось любопытное письмо Д. А. Смирнова от 4 апреля 1857 г., в котором он писал, между прочим, следующее бывшему университетскому своему товарищу: «У меня есть одно, хоть и небольшое, сочинение, содержание которого я не только не могу и не намерен объявить моим современникам, но и даже слишком близким после меня нисходящим линиям. Одним словом, я желаю, чтобы это сочинение было не только постумным<sup>11</sup>, но и подспудным. Разумеется, первый в этом случае представляется вопрос: как сохранить такое сочинение? Посмотрите на все крайние невыгоды и неудобства того, если оставить это сочинение в числе своих фамильных бумаг: во 1-х, кто поручится каждому из нас, что тот, другой или десятый из наших потомков не будет сущим невеждой. Во всяком случае, оно представляется совершенно «беззащитным» от всякой личной воли и произвола».

Д. А. Смирнов запрашивал, можно ли внести в Публичную библиотеку рукописное сочинение в наглухо заклеенном и запечатанном конверте, останется ли оно совершенно неприкосновенным в течение многих лет, какова (в случае положительного решения вопроса) должна быть форма обращения к дирекции библиотеки, нужно ли за это платить и т. д. Однако дирекция принять документ на таких условиях отказалась, и его дальнейшая судьба неизвестна.

Намек на невозможность публикации материалов, оставшихся после смерти Д. А. Смирнова, содержится и в письме его сына Ю. Д. Смирнова, помеченном 1887 годом: «Причиной неиздания некоторых трудов покойного отца служит не одна только утрата части их во время пожара в нашей усадьбе (утрата временная, так как мне удалось достать их от людей, близких к покойному, в свое время получивших от него копии его работы), но и некоторые другие соображения, которые я нахожу неудоб-

<sup>9</sup> В. Э. Вацуро, «Грибоедов в романе В. С. Миклашевич „Село Михайловское“». — В кн.: А. С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л. 1977, стр. 243, 245.

<sup>10</sup> Там же, стр. 249.

<sup>11</sup> Посмертным (лат.).



ным высказать в настоящее время». Может быть, «сочинение» отца не дошло до Ю. Д. Смирнова, но скорее всего и сын не хотел печатать отцовское «сочинение», откладывая его публикацию на будущее.

Письмо Д. А. Смирнова заинтриговало Г. П. Шторма, который в книге «Потаенный Радищев» (М., 1968) указал на его прямую связь с пушкинскими строчками в «Путешествия в Арзрум». Шторм считал, что под «облаками» подразумевалась не дуэль: «...об этой дуэли Пушкин не стал бы говорить столь туманно и многозначительно; дело это по тем временам являлось обычным, и о нем было широко известно и в Петербурге и в Москве».

Но и штормовское толкование этого письма представляется неудовлетворительным. Выяснив, что бабушка Грибоедова Марья Ивановна Розенберг (во втором замужестве Грибоедова, жена Федора Алексеевича Грибоедова) в 1797 году по указу Павла I узаконила права «прижитого до брака с мужем» сына Федора, писатель резюмировал: «Это лишало внука Марьи Ивановны права наследования, так как наследовать должен был ее сын, а не внук». И далее: «...присвоение ее внебрачному сыну Федору фамилии и прав ее второго мужа обездолило ее внука и, видимо, послужило одной из причин, повлекших его к трагическому концу...»

Последнее не совсем соответствует действительности. В 1799 году бабушка А. С. Грибоедова по линии отца Прасковья Васильевна Грибоедова, урожденная Кочугова, передала своему малолетнему внуку имение Сушнево, доставшееся ей от отца, и сделку зарегистрировали в книге записей Владимирской палаты гражданского суда. А. С. Грибоедову принадлежала и часть имения Митрофаныха в той же Владимирской губернии. Правда, первое имение было продано в 1809 году, а от второго Александр Сергеевич отказался семью годами позже в пользу сестры Марии и жил в дальнейшем исключительно на жалованье. Но считать, что постоянное безденежье толкнуло его к гибели, явно неправомерно.

Судя по всему, Смирнов имел в виду тайну рождения Грибоедова — вот почему и он и его сын не решались опубликовать это «сочинение».

А теперь обратимся к документам. Начиная с 1818 года (в июне этого года Грибоедов был назначен секретарем персидской миссии) в его послужных списках везде указывается, что он рожден в 1790 году. В пяти послужных списках, ныне хранящихся в Архиве внешней политики России Министерства иностранных дел СССР, в графе «Возраст» рукой делопроизводителя записано «от роду имеет 38 лет» (1828) и т. д. Та же дата рождения представлена и в послужном списке 1820 года, копия которого хранится в собрании Н. К. Пиксанова в ИРЛИ.

Послужной список 1819 года, казалось бы, полностью идентичен документу 1818 года, однако есть и разночтения. В последнем отсутствует фраза «Переведен в переводчики того ж дец[абря] 31 1818 г[ода]». Кроме того, в 1819 году записано, что Грибоедов «от роду имеет 29 лет», но цифра написана явно «по чищеному». Не исключено, что это простая ошибка переписчика, но все же почему в новом списке, который, судя по добавленному предложению, составлялся без сличения с предыдущим, опять возникает недоразумение с возрастом? Возможно, возраст снова потребовалось уточнить?

Во всяком случае, симптоматично, что с момента активного участия в дипломатических делах Грибоедов стал указывать 1790 год как год своего рождения. Какой-либо тщательности в сверке документов тогда не придерживались и в дипломатическом корпусе, присяга, которую принимали чиновники, приступая к своим обязанностям, тоже вряд ли что меняла для «вольнодумца» Грибоедова... Скорее всего он стремился «расчесться единожды навсегда со своей молодостью и круто повернуть свою жизнь», начать ее заново. Приняв такое решение, Грибоедов более не желал скрывать и свой возраст. Точно так же в следственном деле Грибоедова, которое многократно воспроизводилось в печати (в том числе даже факсимильно), он указал 1790 год как год своего рождения, хотя — скорее всего нарочито — написал последнюю цифру нечетко: ее можно прочесть как 0, и 6, и даже как 5. Оно и понятно. Ведь если эту дату стали бы проверять, обнаружив расхождение с более ранними документами, дататург всегда мог сослаться на ошибку, опisku и т. д.

Во всех остальных послужных списках точкой отсчета является 1790 год. При совокупим и еще один аргумент, данный нам в руки самим Грибоедовым. На него обратил внимание В. В. Кожин (в «Русская литература», 1975, № 2), который заметил, что в письме С. Н. Бегичеву от 4 января 1825 года Грибоедов с грустью сообщал:

«Нынче день моего рождения, что же я? На полпути моей жизни, скоро буду стар и глуп, как все мои благородные современники». Исследователь указывает при этом: «...по традиции, освященной Данте, половиной жизни считается тридцатипятилетие». Добавим, что Грибоедов хорошо знал Данте.

Намек на подлинный возраст Грибоедова содержится и в ответе А. Бестужева Следственному комитету, где его, между прочим, спрашивали и о Грибоедове. Бестужев показал: «В члены же не принимал его я, во-первых, потому, что он меня и старше и умнее, а во-вторых, потому, что жалел подвергнуть опасности такой талант...» Бестужев родился в 1797 году, и стало быть, если он был моложе Грибоедова всего на два года, то не употребил бы выражение «он меня старше». А. Бестужев был писателем и умел точно выражать свои мысли. Иное дело, если речь идет о разнице в семь лет.

Итак, основной массив косвенных и прямых данных противостоит показаниям исповедных ведомостей, на которые так охотно ссылаются «сторонники 1795 года». Признать 1790-й годом рождения драматурга до сих пор мешало не столько отсутствие точного документа, сколько, возможно, и неосознанное даже стремление «выпрямить» биографию великого писателя. Увы! Живая жизнь далеко не всегда согласуется с приличиями и правилами, и нам, очевидно, следует признать нарушение «канона», примирившись с ним. Случай такого рода в истории русской литературы не единственный. Жуковский, Герцен, Фет также рождены были «вне закона».

Что же касается подлинного документа о рождении Грибоедова, то его, думается, и не существовало, то есть не существовало такой записи, в которой, кроме имени младенца, была указана и фамилия родителей. Вот почему на протяжении более чем сотни лет поиски в архивах не увенчались успехом. Ребенок, рожденный вне брака, при желании родственников скрыть «грех», мог быть крещен и без фамилии. И при изучении церковных ведомостей того же Пречистенского сорока мы находим подходящую кандидатуру. 8 сентября 1790 года в церкви Рождества святой богородицы, «что за Смоленскими вороты», была сделана запись: «Родился младенец Александр незаконно и неизвестно кем рожденный. Крещен того же месяца и числа. Восприемником был церкви Рождества пресвятые богородицы, что на Арбате, священник Емельян Павлов, восприемницей была майорша Праскева Иванова дочь Збродова»<sup>12</sup>.

Конечно, невозможно настаивать, что перед нами тот самый младенец, который в 1824 году завершит комедию, обессмертившую его имя. Все же день рождения иной — 8 сентября 1790 года. В конце концов будущий драматург мог быть рожден и крещен в Хмелите или в какой-то другой деревне. Архив же Хмелиты давным-давно утрачен. Но кое-что говорит и в пользу приведенного документа. Во-первых, незаконнорожденных Александров в этом году в Москве больше не встречается. Во-вторых, как показывают те же церковные книги, подкидышей обычно крестили, то есть их восприемниками, крестными родителями, были поп и попадя той церкви, куда приносили младенца. А здесь почему-то крестная мать принадлежит к тому же социальному кругу, что и Грибоедовы...

Разумеется, все это может быть чистой случайностью. Но ведь не запись о рождении и крещении младенца Александра, чьи родители неизвестны, решает дело.

Важнее другое. Мы теперь можем в общих чертах представить себе, как изначально несчастливо складывалась судьба Александра Сергеевича. Настасья Федоровна, которой было уже за двадцать (по тем временам она уже числилась в перестарках), увлеклась кем-то и «потеряла голову». Не будем стараться найти ее возлюбленного, тем более что об этом периоде жизни Н. Ф. Грибоедовой и ее семьи мы решительно ничего не знаем. Возможно, это был Сергей Иванович Грибоедов, дальний родственник семьи (своей будущей супруге он приходился троюродным дядей и носил ту же фамилию, так что после замужества Настасья Федоровна осталась Грибоедовой).

Но как согласовать это со сценой, изображенной в «Селе Михайловском...»? Может быть, В. С. Миклашевич во всем придерживалась подлинного хода событий, но могла и слегка дать волю фантазии. Ясно одно: годом рождения Грибоедова следует считать наиболее раннюю из всех названных им самим и фигурировавшую в его документах дату.

И это же событие могло послужить толчком к разладу семейных отношений. Мать, жадея ни в чем не повинного Сашу, уделяла ему больше внимания, чем другим

<sup>12</sup> ЦГАМ, ф. 203, оп. 745, ед. хр. 71, л. 126.

детям, что воздвигало между супругами новые препятствия. Со временем отчуждение зашло так далеко, что Сергей Иванович почти постоянно стал жить в отдалении от супруги, в своем владимирском имении Сущево, лишь изредка появляясь в Москве. Но и тогда он мало бывал в семье, проводя дни и ночи за картами и порядком порасстроив состояние. Сущево ему пришлось в 1809 году продать своим родственникам Смирновым.

Но нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным. О тайне рождения Грибоедова знали Жандр, Миклашевич, А. Бестужев, знал и Пушкин. По всей вероятности, наслышаны об этом были и другие, но они не писали романов и мемуаров. Вся эта история вполне в духе XVIII века, этого «золотого века дворянства», который сам А. С. Грибоедов охарактеризовал так: «...в тогдaшнем поколении развита была повсюду какая-то смесь пороков и любезности; извне рыцарство в нравах, а в сердцах отсутствие всякого чувства. Тогда уже многие дуэлировались, но всякий пылал непреодолимою страстью обманывать женщин в любви, мужчин в карты или иначе...»

Трудно сказать, когда сам Александр Сергеевич узнал о своем положении в семье. По всей вероятности, довольно рано. И довольно рано осознал, какую цену пришлось заплатить матери за его существование, и платил ей горячей любовью и признательностью, несмотря на то, что уже в юношеском возрасте мать перестала его понимать. Вот что писал он С. Н. Бегичеву в сентябре 1818 года на пути в Тифлис: «Наконец однако отсюда (из Москвы.—В. М.) вырвался. Там я должен был повторить ту же плачевную, прощальную сцену, которую с тобою имел при отъезде из Петербурга, и нельзя иначе: мать и сестра так ко мне привязаны, что я был бы извергом, если бы не платил им такую же любовь: они точно не представляют себе иного утешения, как то, чтоб жить вместе со мною<sup>13</sup>. Нет! я не буду эгоистом; до сих пор я был только сыном и братом по названию; возвратясь из Персии, буду таковым на деле, стану жить для моего семейства, переведу их с собою в Петербург...»

И тут же невольно проговаривается «душе» и «брату» Степану: «Ты, мой друг, поселил в меня, или лучше сказать, развернул свойства, любовь к добру, я с тех пор только начал дорожить честностью и всем, что составляет истинную красоту души, с того времени, как с тобою познакомился...»

И только осознав, что человеку надлежит преодолеть не одни «умственные плотины», но и обрести нравственные устои, он стал таким, каким запечатлелся в умах и сердцах современников.

Во всей этой истории одно не совсем понятно. Зачем понадобилось делать Александра Сергеевича моложе на пять лет, а не на год-два? Ведь при такой разнице в возрасте подлинным и мнимом ее труднее было скрыть. Возможно, 1793 год, который открывает список предполагаемых дат рождения драматурга, и был вначале «официальной» датой, а потом, с течением времени, возникли другие?

И последнее. Некоторая часть грибоедовской иконографии также льет воду на нашу мельницу. Сначала обратимся к портрету, на котором Грибоедов изображен в отроческом возрасте (впервые портрет был воспроизведен в книге «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников» под редакцией Н. К. Пиксанова, примечания И. С. Зильберштейна,— М., 1929). Портрет не атрибутирован и не датирован. Известно только, что в момент публикации он находился в собрании Д. Г. Гинзбурга, а в дальнейшем исчез из поля зрения искусствоведов.

Худощавый — уже не мальчик, еще не совсем юноша... Серьезно-пытливый взгляд, книги на столе, уголок географической карты, в распахнутую дверь видна тополиная аллея... Конечно, трудно определить по изображению, да еще и не по оригиналу, возраст с точностью до года. Тем не менее попытаемся.

Судя по костюму (курточка с мягким широким отложным воротником белой рубашки), портрет написан между 1805—1807 годами. В этом убеждает сравнение с другими живописными работами той же поры, время создания которых известно и на которых запечатлены такие же костюмы. Именно так датируется грибоедовский портрет и в сводном каталоге иконографии Литературного музея Пушкинского дома. Если бы Грибоедов родился в 1795 году, то на этом портрете он должен был выгля-

<sup>13</sup> С. И. Грибоедов скончался в 1815 году, и как раз с этого времени А. С. Грибоедов жил в Петербурге один, мать и сестра оставались в Москве.

дети значительно моложе. Здесь ему никак не менее четырнадцати-пятнадцати лет, а должно было бы быть десять-одиннадцать.

Не так давно в запасниках Музея искусств Грузии обнаружена черная акварель, датируемая приблизительно концом 1828 года и приписываемая «художнику Али» («Огонек», 1983, № 3). На рисунке, как считает Ангелина Григолия, изображен Грибоедов. Да, сходство есть, хотя рисунок и выполнен в манере, близкой к восточной. Вот только Грибоедов выглядит на нем старше своих тридцати четырех лет: сильно поредевшая шевелюра, слегка одутловатые щеки... Но если это Грибоедов, проживший почти четыре десятилетия, портрет представляется более достоверным.

Определение истинного года рождения великого русского писателя — задача не формальная. Выявить точную дату значит не просто проставить новую цифру в учебниках и энциклопедиях, хотя и это имеет смысл. Суть в другом. Верно определив истинное, мы получаем возможность глубже постичь многие эпизоды биографии и творческой деятельности автора «Горя от ума». Тогда понятно, почему Грибоедов не только был однокашником в Благородном университетском пансионе Д. В. Дашкова, Н. И. Тургенева, А. И. Якубовича, С. Н. Трубецкого, которые стали воспитанниками этого заведения в четырнадцать-шестнадцать лет, но и учился не менее успешно, чем эти талантливейшие юноши, и даже устаивался награды. В ином свете предстают и московские наблюдения Грибоедова над миром фамусовых, молчаливых и скалозубов, делавшиеся человеком, вступившим в третье десятилетие. Понятнее становится и то, почему после появления в Петербурге Грибоедов вскоре занял ведущую роль в литературном кружке, почему он по-опекунски относился к В. К. Кюхельбекеру, который был моложе на семь лет, и к А. И. Одоевскому (разница в двенадцать лет). По-другому выглядит тогда и отношение к Пушкину. В 1815 году Грибоедов, Катенин и Жандр, а они почти ровесники, «ласкали талантливого юношу, но покуда относились к нему как старшие к младшему: он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью».

И пусть мы расстаемся с легендой о мальчишке-вундеркинде, а «Горе от ума» станет для нас плодом мысли зрелой и души возмужавшей...



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО



## НЕЗАЖИВАЮЩАЯ ПАМЯТЬ

**В**се пополняется, ширится художественная и документальная проза о войне. Все новые имена, новые пласты жизни исследуются писателями. Вспомним хотя бы повести «Безотцовщина» В. Маканина, «Душа горит» В. Личутина, «Луковое поле» А. Кима, «Можжевательник выстоит и в сушь» Ю. Тууляка, рассказы В. Крупина и В. Михальского.

Словно заново переживают относительно молодые еще писатели события суровых военных лет, глубоко и по-своему осозная великую трагедию времени, задевшего краешком и их. «И страшно подумать, что мама на волос от смерти была», — это сейчас Лариса Васильева вспоминает о бомбежке эшелона.

Роман Виталия Семина «Нагрудный знак „Ост“» мы восприняли прежде всего как документ времени: это была книга о подростках, узнающих цену жизни в фашистских арбайтлагерях, оказавшихся, говоря словами другого писателя, «за чертой милосердия». Документ двадцатого века, воплотивший в жизнь самые неправдоподобные фантазмагии Босха и Брейгеля, Достоевского и Андрея Платонова.

Документ вторгся сильнее всего не в чисто военную прозу (там и сейчас основу составляют книги Юрия Бондарева, Василя Бькова, Григория Бакланова, Константина Воробьева), а в литературу, где речь идет в основном о мирном населении. И становятся в один ряд «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, «Каратели» А. Адамовича, «Клавдия Вилор» Д. Гранина, «За чертой милосердия» Д. Гусарова, «За три часа до расвета» Б. Гусева...

В «Карателях» странное сочетание документализма с символикой, факта и фантазии, дат и гротеска не ведет к противо-

речиям между этими, недавно еще всем казавшимися несочетаемыми элементами, а рождает неожиданно сильный эффект, заставляя вспомнить древние славянские летописи, где то дается конкретная до мелочей жизнь князя, то легенда, явно фантастическое объяснение случившемуся.

Отдели документальный материал «Карателей» от притчи — повесть потеряет глубину авторского постижения причин, вызвавших к жизни страшный батальон Дирлевангера; сосредоточь внимание на символике притч и человеконенавистнических диалогах Гитлера с «глазами Востока» — повесть потеряет силу достоверности, затемнится ужасающее подтверждение того, к чему может привести философия крайнего индивидуализма, сильной личности и инертной массы. К чему может привести отказ от права видеть личность в любом человеке, отказ от уважения к человеку.

История о том, как спокойно, планомерно наши же соотечественники — русские, белорусы, украинцы из карательного батальона Дирлевангера — уничтожали большую деревню Борки, не щадя никого: женщин, детей, стариков, — это история победы зла в людях. «Род наш неделим. В тебе — все, и в каждом ты», — говорит в повести персонаж, называемый «умершим богом». Боголишенность здесь — утрата идеала, утрата человечности, хотя при этом человек может остаться храбрым, дисциплинированным, скромным, даже честным. Но если нет человечности, то чужая жизнь для тебя ничто, лишь материал для экспериментов или спасения своей собственной жизни. Как не вспомнить Достоевского: «Одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятими. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо...»

В «Карателях» выбор решен несколько иначе. Десять человек из тысяч согласились предать свой народ ради собственной жизни. Притом право на жизнь надо постоянно подтверждать расстрелами соотечественников. Как бы ни тщился один из них, Муравьев, по-прежнему равнять себя с другими: мол, поставь тебя перед выбором — жизнь или смерть — посмотрим, что ты запоешь, но вся история Великой Отечественной войны убеждает — муравьевых одиночки.

К документальной прозе обращаются очень крупные художники, когда правду необходимо объявить особенно громко, крикнуть. Так было с «Островом Сахалином» Чехова, «Дневником писателя» Достоевского, «Не могу молчать» Толстого. Случается, что писатель откладывает в сторону роман или повесть и обращается к документу — если гражданское, по сути своей, чувство требует иной отдачи. Пример из недавних — «Лад» Василия Белова. Или та же «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина.

Одни сборники документов не могут удовлетворить великую тягу народа к истине. Нужен художественный писательский дар, умеющий выделить из этого потока наиболее глубокие, полноценные факты, нужна нравственная концепция автора, объединяющая факты самого разного ряда в цельное представление о борьбе народа.

Поражают книги свидетелей блокады — журналиста А. Бурова «Блокада день за днем», известного инженера Г. Кулагина «Дневник и память». Но ждала своего часа книга, соединяющая и общий героический дух блокадников и частную скрупулезную правду фактов.

А. Адамович и Д. Гранин напомнили нам самим, всему народу, какой ценой далась победа ленинградцам.

«И вот читаю «Блокадную книгу» и думаю: «Что ж ты-то сам? В кусты ушел? Все своими глазами видел, а не пишешь?..» Писал. И зарекся — тяжело слишком и бесперспективно. В семье строго существовал негласный закон — о блокаде не говорить... И я, например, давно устал от борьбы с блокадным материалом и за него» — это из рецензии на «Блокадную книгу», принадлежащей перу писателя Виктора Конецкого. Рецензия стала еще одним свидетельством очевидца.

Нужно уметь по-писательски выделить важный документ среди сотни поданных, важное свидетельство, может, и не

самое яркое, но самое нужное, уметь найти пропорции между авторским анализом и свидетельствами очевидцев. В личном письме к автору данной статьи Д. Гранин писал: «...важно понять, и мне самому в том числе, почему именно такого характера вещи пользуются сегодня читательской отзывчивостью, причем иногда удивительно активной, массовой. Какие пропорции документа и литературы соединяются в наиболее действенное повествование? Ведь так легко «уступить» документу, и так соблазнительно оснастить его сюжетом, заострить...»

По законам физиологии все ленинградцы должны были умереть, на что и рассчитывали фашисты. Блокада стала испытанием прежде всего духа народа. Я приравниваю блокадников к участникам Великой Отечественной войны, они ведь это заслужили подвигом своим.

Случись много муравьевых или рыбаков среди ленинградцев, городу бы не устоять и с более крепкой продовольственной базой. Но как и в «Карателях», таких были единицы на тысячи. Зато так часто люди становились спасателями. «У каждого был свой спасатель, — убежденно сказала мне ленинградка. — Каждый в нем нуждался и сам был необходим, как хлеб, вода, тепло, другому». Виктор Конецкий, оценивая чрезвычайно высоко «Блокадную книгу», подтверждает саму мысль о спасателях: «Любой... вам скажет, что выжил потому, что пришел дядя Ваня, девушка из ПВО, племянник Саша, баба Мария и т. д. и т. п. ...»

Это ответ сегодняшним оправдателям муравьевых. Ответ на их трусливое: мол, пожалеешь мальчонку, тебя самого «выволокут к этому вот забору, прислонят, как чурбан, и пристрелят!.. Посмотрели бы мы тогда на вас...». Смотрите, смотрите на белорусских партизан, на жителей Ленинграда, на узников фашистских концлагерей!

«Выводили» к забору генерала Карбышева, весь Ленинград вывели к забору голода. Сколь ни парадоксально это звучит для таких муравьевых, уважение к жизни, в том числе и к своей собственной, иногда заставляет идти на смерть. Как пошел на смерть учитель из повести В. Быкова «Обелиск» или политрук Илья Ланин из поморской хроники В. Личутина «Душа горит». Сами они это даже не называли героизмом, ибо героизм в понимании многих состоит в чем-то исключительном, выделяющемся из ряда собственной жизни. А если предыдущая жизнь, этические нор-

мы ее перечеркивались этим муравьевским выходом из строя за немецкой подачкой, значит нормальным продолжением предыдущей жизни становится смерть. Смерть становится на миг жизнью, актом жизни, а жизнь становится смертью и в самом прямом смысле — вспомним бондаревского Илью Рамзина, он тоже не хотел умирать, и он «победил» в борьбе за жизнь, но вся его итало-германская жизнь может считаться «жизнью» лишь в кавычках.

«Герой потому и герой,— справедливо писал как-то на страницах «Нового мира» Е. Громов,— что он ярко выражает лучшие мечты и идеалы своего класса и времени. Он не над людьми, но впереди их. Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно сделать в интересах человеческого общества».

Д. Гранин рассказал нам о судьбе Клавдии Вилор — судьбе реальной, а через нее о тысячах, которые нигде — ни в плену, ни в окружении, ни в захваченных городах и деревнях — не теряли достоинства, чести, человечности.

«История, пережитая Клавдией Вилор,— пишет Гранин,— открыла мне возможности человеческой души, о которых я и не подозревал и которые поэтому хочется приобщить к портрету воина Великой Отечественной войны».

Отличительная черта повести «Клавдия Вилор» в том, что она, как и «Нагрудный знак „Ост“» В. Семина, — о подвижничестве, о героизме вроде бы и непрактичном, не приводящем к немедленным положительным результатам. Скажем так — героизме не событийном, а нравственном. На первый взгляд, поступок кажется бесцельным, но он становится знаменем для других, символом для многих более слабых. «Откуда черпаются эти силы — из веры, из идеи, из любви к Родине, как это все происходит, не знает в точности ни психология, ни этика, ни искусство. История сохраняет примеры таких подвигов духа, легендарные, как Жанна д'Арк, и нынешние, как Зоя Космодемьянская», — пишет Гранин.

Взятую в плен в бою, раненную, Клавдию Вилор не вынуждали совершить предательство. Без риска для собственной совести она могла после побега спокойно и тихо жить у приютивших ее людей и ждать прихода Советской Армии. Как могла бороться искалеченная, измотанная, постаревшая раньше времени женщина в степном краю, вне зоны действия партизанских отрядов?

Но Клавдия Вилор не хотела мириться с

судьбой — она сама создавала свою судьбу. И вот вокруг нее сложился центр борьбы, доступной ее силам, она возвращала веру в победу окружающим людям. Мы сами ежечасно, ежедневно делаем историю, и от того, как все мы ведем себя, от нашей гражданской и нравственной позиции зависит, куда повернет эта самая история.

Заставляющая идти на риск, Клавдия Вилор отнюдь не отпугивала, а притягивала к себе слабых духом. Человечеству необходимы героические деяния, необходимы люди, предсказывающие победу, когда она еще не видна, говорящие вслух правду, когда она под запретом. Таковы и Ванюша из романа В. Семина «Плотина» и Михаил Трофимов из документальной повести С. Славича «Три ялтинских зимы»

Потомственный уральский казак, ученый, забравшийся в дельты Африки еще в 1902 году, выдвинувшийся на службе у императора Эфиопии, после революции воевавший комбригом в знаменитой Чапаевской дивизии, не мог Михаил Трофимов под конец столь славной жизни 'улыбаться, унижаться. Стойкость таких людей, как Михаил Трофимов или комиссар Илья Ланин, символизирует стойкость, цельность и убежденность поколения предвоенных лет.

Великая Отечественная война, война народная, продемонстрировала множество примеров общественного героизма, героизма людей, понимающих свою жизнь как служение сверхличной цели. Победили солдаты, пришедшие из деревни и города, оставившие свои колхозы, свои поля с колосющейся пшеницей во имя Отечества. Победили солдаты, оставившие свои станки и чертежные столы, свои лаборатории и библиотеки. Не Штирлицы разбили наголову фашизм, а жители Овсянок и Тимоних, Лещуконья и Борок, «усвятские шлемоносцы», поднявшиеся на врага от уссурийских таежных деревень до белорусских хуторов. Недаром мемуары маршала Жукова открываются строкой: «Советскому солдату посвящаю».

Конечно, доля вымысла есть и в «Карателях» А. Адамовича, и «За чертой милосердия» Д. Гусарова. Но главное, они основаны на документе, на опыте собственной жизни, который тоже есть уникальный документ. Жизненный опыт узника фашистского арбайтслэгера Виталия Семина, опыт военного контрразведчика Владимира Богомолова («Момент истины» — «В августе сорок четвертого..»), опыт карельского партизана Дмитрия Гусарова тоже входит в бесценную копилку свидетельств о войне.

Простое перечисление ужасов войны, лишенное морально-этической основы, мироощущения художника,— такой «объективизм» чужд для памяти народной. Гранин или Гусаров, Туулик или Славич, внося в документальный ряд свое личностное начало, пропуская жизнь героев через свое сердце, делают книгу документом художественного ряда. Их позиция, их отношение к происшедшему тоже становится документом.

Объективный, хронологический, отстраненный от автора пересказ всех перипетий похода партизанской бригады в лесах Карелии или свод показаний перед судом карателей из отряда Дирлевангера вызвали бы к жизни лишь поток льющихся со страниц жестокостей, доказательств ничемности человека и абсурдности всего сущего мира. Не этим ли объясняется волна фильмов ужасов в западном кинематографе? Не осмысленные, но согретые уважением к человеку факты, нанизывание убийств одно на другое доводят зрителя до полного безразличия. Отучили же американского телезрителя ужасаться в свое время событиям во Вьетнаме, с демонстративной прямотой и «бесцензурностью» показывая целые версты кинокадров, запечатлевших зверства своих соотечественников. Точнее, зрителей приучили к не- и з б е ж н о с т и подобного.

Лишь нравственная позиция, авторская заданность, нескрываемая тенденциозность, тенденциозность добра и человеколюбия, придают жестоким страницам войны силу гуманизма, глубокий гуманистический пафос.

Наша военная художественно-документальная проза не зовет к ненависти, не призывает мстить бывшему врагу. Вспомним героя «Плотины», сила которого и в этом неумении мстить. При всей бесчеловечности действий фашистов, не против них — бывших, прошлых — направляют писатели гневное и страстное перо. Они «разбираются» в прошлом во имя сегодняшнего, в защиту будущего. Потому и не умолкает голос нашей военной прозы.

Документальная военная проза... Прекрасные мемуары наших военачальников... Еще и еще повести писателей-фронтовиков. Книги, в которых на первый план выходит тема фронтового детства. И еще сегодняшняя черта: долго проза сурового реализма обходила наших славных подпольщиков. Этому можно найти объяснение: труднодоступнее материал, меньше писателей вышло из партизан и подпольщиков, меньше осталось очевидцев. (Конечно, в

счет не могли идти подделки под документ, опереточные похождения разведчиков под носом у самого Гитлера, но там действуют законы иного жанра.)

Тем ценнее появление таких книг, как роман «За чертой милосердия» Д. Гусарова, повести «Три ялтинских зимы» С. Славича, «За три часа до рассвета» Б. Гусева, «Земля, до востребования» Е. Воробьева.

На VII съезде писателей СССР, говоря о современной военной прозе, Василь Быков заметил: «Кто на войне спрашивал солдата о его усталости: солдат всегда был готов к подвигу и к смерти. Так же и военная проза. Пути и возможности ее неисповедимы. Когда, казалось бы, тема партизанской борьбы с фашизмом была до конца отработана искусством, Дмитрий Гусаров создает свой роман «За чертой милосердия», заставивший по-новому увидеть, что такое борьба в тылу врага... После книги Дмитрия Гусарова трудно было что-либо добавить к теме немецкого тыла, но вот появились «Каратели» Алеся Адамовича, это философски-психологическое исследование предательства и природы фашизма».

«За чертой милосердия» — название романа-хроники Дмитрия Гусарова удачно означает его содержание. Хотя слово «удачно» здесь режет слух, речь идет о жизни и смерти целой партизанской бригады.

В крайне тяжелое лето 1942 года положение на фронтах было сложным. И то, что более трех тысяч солдат регулярной армии противника были сняты с Ленинградского фронта и брошены на разгром партизанской бригады, что за ходом операции следил лично Маннергейм и его штаб, уже само по себе явилось главным успехом проведенного рейда.

Семь лет работал автор над произведением. Сотни свидетелей, участников событий, родственников погибших бойцов прошли перед ним. Множество документов как с нашей, так и с финской стороны были прочитаны Гусаровым. Писатель специально ездил в Финляндию, и финские товарищи помогли в его работе в архивах. Как результат поездки возник один из лучших рассказов Д. Гусарова «Раненый ангел», где автор в любимой им документальной форме рассказывает о своей встрече с бывшим финским солдатом, ныне служителем национального финского музея «Атенеум», воевавшим с ним в одних местах, но по другую сторону фронта. Дмитрий Гусаров был ранен, участвуя в ночном бою за небольшое карельское село. И по сей день в



ходьбе ему помощник — массивная трость. В этом же бою участвовал и служитель музея. Вот тебе и вымысел... Правда часто выглядит совершенно невероятной. Может быть, пуля этого мирного добродушного финна и заставляет сегодня русского писателя носить с собой трость? И оба они не хотят больше никаких войн.

Желанием мира диктуется активная помощь финских ученых в сборе материалов для романа. Этим же желанием объясняется подписание крупнейшим финским издательством договора на выпуск романа «За чертой милосердия» в Финляндии.

За каждым героем романа встает реальная биография. Но лишь до конца прояснив для себя общую концепцию книги, сумел понять писатель место и роль в ней своих невыдуманных персонажей. Писателю трудно быть полностью объективным; но одна большая идея всегда ведет его за собой, и тогда личное соединяется с народным, общественным. Личная идея должна совпадать с идеей общества, быть нужной ему, иначе малого стоит и эта личная идея, в какие бы красивые одежды она ни рядилась. Факт из жизни рядового бойца партизанской бригады, прежде чем войти в роман, проверялся на значимость его для жизни партизанской бригады.

Когда писатель обращается к документальной литературе, возрастает его ответственность как историка, потому что талантливо переданный исторический факт останется в памяти народной именно в его авторской трактовке. Так, в ряд героев Бреста навечно встал писатель Сергей Смирнов; трагический поход партизанской бригады по финским тылам уже неотделим от его прочтения Дмитрием Гусаровым. Бывают случаи, когда ошибка писателя долгие годы отзывается в памяти людской. Историки имеют право на ошибки, они могут отказаться от неправильных воззрений, написать новые книги. А что делать писателю, если в книгу, может, и не по его вине вкралась историческая ошибка? Ведь подчеркивается целая жизнь! Какова же должна быть художественная интуиция писателя, его ответственность перед другими поколениями, чтобы документальная его проза стала голосом эпохи, свидетелем времени?

Выросло новое поколение советских людей, к счастью, не знающих, что такое война, но обязанных и стремящихся понять истинную тяжесть народной победы. Это к ним, может быть, прежде всего и обращены книги документальной прозы о войне!

Художественно-документальная проза...

Есть в этом жанре своя опасность. Не так легко согласовать законы художественного повествования с сухой строчкой документа, трудно избежать соблазна подчинить документ сюжетной линии книги. Даниил Гранин пишет: «Если же разобраться в том, откуда все-таки берется потребность писать прозу документальную, то, пожалуй, объясняется это тем, что в какой-то момент у меня возникает вдруг недоверие к сюжету. Начинаешь ощущать сюжет как сочинительство! Не всегда ложь, но всегда условность. Выстраивая сюжет, я волен делать с ним что хочу. Иное дело — жесткие пределы конкретных фактов, в которых не посвоевольничаешь. Тут требуются другие качества прозы, другие средства выявления идеи».

В документальной военной прозе писатели обращаются к очевидцам, понимая, как неодолимо уходят из жизни участники великих событий, сменяясь молодым поколением, не знающим войны и иногда воспринимающим ее несколько картинно, беллетризованно. Чувство незаживающей памяти фронтовиков помогает родившимся в мирное время выработать свою позицию к миру и войне, рождает у молодых чувство ответственности за будущее на земле. Художественная проза может быть прозой вообще о человеке на войне. Художественно-документальная проза — о конкретном человеке на конкретной войне. И здесь писателю приходится отвечать за каждую строчку и перед людьми и перед историей.

«Я чувствовал себя обязанным воздать должное не придуманным, а реальным бойцам и командирам. Мне хотелось, чтобы память об этих людях осталась где-то запечатленной. И я решил писать документальный роман», — объясняет бывший партизан Дмитрий Гусаров интерес к своей теме.

И вот отклик на это:

«Вы написали книгу суровую и точно соответствующую своему очень обязывающему названию «За чертой милосердия», — обращается К. Симонов к Д. Гусарову. — И нравственная сила людей, с которых писана Ваша книга, именно потому и очевидна, что с достаточной очевидностью и подробностью рассказано о том, в каких жесточайших условиях проявляли эти люди мужество, терпение, стойкость, человеколюбие и каких усилий им все это стоило — и нравственных и физических».

Развитие художественно-документальной прозы о войне, несомненно, было вызвано самой жизнью, стремлением передать новым поколениям моральные ценности наро-

да, героические традиции нашей армии, привить молодежи ясное понимание своего гражданского долга. Не для каждого подвига находился свой Фурманов. Разные бывают причины, об одних некому рассказать, погибли очевидцы, пропали архивы, о других в свое время нельзя еще было рассказывать, не пришла пора.

В повести Бориса Гусева «За три часа до рассвета» говорится о жизни и деятельности легендарного ныне советского разведчика Кузьмы Гнедаша и радистки Кларты Давидюк.

«Потопил 10 пароходов и 14 барж. Пустил под откос 21 эшелон с живой силой и боевой техникой противника. Уничтожил более тысячи фашистов» — так лаконично сообщает о его действиях справка из личного дела. Перед писателем стояла задача — передать народу на «постоянное хранение» образ замечательного советского патриота, коммуниста, разведчика. Борис Гусев смещает в книге жанр путевого репортажа по местам действий Гнедаша с воспоминаниями очевидцев, документами из наших и немецких архивов, анализом происшедших событий.

Герои книги — живые люди. Писатель не боится показать их слабости, сложности взаимоотношений. Он утверждает — Кузьма Гнедаш и его соратники не были созданы для войны, их героизм вызван войной, поломавшей мирные планы. Они сделали все для победы, но рождены были для мира, для любви и труда созидательного. Это не те сильные личности, которым противопоставлена спокойная жизнь, не любители острых ощущений. Руководитель разведцентра бывший учитель Кузьма Гнедаш вовсе не похож на бесшабашного, храброго от избытка сил военного, не похож он и на железного супермена, стоящего над толпой. За его героизмом всегда продуманность, основательность. Но в трудную для Родины пору именно такие, как он, вышедшие из народа, рожденные для мира Гнедаши становятся подлинной опорой Родины. Им нужен мир, они знают его истинную цену.

Для психологического исследования документа военных лет необходимы не только

художнический дар, но и незаживающая память войны в сердце самого писателя. Эпиграфом к роману «Можжевательник выстоит и в сушь» эстонский прозаик Юло Туулик взял слова Альберта Швейцера: «Тот, кто избавился от боли, не смеет думать, что он теперь свободен и может снова жить, как прежде. Теперь, когда он познал, что такое боль и страх, он должен помочь бороться против боли и страха...»

Эпиграф ведет нас и по роману эстонского прозаика. Ребенком его вместе с жителями полуострова Сырве под страхом смертной казни насильно вывезли в Германию. Ему немного за сорок, но он — очевидец войны. В его романе — факты, рассказы, документы. Кто пережил те дни, обязан передать все краски событий того времени другим поколениям, чтобы люди помнили, что несет с собой фашизм.

Так документом часто становится память писателя. Поэт Сергей Орлов писал о повести В. Курочкина «На войне как на войне»: «Римляне считали, что матерью прозы была память. И в данном случае поражает именно память той войны, которая уже далеко за горами, но атмосфера, все детали, сам воздух, быт этой войны написаны удивительно точно, с той творческой памятью, без которой не бывает художника...»

В художественно-документальной литературе память соединяется с документом, память художника помогает отбирать самые нужные документы. Вот почему лучшие художественно-документальные книги о войне все же написаны писателями-фронтовиками.

Огромна воспитательная роль художественно-документальной прозы о войне. Образы и свидетельства, идеи и факты этой прозы служат народу для познания самого себя, своего места в истории. Книги фактов и конкретных событий становятся книгами общественного бытия, ибо несут в себе частицу подлинной правды времени. А она в том, что народ выстоял, народ победил.

Не мог не победить!

---

ЯКОВ ВАРШАВСКИЙ



## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

*Заметки критика*

Этот род театрального представления существует давно, а точного названия ему еще не придумали. Может быть, надо назвать его Театром улиц и площадей? Но его спектакли можно увидеть теперь и в громадном Дворце спорта, и во Дворце культуры, и в киноконцертном зале. На стадионе. На площадке мемориала В больших городах и небольших поселках В деревнях, станицах, аулах.

Иногда их называют театрализованными представлениями, но это уж совсем неточный термин — ведь где представление, там и театр. Иногда говорят: массовый спектакль. Можно было бы на этом определении остановиться, если условиться: существенно не то, что его многие смотрят, а то, что в нем нет деления на зрителей и участников — все участвуют, все смотрят. В самом деле, если обыкновенный спектакль играют перед многими тысячами людей где-нибудь на открытом воздухе, его природа от этого не меняется. Разве что меньше удобных позиций у актеров и зрителей. Но вот если все присутствующие участвуют в действии — тогда другое дело. Тогда это, в самом деле, театр особого рода.

А существенно ли это — участие людских множеств, грандиозность представления? Нет ли тут влечения к показному величию, к декоративным эффектам? Бывает и так. Но в талантливой постановке масштаб действия — тоже образ, образ судеб народных. А это и есть лейтмотив театра, о котором идет речь — судьбы народа, его торжества и беды.

Как это ни странно, такой театр редко попадает в круг внимания публицистов, критиков, искусствоведов. Может быть, потому, что его представления, как правило, однократны. О знаменитых массовых представлениях первых революционных лет, о

спектаклях на Дворцовой площади перед Зимним дворцом, на Неве, перед Биржей написано несравненно больше и обстоятельнее, чем о больших зрелищных действиях наших дней. А ставятся они намного чаще, теперь — повсюду. Состоялись сотни постановок, посвященных событиям 1944 года — освобождению наших городов и сел от фашистских оккупантов. Инициаторы внесли в них немалую сценарную и режиссерскую изобретательность, а во многих случаях просто уникальные драматургические находки. Представления — некоторые я видел — оставили глубокий след в душах зрителей. Еще большего размаха и нравственного подъема следует ждать от спектаклей 1985, юбилейного, года, но для этого театр особого рода должен полнее раскрыть свои возможности.

В чем они?

В соединении массового начала с личным — прежде всего. Великолепные шествия, грандиозные фейерверки, участие авто- и мотоколонн, гимнастические пирамиды, выступления хоров и танцевальных коллективов производили и производят сильнейшее впечатление, но как вместе с тем западает в душу представление, если драматург и режиссер нашли способ дать крупным планом одного, другого, третьего человека, выхваченного из массы, олицетворяющего ее!

В этом отношении массовый театр делает только первые шаги, еще как бы сомневаясь, по плечу ли ему такая задача. С самого начала своей истории, с знаменитых постановок на площадях революционного Петрограда, Москвы, Киева, Харькова, театр под открытым небом умел образно воплощать могущество революционного народа. Авторы — режиссеры — в те годы просто не задавались целью обратиться к

проблемам отдельной личности. Блестящее постановочное изобретательство отличало представления, задуманные и поставленные К. Марджановым, А. Пиотровским, другими режиссерами-новаторами, но в них не найти обращения к личности конкретного участника революции. В первое послеоктябрьское пятилетие массовый театр ушел вперед в воплощении современной темы. Его открытия, его патетика перешли как бы по эстафете в кинематографию, в такие эпические фильмы, как «Стачка» и «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина, в спектакли молодых театров Москвы и Ленинграда, определив их образный строй, ритм, интонацию. Затем обнаружилось вот какое обстоятельство: «Было достаточно немногих фильмов, чтобы водворить образ коллективизма «вообще» на экран. Встал общестранный интерес к индивидуальности внутри коллектива, интерес к взаимодействию коллектива и личности»<sup>1</sup>. Это строки Сергея Эйзенштейна, несравненного поэта киноэпоса

В личностном подходе к современности, вовсе не отменяющем, а, наоборот, обогащающем поэтику эпоса, театр под крышей был более деятелен, более пронизателен и быстрее достиг очевидных успехов, когда Эйзенштейн и художники его круга еще только искали «формулу перехода» к новому образному строю.

Послушаем еще одного первостроителя социалистической художественной культуры — Г. Козинцева. «Массовые зрелища на площадях прекратились не случайно, недолго был и век героя — массы в литературе. Шло время, и становилось ясным, что, позабыв про человека, мало что можно понять и в истории. Решительные бои шли не только на строительных площадках и колхозных полях, но и в духовном мире человека. Проникнуть в этот мир, открыть его на экране оказалось куда труднее, чем снять тысячную массовку или смонтировать действие, происходящее сразу во всех четырех частях света»<sup>2</sup>

Козинцев был сам причастен к «театру площадей» и сохранил на всю жизнь любовь к этому могучему проявлению творческой силы советского искусства. Он ошибался, когда писал, что массовые зрелища прекратились, — нет, они продолжались и продолжают, но вот в чем Козинцев безусловно прав: в 30-е годы и

позднее эти зрелища уже не производили такого потрясающего впечатления, как в начале 20-х годов.

Рассуждение Г. Козинцева о массовых представлениях предваряет его рассказ о постановке фильма «Одна» (1931). Это был фильм о ленинградской учительнице, уехавшей на Алтай по зову долга в село, где хозяевами положения были еще кулак и шаман. Козинцев пишет: «В слове «Одна» теперь трудно услышать что-то странное, привлекающее внимание, но по тем временам название было полемическим. Мы вступали в спор».

О чем, собственно, шел спор? Это в самом деле трудно сегодня уловить. Спорным казалось намерение художников показать судьбу масс в судьбе одного человека, ленинградской интеллигентки, бросившей вызов старому укладу деревни. И одна в поле воин — так можно было понять фильм, так его и понимали. Спорным казалось то, что силу, убежденность, энергию масс показывают в образе одинокой, вовсе не воинственной женщины — ее играла Елена Кузьмина, актриса совсем не монументального, не патетического плана.

В те годы, когда снималась «Одна», тот же Адриан Пиотровский, драматург, режиссер, теоретик, стоявший горой за массовое представление, стал художественным руководителем (не столько по званию, сколько фактически) киностудии «Ленфильм». Он был вдохновителем и деятельным участником постановки таких фильмов, как «Чапаев», «Депутат Балтики», «Член правительства», где крупным планом была дана личность, олицетворяющая революционную массу, во взаимодействии с массой. В этом было новое слово советской кинематографии, принесшее ей мировую славу.

И театр под крышей после спектаклей, где действовала масса, — таких, как «Зори», «Земля дыбом» В. Э. Мейерхольда, — поставил пьесы иного характера — «Любовь Яровую», «Бронепоезд 14-69», «Моего друга». В них и образ массы, и ее самопознание: судьба человеческая была взята как частный случай судеб народных.

Не так давно вышла в свет небольшая книга режиссера массовых представлений А. Силина «Площади — наши палитры», в ней собран и детально рассмотрен опыт многих его коллег. Но вот с чем хочется поспорить.

А. Силин пишет: «„Прекрасное должно быть величаво“ — эта пушкинская формула как нельзя более подходит к искусству массовых форм. Поэтому нет в нем по-

<sup>1</sup> Сергей Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах М. «Искусство». 1968, т. 5, стр. 76

<sup>2</sup> Г. Козинцев. Глубокий экран. М. «Искусство». 1971, стр. 149.

лумер, полутонов, рефлексий и колебаний. Его волнует не судьба «маленького человека», а судьбы народные». Так А. Сидин определяет особенность и призвание массового представления. Но, если уж вспомнить о Пушкине, заметим, что поэма эпического размаха и величия — «Медный всадник» — выстроена Пушкиным именно на судьбе «маленького человека» и его образ, где есть и полутон, и рефлексия, прекрасно сочетается с монументальными образами Петра, его столицы, с эпосом державы.

На страницах этой же книги находим важное наблюдение другого режиссера, большого мастера массовых зрелищ М. Сегала: «Законы зрелища на стадионе таковы, что отлично просматриваются как один артист, так и большие группы исполнителей, но небольшие группы в 15—20 человек теряются». Этот режиссер на собственном огромном опыте убедился, что герой — солист вправе занять место в массовом спектакле.

Об эстетике массового театра идут содержательные споры в стенах Всероссийского театрального общества на симпозиумах и семинарах, собирающихся регулярно. Теперь это распространенная профессия — режиссер массового представления, хоть и не везде узаконенная.

Опытные мастера встречаются здесь с новичками, вчерашними студентами. Режиссер Кировского завода (теперь есть на Кировском заводе свой режиссер!) делится соображениями с режиссером Большого театра, занимающимся грандиозными постановками к юбилейным датам и другим событиям. На товарищеских дискуссиях взят тон полной откровенности и максимальной «информационности» — ведь увидеть постановки коллег удается немногим.

Итак, о соединимости массового и индивидуального. «сольного». Хочу привести пример не очень известный, но любопытный.

В 1904 году к Шаляпину, гастролировавшему в Харькове, пришла депутация от рабочих с предложением спеть что-нибудь в Доме рабочих, созданном на их средства. Шаляпин охотно согласился, как он говорил, спеть для людей, из среды которых сам вышел.

У Дома рабочих собрались в назначенный день тысячи людей. Кто-то перерезал электропроводку — возможно, это было делом рук полицейских, но от того, что не зажглись люстры, необыкновенное выступление Шаляпина только выиграло: в ру-

ках собравшихся появились зажженные свечи.

Нетрудно представить себе эффект!

«Это был не концерт, — писал потом Шаляпин, — а какое-то богослужение в темной пещере; когда я выходил на сцену, по бокам у меня торжественно шагали двое рабочих со свечами в руках, каждый из них держал по две свечи... Публики я не видал — предо мною простирался некий мрак египетский, и в нем, не дыша, что-то жило — огромное, внимательное, страшно-важное и волновавшее меня... Стоя перед этой черной и немой пустотой, я пел романс за романсом, рассказывая о композиторах, объяснял, что тот или другой хотел выразить своей музыкой... Я начал петь в 4 часа, не замечая времени, не испытывая утомления... Я обратился к рабочим с предложением петь хором — они шумно согласились. Спели «Ой у лузи», потом «Вниз по матушке по Волге», но все это не подходило к настроению. Тогда я предложил спеть «Дубинушку», и хор спел ее с удивительным подъемом. Хотя и в темноте, ибо свечи уже догорели, на сцене мерцала только одна, — я все-таки дирижировал, размахивая рукою».

После Харькова, в Киеве Шаляпин решил повторить выступление при участии всех присутствующих, а их было несколько тысяч.

«Не хвастаясь, скажу — пел я, как никогда в жизни не пел! — писал Федор Иванович. — Настроение было удивительно сильное, возвышенное... Много раз пел я «Дубинушку», пел ее с большими хорами, с великолепными оркестрами, но такого пения не слышал никогда до того дня, когда хор в 6000 человек грянул: «Эх, дубинушка, ухнем!»<sup>3</sup>

Горький писал Шаляпину, что видит в нем воплощение силы своего народа. Вот истинное содержание этих двух неожиданно возникших спектаклей. Разве нет в них подсказка режиссеру наших дней?

Теперь вспомним сенсацию шестидесятих годов — вечера поэзии во Дворце спорта. Выходил ко многим тысячам людей стихотворец, и как его слушали! Это был не обычный литературный концерт, а особое поэтическое действо — приобщение тысяч людей к современной поэзии. Оно, это действо, захватывало: поэта обнимала с трех сторон грандиозная масса людей, желающих разделить его мысли, эмоции.

<sup>3</sup> «Федор Иванович Шаляпин». В трех томах. М. «Искусство». 1959, т. I, стр. 199—200, 203.

До этого существовал на улице Горького крохотный Театр поэзии, человек на сто, а может быть, и меньше. Непросто было разыскать его между магазинами. Очевидно, кто-то решил, что Театр поэзии для престижа столицы открыть не мешает, но публика в него не пойдет. Оказалось, что даже во Дворец спорта в дни поэзии билета не достать.

А если бы изобретательный режиссер соединил выступление поэта с другими искусствами?!

Одной из популярнейших телепередач стали после этого вечера поэтов, а потом и прозаиков в Останкино. Личный контакт с писателем был в прошлые века привилегией узкого круга посетителей литературных салонов, нынешний останкинский телесалон вмещает миллионы людей. Оказывается, так важно видеть лицо поэта, слышать его голос, улавливать, что значит слово для автора, как он его произносит, какие страсти заключены в нем. Это уже не декламация, это — Театр в высоком значении. В свое время Владимир Яхонтов доказал, что театр одного актера может предстать перед любой аудиторией. А нашел этот театр свое лицо, свой метод в поэтически-пропагандистских выступлениях в цехах — в обеденный перерыв, после смены. Никто не считал этот метод интимно-камерным, он был своего рода лабораторией театра, обращенного к самым широким аудиториям. Недаром новые книги, учебные пособия, написанные для людей, изучающих сегодня искусство массового представления, полны примерами из яхонтовских пьес-монтажей. Закономерным было уже то, что театр нового назначения изобрел свою особую драматургию, вобравшую в себя и классический опыт театра, и совсем новый тогда опыт кинематографического монтажа. Так и растет теперь это искусство на стыке трех искусств — традиционной сцены, кинематографии и телевидения.

В доказательство того, что массовое и солидное могут быть единым художественным целым, приведу еще один пример. Театровед и киновед А. В. Февральский, сделавший много для собирания и пропаганды литературного наследия Мейерхольда, Маяковского и их единомышленников в искусстве, спросил однажды Владимира Владимировича, какие еще были у него театральные работы, кроме известных пьес. Маяковский ответил: его выступления в Политехническом — тоже театр. В самом деле, это были спектакли, и спектакли выдающиеся. Вот поэт выходит на эстраду,

становится на самый край подмостков и как бы нависает над залом. Его жест, голос создают образ необъятного пространства, даже если он выступает в тесном, невысоком зале писательского клуба на улице Воровского. Эти спектакли всегда поражали неожиданностью, но было в них и нечто неизменное — напряженная драматургия борьбы, а не просто остроумных перепалок — с мешанством, косностью, злобным индивидуализмом. И вот почему это всегда был театр, а не просто концерт: сам зал тоже был действующим лицом, участвовал в зрелище — аплодисментами, громоподобным хохотом, острыми репликами.

После одной театральной премьеры в Ленинграде (о ней дальше) Владимир Владимирович сказал: ему необходима другая сцена, от Троицкого моста до Фондовой биржи.

Тогда такую сцену режиссеры заполняли многотысячной массой. Сегодня мы в силах вообразить, какой потрясающий спектакль можно было бы поставить на такой сцене отдав ее поэту. В. Б. Шкловский вспоминает: явившись на радиостудию, Владимир Владимирович спросил про микрофон: «А сколько за ним?» Ему ответили: «Весь мир» «Ну, этого достаточно», — пошутил Маяковский. В этой шутке слышится, однако, и органичная для Маяковского жажда масштаба, когда слово поэта обращено к «векам, истории и мирозданию».

Современный массовый театр мог бы сыграть и непременно сыграет «Василия Теркина». В золотом фонде радио хранится запись исполнения поэмы Твардовского Дмитрием Орловым. Это шедевр актерского творчества, художественный уникум. Какой заушеванный, и юмористический, и горестный, и патетический тон нашел прекрасный артист, читая лирическую книгу о бойце! Орлов видел в поэме сочетание лирического и эпического начал и потому читал некоторые главы в сопровождении симфонического оркестра. Это была блестящая находка. Полагаю, что сегодня можно осуществить массовое представление о Теркине с фонографий. И, наверное, режиссер найдет форму включения в такой спектакль сегодняшних тем, мотивов, образов, коллизий.

Жизнь подсказывает самые различные формы сопряжения «коллективного» и «индивидуального». Вот одна из находок этого года. Есть на Украине село, где стоял перед операцией по освобождению Харькова штаб Конева. Здесь решено было на-

чать многодневное представление, посвященное годовщине события Эстафете праздника предстояло двигаться по маршруту победоносных войск. Разговорившись с жителями села, режиссер узнал, что здесь по сей день живет колхозница, отдавшая фронту четырех сыновей. Ни один с войны не вернулся. Когда пришла похоронка на четвертого, старая женщина продала свою хату и вырученные деньги послала в Москву чтобы на них был построен танк.

Подумать только: продать не что-нибудь, а родной дом, крышу над головой, только бы дать армии еще одну боевую машину!

О подвиге матери четырех солдат молодые жители села даже не знали. Режиссер отыскал эту женщину и решил в день начала массового праздника чествовать ее всенародно.

Она оказалась бодрым, энергичным человеком. Когда режиссер попросил ее принять участие в празднике, она согласилась, только покачала головой и негромко сказала: «Ой, что вы наделали сынки!»

В день праздника режиссер представил героиню собравшимся на местном стадионе. Когда она заняла предназначенное ей почетное место на трибуне, односельчанка, потрясенная рассказом о ней, поставила перед старой женщиной сыновей и внуков и сказала: «Вот смотрите, на кого надо молиться!»

Время превратило жестокою трагедию в торжество человечности, личное стало нервом общего действия, характер скромной крестьянки — воплощением народного характера. Фактическое, документальное оказалось как бы самородным художественным образом. Так бывает в лучших произведениях документального кино, в самых удавшихся телевизионных программах. Может быть, эти программы и подсказали режиссеру эпизод благодарения героини.

...Молодых людей провожают на армейскую службу. В этот весенний день взволнованные, празднично одетые жители станицы Днепровской ведут сыновей к священному месту — мемориалу Славы. Здесь будущим солдатам дают наказ служить Родине так, как служили девять братьев Степановых — уроженцев станицы. Все девять отдали жизнь за отечество. Их мать, Епистиния Федоровна Степанова, стала национальной героиней. Усадьба семьи на хуторе, колодец, сад, посаженный Епистинией Федоровной и ее сыновьями, охраняются как память о героях.

Поздно вечером при свете прожекторов в факелов состоялся у мемориала Славы

театрализованный митинг. «Был в этом необычном представлении, — писал корреспондент «Правды», — один особенно волнующий эпизод. В сумерках тенистой аллеи шли девять девушек в белых платьях. В руках они несли красные мешочки с землей, доставленной с мест гибели братьев Степановых. Это земля Халхин-Гола и белорусской деревни Великий Лес, Брестской крепости и берегов Днепра, Курской дуги и Днепропетровска... Мать получала похоронки: «пал смертью храбрых», «растрелян фашистами», «погиб во время атаки», «замучен в концлагере»...

В первых массовых представлениях активности «солистов» мешало отсутствие технических средств, позволяющих усиливать на площади звук голоса. Это препятствие казалось тогда неодолимым. Один из первых теоретиков массовых представлений Е. Кузнецов предсказывал, что режиссеры будут пользоваться коллективно-групповой декламацией, речитативом, общим возгласом, стоном, ропотом, криками возмущения, восклицаниями радости. Выбор ограниченный. Но с тех пор режиссер получил разнообразный инструментарий — микрофоны, усилители, фонограммы и т. п. Сегодня вовсе не проблема где угодно и как угодно усилить голоса персонажей в монологах, диалогах, не превращая речь в крик.

...Празднуется День Победы в одном из рабочих поселков Урала. С утра празднично одетые участники действия начинают шествие. У дома, где живет родня солдата, не вернувшегося с войны, они поют песню. Украшают дом увеличенным портретом солдата, кумачом, красной звездой. Это праздник, как поется в песне, «сединою на висках». Мысли о войне и мире обретают по ходу этого действия особую, волнующую предметность.

И всюду есть выдумщики — организаторы, дипломированные или самодеятельные режиссеры, умеющие внести в праздничное представление сердечность и торжественность. Я познакомился недавно с такими представлениями в небольших городах Верхневолжья. Как много здесь своих мотивов для праздника-спектакля! Вот их красноречивые названия: «Цветы вдовам», «Золотая свадьба», «Солдатские письма», «История одной фотографии», «Волшебный фонарь». Это названия представлений, хорошо задуманных и осуществленных в Калашникове, Нелидове, Конакове, в других городах текстильщиков, кожевников, стекольщиков, химиков... В Конакове на знаменитом фарфоровом заводе пытливые

люди обнаружили, что еще в 1904 году здесь был создан Театр диапозитивов. Нашли и «волшебный фонарь», и диапозитивы, запечатлевшие ряд эпизодов, относящихся к нескольким десятилетиям, и даже старинные афиши этого театра. Так родился спектакль об истории завода; в нем участвовали, так или иначе, все присутствующие. Он начинался демонстрацией старых диапозитивов и переходил в спектакль о людях, работающих на заводе сегодня.

«История одной фотографии» — любопытнейшее театрализованное представление, сложившееся на основе одной счастливой находки: нашли старый фотоснимок, на нем узнали себя двадцать человек, энтузиасты знаменитой в свое время рабочей инициативы «Договор тысяч». Все двадцать оказались живы, их судьбы сложились по-разному. Рабочие, ставшие государственными деятелями, встретились на сцене со старыми товарищами по цеху, продолжающими работать там же. Эпоха предстала в ярких человеческих биографиях.

Или такой сюжет: организаторы вечера, посвященного теме «Человек и время», нашли в рабочих семьях сохранившиеся солдатские письма с фронта. Читали их вслух, рассказывали, как сложились судьбы тех, кто писал и кто получал эти треугольники. Да ведь это невыдуманная драматургия самой жизни, распространение которой предсказывал Лев Толстой!

Весь мир знает о сталинградском Доме Павлова. Отделение сержанта Якова Павлова, как известно, удерживало его несколько недель, отражая атаки фашистов. Работники Новгородского радиокомитета разыскали самого Якова Павлова среди жителей своего города. Он рассказал историю знаменитого дома, носящего его фамилию. Рассказ получился свободным от риторики и словесных стереотипов. Герой величайшего сражения объяснял стойкость маленького подразделения, которым он командовал, интернациональной дружбой своих бойцов. Как и в годы гражданской войны, единство людей разных национальностей было одним из самых могущественных доказательств правоты и благородства дела, которому они служили.

Если фонограмма рассказа Павлова сохранилась, почему бы не сделать ее основой представления, посвященного Победе?

Понятие народ в таком представлении олицетворялось бы личностями людей, устоявших в боях на берегу Волги, личностью самого Павлова, русского воина, прославившего свой народ.

В Киеве состоялось представление, посвященное 40-летию освобождения города от фашистских захватчиков (режиссер Б. Шарварко). Мне запомнился ряд интересных режиссерских находок. Вот одна из лучших: в хронике военных лет была найдена кинолента, снятая на митинге в день освобождения. На нем вслед за выдающимися военачальниками выступал танкист Герой Советского Союза Шашков. Режиссер заинтересовался биографиями участников митинга, и оказалось, что танкист стал доктором наук, профессором Киевского университета. Его разыскали, пригласили участвовать в представлении. Он согласился и стал одним из тех «солистов», в биографиях которых зримо предстала судьба народа.

Готовя представление в Ташкенте, драматург и режиссер Д. Генкин, автор содержательных трудов, убежденный сторонник и пропагандист «личной» темы в массовом действе, был увлечен образом А. П. Хлебушкиной: в годы войны она проявляла поистине материнскую заботу о десятках осиротевших детей. Много у Антонины Павловны Хлебушкиной любящих сыновей и дочерей... Антонина Павловна и другие удивительные люди, герои войны без оружия в руках, стали персонажами ташкентского представления.

По-своему, не обращаясь к каким-либо известным образцам, разрабатывает мотив человека на войне бывший фронтовик режиссер С. Китаев в Театре фронтовой новеллы — такой театр существует много лет в Измайловском парке культуры и отдыха. Люди удивительных судеб стали героями коллективных театрализованных представлений, поставленных Китаевым. Исполняется, скажем, фронтовая песня о летчике, бросившем свой самолет на немецкие танки. Когда складывали песню, летчик считался погибшим. Но вот герой появляется перед нами, приходит из прошлого, из легенды. Оказывается, он был контужен при падении на землю, попал в плен, дождался часа освобождения. И вот он перед нами. В постановках Театра фронтовой новеллы, берущих зрителя, как говорится, за живое, немало поразительных историй, и для каждой найдена своя сценарно-постановочная форма.

Здесь, как во фронтовом фольклоре, патетика естественно сочетается с юмором, театр ценит такие сочетания. Весело встретили зрители рассказ актрисы Н. Михаловской, выступавшей в годы войны на многих фронтах и закончившей свой необыкновенный маршрут сольным **концертом** в



здании рейхстага на следующий день после штурма. Н. Михаловская рассказала, как армейский старшина со свойственной этой должности расторопностью приказал перед концертом разведчикам немедленно найти и доставить артистке пудру, а те, не разбираясь в косметических тонкостях, принесли откуда-то тальк...

Впечатляет зрителя, участника массового представления, не только его зрелищная часть, впечатляет — как на вечерах Маяковского — и сама масса, частицей которой он является. Таков особый эстетический фактор, сказывающийся иногда с исключительной силой. Здесь есть отличие от эмоций, испытываемых нами в обычном театре.

На сотом или пятисотом представлении пьесы, имевшей успех, зрители испытывают примерно те же чувства, что и на премьере, изменения происходят почти незаметно. Другое дело — массовое представление, его неповторяемая в буквальном смысле слова премьера. Зрители, участники закрытия Московской Олимпиады-80, были потрясены не только постановкой, осуществленной И. Тумановым, не только тем, как эффектно появился и улетел гигантский Мишка, но и единением людей из множества стран, испытывающих общие чувства в тревожный исторический момент, когда горизонт затянут тучами... Это был невидимый, но важный «компонент» представления в Лужниках.

Массовое игровое действие теперь нередко сочетается с важным реальным событием. В городе Артемовском Свердловской области был поставлен массовый спектакль, посвященный Дню Победы, он назывался «Пусть помнит мир спасенный». Действие начиналось торжественным событием: ветераны войны обращались с напутствием к пятнадцати призывникам, стоявшим строем на площади. Жители рабочего города вручили призывникам капсулы с землей Урала. Грянул духовой оркестр, и призывники зашагали на вокзал для отправки к месту воинской службы. А за три месяца до этого дня ветераны войны, воевавшие в Севастополе, под Ленинградом, Одессой, Киевом, отправились в города-герои с посланиями от уральцев и с уральской землей; к проводам призывников они вернулись с землей этих городов. Состоялся торжественный ритуал: ветераны «породнили», перемешали землю Бреста, Москвы, Ленинграда с уральской землей. Это был и реквием в честь павших героев, и прославление присутствовавших ветеранов-фронтовиков.

Так приобщает «театр особого рода» молодого современника к памяти о днях военных испытаний. А жизнь в ее повседневном течении, — дает ли она повод для массового представления? Уместно ли в нем затрагивать негативное явление, спорную проблему?

Да, уместно, и убеждают в этом опять-таки не теоретические выкладки, а уже состоявшиеся спектакли. Известная на БАМе бригада Александра Бондаря поставила «Премия» А. Гельмана — без особых сценических эффектов, даже без декораций, чтобы играть пьесу можно было где угодно. Постановка рассчитана на то, чтобы сцена вовсе не отделялась от зрителей, чтобы зритель в любой момент мог подать реплику, а то и взять слово на заседании строителей, выступить с речью о местных делах. Пьеса А. Гельмана и написана так, что вызывает желание высказаться — вот бамовцы и добавляют к репликам персонажей свои соображения, вступают в споры. О том, что эти театрализованные «заседания» проходят с успехом, печать общала не раз.

Действующий зритель... О нем мечтал Н. Охлопков, когда ставил «Разбег» в театре «Красная Пресня» и располагал актеров среди зрителей, выстраивал мизансцены так, чтобы они объединяли тех, кто играет пьесу о коллективизации села, с аудиторией.

Режиссеры массовых представлений порой утверждают, что этому роду театра чужд психологический анализ. Как сказать... Когда встает со своего места зритель-участник и говорит с болью, тревогой, волнением о том, что не дает ему покоя, тогда возникает и психологический интерес к действию, к его участникам.

Тесные контакты со зрителем открывают перед постановщиком необозримые перспективы. Можно ожидать от драматургов и режиссеров больших творческих открытий в этой сфере; применение кинематографической и телевизионной техники позволит постановщикам вычленивать среди участников действия отдельных персонажей, солирующих драматических или комедийных героев, с тем чтобы ясно зримым и впечатляющим стало то, что происходит в человеческих душах: внутреннее действие, возникновение сложных чувств, жизнь человеческого духа.

А это значит, что театр массовый может стать теперь и театром психологическим. Это было невозможно, когда не существовало современной кино- и телевизионной техники, позволяющей укрупнять изо-

бражение, приближать его к зрителям на самую короткую, самую «душевную» дистанцию. Теперь и кинокамера, и телекамера становятся достоянием любительских коллективов.

Мысль о включении зрителей в представление никогда не покидала и учителя Охлопкова — Мейерхольда. В финале пьесы В. Вишневского «Последний решительный» (премьера спектакля о будущей войне состоялась в 1931 году) Ведущий просил встать находящихся в зале членов партии, затем комсомольцев, затем всех, кто завтра же, по первому призыву, встанет на защиту революционного отечества. И поднимались в волнении все зрители партера, бельэтажа, галерки. Люди уходили из театра в таком настроении, будто не актеры на сцене, а они сами — участники сценического действия.

В киевском представлении, посвященном 40-летию освобождения города от фашистских оккупантов, на экране шел фрагмент кинохроники: падают фашистские авиамомбы; но падают они, благодаря монтажному «стыку», не на Киев, а на арабский город, на землю Никарагуа, Ливана. В этот момент София Ротару пела: «Земля в опасности! Вставайте, люди!» И все восемнадцать тысяч человек, находившихся во Дворце спорта, вставали и подхватывали песню.

Впечатление от этого было настолько сильным, что актеры, исполнившие в начале вечера свои номера, оставались во Дворце спорта до конца представления, чтобы снова и снова пережить чувство общего единения.

Коротко о «правилах игры».

В 1910 году Вл. И. Немирович-Данченко сделал поразившее его открытие: при работе над «Братьями Карамазовыми» он убедился, что верность реализму вовсе не требует того, что принято называть «четвертой стеной», «публичным одиночеством», и считается непрременным принципом Художественного театра; что тщательно соблюдаемое жизнеподобие вовсе не обязательно для режиссера-реалиста. К. С. Станиславский в те дни лечился в Кисловодске, и Немирович-Данченко, уединившись в гостинице Троице-Сергиевой лавры, написал о своем открытии большое, подробное письмо Константину Сергеевичу. В нем читаем:

«...случилось что-то громадное, произошло какая-то колоссальная бескровная революция... Что же это такое? А вот что.

Если с Чеховым театр раздвинул рамки условности, то с «Карамазовыми» эти рамки все рухнули. Все условности театра, как собирательного искусства, полетели, и теперь для театра ничто не стало невозможным... Театр будут считать: от Островского до Чехова, от Чехова до «Карамазовых» и от «Карамазовых» до... Библии». Немирович-Данченко увидел, что вовсе не обязательна декорация, тщательно воспроизводящая бытовые реалии, она может представлять собой абстракцию, фон, обретающий значение лишь в контексте действия. Он убедился: целое придает смысл частностям. «Надо ставить одни картины на фоне, другие натуралистично, с потолком и карнизами, третьи — чуть не просто живые картины, четвертые — синемаграфом, пятые балетом...»<sup>4</sup> Вот, оказывается, какие свободные художественные формы может сочетать театр будущего! Прогноз Немировича-Данченко осуществляется в массовом театре даже явственнее, чем «под крышей», но и там тоже. А зачем, собственно, спрашивал себя Немирович-Данченко, эта «революция»? Затем чтобы расширить репертуар театра. Ставить не только пьесы и инсценировки прозы, но и роман, и поэму. В этом убедились с тех пор многие режиссеры. Г. Товстоногов поставил «Историю лошади», не приспособив прозу Л. Толстого к формам традиционной драматургии. В. Плучек перенес на сцену поэму Твардовского о Теркине, не придавая ей привычную для театра композицию. Вахтанговцы играют «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, не инсценируя роман. И нет сегодня зрителя, который не улавливал бы, где и когда происходит действие, если само действие красноречиво. К неизобразительным декорациям, изменяющим свое значение в зависимости от контекста спектакля, все давно привыкли. «Бескровная революция» Немировича-Данченко вовсе не упразднила классический синтаксис театра, «четвертую стену», «публичное одиночество» — впереди были «Дни Турбиных», «Дядя Ваня», где и «четвертая стена», и «публичное одиночество» ощущались нами, зрителями, почти физически, но к старому мастерству Художественного театра прибавилось много принципиально нового. И это новое наследует сегодня — вместе с опытом Мейерхольда, Вахтангова — массовый театр.

<sup>4</sup> Вл. И. Немирович-Данченко. Избранные письма в двух томах. М. «Искусство». 1979, т. 2, стр. 40, 42, 43.

Синтез театральных и кинематографических форм — не утопия, не громкая фраза. Кино — это сегодняшний этап развития театра, так полагал Эйзенштейн. Так же представлял себе преемственность двух искусств В. Пудовкин. Телевидение многому научилось и у театра и у кино, а теперь возвращает им долг, учит их своим художественным средствам. Массовый театр оказался местом встречи различных искусств, достигая иной раз результатов, им недоступных. Так, действующее лицо телеспектакля может быть и неактером, его место перед камерами займет, если автор и режиссер этого захотят, реальный герой реального события — в традиционном театре такое невозможно. Неактер в «театре под крышей» беспомощен.

Вот какой эпизод был остроумно разработан в одном массовом представлении, посвященном Дню Победы, явно под влиянием телевидения, в частности передачи «От всей души». В зрительном зале находился ветеран войны, служивший в свое время связистом в штабе Г. К. Жукова. Он потерял в боевых действиях руку и ногу, но хотел непременно принять участие в коллективном рассказе о пережитом.

Как ввести его в представление?

Режиссер придумал для этого эпизод развертывания фронтового узла связи. Эпизод играли на сцене, а к ветерану, находившемуся в зрительном зале, солдаты протянули со сцены провод. На него направили свет. Ведущий вызвал его к полемому телефону, задал вопросы. Не вставая со своего места, фронтовик, отвечая, стал участником представления-рассказа.

Телевидение, легко перебрасывающее действие в любую точку зала, научило театрального режиссера более свободному обращению с игровым пространством.

Как далеко ушел театр наших дней от синтаксиса сцены не только начала века, но и 30-х годов!

В спектакле вахтанговцев эффектно использована новая оптическая, если не ошибаюсь, лазерная техника. Там, где надо перенести действие в будущее, рассказать историю совместного полета наших и американских космонавтов к далекой планете, театр применяет зрелищную новинку — невероятно динамичную игру лучей на абстрактном фоне. И такой эффект доступен театру массового представления, он часто прибегает к средствам новейшей техники

На сцене декорации, которые можно назвать напоминанием о рельсах и шпалах, о юрте, о зоне, где происходят кос-

мические старты. Такая «релятивная» сценография была «опробована» в мейерхольдовском театре. Теперь она просто необходима массовому театру.

В спектакле по Ч. Айтматову есть ведущий, лицо от автора, он же главный герой романа Едигей Буранный — Михаил Ульянов. Он «рассказывает» роман примерно так, как это делал «чтец» в «Карамазовых», но здесь Едигей является и ведущим, и героем спектакля. Время от времени он переходит от рассказа к игре, прямому действию.

Самое трудное в судьбах массового театра — проблема сценария. Может быть, пора подумать о том же, о чем задумались драматические театры — о ресурсах сценичности, заключенных в художественной прозе и поэзии? Пушкинские, гоголевские, некрасовские, жюльерновские сюжеты возникали на народных гуляниях в Петербурге. Знаменитый антрепренер и режиссер М. Лентовский не жалел колоссальных средств на такие же примерно постановки в старом московском «Эрмитаже» — они восхищали Станиславского.

В Ленинграде и в Сочи состоялись массовые театрализованные игры выпускников средних школ по мотивам повести А. Грина «Алые паруса». Популярнейший фольклорный герой Средней Азии Ходжа Насреддин стал героем площадного представления «Праздник дружбы» в столице Казахстана.

Поэму «Хорошо!» Маяковский написал, сотрудничая с ленинградским Малым оперным театром, с режиссером Н. Смоличем, — театр готовил «широко задуманное синтетическое зрелище с применением кино и радио», как сообщалось в газетах. Предназначенность фрагментов поэмы для спектакля легко обнаруживается при внимательном чтении. Поэт принимал участие в репетициях, вносил изменения в текст. Спектакль был поставлен к десятилетию Октября, но, видимо, не вполне удался Н. Смоличу. И можно понять почему — это именно тот случай, когда произведению Маяковского нужна была сцена, как он говорил, от Троицкого моста до Фондовой биржи. Можно ожидать нового театрального воплощения эпической поэмы Маяковского. Наверно, ее и поставят в Ленинграде. Таков один из неписанных законов массового спектакля: он тяготеет к историческому месту действия. «Обычный» театр может играть любую пьесу в любой день, только бы хорошо сыграл. Дата массового представления участвует в нем ак-

тивно — зрителям немаловажно, что именно в такой день, как сегодня, произошло то, о чем рассказывает спектакль.

В знаменитых монтажах Владимира Яхонтова газетный факт, исторический документ срастались с аллегорией, условностью. А вот — недавнее представление в ленинградском Октябрьском зале, посвященное годовщине ликвидации блокады И здесь хроника событий свободно сочеталась с поэтическим иносказанием. В эпизоде начала блокады, где звучали голос Юрия Левитана, речь Всеволода Вишневского, на сценической площадке появлялись девушки в хитонах, с площками в руках. Огоньки, мерцавшие на сцене, напоминали о тьме в осажденном городе, они «подсвечивали» оркестру, игравшему 7-ю симфонию Шостаковича. Метафора — это ведь тоже логика, но особая, поэтическая, по-своему доказывающая то, чего иначе не выразить.

Едва ли можно припомнить массовый спектакль, в котором режиссер не обратился бы к чудодейственным возможностям монтажа. И прежде всего к его способности давать новое, более глубокое значение соединяемым «кускам». Монтаж — это не сложение компонентов спектакля, а умножение, даже возведение в степень. Два разнородных фрагмента, поставленные в монтаже рядом, обретают новый смысл. Вот простой пример: в заключительном фильме телесериала «Великая Отечественная» Р. Кармен монтажно соединяет кадры: в одном солдаты торжественным маршем идут по Красной площади на Параде Победы; в другом артиллеристы, обливаясь потом, волокут орудия в гору. Монтажное сцепление двух фрагментов — парадного и буднично-трудового — не требует комментариев. Такой монтаж, изобретенный кинематографом, очень кстати в массовом спектакле. Сегодня он соединяет фрагмент фильма и выступление хора, пантомиму и поэтическое слово, извлекая из таких «стыков», как принято говорить в кино, взрывчатую силу, которой может и не быть в слагаемых по отдельности.

И еще раз скажем: «правила игры» в массовом действе подсказывают неприменную активность зрителя, пусть самую простую. К празднику флота в Центральном парке культуры и отдыха режиссер Б. Глан распорядилась подготовить сто тысяч матросских синих воротничков и шапочек (бумажных, конечно). Их раздавали при входе в парк всем посетителям. И как село заиграли сто тысяч участников флот-

ского праздника! Иначе и быть не могло — попробуй остаться безразличным и скучным, если на тебе матросская форма... Азбучно простой прием, а эффект был немалый.

«Театр особого рода» приобрел такое очевидное общественное значение, что пора подумать о постоянно действующем коллективе сценаристов, режиссеров-постановщиков, сценографов, технических специалистов по свету, звуку, сценической механике. Здесь драматурги нашли бы компетентную оценку своих замыслов, молодые режиссеры проходили бы стажировку; здесь готовились бы сложные, экспериментальные постановки.

Что сказать о недочетах и промахах «театра особого рода»? Сами режиссеры этого театра, обсуждая свои профессиональные проблемы, сетуют на засилье стереотипов, повторения однажды удавшегося. При этом отмечается — совершенно справедливо, — что театральная критика, обращаясь к этой сфере искусства, нередко ограничивается дежурными похвалами либо репортерскими сообщениями. Между тем профессиональная критика могла бы привлечь внимание деятелей массового театра на весьма типичные для многих постановок недостатки: срывы в риторику, тягу к устоявшимся штампам, «ультрасовременным» эффектам, модничанию и т. п. Взыскательная критика, нетерпящая к безвкусице и дешевому «популярничанию», могла бы способствовать повышению уровня массовых представлений.

Особый разговор — об участии в этих представлениях коллективов художественной самодеятельности. Большому, можно сказать, святому делу совершенно противопоставлены нравы иных музыкальных групп, лишенных всякого эстетического вкуса, иных драмкружков, безответственно протаскивающих на подмостки серый репертуар... Если угодно, в массовых представлениях содержится своего рода противоядие против некоторых проникших в художественную самодеятельность болезней.

В своей практике «театр особого рода» не противопоставляет себя искусству «традиционному», на чем настаивали проектеры, а действует совместно с ним. Массовое представление граничит и с театральным спектаклем, и с бытовым обрядом. И это в природе вещей. Порою исчезают границы между театром под крышей и массовым представлением — о чем как раз и мечтали Марджанов, Охлопков, Радлов, Смолич, другие замечательные режиссеры

драматического и оперного театра. Последней постановкой Всеволода Мейерхольда был физкультурный парад на Красной площади летом 1939 года — великий режиссер работал над ним во всю свою творческую силу.

Сегодня стали реальностью такие проявления «жизни человеческого духа», какие только предсказывали люди поколения Маяковского, Мейерхольда, Вахтангова.

Есть в Сочи, на территории Института горного садоводства, удивительное Дерево дружбы. В двух словах история его такова: мастера-садоводы вырастили дерево, к ветвям которого сделаны прививки всех цитрусовых. Они удались. После этого государственные и общественные деятели всех континентов, выдающиеся мастера искусств, знаменитые герои труда, космонавты, славные борцы против фашизма и реакции оставили здесь свои живые «автографы» — новые и новые прививки. Земля у корней дерева также стала «интернациональной» — здесь соединились горстки земли Сталинграда, Ленинграда, Бреста присланные сюда с полей битв граждан-

ми этих городов, здесь же — земля Лидице, Маугхаузена, уничтоженных фашистами деревень, впитавшая в себя кровь мучеников и героев..

Бывают дни, вечера, когда у Дерева дружбы собираются делегации из разных стран, гостящие в Советском Союзе, и тогда самопроизвольно возникают необыкновенно впечатляющие массовые действия, без специально обдуманных сценариев и тщательной режиссерской подготовки.

Одно слагаемое непременно присутствует в каждом выступлении — общее глубокое волнение. Это, собственно, и не выступление в обычном смысле слова, а просто изливание души — так, несколько старомодно, можно назвать импровизированные вечера у сочинского Дерева дружбы. Границы между исполнителями и зрителями здесь быть не может, желание поделиться охватившим тебя волнением — единственный и общий стимул участников этих встреч, оставляющих неизгладимый след в памяти каждого, кому посчастливилось побывать у Дерева дружбы и испытать высокое чувство единения с людьми всех рас и наций.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Левин. На много лет вперед... — И. Питляр. Живые души. — Елена Юнина. Достоинство человека. — В. Кантор. «Парижские письма» и их автор.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Грунт. «Побеждены в масштабе всероссийском...» — О. Алякринский. Америка крупным планом.

## Литература и искусство

### НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЕД...

Ольга Берггольц. Избранные произведения. (Большая серия «Библиотеки поэта») Л. «Советский писатель». 1983. 607 стр.

До Великой Отечественной войны стихотворные книги Ольги Берггольц можно было пересчитать по пальцам одной руки. Зато в годы войны и в послевоенное время они стали выходить, пожалуй, не реже, чем у самых известных поэтов ее поколения. Достаточно сказать, что за последнее десятилетие жизни Берггольц вышли два собрания ее сочинений: двухтомное в 1967 году и трехтомное в 1972—1973 годах.

Листаю томики первого собрания сочинений, вспоминаю, как безуспешно гонялся за ним по московским книжным магазинам и в конце концов случайно купил далеко за городом, приехав на выступление в один из подмосковных домов культуры. В этом собрании сочинений стихам отведен лишь первый том. Полного представления о поэтической работе Ольги Берггольц, продолжавшейся больше четырех десятилетий, оно, конечно, не дает.

Значительно шире поэзия Берггольц представлена во втором, трехтомном собрании ее сочинений. Отказавшись от жанрового принципа (отдельно стихи и отдельно проза), автор построил это издание хронологически и показал свое творчество как единое целое в его движении и развитии.

Трехтомное собрание сочинений мне не пришлось покупать. Ольга прислала его, написав на первом томе: «Милому Левинше Левину, поистине старому другу —

по испытаниям, по судьбе — с любовью. Ольга Берггольц. Февраль 1973 г.».

Второму изданию собрания сочинений предпослана «Попытка автобиографии», датированная 1972 годом, то есть написанная, видимо, специально для этого издания. К первому же собранию сочинений предисловие написал — сейчас это может показаться неожиданным — Александр Яшин.

«Попытка автобиографии» закономерно открывает и новый, наиболее полный свод поэтических произведений Ольги Берггольц, вышедший в Большой серии «Библиотеки поэта» (вступительная статья А. И. Павловского, составление М. Ф. Берггольц и А. И. Павловского, подготовка текста и примечания Т. П. Головановой). Своего рода пантеон, каким является «Библиотека поэта», более чем заслуженно пополнился еще одним памятником. Он воздвигнут поэту, чьим именем по праву гордится советская литература.

С такой полнотой поэзия Ольги Берггольц еще никогда не представлялась. Составители проделали поистине огромную и чрезвычайно полезную работу. Помимо малоизвестных, но безусловно заслуживающих читательского внимания стихов, которые Берггольц редко включала в свои сборники, составители в первые опубликовали около сорока стихотворений. Большинство из них относится к довоенному периоду творчества Берггольц и существенно дополняет наше представление



«...Третья зона, дачный полустанок...» не просто «струна в тумане», как бывало у Берггольц в других случаях, а «дѣм, туман, струна звенит в тумане», что существенно меняет характер образа, ощутимо усиливает его поэтическое звучание.

Я пишу об этом не для того, чтобы вести следствие, кто кому что подсказал, а чтобы показать, как пересекалось порой образное мышление Ю. Германа и О. Берггольц, двух ярко талантливых людей, что могло возникнуть лишь по причине их творческой и, наконец, просто человеческой, душевной близости.

Кроме того, мне хотелось подчеркнуть, что благодаря огромной и плодотворнейшей работе составителей М. Ф. Берггольц и А. И. Павловского том «Библиотеки поэта» представляет творчество Берггольц с неизвестной донны прекрасной полнотой.

В поэзии Берггольц нет резкой грани между тем, что она писала в довоенное время и что в годы войны. Вот короткое стихотворение, датированное маем 1941 года:

Я так боюсь, что всех, кого люблю,  
утрачу вновь..  
Я так теперь лелею и воплю  
людей любовь.  
И если кто смеется — не боюсь:  
настанут дни,  
когда тревогу вещую мою  
поймут они

Эти дни настали через месяц. Следующее стихотворение — «Первый день» — написано 22 июня 1941 года: «...И вновь Литейный — зона фронтовая. Идут войска, идут — в который раз!..»

Так началось то, что А. Яшин назвал гражданским подвигом в годы ленинградской блокады. Выстраданная слава Ольги Берггольц действительно «росла, как легенда». Такой легендой стала еще при жизни и сама Ольга — кто из советских поэтов видел себя на сцене и на экране в качестве главного героя пьесы и кинофильма?..

Между довоенными и военными стихами Берггольц нет резкой грани, но тем, что произошло с Ольгой в годы Великой Отечественной войны, было порождено, конечно, новое качество ее поэзии. Она стала подлинным поэтом-трибуном — при всей естественности и простоте своего истинно человеческого голоса.

Наступило то, что сама Берггольц назвала торжественной зрелостью, то, чего — при всех бесспорных достоинствах — все же не хватало ее довоенной поэзии. Впро-

чем, в годы войны это была не только и не просто зрелость. Это был небывалый вдохновенный творческий подъем, вызванный ежедневным подвигом тех, среди кого Берггольц тогда жила, разделяя все испытания, выпавшие на их долю. «Я не героистовала, а жила», «Я тоже — ленинградская вдова» — эти слова нужно было выстрадать, на них нужно было иметь право, и Ольга его имела.

Хотя довоенные страницы тома «Библиотеки поэта» значительно расширились, центр его, сердце, вершина — стихи и поэмы, созданные в годы блокады.

Новая интонация зазвучала в эти годы в поэзии Берггольц — твердая волевая непреклонность воина непостижимым образом сочеталась в ней с мягкой и нежной человечностью. Глубокое сострадание к своим голодающим согражданам никогда не переходило в оскорбительную жалость — они, разумеется, не пожелали бы ее принять. Ольга оплакивала погибших, но никогда не становилась плакальщицей

О том, что произошло в ее душе за годы блокады, Берггольц с несравненной поэтической силой рассказала в поэме «Твой путь», написанной накануне победы, в апреле 1945 года. Вот как она писала в этой поэме о себе:

Здесь, на походной койке-раскладушке,  
у каменки, блокадного божка,  
я новую почувствовала душу,  
самой мне непонятную пока.

Обращаясь к безвозвратно ушедшим в прошлое мирным, довоенным дням, Ольга вспоминала себя мирную, довоенную, стоящую на одном из самых высоких перевалов Кавказа — на Мамисоне. Что же она испытывала при этом? Умиление? Страстное желание стать такой, какой она была тогда, на вершине Мамисона? Как раз наоборот! Мысль о том, что она опять могла бы стать такой, вызывала у нее почти ужас:

Я той боюсь, которая однажды  
на Мамисоне  
искрящимся днем  
глядела в мир с неукротимой жаждой  
и верила во всем ему, во всем...

По этому поводу в примечаниях говорится: «Мамисон — Мамисонский перевал на Кавказе, где О. Берггольц путешествовала до войны». Если бы здесь была поставлена точка, ничто не вызвало бы возражений. Но читаем дальше: «Образ Мамисона неоднократно возникает в воспоминаниях поэта как вершина молодого, ничем не омраченного счастья».



Вот уж чего нет, того нет! Приведу еще одно четверостишие из поэмы «Твой путь»:

...О девочка с вершины Мамисона,  
что знала ты о счастье?

Оно

неласково,  
сурово и бессонно  
и с гибелью порой сопряжено.

Девочка с вершины Мамисона ничего не знала о счастье, смотрела на мир сквозь розовые очки и «верила во всем ему, во всем». Теперь пришла «торжественная зрелость». Нынешняя Ольга — прямая противоположность наивной и прекраснородушной девочке с Мамисона. За плечами у автора поэмы «Твой путь» трагический опыт последнего десятилетия. Теперь она действительно понимает, что такое счастье, выстраданное в огне, прошедшее через самые тяжкие жизненные испытания.

В целом комментатор тома Т. П. Голованова заслуживает самой сердечной благодарности. Конечно, у Ольги Берггольц никогда не было столь удачно составленного и так добросовестно прокомментированного издания, как этот том «Библиотеки поэта». Но образ девочки с Мамисона трактован в примечаниях вопреки своему прямому смыслу.

Вступительная статья А. И. Павловского обстоятельна и серьезна. Автор изданной в свое время книги об Ольге Берггольц А. И. Павловский и на этот раз подтвердил репутацию серьезного и вдумчивого исследователя ее творчества. Но здесь я должен сделать небольшое отступление.

Лет шесть назад я отправил С. Наровчатову письмо, в котором просил его — именно лично его — прочесть мои воспоминания об Ольге Берггольц. Он хорошо знал Ольгу, и мне хотелось, чтобы написанное мной прочитал именно он. Ответа довольно долго не было. Потом пришла открытка: «Ольгу Берггольц я тоже знал хорошо, значение ее мне известно, воспоминания о ней безусловно заслуживают внимания. Вопрос будет лишь о времени и объеме. Журнал очень перегружен. В любом случае принесите... Не отвечал Вам сразу, потому что торчал в больнице».

Через год в «Новом мире» были напечатаны мои воспоминания об Ольге Берггольц, озаглавленные «Жестокий расцвет».

Вступительная статья А. И. Павловского начинается так: «Об Ольге Берггольц давно и справедливо сказано, что для большинства читателей, для народа она как поэт родилась в блокадную ленинградскую зиму 1941—1942 годов. Она и сама согла-

шалась с таким мнением, называя годы Великой Отечественной войны порою своего „жестокого расцвета“».

Начало статьи интонировано так, что в нем сразу слышится полемическая нота. Невольно ждешь, что автор произнесет сейчас «однако», «но», «между тем», «вместе с тем», «тем не менее»... И точно! Следующая фраза вступительной статьи гласит: «Между тем высокая поэтическая деятельность Ольги Берггольц была подготовлена всей ее предшествующей жизнью». И далее: «Однако довоенный период ее творчества по-настоящему еще не исследован».

Однако — теперь настал мой черед сказать «однако!» — увлекшись предметом своего изучения, А. И. Павловский не заметил, что раннее творчество поэтессы стало пафосом его вступительной статьи, вольно или невольно отгеснив на второй план самое главное — гражданский подвиг Ольги Берггольц в годы ленинградской блокады, жестокий расцвет. Из шести глав обширной статьи А. И. Павловского четыре посвящены довоенному творчеству Берггольц и только одна — пятая — ее поэтической работе в годы Великой Отечественной войны. Конечно, это еще мало что значит: одна короткая глава может стоить длинных четырех.

Увы, в отличие от других пятая глава и начата иначе — скучно, вяло, как бы нехотя: «О творчестве Ольги Берггольц в годы блокады написано немало. Лучше всего об этом по-прежнему говорят ее стихи...»

А. И. Павловский утверждает, что Берггольц «сама соглашалась с таким мнением»: как поэт она родилась в годы блокады. Вряд ли Берггольц согласилась бы с «таким мнением». Да, насколько я помню, никто его и не высказывал. «Такое мнение» придумал сам А. И. Павловский, чтобы затем легче и удобнее было его опровергнуть.

О довоенном творчестве Берггольц А. И. Павловский пишет темпераментно и увлеченно. О лучших же ее творениях блокадной поры у него можно прочитать, например, и такое: «...«Февральский дневник» и «Ленинградская поэма» (вместе с поэмами «Твой путь» и «Памяти защитников» это самое замечательное из всего, что написала Берггольц в годы войны.— Л. Л.) могли бы начинаться иначе, чем они начинаются, и кончаться где-нибудь в другом месте или даже быть продолженными, все равно, — ведь они не что иное, как лирический поток...» — и т. д. А. И. Павловскому, вероятно, кажется, что он анализирует художественное своеобразие поэм О. Берггольц, но,

право же, от такого анализа им не поздоровится...

Каковы бы ни были достоинства довоенной поэзии Берггольц, в годы войны с ней произошло чудо. Пусть она всю жизнь шла к своему жестокому расцвету (с прищипкой ей жестокостью по отношению к себе она назвала его еще и коротким!), случился он все-таки неожиданно и действительно стал феноменом Берггольц.

В отличие от А. И. Павловского — печальное преимущество возраста! — я отлично помню довоенную Ольгу, ее стихи, ее прозу, ее публицистику. Как мы относились тогда к ее поэтической работе? Какое место отводили ей в литературе? Мы — это Ю. Герман, И. Гринберг, Н. Чуковский, Е. Добин, Е. Шварц, Л. Рахманов, А. Штейн, Л. Малюгин, В. Беляев, мои добрые друзья довоенных, военных и послевоенных лет. Я бы сказал так: мы считали, что Ольга талантливее своих стихов. Мы ждали от нее большего.

Говоря о нашем отношении к довоенной поэзии Берггольц, должен заметить, что ни мне, ни моим друзьям не были известны ее стихи второй половины 30-х годов, впоследствии вошедшие в книгу «Узел» (1965). Если бы мы тогда знали их, то, вероятно, сочли бы, что Ольга вполне оправдала наши ожидания. Жаль, что не все эти стихи вошли в том «Библиотеки поэта».

Преимущество А. И. Павловского над всеми нами в том, что он уже много лет знает эти стихи, существенно влияющие на общую оценку довоенной поэзии Ольги Берггольц. Но это вовсе не оправдывает недостаточного внимания к ее бурному расцвету в военные годы.

...Когда окончилась война и начались восстановительные работы, некоторые ленинградцы мало-помалу стали забывать об ужасах блокады, может быть, подсознательно стремясь отвлечься от них. Нашлись люди, которые настойчиво и даже повелительно доказывали, что нечего сосредотачиваться на мрачном прошлом, надо обра-

титься к светлому настоящему и еще более светлому будущему.

А Берггольц продолжала писать все о том же, выстраданном, своем — о нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю блокированного города, о мужестве и героизме ленинградцев, о том, что это не может быть предано забвению. Тема неуслышанной и недремлющей памяти проходит через множество ее послевоенных стихов.

Порою она писала об этом с яростным возмущением:

Уже готов позорить нашу славу,  
уже готов на мертвых клеветать  
герой прописки  
и стандартных справок...

Но на асфальте нашем —  
след кровавый,  
не вышаркать его, не затоптать...

Ее критиковали за то, что она по-прежнему погружена в трагическую тему блокады и не видит (а может быть, не хочет видеть?! — спрашивали наиболее ретивые критики) того, что делается вокруг. Грустно сознаваться, что и я не остался тогда в стороне от этих упреков, бездумно поддаваясь общему поветрию.

А что же Ольга?

Она держалась гордо и непреклонно. Как бы заранее предвидя возможные упреки, она еще в преддверии победы в поэме «Твой путь» обнародовала непререкаемую поэтическую декларацию:

И ясно мне судьбы моей вельенье:  
своим стихом на много лет вперед  
я к твоему пригвождена виденью,  
я вмерзла  
в твой неповторимый лед.

На много лет вперед...

Подумать только: если бы Ольга тогда не выдержала, дрогнула, сдалась, она, может быть, не смогла бы написать свои вечные слова, высеченные на памятнике Пискаревского мемориального кладбища в Ленинграде.

Л. ЛЕВИН.



## ЖИВЫЕ ДУШИ

Александр Борщаговский й. Была печаль. М. «Советский писатель». 1983. 255 стр.

Александр Борщаговский й. Портрет по памяти. Роман. «Октябрь». 1984, № 3.

**П**о первому впечатлению между повестью и романом А. Борщаговского мало, как бы даже почти ничего общего. С одной стороны, история любви учителя

Алексея Капустина и доярки Саши Вязовой, с другой — лишенная взаимной любви, скромная жизнь русского художника Александра Агина. При более пристальном

внимании, однако, обнаруживается в обеих столь разных по материалу вещах много общего — в выборе героя, темы, в построении произведения, в «манере исполнения».

Начну с наиболее значительного, на мой взгляд, — с романа. Так же как и повесть, он охватывает небольшой отрезок времени — десять дней ноября 1854 года, понадобившихся Агину для того, чтобы добраться на перекладных из Киева в Москву, а затем уже по железной дороге в Петербург к младшему брату Василию. Василий тоже художник, талантливый пейзажист. Воюя на острове Котлин, близ которого стояла вошедшая в Финский залив английская эскадра, он был тяжело ранен. И вот Агин торопится, спешит поскорее доехать до горячо любимого брата, застать его в живых (последнее желание, к сожалению, не осуществится — Василий умер накануне приезда брата), защитить, заслонить собою...

Двигается карета, остаются позади станции, меняются попутчики. И каждый из них как бы схвачен острым взглядом художника. Наплывами в каждую главу входит прошлое братьев Агиных, картины их трудной, скудной внешне и богатой внутренне жизни. Кстати, и в повести «Была печаль» в настоящее полноправно входит прошлое, многое определяя в этом настоящем.

Я не начитывала специально литературу о художнике Агине и не стану сравнивать разного рода исторические факты и «достоверности» с их художественным воплощением. Чрезвычайно меткими оказались мне недавние слова одного критика, назвавшего историческую прозу Булата Окуджавы историческими фантазиями. В сущности, подумалось, любую историческую художественную реконструкцию мы вправе квалифицировать в той или иной мере как «историческую фантазию». Вполне подходит это определение и к «Портрету по памяти». Как бы то ни было, мне, читателю, «нафантазированные» писателем сцены из жизни Александра и Василия Агиных представляются убедительными и достоверными.

И еще один образ тоже наплывами возникает в романе — Николай Васильевич Гоголь. Ему была отдана преданнейшая любовь художника Агина. Ему Агин посвятил лучшее из сделанного — рисунки к «Мертвым душам». Размышления о Гоголе, попытки понять его личность, его творчество, его трагедию — едва ли не главное в «Портрете по памяти». Прекрасно сознавая всю несравнимость их судеб и дарований, Агин у Борщаговского все же постоянно пытается выискать и найти общие, роднящие его с Гоголем черты, «Мне он дал смысл жизни,

ее направление, — признается художник своей дорожной спутнице, — и сделал он это, когда всего нужнее была мне опора. Гением своим он старше нас на тысячелетия, а вместе — и моложе. Для меня он был выше любого богоизбранника, а что-то ведь родило нас, оба прнсельники жизни, без своих стен, всегда в чужих, и бобыли оба, не испытав семейного счастья, оба готовые брать предмет искусства прямо на дорогах, из низкого, как принято считать, из грязи проселков, с нашей равнины нескончаемой и с невских торцов...»

Роман «Портрет по памяти» появился и звучит очень современно и в том смысле, что нынче гоголевский год (175 лет со дня рождения), и в более существенном: Гоголь у Борщаговского (в восприятии Агина, разумеется) близок тому Гоголю, каким мы рисуем его себе сейчас, подчеркивая в нем не отрицание только, но его боль, его любовь к России, его страдание о ней. «То, что делает историческое произведение живым, — сказал однажды Лион Фейхтвангер, — никогда не берется из истории прошлых времен, а всегда — из собственных переживаний автора, почерпнуто из современного мира, и читатель больше узнает о переживаниях автора и о его времени, чем об изображаемой эпохе».

Современное восприятие Гоголя, думается, пройдя многие и разные этапы, все больше возвращается к некрасовскому мудрому определению: «Он проповедует любовь враждебным словом отрицанья...»

Поэтому, наверное, даже в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Агин чувствует «за вывеской гордыни... страх, за выкриком — боль, за самонадеянным учительством — сострадание к человечеству». И в письме Белинского Гоголю Агин слышится все та же близкая ему нота: «...рядом с гневом, с праведной яростью и плач великий, рыдание по обреченному».

Для того чтобы иметь возможность доверить герою подобные мысли, потребен о с о б ы й герой. В Агине-старшем автор нашел именно такую «живую душу», человека благородного, гуманного, скромного, способного к великой любви, самоотречению и состраданию. Агин — художник д о б р ы й. Иллюстрируя «Ветхий завет в картинках» (этот нелюбимый свой альбом рисунков он находил во время поездки на каждой почтовой станции), он и там не хотел изображать жестокость и толковал Библию «мирно», не вкладывая меч в руки казнящим, а для страшной картины избияния младенцев в Вифлееме ему хватило одной Рахили, «скорбного ее лица и безутешности»...

Все дальше и дальше катится карета, все новые люди сопутствуют Агину... А мысль о «Мертвых душах», о завершенной серии рисунков к ним не оставляет художника ни на миг. Бессмертная гоголевская поэма для Агина и есть «русская Библия», которая вобрала в себя Россию, всю ее боль, книга, которую он старался оживить, воплотить в своих рисунках.

Каждый художник-иллюстратор в меру своих сил пытается сделать это — дать новую жизнь образам, созданным воображением писателя. Здесь хотелось бы заметить, что, быть может, следовало бы больше, чем то сделано в романе, сказать о самих рисунках Агина — об их большой правдивости и реалистичности, их гротескности, которой хотя и далеко до «дьявольских» гоголевских обобщений, но дано было все же выразить и подчеркнуть острую характерность гоголевских героев. И о том, что многих из них (скажем, Ноздрева или самого Чичикова) мы с детства связываем в своем сознании именно с агинскими — простыми и наивными — образами. Кстати, замечу, что очень бы хотелось видеть отдельное издание «Портрета по памяти», иллюстрированное агинскими рисунками к «Мертвым душам»...

На протяжении всего романа художник сокрушается, не уверенный, нужны ли кому-нибудь его листы. Гоголю он так и не посмел их показать. А широкая читающая и думающая Россия, — увидит ли она их когда-нибудь? Или пропадут бесследно, сгниют, истлеют отпечатанные в малом количестве хрупкие листы полиграфической «Мертвым душам»? Ответов на эти мучительные вопросы художник так и не дождался. Брата он в живых не застал, и покатились-покатились под откос его безвестная, одинокая и несчастливая жизнь.

В «Послесловии для неравнодушных» автор в одну страничку уместил оставшиеся на долю Агина двадцать лет жизни: художник вернулся в Киев, сначала служил в кадетском корпусе «рисовальным учителем», потом перебивался частными уроками, был чертежником на железной дороге и умер, как и жил, в бедности, всеми забытый. «...но большой художник в Агине не погиб, он осуществился», — заключает свое повествование Борщаговский. Рисунки его не забыты и сейчас, как не забывается, не стирается, не гаснет в ходе истории все истинно доброе и талантливое, созданное ради людей и с любовью к ним.

Так в чем же все-таки улавливается сходство между «Портретом по памяти» и по-

вестью «Была печаль»? Оно в выборе героев повествования, в пристрастии автора к изображению людей необыкновенно хороших — добрых, самоотверженных, обладающих талантом любить и дарить радость другим. Таким был художник Александр Агин, такова доярка Саша Вязовкина, таков и герой рассказа «След на асфальте» носильщик Володя (рассказ вошел в одну книгу с повестью).

Что означает название повести «Была печаль»? Оказывается, это любимое при словье Саши Вязовкиной, ставшее ее прозвищем. Полностью это лихое и по видимости беспечное присловье звучит так: «Была печаль голову ломать!» Что-то вроде французского *pas de problèmes*. На самом же деле в Сашиной жизни все совсем не так просто. Потому что печаль была и было ее в жизни Саши ох как много. И в этом Сашином выкрике не беспечность, не лихость, не попытка отмахнуться от печали и горя, а скорее безоглядность, прямодушие, порыв навстречу трудному и горькому, готовность переложить чужую печаль на свои плечи, милосердно и просто снять тяжесть с родной души, помочь, утешить. Саша — характер неординарный, в чем-то даже особенный.

Нерв повести, ее подоснова — любовь Саши и Алексея. Любовь, в сущности, несостоявшаяся (всего-то и было в прошлом три ночи в яблоневом саду!), но «без памяти» огромная и потому готовая переломать и перекорезить сегодняшнюю жизнь Алексея, его жены, мужа Саши. И самой Саши тоже, хотя она и находит силы для высокого отречения от этого чувства во имя близких, да еще и Алексею помогает одолеть его печаль.

Похоже, что тема несбывшейся, длящейся и неутоленной любви вообще очень дорога Борщаговскому (она и в рассказе «След на асфальте»; вспомним, кстати, и фильм «Три тополя на Плющихе»). Отсюда и разлито в атмосфере его произведений некое томление, сугубо лирический настрой, обилие рассуждений, разговоров о любви, про любовь, вокруг любви. Есть при этом, на мой взгляд, и некоторые стилистические издержки и просчеты, особенно в повести и рассказе. Слишком часто встречается и режет слух, например, словечко «плоть» в различных сочетаниях: «жадущая его одного плоть», «жаркая, памятная ему плоть», «живой комок плоти, чудо, отделившееся от земли и голубизны неба» и т. п. Или другие милые автору словесные обороты: «единственно близкое и желанное», «тайно зовущая фигура», «грехов-

ная нежность», «безмольное шевеление ее бледных губ, словно изнемогших от жажды, от несбывающегося ожидания», «налитая соками жизни» и многое другое в том же роде.

Поскольку в повести действие развивается в деревне (вернее, в поселке при плотине на Оке), и стиль ее иной, не тот, что в романе, иной словесный колорит. И здесь мне тоже несколько мешает избыток «песенности», «инверсионности» авторской речи, поговорочно-афористический строй речи героев «из народа» («Нелегкое дело пару себе найти: не на всякую жизнь удача приходится. Зверь в кровь друг дружку рвет, пока разберется и в ум войдет. Тетерев, дурачок, хвост распустит, как только перья держатся!.. Иная баба, не знаешь, зачем и родится, на радость кому или на погибель...») — разглагольствует в повести пьяньский Воронок; и это, заметьте, не из разных мест надергано, а сплошным потоком льется). В романе такое редко встречается, но и здесь лишь появится, к примеру, ямщик, так сразу и зачистит (и тоже подряд, в одном монологе): «У трудной поры, что у некормленого коня, — версты длинные... Чернец-молодец по колено в золоте, он и черта обманет... Кто при деньгах, тому и к господу ближе... На двух конях верхами не ездят: или бог, или поп, бог правду видит, а попы да чернецы денежек служат...» — и так далее без остановок.

Вообще же у Борщаговского описания точны и четки, обильны подробностями и оттенками. Впрочем, иной раз они так подробны, что невольно приходят в голову бессмертные, обращенные к Горькому слова Чехова, помните, о том, что можно написать просто и понятно: «человек сел на траву», но можно и так: «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь», но что последнее — «неудобопонятно и тяжеловато для мозгов»... Частенько, признаться, вспоминаю я этого «высокого, узкогрудого, среднего роста человека», и не только при чтении Борщаговского, разумеется. Впрочем, мы сильно отвлеклись.

Неверно было бы думать, что единственной и преимущественной темой Борщаговского является любовь, душевные терзания любящих. Он умеет живописать бытовой фон, на котором высвечены людские фигуры. Само дело героев в обоих произведениях нарисовано очень крепко, «предметно». В романе хороши, новы, как

мне показалось, во всяком случае, описания даже чисто технические, «рисовального» и граверного дела. В повести много места и авторского внимания отдано реке, плотине, ловле рыбы. Борщаговский описывает все это плотно, с великим вниманием к мелочам, будто не книгу пишет, а рыболовную мелкоячеистую сеть плетет, — так здесь все связано, тянет одно другое, вытекает одно из другого. К примеру, скажем, в третьей главке повести Алексей с женой Катей идет в поселок со станции. Он несет в руках их общий багаж, ему т я ж е л о, и тут же напыляет воспоминание о другой т я ж е с т и — о том, как когда-то он нес, перекинув через плечо, связанные друг с другом полные корзины грибов его и Саши Вязовкиной, и как отсюда пошла их любовь, и как она «протекала» и т. д. Множество эпизодов повести связано с ловлей рыбы, и каждый из них описан так обстоятельно и конкретно, будто он один такой в книге, будто не придется автору еще много раз описывать то, как большая рыбина сначала клюнула, потом стали ее подводить, потом она сорвалась и все прочее. Порой это утомляет, но потом начинаешь думать, что такие подробности существуют все же не сами по себе, что они не менее существенны, чем взаимоотношения Саши и Алексея, потому что именно здесь, в этой области, шире проявляются свойства людей, ясней и очевидней завязываются их отношения, обнаруживается их «взаиморасположение». В частности, именно в этой сфере вышукло обрисовывается и единственный в повести плохой человек — бывший начальник шлюзовой охраны Прохор Рысцов, хозяин здешних мест, хищник, браконьер, берущий от реки, от природы много больше того, что нужно ему самому и его семье, злой своевольник, «опустошитель» и рвач по самой сути своей. Весьма впечатляющий и достоверный возник характер! Такой Рысцов возбуждает в читающем непосредственное, хоть и неосуществимое желание как-то окоротить его. Но что примечательно: и этому злому и неправедному своему герою писатель стремится найти оправдание (и находит его в давней, неудавшейся, отвергнутой любви Прохора к матери Алексея). Такова, значит, сила неодолимого тяготения Борщаговского к людям хорошим и добрым! Тут писатель полностью разделяет — и мы с ним не можем не согласиться — убеждение Агина-старшего в том, что «хороших людей много». Гораздо больше, чем плохих. И вот эти-то «живые души», этих-то бескорыстных, добрых, отзывчивых на чужое

страдание и печаль людей — таких, как Александр Агин и Саша Вязовкина, — и предпочитает видеть и писать Борщаговский, упорно игнорируя, как я подозре-

ваю, могущие возникнуть упреки в пре-краснодушии, сентиментальности и сверх-мерной романтизации жизни.

И. ПИТАЯР.



## ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА

Анатолий Ким. Белка. Роман-сказка. М. «Советский писатель». 1984. 271 стр.

Анатолий Ким, чьи рассказы и повести широко известны читателям и многократно обсуждались в критике, написал свой первый роман. Жанр ответственный, по-своему проверяющий меру творческой зрелости писателя. Однако «Белка» не просто роман, а, как явствует из подзаголовка, «роман-сказка», что, вторя Пушкину, «дьявольская разнища». Еще по предыдущим произведениям Кима — «Соловьиному эху», «Лотосу» и другим — было видно, как по мере расширения охвата действительности писатель все чаще прибегает к фантастическим, «неомифологическим» формам ее постижения. И потому самое обстоятельное кимовское исследование жизни — роман «Белка» — оказалось одновременно и самым сказочным.

А сказка такая.

Живут четыре молодых художника, каждый из которых мучительно пытается сохранить свой талант, ибо им, привыкшим вглядываться в незримую основу явлений, понятно то, что скрыто от обычных людей, и это «что-то» грозит им бедой. Большинство людей, согласно авторской «легенде», несет в своем облике и душевном мире какие-то черты зверей. И это дано распознать в самом себе главному герою — Белке. Он ведет повествование о людях вполне обычных и о тех, которые оказываются оборотнями — кто кабаном, кто хорьком, кто львицей, кто дельфином. Постепенно Белка убеждается, что в мире существует заговор зверей против всего человеческого и ему тоже принадлежит какая-то неясная роль в этом заговоре. Звери не только следят за человеком со стороны, они притаились внутри каждого и сначала расправляются с теми, кто непричастен к их миру, чтобы потом окончательно восторжествовать в своих «представителях». Гибнут физически и духовно три друга-художника, пути которых разошлись: один женился на австралийке-миллионерше, тайной «львице», но затосковал по родине, а предприняв попытку вернуться, был

застрелен в Тегеране. Другой отправился в деревню, чтобы «допокоить» до кончины одинокую мать, и сошел там с ума от тоски и одиночества. Третий был по ошибке — или по умыслу — застрелен инкассатором, когда пытался влезть в машину, привлеченный улыбкой оборотня-кабана.

Сам же Белка, повествуя о своих друзьях и вникая в логику их жизни, перевернутой проделками оборотней, решает убить в себе белку, чтобы окончательно принадлежать человечеству. Но для этого — как торжественно заявляет ему посланец «леса» — Белка должен убить какую-нибудь настоящую белку, маленькую, рыжую, и он отправляется на охоту-бра-тоубийство. «Я узнал на своем лице гнусное шевеление кривой улыбки Каина перед вопрошающим Господом: «Где Авель, брат твой?» — лживой улыбки Адамова первенца, рожденного праматерью людей. И с этой миною на лице я должен был, оказывается, возродиться человеком?»

Трагический парадокс!

И дальше:

«Он хотел раскрыть мировой заговор оборотней, спасти человеческую репутацию от навета и клеветы, а между тем не смог понять, что заговор таится в нем самом, как и в каждом человеке, и никто из нас не смог в одиночку справиться в этом заговором...»

Не смог в одиночку... Вот тут и понимаешь, что есть в кимовском романе действующее лицо, которое поистине является главнейшим. Этот кимовский сверхперсонаж именуется «Мы». И в последних произведениях писателя — в «Соловьином эхе», «Лотосе», особенно же в «Белке» — ему дано стать не только главным действующим, но, по сути, единственным повествующим лицом. Иначе как понять весь словесный строй кимовской вещи, в которой фраза, начатая одним персонажем, доканчивается другим, уже от своего имени? И хотя собеседникам иной раз бывает трудно понять друг друга, их «я»

объединены — волей стилия, потоком речи — в одно «Мы», которое называет себя то одним, то другим «я». Это «Мы» предстает каждому не столько как реальность, сколько как мучительный вопрос, поднимающийся со дна души, «наш самый яростный, самый отчаянный вопрос: кто МЫ?». И есть лишь один достойный ответ — это «наша способность любить друг друга, любовь одной души к другой есть единственное человеческое достояние, могущее быть приравненным чуду».

«Ты не должен быть одинок», — заклинает Белка Лупетина. И дальше: «Мы должны быть всегда с тобою, не умирай без этой мысли, иначе все пропало, обожди хоть до весны, брат, просил я белку, дай мне спокойно дожить до тепла...» Кто кому говорит? Они говорят друг другу, потому что ими говорит одно «Мы», сплавляющее воедино их речь и их судьбы. И хотя трое умирают, бессмертным остается их «я», приобщенное к «Мы». Белка рассказывает обо всех, обращаясь к не известной никому (даже ему самому) любимой женщине, потому что «Мы» живет и одушевляется любовью. Этот диалог «Мы» с любимой и представляет собой главное речевое движение книги, некий хор, поющий о гибели из-за любви и о возрождении любовью, в котором вспыхивают и гаснут отдельные голоса. «...благодаря перевоплощениям белки безвестное маленькое «я» каждого из нас перешло в МЫ, соединившись в сей миг с великим множеством других «я»... МЫ были, есть и будем».

Только в этом «Мы» и заключается сила, против которой бессилён заговор зверей. Ибо это «Мы» предполагает не «превращение», а «перевоплощение». Ким сознательно, почти как теоретик, различает эти два перехода. Люди могут превращаться в белок, зайцев, кабанов, лосей и обратно, и в этих превращениях заключена власть звериной природы над ними, хотя она и притворяется, как всякое оборотничество, «расширением» человеческих возможностей и «властью» над природой. На самом деле, оборачиваясь кем-то другим, человек вольно или невольно вступает в заговор оборотней. Оборотничество — ложная форма связи, когда человек, становясь другим, перестает быть собой, когда он отказывается от своего лица за двоящимися и троящимися обликами. Перевоплощение же происходит «при неизменной телесной сущности», благодаря духовной способности человека проникать в душу всего живого, других людей и зверей — и

очеловечивать их, приобщать к тому «Мы», которое живет в каждом.

Но вот сомнение, все более крепнущее по мере чтения: почему то, что так логически четко разграничено автором, не всегда получает убедительное художественное выражение? Несомненно, в романе есть прекрасные эпизоды истинного перевоплощения, например когда Белка, неожиданно увидев пчелу, попавшую в паутину, в несколько мгновений пережил всю ее жизнь. Но в других случаях различия между «перевоплощениями» и «превращениями», между принадлежностью к все связующему «Мы» и к заговору зверей тонут в общей мерцающей картине блужданий героев по временам и пространствам вселенной. В «Белке» вполне раскрылось то, что отдельными предчувствиями и догадками заключалось в предыдущих произведениях Кима: мир постигается как множество миров, между которыми свободно странствует душа художника. Такая полная выговоренность, обнаруженность авторского сокровенного слова делает роман произведением этапным для писателя, синтетически обобщающим и одновременно указывает на пределы стилиевой манеры. Настораживает гипертрофия поэтики множества: «неисчислимые земные боли и несчастья», «неисчислимое количество всяких перемен пространства», «тысячи игл смерти», «тысячи ярких, ясных, дерзновенных огней», «неисчислимый сонм павших и сгнивших деревьев, трав и грибов», «каждый из нашего великого сонма», «невероятное скопище звезд», «неисчислимые груды драгоценных камней — смарагдов, сапфиров и лазуритов», «кипя родниками неисчислимых своих площадей, сливая потоки жизненных струй в русле улиц», «все мы летим, как и обширные страны по вселенскому простору, словно неисчислимая стая птиц». Все эти «неисчислимости» в романе как раз и претендуют на исчисление того, что счету не подлежит, эти множества, «сонмы», «скопища» могут поразить воображение, но не способны задать одну-единственную человеческую душу, которая в единичности каждого из явлений познает его меру и свою способность к сопереживанию.

Анатолий Ким по-настоящему глубок, когда рисует «малый мир», прозрачный и бедный в своем одиночестве, мир отдельного, единичного; когда же, увлеченный темой «превращений», размывающих грани индивидуального, художник принимается изображать неистощимые всплески и стремительные завихрения потока жизни,

ему изменяют вкус и тонкость, которые проявляются в зарисовке отдельного. Мир становится экзотически «роскошным», преисполненным всяких див, полыхающих зорь, осыпающихся звезд — и бесконечно чуждым, как всякая экзотика.

В «Белке» это не просто поэтическое мировидение, но и в какой-то мере этический принцип. В кимовских положительных персонажах, художниках, парадоксально сочетаются два свойства, одно из которых — в фокусе авторского внимания, а другое остается словно бы незамеченным. Они добры друг к другу — и равнодушны. Белка делает много хорошего для своего друга — омещанившегося дельфина, выручает его из самых затруднительных положений, терпеливо снося от него грубость и надменность, и заканчивает историю из трогательных взаимоотношений фразой: «Прощай, дельфин, на веки вечные прощай, никогда ты не был мне близок, не знал я тебя и не помню уже». Слово бы добро, сделанное им для дельфина, на самом деле обращено было не к нему, а к той вечности, в которой происходит «накопление добра», безличного, космического по своей природе; и, сделав этот вклад в общий запас, Белка остается безразличен к индивидуальности спасенного им существа. Это деятельное, участливое сострадание — но с холодными глазами, обращенными вдаль.

«Звездными братьями» называет Ким своих живописцев-сомышленников по великому «Мы», но и добро исходит ими с той же ровной безмятежностью, как свет далеких звезд, сочетаясь с безразличием к тому, на кого он упадет. — предназначенный всем и никому. Кажется, что Белка, Акутин и другие, делая добро, исполняют работу, необходимую их совести, но это дает им основание как бы презирать тех, для кого они делают добро. Это помощь на каком-то внутреннем расстоянии — только бы не вступить в опасную зависимость, сохранить непричастность. Люди встречаются на краткое мгновение жизни, чтобы потом разойтись по разным уголкам вселенной, и потому одна личность органически не сплавляется с другой, не сближается с ней в тесноте земного существования, ибо чувствует себя предназначенной для далекой вечности и ради нее совершает добро. Не потому ли возлюбленная Белки — далекое, один раз им виденное, абстрактно-мифическое юное существо, к которому он обращается «моя бесценная»; а жена, с которой он живет бок о бок, — всего лишь буйволица, кото-

рая «равномерно и равнодушно перетирает жвачку наших совместных тягучих дней». Насколько одухотворено его заочное чувство, настолько оживотнено повседневное, и это, в этической системе романа, не странная аномалия, а как бы норма: «Жизнью называется конечно же только восхождение к вершине радости бытия, а нисхождение с нее — это постылый спуск в долину небытия...»

Киму свойственно возвышать одних героев за счет принижения других, и такая последовательно проводимая дуалистичность таит в себе опасность схематизма и аллегорической абстрактности. Роман кажется иногда вывернутой наизнанку басней, в которой не звери выступают аллегориями людей, а наоборот, люди воплощают свойства зверей: в одном обнаруживается трусливый заяц, в другой — хищная львица, в третьем — хитрый бобер. При этом внешность и поведение персонажа настолько моделируют его сущность, что он превращается в ходячий «экземпляр», картинку-карикатуру, теряя при этом свойство живой человеческой непредсказуемости. Вот Белка идет по лесу и встречает незнакомца, который сбивает ногой рыжики, по ошибке принимая их за поганки. Тут же почти автоматически следует разоблачительная характеристика: «Это был один из самых безобидных оборотней, поменьше бульдога с унитазом (?), урбанис оборотус, их выращивают возле теплых батарей парового отопления, кормят из соски, летом перевозят на дачу, в четырехлетнем возрасте детенышей-оборотус тащат на поводке в секцию фигурного катания или в школу спортивной гимнастики, откуда в десять лет некоторые из них выходят мастерами спорта...» Перед нами законченный «экземпляр», и потому Белка с первых же слов не стесняется в выражениях: «Остановитесь, дурак вы этакий!.. Оборот!» — за что подвергается крепкой трепке со стороны спортивно закаленного обывателя. «Душу мою обуяла неодолимая печаль, в глазах стояли погубленные рыжики...» — элегические интонации тут опасно приближаются к пародии.

Бытовые подробности и сцены «низкой» жизни у Кима нередко перемешаны с такими «высокими» интонациями: «О творец, зачем прелесть цветов увядающих?..», «Лебеди круто выгнули беломраморные стебли своих долгих вый, с безумной самовлюбленностью Нарцисса уставясь вниз» и т. п. В романе чувствуется какая-то чужая, не претворенная в своем стиле, но и не стилизованная сознательно велеречив-



вость, которая особенно выдает себя у столь самобытного писателя, привыкшего прорабатывать каждое слово, подбирать их по одному, а не укладывать готовыми блоками. Сгущение «красот», нарушение пропорций художественного вкуса — одно из следствий чересчур жестоко заданной ориентации писателя на принцип «двоемирия»: люди и звери, художники и обыватели, бессмертие и прозябание, красота и пошлость. А ведь он же утверждает, что граница проходит внутри каждого человека! Там, где писатель уклоняется от этой исходной нравственной установки, как раз и случаются художественные срывы. Одним героям в заслугу ставится буквально все, даже бесчувственность, равнодушие к близким возводится в добродетель свободных художников; другим могут быть вменены в вину любовь к спорту и непочтение к рыжикам. Рядом с высоко поставленным «Мы» проходит не названное, но очень существенное для поэтики и этики романа «Они», которое своей ошутимой

массой сдвигает все первоначальные намерения автора. Одни от рождения причислены к лику звездных братьев, другие обречены, оставаясь в человеческом облике, выказывать лишь звериные морды. Но не ложится ли в таком случае и на «Мы» печать кайнова отступничества от менее совершенных братьев по человеческому роду? Кажется, что писатель, показывая, какой дорогой ценой братоубийства заплатил Белка за приобщение к «чистой» человечности, пыгается к финалу романа преодолеть жестокость своих дуалистических построений и вместо патетического противопоставления людского и звериного раскрыть их переплетенность. Но полностью свести концы с концами не удалось — роман остается свидетельством неразрешенной борьбы художника с самим собой, борьбы, так сказать, «космического» романтика и «трагического» гуманиста.

Елена ЮКИНА.



## «ПАРИЖСКИЕ ПИСЬМА» И ИХ АВТОР

П. В. Анненков. Парижские письма. М. «Наука». 1983. 608 стр.

**П**авел Васильевич Анненков, соратник Белинского, известен широкой публике прежде всего как литературный критик и мемуарист. Думаю, не ошибусь, сказав, что для многих интересующихся историей русской литературы открытие Анненкова-путешественника будет приятной неожиданностью. В книге мы найдем не только интереснейшую этнографическую и культурную информацию о Европе середины XIX века, читательское открытие раннего Анненкова позволит увидеть закономерности творческой эволюции этого незаурядного русского писателя. Книга весьма важна и для понимания литературного процесса в России прошлого столетия.

Разумеется, этому изданию предшествовала серьезная научная разработка наследия писателя, в том числе и его «европейских записок» (прежде всего в трудах Б. Ф. Егорова), что позволило И. Н. Конобеевской с достаточной основательностью подготовить и откомментировать «Парижские письма». Перед читателем в полном смысле слова литературный памятник. Если мы хотим уловить дух, умонастроение, аромат эпо-

хи, восприятие просвещенными русскими людьми 40-х годов европейской культуры, науки, искусства, образа жизни, быта, политических событий, то миновать «Парижские письма» Анненкова никак нельзя. Как правило, такую свежесть и непосредственность имеют письма и записки, не предназначенные для печати, записки для себя. И действительно, «Письма из-за границы» и «Парижские письма», включенные в настоящее издание, писались друзьям — В. Белинскому и В. Боткину. Белинский первый оценил широту и интерес рассказа Анненкова о Европе, и в 1841 году первое письмо из цикла «Письма из-за границы» появилось в «Отчетственных записках» со следующим примечанием от редакции: «Эти заметки, часто не имеющие между собой никакой видимой последовательности и связи, дают вернейшее понятие о стране и народе, чем все в мире систематические путешествия: в них... не описывают вам страны, но, так сказать, переносят вас самих и ставят в среду ее жизни... Мы убеждены, что читатели не без удовольствия будут пробегать эти отрывки. Лучшее в письмах г-на Анненкова то, что они писаны не для

печати и скорее могут быть названы импровизацией, чем сочинением».

Эту живость, непосредственность и аналитическую точность, передающую смысл и дух эпохи, сохраняют и мемуары Анненкова, ибо писал он их по дневниковым своим записям. Включенные в книгу воспоминания «Февраль и март в Париже 1848 года» опираются на его же (извлеченные из архивов и впервые здесь опубликованные) «Записки о французской революции 1848 года». Интересно, что, напечатав «Письма из-за границы», на их материале Анненков создает мемуарные «Путевые записки», тоже впервые увидевшие свет именно в этом издании.

Но прежде чем говорить о книге, надо хотя бы несколько слов сказать об ее авторе, потому что, несмотря на кажущуюся его известность или, скорее, как раз вследствие этого, у широкой публики нет достаточного осознания смысла, роли и, так сказать, символического, «высшего» значения деятельности Анненкова. Его имя называют в ряду заметных, значительных, но... второстепенных деятелей отечественной культуры. Это так и не так. Бесспорно, Анненков не был ни великим поэтом, ни великим писателем, ни великим критиком, ни великим мыслителем, хотя столь же бесспорно, что его «Литературные воспоминания», соединившие в себе элементы художественной прозы и литературно-критической аналитичности, принадлежат к шедеврам русской мемуаристики. Уже это немало. Стоит, однако, вспомнить, что именно Анненков переписывал под диктовку Гоголя первый том «Мертвых душ», именно Анненков, бросив все свои дела, сопровождал в заграничной поездке больного Белинского и присутствовал при написании знаменитого «Письма к Н. В. Гоголю» в Зальцбрунне, был, как он сам выражался, «нравственным участником» этого создания (за одно только чтение которого Достоевский был впоследствии приговорен к «смертной казни расстреливаем»). Именно Анненков первым опубликовал неизданные стихотворения позднего Пушкина и материалы к его биографии (в посмертном собрании сочинений поэта), и именно он опубликовал письма Н. В. Станкевича и написал его биографию. Анненков не был великим художником, но, как писал о нем Чернышевский, «после славы быть Пушкиным или Гоголем прочнейшая известность — быть историком таких людей». Анненков был не просто историком, он был, если так можно выразиться, историком в действии, человеком, который чувствовал, в полной мере ценил и понимал проявления духовной жизни об-

щества, и делал все что мог для их сохранения, для помощи тем, кто творил духовные ценности. Наверняка Гоголь нашел бы себе и другого переписчика для «Мертвых душ», а Белинский и без Анненкова написал бы свое письмо к Гоголю, быть может, не пропали бы и неизданные рукописи Пушкина (хотя это уже сомнительнее), но сколь много значит душевная и искренняя заинтересованность культурного, понимающего человека для творчества художника и мыслителя; она создает атмосферу, в которой они только и могут существовать. Для русской культуры Анненков интересен еще и тем, что был первым русским писателем, вступившим в переписку с К. Марксом.

Что же хотел увидеть этот человек в Западной Европе и что увидел? Уже в первом своем письме он вспоминает Карамзина и свою детскую любовь к его сочинениям. А теперь он повторяет путь любимого писателя, плывет мимо шведского острова Борнгольм, воспетого им.

С Карамзиным было связано детство русского образованного общества, первое знакомство с Европой («Письма русского путешественника»), с отечественной историей, с него, по определению Белинского, началась «новая эпоха русской литературы». Разница, однако, между «Письмами» Карамзина и «Письмами» Анненкова, рассказывающими о Европе, весьма существенная. Если первый русский историк как бы прописывал и раскрашивал карту Европы, на которой в представлении его современников были обозначены только слабые контуры, то Анненков писал о той части света, за которой русские читатели по крайней мере не менее полувека пристально следили. Анненкову достаточно было оживить деталью, ярким штрихом то, что в целом уже известно читателю, чтобы сообщение приобрело характер художественной зарисовки, живой картины. И читателю легко стать на его место, ибо путешественник апеллирует к знанию читателя. То он рассказывает о погребке, в котором бывал Гофман, то о местах, где проходили приключения Фауста, то о судебном процессе известного Александра Дюма...

Сам он называет свои письма записками «скромного жителя севера, странствующего для назидания своего». Но, как справедливо пишет в послесловии И. Н. Конобеевская, «в своих зарубежных корреспонденциях Анненков не просто информировал русского читателя о социальной и культурной жизни Запада — его информация активна и целенаправленна. О чем бы он ни пи-

сал, он всегда имел перед глазами Россию. Отмечая социальный и культурный прогресс в Европе, он торопил наступление капитализма в России, с которым связывал этот прогресс. Подчеркивая светский характер искусства Возрождения, он полемизировал со славянофилами. Пропагандируя творчество художников-барбизонцев, он боролся за торжество реализма в русской живописи.

Везде, о чем бы он ни рассказывал, мы видим живое присутствие Анненкова — активного наблюдателя происходящего. Он посещает театры, оперу, варьете, музеи, выставки, публичные лекции, общественные читальни, бродит по улицам и магазинам, следит буквально за всеми новинками литературы — художественной, литературно-критической, философской, заводит знакомства с самыми видными деятелями культуры и политики (ему мы обязаны воспоминаниями о Марксе 40-х годов), сразу после боев посещает баррикады, оказывается среди расстреливаемой рабочей демонстрации, следом за восставшим народом входит в Тюильри. Все увиденное и услышанное сразу ложится на бумагу.

Разумеется, чтобы все это увидеть, необходимы были широкая эрудиция, огромная культура, ненасытное любопытство. Ими Анненков вполне обладал. О его любопытстве говорит хотя бы тот факт, что он испытывает на себе медицинскую новинку — эфир, чтобы на собственном опыте опровергнуть слухи о возможности «эфирной наркомании». Надо при этом сказать, что, пропагандируя европейские достижения в науке и культуре, Анненков отнюдь не ослеплен парижским блеском. Ему не очень нравятся французские романтики, к которым он относит Дюма, Гюго и Бальзака. Он иронизирует над мещанскими мелодрамами, заполнившими французский театр, предвосхищая Герцена («Письма из Франции и Италии») и Достоевского («Зимние заметки о летних впечатлениях»), совпадая с ними даже в деталях оценки. Утверждая необходимость «чистой художественности», «чистого артистизма» в России, где было сильно в эти годы влияние самодержавно-официозного утилитаризма и дидактики в искусстве, как о том писал Белинский Анненков издевается над «фальшивым артистизмом» фран-

цузских сторонников «чистого искусства», видя в нем разновидность буржуазного мещанства...

Зачем, однако, России было все это знать? Как понимал свою задачу сам Анненков? Интересно, что мемуары о французской революции 1848 года он начинает с поразительных в подцензурном издании слов: «В жизни целых обществ, как и в жизни частных лиц, воспоминание о тех событиях, которые изменили коренные основы их существования, играет, разумеется, весьма значительную роль. ...Собирая известия о нем (событии — В. К.) из чужих рук, слычая их с указаниями очевидцев и занимаясь ими, общества, находящиеся в положении зрителя, учатся законам и причинам, рождающим исторические явления, определенному, неизбежному ходу их...» Иными словами, он рассказывает о Европе, чтобы Россия увидела, каким путем ей идти, такую себе он ставит задачу — ни больше и не меньше.

Бахтин говорил, что культура, самосознание культуры пограничны по своей природе. Чтобы понять родную культуру, надо узнать и понять чужую. Закономерно, что после «Писем русского путешественника», познакомивших Россию с Европой, Карамзин берется за «Историю государства Российского», чтобы познакомить Россию с Россией. Такова же примерно и эволюция Анненкова. Рассказав своим соотечественникам о Европе, сам поездив по Европе, Анненков обращается к российским проблемам: он становится активным литературным критиком, затем пишет свои знаменитые литературные воспоминания. И с уверенностью можно сказать, что «Парижские письма» сыграли немалую роль в его становлении как литератора, добавим, — и в развитии русской культуры в целом.

В сегодняшней нашей духовной жизни мы не случайно постоянно обращаемся к истории отечественной словесности: знание прошлого необходимо для самосознания современной культуры. Издание и тем самым введение в научный и культурный оборот памятников литературы, подобных рецензируемой книге, несомненно способствует решению этой важнейшей задачи.

В. КАНТОР.



Политика и наука**«ПОБЕЖДЕНЫ В МАСШТАБЕ ВСЕРОССИЙСКОМ...»**

Г. З. Иоффе. Колчаковская авантюра и ее крах. М. «Мысль». 1983. 294 стр.

Книга доктора исторических наук Генриха Зиновьевича Иоффе посвящена колчаковщине. Выбор темы не случаен. Как известно, с началом гражданской войны на захваченных интервентами и белогвардейцами территориях возникло несколько контрреволюционных образований. «Колчакия» была не только крупнейшим из них. Колчаковское «правительство» получило признание со стороны других белых «правительств» как «всероссийское», оно не просто пользовалось поддержкой империалистического Запада, но было фактически создано им. «Мы вызвали его к жизни», — говорил в палате общин тогдашний военный министр Черчилль.

Российская контрреволюция не была «чисто русским» делом. Восприняв и впитав в себя опыт прошлых контрреволюционных движений в других странах, она стала во главе мирового империализма в его отчаянной борьбе с большевизмом. Тот же Черчилль писал в своих воспоминаниях: «...русские белогвардейцы сражались за наше дело».

История прихода Колчака к власти наиболее ярко продемонстрировала, как из эсеро-меньшевистской «чистой демократии» выросла кадетско-монархическая диктатура. Характеризуя эволюцию контрреволюционных сил на востоке, Ленин говорил: «Мы знаем, что там организовано было правительство и для начала туда были посланы прекрасные знамена... и на них были лозунги — Учредительное собрание, свобода торговли — чего хочешь, серый мужичок, все тебе напишем, только помоги свалить большевиков! Что же вышло из этой власти? Вышла вместо Учредительного собрания колчаковская диктатура, — самая бешеная, хуже всякой царской».

...Ноябрьским днем 1917 года в икогамском порту с трапа парохода «Карио-мару» спустился невысокий худощавый человек с непомерно длинными руками, в куцем штатском пиджачке и кепке с большим козырьком. Трудно было узнать в этой невзрачной фигуре бывшего командующего Черноморским флотом вице-адмирала Колчака. Длинным и извилистым путем попал он из России сначала в Америку, а затем в Японию. Отсюда и началось его восхождение с помощью английских «друзей» на «омский престол»...

Весенняя Москва. С марта 1918 года она — столица Советской республики. Казалось бы, какое дело до Москвы автору, занятому событиями, отдаленными от нее на тысячи километров? Но связь оказывается прямой и непосредственной. Как писал бывший тогда членом Моссовета большевик Г. И. Ломов-Оппоков, новой, советской Москве противостояла «другая Москва — озлобленная, ушедшая в себя, не признающая этих идущих «из грязи» большевиков. Эта Москва срывает, саботирует, борется не на живот, а на смерть». Сюда, в Москву, съехались руководители антибольшевистских сил, начиная от эсеров с меньшевиками и кончая монархистами. Здесь формировалось контрреволюционное подполье. Отсюда налаживались связи с корниловским Доном, с единомышленниками на Севере и на Востоке, устанавливались контакты с антантовской агентурой. Здесь, наконец, возникла и стала оформляться идея переноса центра борьбы с Советской властью с юга на восток. «...Не перебросить ли все это (то есть боевые силы южной контрреволюции. — А. Г.) на восток, в Сибирь», — писал Колчаку один из активистов белого подполья В. В. Шульгин. И спрашивал: «Нужны ли мы Вам? Но нужно выяснить одно обстоятельство: наша группа непоколебимо стоит на союзнической ориентации, но с одной оговоркой: мы все монархисты».

«Колчакия» просуществовала чуть более года. Ей предшествовал полугодовой период, когда в Поволжье и в Сибири под крыльшком восставшего чехословацкого корпуса захватила власть «демократическая» контрреволюция в виде самарского комитета членов Учредительного собрания — Комуча, как его называли, и временного сибирского правительства в Омске. В сентябре 1918 года оба эти правительства собрались в Уфе, где объединились и создали «временную всероссийскую власть» — Директорию, являвшую собой причудливое переплетение эсеровских и кадетско-монархических элементов. Книга Г. З. Иоффе повествует о том, как неумолимая логика истории заставила «демократов» из Комуча шаг за шагом уступать крайне правым элементам и в конечном счете открыть дорогу колчаковской диктатуре.

20 сентября 1918 года глава временного сибирского правительства П. В. Вологодский

встретился во Владивостоке с приехавшим туда Колчаком. Это «случайное» свидание спустя всего месяц обернулось вступлением Колчака в правительство Вологодского в качестве военного министра. С этого времени «переворотная команда» активно приступила к делу. В ночь на 18 ноября механизм сработал, и Колчак, срочно произведенный в полные адмиралы, был провозглашен «временным верховным правителем» России. Владивостокская кадетско-монархическая газета «Сибирский путь», захлебываясь от восторга, вещала: «Военная диктатура, необходимость которой давно доказывали, которую ждали все жаждущие порядка, осуществлена!»

С фактами в руках автор начисто разбивает излюбленную в зарубежной литературе легенду о том, что переворот 18 ноября был результатом чуть ли не стихийного развития событий, в которых Колчак не играл сколько-нибудь существенной роли. «Трудно поверить», — пишет анонимный автор ранее не публиковавшихся мемуаров, — чтобы до решительного заседания Совета министров и ареста членов Директории адмирал Колчак не понимал, что готовится переворот... для активно действующих лиц все было заранее предусмотрено и все роли заранее распределены». Сам Колчак позднее на допросе признавал, что в беседах с генералами вопрос об установлении диктатуры неоднократно затрагивался, и все «определенно говорили, что только военная власть может теперь править дело».

В книге мы найдем множество свидетельств участия в подготовке переворота «союзников», прежде всего англичан. По словам главнокомандующего союзными войсками в Сибири, французского генерала М. Жаннена, именно они были «инженерами» омского переворота и Колчак находился у них «в кармане».

Как бы ни прикрывал Колчак свои действия пышными заявлениями о надпартийности своего правительства и о том, что он даже и не помышляет реставрировать старые порядки, колчаковщина неотвратимо и последовательно шла по пути возрождения режима, сокрушенного еще в феврале 1917 года. В решении одного из самых мучительных для России вопросов, земельного, диктатор следовал рецептам, сочиненным до Октября Керенским: все отложить до восстановления «порядка». В шифрованной телеграмме Деникину он особо подчеркнул, что из-за «сложности земельного вопроса» представляется «невозможным его разрешение до окончания гражданской войны». Впоследствии предполагалось дейст-

вовать по столыпинскому образцу. Созданное Колчаком министерство труда, по свидетельству многих мемуаристов, «так и осталось в эмбриональном состоянии», будучи органически неспособным выбраться из тупика противоречий между интересами труда и капитала. В национальной политике колчаковское правительство действовало под лозунгом «единой и неделимой России», прикрывая свой шовинизм обещаниями предоставить «внутреннюю автономию» инородцам. В конечном счете внутривнутриполитический курс колчаковщины вылился в жестокие репрессии против недовольных масс. Режим разлагался изнутри, гнил, что называется, на корню, его атмосфера удивительным образом напоминала ту, что создалась в правящих верхах России накануне крушения царизма.

Много страниц своего исследования отводит Г. З. Иоффе характеристике личности Колчака, его политическому сознанию и психическому настрою. Такой пристальный интерес к «верховному правителю» — не простая прихоть автора. Надо ли далеко ходить за примерами огромного воздействия личности на ход истории. Богатейшие документальные источники позволили нарисовать убедительный и точный политический портрет одного из главарей российской контрреволюции. Судя по материалам, Колчак накануне Февраля разделял оппозицию высшего генералитета «распутинскому» образу правления. Но его взгляды не шли дальше предположений о возможности смены одного монарха другим. Колчак был и оставался монархистом. Все происходившее в России после свержения царизма виделось ему «политическим сумбуром и бедламом». Недаром летом 1917 года, когда шли поиски «твердой руки», Колчак наряду с Корниловым котировался на роль военного диктатора. Очень любопытны сведения о мистических увлечениях Колчака, его поклонении «культу холодной стали», навеянном беседами с японским самураем полковником Хизахиде и чтением книг «воинствующего буддизма». Но мистика мистикой, а в политике она трансформировалась в фашистско-милитаристскую концепцию. «Революционная демократия захлебнется в собственной грязи или ее утопят в ее же крови», — записал Колчак в своем дневнике. — Другой будущности у нее нет. Нет возрождения нации помимо войны, и оно мыслимо только через войну. Будем ждать новой войны как единственного светлого будущего».

Вот с таким настроением и появился будущий «верховный правитель» в Сибири.

Можно ли удивляться тому, как проявилось оно в его политической практике?

Колчаковское правление было недолгим. Обанкротившись по всем линиям своей политики, оно потерпело жестокое поражение и в войне. 10 ноября 1919 года колчаковское правительство бежало из своей «столицы» Омска, а 15 января 1920 года Колчак и его премьер Пепеляев были арестованы в Иркутске созданным там Военно-революционным комитетом и предстали перед следственной комиссией во главе с большевиком С. Чудновским. Когда город оказался под угрозой захвата отходившими на восток каппелевскими отрядами, Иркутский ВРК постановил расстрелять Колчака и Пепеляева. «Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв», — говорилось в постановлении. На рассвете 7 февраля приговор был приведен в исполнение. Каппелевцы не решились атаковать город, и, обойдя его стороной, ускользнули за Байкал. Война еще продолжалась, но финал ее был близок.

В интервью харбинской газете «Вестник Маньчжурии» один из главных идеологов колчаковщины, Н. Устрялов, говорил: «Пусть еще ведется, догорая, борьба, но не будем малодушны, скажем открыто и прямо: по существу ее исход уже предрешен. Мы побеждены, и побеждены в масштабе всероссийском, а не местном только»...

Чтобы представить себе объем и характер работы, проделанной автором, скажем об источниках книги. Обращение к источникам, исходящим от «противной» стороны, при изучении истории контрреволюции вроде бы самоочевидно, надобность такого обращения не требует специальных доказательств и объяснений. На практике же все выходило не так-то просто. До недавнего времени источники эти были фактически исключены из научного обихода. Между тем здесь мы располагаем богатейшими возможностями.

В конце гражданской войны Красная Армия так стремительно гнала белогвардейцев, что они зачастую не успевали эвакуировать свои архивы. Так в наших руках оказались документы «верховного правителя» Колчака, деникинского правления на юге, других белогвардейских режимов. После Великой Отечественной войны к ним прибавилась обширная часть коллекции «Русского заграничного исторического архива» — собрание мемуаров и документов многочисленных белоэмигрантов. Архив находился в Праге и был передан чехословацким правительством специальной комиссии во главе с академиком И. И. Минцем.

Не потеряться в этом архивном море — задача не из легких. Дневники самого Колчака и его премьер-министров Вологодского и Пепеляева, многочисленные воспоминания, переписка личная и ведомственная, отчеты министерств и управлений — все это требовало обработки и тщательного анализа. Можно, пожалуй, упрекнуть автора за излишнее увлечение архивами в тех случаях, когда он предпочитает их всем другим источникам, однако в целом его труд был вознагражден. Колчаковский режим предстает перед нами не в оценках его противников, которые строгому читателю могли бы показаться односторонними и тенденциозными, а в его собственных документальных свидетельствах. В этом разоблачительная сила книги. Она прямо противостоит новейшим фальсификаторским утверждениям западных «советологов», пытающихся представить колчаковское правление как либеральное и демократическое, пользовавшееся поддержкой рабочих и крестьян.

В своих заметках я коснулся лишь части богатой по содержанию и отлично написанной книги. Уверен, что все, кому интересна история гражданской войны, прочтут ее с неослабным вниманием.

А. ГРУНТ,  
доктор исторических наук.



## АМЕРИКА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Очерки советских писателей об Америке. Составитель М. Сапаров.  
Л. Лениздат. 1983. 576 стр.

**Б**ез малого два столетия назад книгопродавцы Петербурга предлагали своим покупателям два любопытных сочинения. Одно из них, увидевшее свет в 1787 году и за шесть последующих лет выдержавшее

три переиздания, называлось «Нещастный приключения Василья Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света: в Америке, Азии и Европе, с 1780 по 1787 год». Другое, с которым читающая

публика российской столицы познакомилась в 1791 году, принадлежало перу купца и мореплавателя Григория Шелехова и, как гласил титул, описывало его «странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному океану к Американским берегам... с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд обитающих там народов». Эти две книги положили начало целой библиотеке путешествий русских писателей по Америке, которая к настоящему времени насчитывает не менее сотни томов.

С выбранными местами из лучших книг об Америке, написанных в нынешнем столетии, знакомит нас изданный в Ленинграде сборник, в который вошло более двух десятков очерков и фрагментов, расположенных в хронологической последовательности. Тем самым в ней как бы воссоздана история восприятия США в советское время.

Открывается книга «Городом Желтого Дьявола» Горького. Для многих советских писателей «Город Желтого Дьявола» стал отправной точкой в их путешествиях через Атлантику. Читая «Железный Миргород» Есенина или «Мое открытие Америки» Маяковского, мы непременно почувствуем, что оба поэта ведут рассказ не только о своих личных впечатлениях — их заметки являются своеобразным откликом на горьковские размышления об американском обществе, репликой в заочном разговоре с ним.

Горький увидел в небоскребах Нью-Йорка зловещую и уродливую «фантазию из камня, стекла и железа», в плену которой томятся безликие люди-тени. Страшный, призрачный город, созданный воображением писателя, едва ли похож на свой прообраз — реальный Нью-Йорк, каким он был в 1906 году. «Город Желтого Дьявола» — мрачная аллегория капиталистической цивилизации. В очерке выражено не только неприятие американского капитализма, но и тревога за судьбу России новой «индустриальной» эры.

Однако для России начала века Америка значила и другое — в ее историческом развитии писателям виделся путь преодоления вековой патриархальности, нищеты и отсталости. Накануне первой мировой войны А. Блок мечтал о том времени, когда «убогая финская Русь» превратится в «новую Америку». Идея «новой Америки» стала чрезвычайно популярной в первое послеоктябрьское десятилетие. Есенин, восхищаясь в «Железном Миргороде» страной, «которая так высоко взметнула знамя ин-

дустриальной культуры», признавал историческую неизбежность и необходимость промышленной революции в Советской России, а Маяковский «Мое открытие Америки» завершил таким требованием: «...усвоение американской техники и усилия для второго открытия Америки — задача каждого проезжающего Америками».

Прошло еще несколько лет, и уважительное отношение к американской индустрии, как и сама идея ее «усвоения», были существенно скорректированы, а «чудеса техники» показаны в новом ракурсе. Жаль, что составитель сборника «Очерков...» прошел мимо «О'кэй» Б. Пильняка — произведения, без которого библиотека книг об Америке остается неполной. Скрытая полемика со словами Маяковского «мы приезжаем сюда... учиться» составляет, пожалуй, самую суть этого, как назвал его автор, «американского романа». В одной из первых рецензий Пильняка упрекали, что в его книге нет «указаний насчет того, что и как следует нам позаимствовать из технико-организационных достижений Америки». Рецензент не уловил самую суть книги, в которой развернута гротескная сатирическая панорама «технично-организационных достижений Америки». Слово предвосхищая чаплиновские «Новые времена», Пильняк показал, как неизбежным продолжением американского индустриализма становится американский уклад жизни, как «фордизированная» промышленность порождает «фордизированный» быт. Не случайно «самой большой Америкой», обнаруженной писателем за три месяца путешествий по стране, оказался о-б-ы-в-а-т-е-л-ь, требующий, создающий и усваивающий «конвейеризованную» культуру «стандартов, полуняйства, мелкой сытости, мелких инстинктов, мелкого довольства...».

Взгляд Пильняка на «индустриальную культуру» Америки был воспринят его последователями — сначала Ильфом и Петровым в «Одноэтажной Америке», а потом и авторами многочисленных публицистических книг 60—70-х годов, от О. Горчакова до В. Коротича. Последовательнее всего принцип «двойного» видения американского индустриализма воплощен в «Земле за океаном» В. Пескова и Б. Стрельникова, где тщательное описание «машинизированной» жизни постоянно сопровождается пристрастным анализом моральных сторон этой «машинизации». Как печальная притча об уродствах цивилизации читается коротенькая главка «Яблоко из пластмассы» — рассказ о двух заокеанских изобретениях.

Автор одного из них, нью-йоркский типографский служащий Джон Хайятт, в 1868 году открыл дешевый и легкий синтетический материал — пластмассу. Автором второго, недавнего, стала «конвейеризованная» индустрия: при острой нехватке зеленых зон в американских мегалополисах рациональнее и эффективнее оказалось производить высадки вечнозеленых и вечномертвых экземпляров технологической «флоры». Проезжая по пригородам Лос-Анджелеса, Песков и Стрельников собственными глазами видели деревья из пластика, на которых сухо постукивали, сверкая безжизненным блеском, пластиковые листья...

Каждая новая книга о «земле за океаном» заметно расширяла горизонт видения Америки, осваивала новые ракурсы ее изображения. В истории «открытий» Америки советскими писателями можно выделить два больших периода: довоенный и послевоенный. В 20—30-е годы, будто следуя завету Маяковского, в Америку ехали главным образом «учиться» и уж во всяком случае повидать страну поразительных по тем временам экономических и научно-технических достижений. Вот почему Америка Маяковского, Пильняка, Ильфа и Петрова, других авторов тех лет — это прежде всего Америка производящая и потребляющая, строящая и строящаяся. Путешествия за океан в 50—80-е годы принесли новое измерение — политическое.

После Хиросимы, после позора корейской войны, после «бурных 60-х», ознаменовавшихся мощным взрывом социальной активности — студенческим, негритянским, антивоенным движениями, — миллионы простых американцев почувствовали внутреннюю необходимость включиться в общественно-политические битвы. Процесс интенсивной политизации американской жизни нашел многостороннее отражение в книгах журналистов-международников. Сборник знакомит нас с некоторыми из этих книг.

«Бурному десятилетию» М. Стурва дан характерный подзаголовок: «американский дневник». Он охватывает целое десятилетие — с конца 60-х до конца 70-х годов. «Один год неспокойного солнца» Г. Боровика — летопись общественно-политической жизни страны в переломный для нее 1968 год. Дневниковый характер имеют и книги С. Коцдрашова «Американцы в Америке», «Свидание с Калифорнией», «В Аризоне, у индейцев» (фрагмент из которой вошел в рецензируемый сборник), «Блики Нью-Йорка». Выбранный авторами жанр позволяет подробно и точно, буквально по дням и часам показать реальное состояние

общественно-политической жизни в США и тем самым дать читателям возможность лучше осмыслить суть происходящего за океаном. Убийства президента Дж. Кеннеди, сенатора Р. Кеннеди, лидера негритянского движения М. Л. Кинга, бунт хиппи против «общества потребления», марши протеста против войны во Вьетнаме, студенческие забастовки в университетских городках, волнения в негритянских гетто и индейских резервациях, рост «организованной преступности» и безработицы...

Обо всех этих событиях мы в свое время читали в газетах и журналах. Собранные в книге воедино, очерки и репортажи приобрели новый смысл: они стали частью двухвековой истории «открытий» Америки, того «имиджа» заокеанской державы, который с каждым десятилетием обретает новые грани.

В «американских дневниках» наших журналистов Америка показана иначе, нежели, скажем, в книгах-путешествиях 20—30-х годов. — крупным планом. Много рассказывается здесь о встречах (запланированных и случайных) с американцами. С профессорами и студентами, бизнесменами и безработными, белыми, неграми, индейцами.... Мы видим их лицом к лицу, слышим, как они рассказывают о себе, о своей стране, о повседневных заботах, о политике. Из монологов складывается достоверный, конкретный и емкий образ сегодняшней «размышляющей Америки», одним из первых о которой писал в одноименном очерке А. Овчаренко.

«Кубатура яйца» В. Коротича — тоже о «размышляющей Америке». Ироническая, остроумная, эта книга — попытка передать личное ощущение Америки, взгляд на некоторые типичные стороны бытовой и особенно внутренней, душевной жизни американцев, старающихся найти свое место в сложном, неспокойном мире.

«Все мои заметки скорее о состоянии души обывденной Америки» — эти слова, сказанные В. Коротичем о «Кубатуре яйца», вполне приложимы и к книге В. Николаева «Американцы». Это своеобразная энциклопедия, путеводитель по заокеанской действительности, взгляд на американскую жизнь «изнутри». Обычно авторы подобных книг разворачивают перед читателями широкую панораму быта. В Николаев слово выворачивает этот быт наизнанку, показывает его внутреннюю механику. О чем в книге только не рассказано! Как американцы платят налоги, как «делают» деньги, как работают мелкие частные фир-



мы, как занимаются филантропической деятельностью всевозможные фонды, как действует основа бытовой экономики американцев — кредитная система. Но все же главной целью автора стало познание образа жизни, нравов, обрядов и, конечно, души американской нации — цель, когда-то увлекшая в плавание по «Восточному океану» славного морехода Григория Шелехова...

В очерках немало критических суждений о тех сторонах американской повседневности и американского социального устройства, которые вызывают естественное чувство недоумения, а то и протеста. Но в свидетельствах наших писателей о «земле за океаном» нет и тени неуважительного или высокомерного отношения к американскому народу, к его истории и национальным традициям. Уместно напомнить, что к нашей стране в Соединенных Штатах да-

леко не всегда относились благожелательно. А в последние годы мы то и дело слышим из-за Атлантики прямые угрозы вроде той, что этим летом сорвалась с языка президента Рейгана, пожелавшего «поставить Россию вне закона». Столь же враждебным к нам духом проникнуты, как правило, и «документальные» произведения американских публицистов, побывавших в СССР. Читающий «Очерки советских писателей об Америке», напротив, почувствует, что при всех горьких и гневных словах о стране «желтого дьявола» стимулом для путешествовавших по Америке и писавших о ней неизменно оставалось искреннее желание узнать и воссоздать образ жизни, мысли, нравственный и духовный облик американцев и тем способствовать укреплению добрососедства между двумя нашими народами.

О. АЛЯКРИНСКИЙ.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**ЮРИЙ ЛЕОНОВ. Желуди для красной конницы. М. «Молодая гвардия». 1983. 220 стр.**

Пожалуй, лучшее в книге Юрия Леонова — его рассказы о военном детстве.

Полдюжины простых, незатейливых вроде бы историй привлекают читателя не только искренностью, невыдуманностью своей, не только обаянием их симпатичных, честных героев, но и мягким лиризмом, виртуозностью слога, то есть, как прежде говаривали, п и с ь м о м.

Автору удалось показать, как соединяется несоединимое: присущая всякой войне жестокость, разобщающая людей и внутреннее, инстинктивное почти желание защищать свой очаг — желание, объединяющее их, заставляющее тянуться друг к другу...

Обычный дом в приморском курортном городе, в котором живет несколько семей Дом, лишенный мужчин, если не считать четверых мальчишек от восьми до двенадцати лет, потому как на дворе сорок второй год и мужчины на фронте. Фронт же — вот он, рядом Оттуда, из-за города, долетают снаряды, оттуда появляются страшные «хейнкели» с бомбами на борту, доносится гул орудий, оттуда привозят истекающих кровью раненых, оттуда попала к мастеру на все руки подростку Васильку граната, оторвавшая ему пальцы Все эти люди, жители дома, не воевали, но разве не участвовали они в общенародной борьбе? Днем работали на оборону, а потом в госпитале помогали раненым. Да что говорить, они жили ожиданием победы и уже этим приближали ее Приближали ее уже одной сплоченностью своей.

Но дети? Чем могли помочь дети? Они рвались помочь, и им нашли занятие: сказали, что для красной конницы позарез необходимы желуди Что, мол, это самый питательный для лошадей продукт и никак без этих желудей нам фашиста не одолеть Может, слукавили, а может, и нет Как бы то ни было, но за дело мальчишки взялись с энтузиазмом, с размахом, и не их беда, что, когда приташили они, обливаясь потом, свою тачку с желудями, конница уже отправилась в поход. И кто знает, что бы стало с этими ребятами, как бы повернулись их судьбы, что бы в их душах произошло, если б один из солдат, поняв по их глазам, в чем дело, не взял к себе в перегруженную повозку, нарушая все уставы и приказы, желуди. Как самое дорогое сокровище взял — и благодарность мальчиш-

кам чуть ли не от имени командования вынес!

И желуди эти, я уверен, они, как пули, во врага лететь могли. Не было бы их, не было бы таких мальчишек, не было бы этого понимающего солдата — не было бы и победы. Так уж все сложно устроено

Рассказы автобиографичны, это ясно. Дорогие для автора детали быта, маленькие подробности мальчишеской «тыловой» жизни придумать нельзя. Они-то больше всего и трогают в рассказах Ю. Леонова — чистых, подернутых дымкой идиллии, какая всегда налетает, когда вспоминаешь о детстве. Но автор ведет ниточку своей судьбы дальше. И вот мы видим уже студента, а потом и совсем взрослого человека, видимо журналиста, колесящего по Дальнему Востоку. Но все уже другое: сюжеты банальны, обкатаны в текущей нашей прозе уже не раз, герои тоже, увь, знакомы (бабушка, испекшая для гостившего у нее внука особые вкусные шаньги; сам внук, угощающий ими многочисленных своих соседей в общепитии; простодушный студент-иностранец, не умеющий материться, и т. п.). И самое обидное — автор-рассказчик словно спрятался от читателя, забаррикадировал свой внутренний мир, душу свою. Приоткрыл в рассказах о детстве, а затем спрятал. Он о поступках повествует, а не о том, что эти поступки породило, разговоры пересказывает, а не то, что за разговорами любими стодит, — работу мысли, движения души. И вот понемногу высокая и чистая нота, взятая в начале сборника, звучит все тише и наконец совсем почти умолкает Жаль.

Так что книгу Юрия Леонова при всей моей горячей к нему симпатии я бы назвал не только книгой удавшейся (в рассказах о военном детстве), но и книгой нереализованных возможностей. И все же верится, что автор ее, человек безусловно талантливый, еще выступит перед читателем со свежим и точным по мысли и чувству словом

Андрей Мальгин.



**МАРК СОБОЛЬ. Напоминание. Книга стихов и прозы. М. «Современник». 1983. 173 стр.**

Для поэтов фронтового поколения война не просто тема — она часть их жизни, определившая дальнейшие творческие судьбы.

взгляд на мир и на человека, меру нравственных ценностей. Война была сильнейшим впечатлением, потрясением их юности, когда окончательно складывается личность, ограничивается характер. «Это вечный резерв, исходный рубеж отсчета — чем и как существуешь сегодня, — пишет Марк Соболев. — Не мы виноваты в том, что стали взрослыми в четырех шагах от смерти. Точнее — лицом к лицу с ней». Стихи и проза в новом сборнике Марка Соболева взаимодополняют, высвечивают друг друга. Вот почему, прочтя во второй части книги эти прозаические строки, мы еще яснее осознаем, в чем причина той неизбывности памяти, которая почти всегда присутствует в стихах и на мирные темы (стихи эти не о войне, но написаны войною, по выражению В. Маяковского): «Годы шли походом, не парадом. Я у жизни по уши в долгу...», «Нуден день, халат обыден — тот же серый материал, как шинель на инвалиде; где-то хлястик потерял...»

Нисколько не умозрительна, но удивительно конкретна сердечная памятьливость поэта: «И снова поле около Пултуска, где мы всю ночь елозим по-пластунски, то Гитлера, то взводного кляня. Казалась жизнь немислимо короткой, и тыкалась нам снизу в подбородки у горла захрустевшая стерня» Осязаемость детали в последнем двустиишии и придает стихам столь необходимую образную убедительность. И эмоциональную, жизненную достоверность, потому что действительно так мог написать только обладающий зоркостью поэта солдат-пехотинец, не просто прошагавший по нелегким путям войны, но — в немалой степени — проползший по ним в зной и мороз, в снегу, пыли и грязи.

Лирический герой точно указывает на свой воинский ранг: «...я не был полководцем, был рядовым стрелкового полка». Боец у Марка Соболева не только основная сила, но и центральная фигура, поэтому даже, например, в стихах о декабристах — желание увековечить прежде всего не вождей и полководцев, но солдат.

Добавим еще один штрих к портрету лирического героя: он спознается в стихах и напрямую называется в прозаическом этюде «Синяя лампа», где есть, между прочим, такой диалог:

«— Я тебя знаю, — вдруг сказал комбат. — Я все про тебя знаю: ты интеллигент. Вы с военврачом оба интеллигенты. Я до войны полагал — ненадежные люди... Не сдадим Москву?»

— Что вы?! О чем?

— О том, что вы оба помрете, а не отступите... Вот и хочу вам сказать: уважаю вас!»

Такие интеллигенты, до войны иногда имевшие репутацию мягкохарактерных, уходили на фронт добровольцами и сражались с завидной твердостью и беззаветностью («неукоснительные мы» — назвал поэт себя и своих ровесников). Сохраняя при этом, несмотря на все фронтовые мытарства, внутреннюю культуру, такт, душевную чистоту, рыцарское отношение к женщине...

Высокое, светлое чувство солдатской дружбы, воинского братства поэт сохранил в своей душе на всю жизнь. Нежные и горь-

кие воспоминания о братьях-однополчанах (и уцелевших, и тех, кто навсегда остался двадцатилетними) — сквозной, ведущий мотив книги: «Мои ребята умирали молча. Мои ребята. Навсегда мои!..»

Вот почему поэт, «всем существом своим сросшийся с шинелью», как редкое счастье вспоминает те полтора часа, когда уже спустя три с половиной года после окончания войны ему неожиданно довелось трижды кряду выступить со стихами перед солдатами, выстроенными для ночной репетиции парада накануне октябрьской годовщины: «...казалось, я слышу само дыхание армии... Ничто не разделяло нас, людей одной судьбы и общего долга: я был — они и они были мной».

Есть еще одно существеннейшее обстоятельство, которое заставляет М. Соболева постоянно обращаться к военной теме, — угроза новой катастрофы, тревога за будущее детей и внуков: «А ведь за мной подглядывает где-то в тавотной смазке тихая ракета... А внуку завтра в армию идти... И еще, в прозе: «Всеобщий мир так и не наступил... Корея, Вьетнам, Ближний Восток... Вот уже говорят о нейтронной бомбе, которая будет убивать нас, людей, — стало быть, меня с вами, — оставая в целостности и сохранности «недвижимое имущество». Я видел нечто подобное в кино... Я хочу верить, что такое возможно лишь на экране».

Великая вера поэта-фронтовика.

Владимир Славецкий.

Липецк.



**Г. ТРЕФИЛОВА. К. Паустовский, мастер прозы. М. «Художественная литература». 1983. 128 стр.**

Книги о Паустовском при всей огромной популярности его творчества начали выходить лишь с конца 50-х годов. Первой из них был критико-биографический очерк Сергея Львова («Детгиз». 1956). С тех пор появилось более десятка книг о писателе, разных по жанру и читательскому адресу. В 1982 году, например, были изданы книга для учителей Л. Кременцова («К. Г. Паустовский. Жизнь и творчество» — «Просвещение») и книга С. Щелоковой, задуманная как строгое научное исследование («К. Паустовский — романтик и реалист. Идеино-художественные искания 20—30-х годов» — Киев. «Вища школа»). Естественно, каждый из авторов, будь то исследователь или популяризатор, говорит о писательском мастерстве Паустовского, — Г. Трефилова целиком сосредоточила внимание на этом. И, может быть, самое важное в ее книге то, что художник предстает перед нами в своей неисчерпаемости для исследователей как «цельная, самобытная, изменяющаяся в историческом восприятии художественная индивидуальность».

Факты биографии рассматриваются в книге так, что нам становится понятно, какой исходный материал они дали для творчества, как трансформировались в художест-

венной ткани произведений. Творческая эволюция Паустовского разворачивается перед читателем как изменения прежде всего в художественном мире писателя, в его стиле

Паустовский предстает в книге как крупнейший мастер романтической прозы, утверждающий ее особую ценность для нашего времени. Убеденный в облагораживающей силе романтики, Паустовский писал, что она всеми корнями уходит в жизнь и питается ее драгоценными соками и что она способна помочь человеку. В романтической настроенности Паустовский предполагал едва ли не панацею и от иссушающих душу прагматизма и омещанивания. Г. Трефилова показывает выход Паустовского к романтическому стилю как к средству «с наибольшей полнотой выразить свое время и свой народ».

Культ природы, творчества, красоты, поэзии, неистребимая вера в торжество свободы и справедливости — вот что видит автор критической работы в основе индивидуального художественного метода писателя. А силу и глубокую жизненность этого метода — в том, что настоящее и прошлое нашей действительности, полной борьбы, самоотверженности, а иногда трагизма и лишений, «принадлежат... также и миру будущего». Тщательно глядя в строки прозаических произведений Паустовского, Г. Трефилова находит убедительные подтверждения той общей мысли, что творчество каждого истинного художника есть непереносимое отражение реальной жизни, какими бы «отрешенными» подчас ни казались нам те или иные герои.

Правда, порой индивидуальный, насыщенный метафорой слог критика как бы отвлекает от романтического красочного слова писателя. Невольно приходит в голову, что, будь книга критика написана в более спокойном, сдержанном тоне, особенности стиля Паустовского стали бы для читателя более ощутимы и наглядны.

И все-таки хочется отметить умение Г. Трефиловой не только глубоко и скрупулезно проанализировать текст в его идейно-художественном единстве, но и создать цельный и верный образ творчества, образ самого Мастера. Скажем, так, например: «Писатель прошел по эпохе странником зеленых джунглей Мещоры, скитальцем полуденных стран Средиземноморья, патриотом и гражданином «страны поэзии». Он умыл руки студеной водой лесных речушек, росами вешних лугов и, проделав тысячекилометровые путешествия, воображаемые и действительные, встретившись с великим множеством хороших людей, жалел лишь о том, что все-таки видел мало... его зоркая наблюдательность, интеллектуальная и эмоциональная отзывчивость, изобретательная фантазия высвечивают под блестящим и радужным поверхностным слоем его прозы глубины сложнейшей проблематики века: интеллигенция и революция, художник и общество, природа и цивилизация...»

С. Николаева.



**М. В. САБАШНИКОВ. Воспоминания. М. «Книга». 1983. 463 стр.**

У замечательного сатирика Александра Архангельского есть пародия «Литературные воспоминания Аделаиды Юрьевны Милославской-Грациевич», когда-то меня, как и многих, насмешившая. Вот ее «содержание»: «Прадед. Прабабка. Дед. Бабушка. Братья прадеда. Сестры прадеда. Братья деда. Сестры деда. Отец. Мать. Братья и сестры отца. Дядя. Тетя. Переезд в Березкино. День ангела деда».

Странно, однако: перечитал — едва улыбнулся. Потому что подумалось: ну а если бы в самом деле было опубликовано нечто подобное — не пародия, а тому, что она пародирует? Неужто вышло бы худо и бесполезно?

Просматриваю, дочитав, оглавление образцово изданных «Воспоминаний» М. В. Сабашникова (1871—1943): «Кончина отца. Замужество Кати... Круг друзей и знакомых... Нина выходит замуж... Катин развод». Скажите, кто помнит этих людей? Увы, никто... Нет, теперь помним и знаем мы, что прекрасно!

Смех Архангельского выражал зазорный пафос 30-х годов, отрясавших прах «старья», когда и сами изыскания Корнепехова Чубуковского, будто бы являвшегося редактором достопочтенной Аделаиды Юрьевны, казались многим чудачеством, порою вредным. Сегодня отношение к воспоминаниям самого разного рода, по справедливости и по счастью, переменялось. И если постыдным лицемерием было бы не жалеть, что книга Сабашникова не явилась в свет тогда, когда была создана, очевидно и то, что ее нынешнее первоиздание характеризует наше время, научившееся ценить бережность.

Когда прозаик Юрий Давыдов замечает, что обнаруженная им бесхитростная поденная летопись семьи никому не ведомых сельских священников Рукиных вдруг (варуг ли?) оказалась ценнее иных архивных находок, это признание не просто историка, но историка современного. Сегоднешнего.

Мемуары Сабашникова следовало опубликовать уже потому, что их написал выдающийся деятель русской культуры, знаменитый издатель. И потому, разумеется, что в книге мгновенно набросаны... нет, лучше сказать, моментально сфотографированы на память (как в семейном альбоме) люди по-своему и по-разному замечательные: А. Ф. Кони, А. Г. Рубинштейн, Н. С. Тихонравов, Л. М. Леонов, К. Д. Бальмонт и другие.

А все-таки я по-читательски благодарно упираю на бесхитростную, повторяю, летописность, семейную и семейственную, видя в ней естественную уникальность «Воспоминаний».

О войнах и революциях, о помянутых знаменитостях писали и обстоятельнее и, конечно, лучше; никто, однако, кроме Михаила Васильевича Сабашникова не мог рассказать историю своего семейства, своего обычного и характерного для эпохи и для сословия, и тут самые разноплановые и разновеликие личности и явления (помощь голодающим в неурожай крестьянам и до-

машинные праздники, драматическое бегство из воюющей Германии 1914 года и мирная жизнь в подмосковной Жуковке, маститый Кони и английская бонна мисс Маколей) образуют то, что было жизнью семьи и среды, что среди многих жизней и судеб вошло в состав истории.

В подробностях, в самой их неотторжимо-сти суть и прелесть книги, неторопливо восстанавливающей атмосферу дома, быта, уклада и выражающей характер человека, сама память которого как бы профессионально аккуратна (так трогательно-педантически перечислены самые малозаметные сотрудники «Книгоиздательства М. В. и С. В. Сабашниковых»). Главное, впрочем, что это человек не только по-деловому обязательный, но сердечно обязанный.

Сабашников был из племени собирателей и строителей, являющегося не бродильным, но зато сцепляющим началом.

Мемуарист лично скромно: «„Так судьба стучится в дверь“, — истолковал кому-то Бетховен вступительные звуки своей 5-й симфонии. Мы обыкновенно так невнимательны и так непонятливы, что не замечаем стука судьбы в дверь нашу...»

Но дело в том, что судьба не выбирает, к кому ей стучаться, а то и врывается без стука, и достаточно долгая жизнь М. В. Сабашникова неправдоподобно удлинилась и, главное, углубилась за счет времени. Шутка сказать и страшновато подумать: от Кяхты 60-х годов (хотя бы и донесенной не личной, а родовой памятью), этой причудливой полуреспублики купцов-чаеоторговцев, где процветал отец, а красавица мать Серафима Савватьевна принимала в своей просвещенной гостиной декабристов Михаила Бестужева и Ивана Горбачевского, где молодежь праздновала годовщины 14 декабря и взахлеб читала «Колокол», — от этой дальней (и, получается, близкой) дали до фашистской бомбы, угодившей в квартиру Михаила Васильевича в 1941-м.

Так что простецкий быт сам по себе громоносен и взрывоопасен, и то, что кажется бытописательностью, нередко есть чутко, хоть и невольно зафиксированный стук судьбы...

«Для читателей, интересующихся историей издательского дела и историей культуры», — традиционно аннотирует издательство. Да. Разумеется. Но и просто для людей, интересующихся просто тем, чем человек, живущий в России, не интересоваться не может. Не должен

Ст. Рассадина.



**А. СОЛОДОВНИКОВ.** Ольга Лепешинская. М. «Искусство». 1983. 209 стр.

«На примере О. В. Лепешинской мы и стремились показать процесс формирования балетного артиста нового мира, артиста социалистического общества, опыт и пример которого открывают перспективу движения всей мировой хореографии».

Так заканчивается книга о замечательной

балерине Ольге Лепешинской. И надо сказать, автор осуществил свое намерение, создав яркий, правдивый, необычайно интересный образ человека и актрисы, сумев показать творческую и общественную работу своей героини в неотторжимой связи с важнейшими событиями жизни страны.

В семье Лепешинской, среди ее родных были инженеры, ученые, профессиональные революционеры... И никогда не было артистов. Потому желание маленькой Оли учиться танцевать поначалу вызвало недоумение и протест. Но она была настойчива и верила в свое призвание. Когда ее «по первому заходу» не приняли в балетное училище, она не тратила время на отчаяние, а сразу стала готовиться к новым экзаменам. Когда, уже успешно сдав их, она оказалась последней по результатам занятий у балетного станка, то не горевала, не обижалась, а работала с упорством, поразительным в ребенке. Школу она кончала уже балериной, то есть танцовщицей высшей квалификации.

Творческий путь О. Лепешинской в Большом театре освещен в монографии А. Солодовникова всесторонне. Тут вся классика — от трех балетов Чайковского до «Дон Кихота», в котором Лепешинская не имела соперниц. От Золушки в одноименном балете Проккофьева до прелестных образов в новых пушкинских спектаклях — везде она была хороша и... редкостно самокритична к своим работам. Так, видя, что Одетта-Одилья не отвечает ее данным, она имела мужество отказаться от главной роли в «Лебедином озере». Случай едва ли не уникальный.

Главная заслуга Лепешинской — ее выступления в советских балетах, содействие их утверждению на сцене, их пропаганда. Она танцевала в 16 балетах современных композиторов, и большинство этих произведений вошли в историю отечественной хореографии, пожалуй, именно благодаря Лепешинской, ее экстраординарному таланту и исключительной энергии, ее умению воплотить замысел авторов музыки и хореографии в танце, полном жизни, одушевления и одухотворенности...

Искристый юмор «хозяйки гостиницы» Мирандолины, бесстрашие маленькой Суок в «Трех толстяках», героизм Жанны в «Пламени Парижа», воплощение любви и гнева народного в заглавной партии «Лауренсии», поэтическое чувство Ассоль в «Алых парусах», лиризм Сари в «Тропое грома» — вот что играла Ольга Лепешинская. Гольдони, Олеша, Лопе де Вега, Грин, Абрахамс... Первоклассная литература стала основой этих балетов, и сами они были талантливыми созданиями композиторов, балетмейстеров, всех исполнителей.

Рецензируемая книга заставляет задуматься о причинах исчезновения из репертуара этих (и многих иных) спектаклей. «Информация к размышлению» содержится и в интересной главе о работе Лепешинской — педагога и балетмейстера-репетитора в театрах Стокгольма, Рима, Берлина и Дрездена, Гамбурга и Будапешта, Вены и Белграда, Нью-Йорка и Токио... Не странно ли, что подлинный знаток балетной классики, обладающий к тому же талантом ее

преподавания, О. Лепешинская блестяще работает за границей и не работает в своем родном Большом театре?..

Верность отечественной школе хореографии — девиз творческой жизни Лепешинской. Бесспорны ее заслуги и перед отечественным телевидением, и новым концертным репертуаром. Лепешинская — первая исполнительница в первом балете, поставленном специально для нашего телевидения Ее Наталья Павловна в «Графе Нулине» полна обаяния и лукавой пушкинской иронии. Концертные номера Лепешинской также отличались высоким танцевальным и актерским мастерством, каждая миниатюра выглядела спектаклем со стремительным развитием сюжета и характера героини.

Эти и другие моменты творческой жизни Ольги Лепешинской очерчены в книге кратко, но в целом она достаточно полно отражает гражданское, оптимистичное, жизнеутверждающее искусство советской балерины.

Анна Илупина.



А. В. КАЛИНИН. *Культура русского слова*. М. Изд-во МГУ. 1984. 299 стр.

«Известный всему городу» фельетонист Принц Датский, он же Маховик, писал так: «Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя?» Персонаж Ильфа и Петрова не мог и вообразить себе, какую изощренную, завуалированную безграмотность освою следующие поколения журналистов.

«Экономическая реформа щедро питает реку народной инициативы, хозяйственного поиска, бережливости», — цитирует А. В. Калинин в своей книге одного из премирников Принца Датского, предлагая: «Ну-ка, вдумайтесь, товарищи, вчитайтесь!» Действительно, без подсказки не всякий задержит здесь свой взгляд: фраза легко проскакивает подобно многим другим бессмысленным и безобразным, привычно мелькающим на страницах периодических изданий и даже книг. Бумагомарателям такого сорта, как правило, безразлично, о чем писать, зато они твердо знают как. Их лексикон небогат, но они прекрасно чувствуют конъюнктуру словесного рынка. «Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово, — в сердцах восклицал Гоголь. — Пусть уж лучше раздастся гнилое слово о гнилых предметах».

Может ли ученый-публицист, пишущий о проблемах языка, не просто привить уважение к грамматике, но заполнить пробел в мыслях и чувствах человека, придать ему нравственной силы, восстановить и многое другое, что в совокупности образует личность, личную культуру? Название у книги Калинина многообещающее. За словами «культура русского слова» встает Пушкин. его «чувство соразмерности и сообразности». Чувство всеохватное, сродни жизненной интуиции. От опечаток в многотиражной газете до интуиции гениального писателя — такой немислимый тематический

простор открывается перед автором, взявшим популярно писать о слове.

Рано ушедший из жизни языковед, талантливый журналист Александр Васильевич Калинин известен самому широкому читателю. Только учебник по современному русскому языку, собственный курс которого Калинин читал на факультете журналистики МГУ, выдержал уже три издания. В новую книгу, подготовленную к печати его друзьями и учениками, вошли «заметки крохобора», статьи и эссе, при жизни ученого появлявшиеся на страницах газет и журналов, а также неопубликованные работы.

Книга Калинина разнообразна по жанрам и, что особенно ценно, внутренне многослойна. Поначалу кажется, что автор сосредоточил свое внимание на малом. Его прямая цель — предостеречь многочисленную пишущую братию от самых распространенных ошибок. Чтобы не путали «сопутствовать» и «способствовать», «наравне» и «наряду», не говорили «ложить». Разбираются и случаи потруднее, это делает книгу ценным пособием для редакторов, переводчиков, журналистов — всех, кто практически работает с языком. Когда роль бывает «главной» и когда — «заглавной»? Склоняется ли «Кусково»? Ответы на такие вопросы не всегда найдешь в обычных справочниках. Наконец, много места уделено творческой работе со словом. Прочитав высказывание М. Кольцова о том, что слово должно «наиболее точно» определять понятие, Калинин добавляет: и наиболее просто. И хотя везде автор на том стоит, этим, как тонко чувствует он сам, сказано далеко не все. Вот мнение современного прозаика, которое Калинин никак не мог учесть, поскольку оно было высказано много позже времени написания книги: «Слова, единственно найденные, — те есть слова отобранные, слова накопленные, не есть куча. Слова приходят в сам момент творения, и именно те». Отбирать из кучи наиболее простые слова можно научить машину. Ее не научить чувству нормы, строю языка, который соответствует постигаемой в творчестве иерархии жизненных ценностей.

Читая эти живые, остроумные, то шуточные, то гневные заметки (к счастью, не иссяк еще в защитниках русского слова праведный гнев), мало-помалу начинаешь сознавать, что языковед не крохоборствует, а целенаправленно ведет читателя к осознанию более высоких истин, чем школьные правила. «Штамп — это оборот, претендующий на образность, но от бесконечного повторения эту образность, выразительность потерявший». В книжных магазинах и библиотеках каждый невольно наткнулся на заброшенные полки, где, так сказать, с веком наравне прочно встали и тускло посвечивают сквозь толстый слой пыли «устремление», «осмысление» и «становление», «отзывчивость» и «сопричастность»... От них отворачиваешься со стыдом за критиков и литературоведов, дружно начинавших разговор о литературе, этом храме слова, с полуптичьих звукоочетаний, потерявших «от бесконечного повторения» человеческий смысл. Надо ли удивляться пробелам и деформациям в душе начинающего журналиста, если он с детских лет на примере подобных книг усваивал, что нет в русском языке ничего значительнее «сопричастно

сти», она пробивает любые издательские заслоны...

Как отзываются иные из наших слов, ясно уже сейчас. «Каждый раз в пушкинскую годовщину наивно надеюсь: ну, хоть в материалах, посвященных великому поэту, ошибок не будет. Увы!» — сокрушается Калинин. Дальше снова примеры — на сей раз из текстов о Пушкине, написанных «языком маленького прораба» (выражение И. Ильфа). Может, так и надо — с малого, с крох — начинать трудный путь к овладению языком, который не бывает «могучим и свободным» сам по себе, без нашего внутреннего достоинства, душевной глубины, чистоты и отваги. «Давайте договоримся: доверие — к чему-то, уверенность — в чем-то, вера — во что-то». Вдумайтесь, товарищи. Вчитайтесь!

С. Яковлев.



**СЕМЕН БОРЗУНОВ, Михаил Алексеев.** *Встречи. Книги. Размышления.* М. «Московский рабочий». 1983. 192 стр.

Бытует мнение, что подлинная художественная документалистика — жанр кропотливый, тающий в себе уйму невидимых глазу рифов, зачастую понуждающий авторов развязывать множество хитроумных «морских» узлов, — с этим нельзя не согласиться. Особенно сложна, думается, одна из разновидностей документалистики — книги о писателях, где не так часто появляются интересные достижения, поскольку не просто совместить сюжетную занимательность и органичное, ненавязчивое исследование творчества писателя и его человеческой личности.

Книгу Семена Борзунова о Герое Социалистического Труда, известном писателе Михаиле Алексееве бесспорно следует отнести к числу удач этого жанра. И дело тут в том, что автор не просто исследует лабораторию писателя, раскрывая важнейшие основы его творчества, как это сделал бы критик или литературовед, — Семен Борзунов знает Михаила Алексеева близко, знает с той фронтовой поры, когда журналистские пути-дороги военных корреспондентов дивизионком столкнули их, сдружили на все последующие десятилетия. Потому книга С. Борзунова несет добрую печать доверительности, непосредственное понимание прозы Алексеева, его героев, чело­веческого облика писателя, самых, казалось бы, сокрытых пружин его души и сердца.

Известно, что эпиграф «О чем не подумал — про то не расскажешь, о чем не заплакал — про то не споешь» Михаил Алексеев предпослал роману «Вишне­вый омут». Читая книгу С. Борзунова, осознаешь с той подлинной, без толики натяжки достоверностью: глубинный и заостренно-пронзительный смысл этого афоризма приложим не только к одному роману, а прежде всего к судьбе самого писателя, ко всему его творчеству. Оттого с открытостью и чистой верой принимаются слова: «Алексеев принадлежит к писателям... в творчестве кото-

рых, если так можно квалифицировать, школа общественной практики, непосредственного общения с людьми преобладает над «школой собственно литературной». Не случайно его герои являются одновременно литературными образами и реальными лицами». Тут главное кредо писателя, и об этом сам Михаил Алексеев говорит так: «...в огне войны я и нашел своего героя. Он словно бы сам вошел в мои книги, вошел таким, каким я его знал и любил. Я не побоялся вывести в художественных произведениях героев с непридуманными именами и биографиями, и это, по-моему, только укрепило книги, сделало их правдивее. С тех пор моим писательским правилом стало во все книги наряду с вымышленными героями вводить людей, взятых прямо из жизни». И еще: «...люди из жизни — это... мой ОТК, мои контролеры, их глазами я слежу за собой. Они не позволят солгать ни в большом, ни в малом». Что ж, завидное и достойное признание.

Наиболее примечательные страницы в книге С. Борзунова выявляют живую связь Михаила Алексеева с милой его сердцу Саратовщиной, родным селом Монастырским, прямоту причастность практически всех его книг (особенно последних лет) к делам земляков-саратовцев. И дела эти видятся нам на широком фоне советской действительности, драматических и исторически значимых событий, среди которых в первую голову коллективизация и Великая Отечественная война. На страницах книг Алексеева поверяются истоки высокой любви писателя к Сеятелю и Хранителю, неразъединимого от века единства человека и природы.

Окрепнув с годами, талант являет все новые грани в завидно разнообразной жанровой и тематической широте. Это бесспорное свидетельство вершинной поры зрелости русского писателя Михаила Алексеева.

Одно из особых мест в активе писателя занял роман «Драчуны», роман-память, роман «из детства щемящей яви». Коллективизация в нем предстает как подлинно все­лю­дской процесс: ее центро­стремительные силы столь вихревы и притягательны, что, пожалуй, не сыщешь ни одного человека (не только на Саратовщине), кто бы оказался в стороне, взирал равнодушно на происходящее. Как всякий крутой социально-революционный процесс, коллективизация не обходилась без разломов, схлесток не на жизнь, а на смерть: старое не сдается на милость новому, а новое прокладывает себе дорогу не без ошибок, перегибов, трагедий; жесткие меры и способы ему нередко навязывает и диктует старое, да и, чего греха таить, к истории неизбежно пристаёт, прибавляется, будто щепка к берегу в половодье. разное...

Размах тех событий, людские непростые судьбы — все это уложилось в остром, социально и партийно выверенном романе, сеющем в души светлую мысль о том, каким же бесценным достоянием природы, ее особым, цело-неделимым миром является каждая личность, каждый человек, сильный и в одночасье хрупкий, сколь же бережливым, деликатным, сопричастным душой и сердцем должно быть отношение к нему!

Книгу С. Борзунова закрываешь с добрым чувством — к ней без натяжки вполне применим «алексеевский» эпиграф: «О чем не подумал — про то не расскажешь, о чем не поплакал — про то не споешь».

**Николай Горбачев.**



**ИГОРЬ ПЕТРЯНОВ, ВАЛЕНТИН РИЧ.** Для жатвы народной. Документальная повесть. М. «Советская Россия». 1983. 270 стр.

В книге, посвященной Дмитрию Ивановичу Менделееву и вышедшей к его 150-летию юбилею, Петрянов и Рич, учитывая обилие и многообразие написанного о гениальном создателе периодического закона, сосредоточились на главном деянии великого русского ученого

Мы знакомимся с магистром Петербургского университета Менделеевым в Гейдельберге, куда он приехал «для приуготовления к профессорскому званию». Ему двадцать пять. Жизнеописание строится так, чтобы не было ничего лишнего — только то, что привело к открытию. Но полнота владения материалом (один из авторов — академик, другой — профессиональный литератор) исподволь вызывает в читателе чувство, будто его посвящают во все важные обстоятельства жизни Менделеева.

Вот мимоходом сообщается, почему петербургский магистр предпочел химическую кафедру Гейдельберга. Первая причина — климат: у всех Менделеевых были слабые легкие и тут же короткий, в несколько строк, эпизод. Студент Главного педагогического института Дмитрий Менделеев чуть не всю весну провалялся в лазарете. Однажды он услышал, как доктор, выйдя из палаты, сказал про него и его соседа: «Эти уже не поднимутся». Юноша встал с постели, набросил на исхудавшие плечи мундир, отправился на экзамен и получил высший балл. А его сосед впоследствии умер от чахотки. В таких эпизодах раскрывается характер героя..

При создании книги авторы опирались преимущественно на свидетельства самого Менделеева. Тактично использован дневник ученого, который он вел с юности до глубокой старости, сделав лишь один (правда, девятилетний) перерыв. Вместе с обширным эпистолярным наследием, бесчисленными печатными трудами и записями устных выступлений дневник позволил авторам с убедительной достоверностью воссоздать личность Менделеева. Писал Дмитрий Иванович замечательно — цитаты из его текстов как бы задают книге тональность.

Но и там, где документальных свидетельств не хватало, от авторов требовалось умение чутко постичь ход гениальной мысли ученого, самый процесс научного исследования. В главе «День творения» они попытались воссоздать во всех подробностях ставший легендой день 17 февраля 1869 года, когда совершилось открытие, потребовавшее вместе с развитием вытекающих из него идей целых сорока лет жизни Менделеева. Отпечаток кружки с чаем, поставлен-

ной ученым на клочок бумаги, донныне хранящийся в архиве, — желтоватый круг рядом с химическими формулами — становится как бы аргументом в пользу непреложности картины того дня, нарисованной в книге.

И все-таки драматизм документальной повести — не в перипетиях человеческой судьбы. По-настоящему захватывает неистовый поиск, который с давних пор ведет наука, стремясь раскрыть тайны мира. На этом фоне яснее становится титанический подвиг нашего соотечественника. Он не просто открыл новый фундаментальный закон природы, но совершил прорыв в неизвестность, поставил философскую проблему, которая на много десятилетий вперед определила развитие естествознания.

Авторы ссылаются на слова Дантона о том, что революционеру нужны три вещи: смелость, смелость и еще раз смелость, с полным основанием распространяя его утверждение и на революционеров в науке. Одним из них и был Дмитрий Иванович Менделеев. Не случайно, по убеждению авторов, он оказался современником Маркса, Чернышевского, Гарибальди. Факт быстрого признания открытия Менделеева «предполагает наличие достаточно широкого круга людей, способных к недогматическому мышлению», а это возможно лишь в определенной исторической ситуации — такой, какая была в то время в России.

Актуализация идей Менделеева — одно из важных достоинств книги Петрянова и Рича. На первый план она выдвигает те из заветов ученого, которые сегодня звучат особенно злободневно. «Нефть не топливо — топить можно и ассигнациями», — заявила однажды Дмитрий Иванович. А создав новый порох, пироколлодий, высказал надежду: «Этот вид взрывчатого вещества должен положить конец войнам...»

**Павел Сиркес.**



**А. Н. КУТАКОВ.** От Пекина до Нью-Йорка. Записки советского ученого и дипломата. М. «Наука». 1983. 271 стр.

Мемуары — сравнительно редкий жанр для книг, написанных дипломатами и посвященных современному международным отношениям. Событие, которое еще не переплывало в холодный камень исторического факта, по вполне понятным причинам приходится до поры до времени либо совсем исключать из повествования, либо касаться его лишь вскользь. Недаром большинство государств раскрывают свои дипломатические архивы для исследователей, выдержав как минимум полувековой срок..

А. Н. Кутаков есть о чем рассказать. В 1955—1957 годах он был советником директора Пекинского дипломатического института, где вместе с другими советскими специалистами помогал китайским работникам высшей школы наладить подготовку кадров для внешнеполитической деятельности. В 1958—1960 годах работал советником посольства СССР в Японии. В



1965—1973 годах был руководящим сотрудником советской миссии при Организации Объединенных Наций, заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности.

Автор неоднократно оказывался в центре крупных, в ряде случаев — драматических международных событий, встречался с видными политическими и общественными деятелями, известными учеными и мастерами культуры, дипломатами, представителями делового мира, журналистами. Он много общался с трудящимися тех стран, где ему приходилось жить и работать, выступал с лекциями и беседами перед самыми различными аудиториями, участвовал в острых политических дискуссиях в зарубежных телевизионных студиях.

Так собирался богатый материал, позволивший Кутакову живо и увлекательно рассказать о странах своего пребывания, набросать по собственным впечатлениям портреты таких деятелей, как Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Никсон, Киссинджер, Сукарно, Кекконен. Хайле Селассие, Голда Меир, Дэвид Рокфеллер, У Тан, Курт Вальдхайм, Мартин Лютер Кинг.

Большой интерес представляют собой главы книги, в которых автор повествует о годах своей работы в Китае. Со знанием дела он объясняет истоки своеобразных национальных традиций, обычаев и нравов, рисует картины природы, рассказывает о памятниках старины, совершает экскурсии в историю. Описание общественной атмосферы в КНР и анализ некоторых аспектов внутренней и внешней политики китайского правительства в пору формирования и развития «особого» курса руководства КПК даны сквозь призму личных впечатлений.

Центром политических бурь назвал Кутаков Организацию Объединенных Наций,

где он проработал в течение восьми лет. Эволюция ООН под воздействием исторических сдвигов на мировой арене, включение в активную международную политику десятков молодых государств, противостояние сил прогресса и реакции показаны автором на конкретных примерах политической борьбы. Мы становимся свидетелями напряженных схваток, закулисных маневров, других недостойных ходов империалистической дипломатии, стремящейся во что бы то ни стало задержать ход истории. Арабо-израильские войны, судьба многострадального палестинского народа, агрессивная война США во Вьетнаме, проблемы ликвидации ненавистной системы апартеида и остатков колониализма... Читатель знакомится с некоторыми малоизвестными фактами, с подоплекой событий, которые и по сей день остаются актуальными. Это и сведения о начале китайско-американского сближения, и малоизвестные подробности, связанные с тайной появления атомного оружия в Китае, и рассказ о попытках организации секретных американо-вьетнамских переговоров в 1965 году, и закулисная сторона обсуждения в Совете Безопасности ООН ближневосточного конфликта и проблемы Панамского канала.

Иногда Кутаков сбивается на газетную скороговорку, предупреждая читателя, что «содержание некоторых встреч еще рано делать достоянием гласности» Но и то, чем автор счел возможным поделиться с нами, его размышления о прошлом и настоящем международной политики, делают книгу полезной не только для специалистов-международников, но и для широкого круга читателей, проявляющих все больший интерес к политической «зlobe дня».

**И. Бочаров.**

## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1984 ГОД

Материалы внеочередного пленума Центрального Комитета КПСС. III — 5.  
В. В. Щербицкий. Восхождение. IX — 3.

### РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

- Магда Алексеева.** Дорога в Городок. Повесть. Предисловие Даниила Гранина. XII — 92.
- Анатолий Аваньев.** Годы без войны. Роман. Книга четвертая. II — 7; III — 25; IV — 8
- Виктор Астафьев.** Медвежья кровь. Рассказ. VIII — 3.
- Георгий Балл.** Тетя Шура, старый актер и остальные. Повесть. X — 122.
- Юрий Бондарев.** Мгновения. Предисловие Владимира Карпова. III — 112.
- Янка Брыль.** Проблески. Рассказы. Авторизованный перевод с белорусского Инны Сергеевой. XII — 3.
- Уильям Голдинг.** Чрезвычайный посол. Повесть. Перевел с английского Ю. Здоровов. I — 144.
- Олесь Гончар.** Из новых рассказов. Авторизованный перевод с украинского. IX — 16.
- Даниил Гранин.** Еще заметен след Повесть. I — 6.
- Гюнтер Грасс.** Местная анестезия. Роман. Перевела с немецкого Л. Черная. V — 142; VI — 136; VII — 127; VIII — 128.
- Владимир Еременко.** Будьласков. Рассказ V — 133.
- Олег Ждан.** Два рассказа. I — 104.
- Анатолий Жуков.** Повод. Повесть VII — 5.
- Армен Зурабов.** «Камо. Напомнить мне!». Роман. V — 86; VI — 44.
- Александр Иванченко.** Золото для БАМа. Документальная повесть. IV — 55.
- В. Каверин.** Летящий почерк. Повесть. IX — 32.
- В. Кавторин.** Маэстро Шахбазов. Рассказ. XI — 149.
- Дина Калиновская.** Колодец без воды. Рассказ. IV — 114.
- Владимир Карпов.** Пожоводец. Документальная повесть. Часть третья. VIII — 22; IX — 63.
- А. Каштанов.** Другой человек. Повесть. XI — 100.
- Надежда Кожевникова.** Внутренний двор. Повесть. III — 128.
- Леонид Леонов.** Мироздание по Дымкову. Фрагмент из романа. XI — 6.
- А. Лиходеев.** Сентиментальная история. Роман. VII — 83; VIII — 89; IX — 133.
- В. Макании.** Где сходилась небо с холмами. Повесть. I — 68.
- Владимир Муссалитин.** Три рассказа. X — 106.
- Видьядхар Найпол.** Рассказы. Перевели с английского О. Янковская, С. Таск, М. Шевелев, И. Шварц. IV — 129.
- Владимир Насущенко.** Два рассказа. IX — 162.
- С. Образцов.** По ступенькам памяти. X — 7; XI — 22.
- В. Пестерев.** В один осенний день. Рассказ. XII — 150.
- Алексей Пряшников.** По сути. Повесть. VI — 6.
- Елена Ржевская.** Ворошенный жар. Повесть. V — 6.
- Николай Самвелян.** Век наивности. Рассказ. X — 90
- Виссарион Сиснев.** Два рассказа. III — 168.
- Евгений Суворов.** Совка. Повесть. Предисловие Валентина Распутина. XII — 41.
- Анатолий Ткаченко.** Два рассказа. VI — 116.
- Валерий Хайрюзов.** Небо. Повесть. II — 96
- Лариса Шевченко.** В клуб на танцы. Рассказ. Перевела с украинского Е. Россельс IX — 181.
- Борис Шишаев.** Заступники. Рассказ. XII — 134.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

- Фазу Алиева.** Чистый ключ. Стихи. Перевел с аварского Сергей Северцев. VII — 3.
- Татьяна Андропова.** Стихи. XII — 159.
- Ата-Ватаи: Бердыназар Худайназаров, Аллаберды Хайдов.** Стихи. Перевели с туркменского Вл. Савельев, Александр Наумов. X — 88.
- Валентин Берестов.** Стихи. XII — 90.
- Виктор Боков.** Обласкай меня, дорога. Стихи. IX — 130.
- Ален Боске.** Стихи. Перевел М. Кудин. VIII — 126.

**Равиль Бухараев.** Найти Героя. Отрывок из поэмы. Предисловие Владимира Гусева. XII — 34.

**Евгений Винокуров.** Из цикла «Мифы». Стихи. X — 5.

**Ирина Волобуева.** Новые стихи. I — 103.

В этой жизни земной: Людмила Леплейская, А. Строгина, Нелли Тулупова (перевела с белорусского Т. Александрова), Фарида Расулева, Евгения Гай, Лариса Миллер, Людмила Шикина, Ольга Ермолаева, Зоя Велихова, Марфуга Айтхожина (перевела с казахского Т. Кузовлева), Наталья Бабицкая, Лариса Романенко, Татьяна Реброва, Марина Тарасова, Татьяна Бек, Корнелия Войткевич, Светлана Гершанова, Лидия Григорьева. Стихи. III — 180.

**Владимир Демидов.** Днепр. Стихи. IX — 132.

**Дени Дидро.** Стихи. Вступление и перевод М. Кудинова. VII — 117.

**Иван Драч.** Отчий крив. Стихи. Перевел украинского Лев Озеров. VI — 3.

**Михаил Дудин.** Из цикла «Записи на память». Стихи. XI — 20.

**Натан Злотников.** Стихи. XI — 147.

**Зульфия.** Ночь песен полна. Стихи. Перевел с узбекского Яков Козловский. III — 123.

Из белорусской поэзии: **Максим Танк** (перевел Петр Кошель), **Нил Гилевич** (перевел Яков Хелемский), **Пимен Панченко**, **Алексей Заридский**, **Петро Приходько**, **Василь Зуёнок**. **Анатоль Вертинский**, **Сергей Законников** (перевел Петр Кошель), **Н. Тулупова** (перевел Ю. Сапожков). VIII — 16.

Из монгольской поэзии: **Дожоогийн Цэдэв**, **Шаравын Сурэнжав** (перевела Римма Казакова), **Жагдалын Ахагва**, **Лувсандамбын Хуушан**, **Бавуугийн Лхагвасурэн** (перевела Людмила Букина), **Мишгийн Цэдэндорж**, **Тоомойн Очирхуу**, **Очирбатын Дашбалбар** (перевел Геннадий Ярославцев). XI — 161.

Из современной польской поэзии: **Алиция Патей-Грабовская**, **Зыгмунт Вуйчик**, **Ежи Харасимович**, **Тадеуш Сливяк**, **Юзеф Баран**, **Тадеуш Моцарский**, **Чеслав Курята**. Перевел А. Яворский. VII — 120.

Из украинской поэзии: **Любомир Дмитерко**, **Платон Воронько**, **Василь Швед**. Перевел Юрий Саенко. IX — 14. **Микола Нагнибеда**, **Захар Гончарук**, **Микола Винграновский**, **Виктор Кочевский**, **Тамара Коломиец**. Перевели Юрий Саенко, Татьяна Шарова. IX — 59. **Дмитро Павлычко**, **Дмитро Иванов**, **Микола Братан**. Перевели Юрий Саенко, Ст. Золотцев. IX — 127.

**Аватола Имерманис.** Латвия. Стихи. Перевела с латышского Наталья Бабицкая. X — 105.

**Младен Исаев.** Моим радаром, сердце, будь. Стихи. Перевел с болгарского Владимир Соколов. IX — 158.

**Римма Казакова.** Из монгольского дневника. Стихи. III — 108.

**Алим Кешоков.** Стихи. Перевел с кабардинского Яков Козловский. XI — 3.

**Яков Козловский.** Десять стихотворений. VII — 79.

**Виталий Коротич.** Будем собою... О добрых людях. Да, пора... Стихи. Перевел с украинского Н. Котенко. I — 3.

**Владимир Костров.** Кужушка. Поэма. VI — 110.

**Геннадий Красников.** Небо Урала. Стихотворение. I — 5.

**Альфонсас Малдонис.** Из новой книги. Стихи. Перевел с литовского Д. Самойлов. XII — 131.

**Алексей Марков.** Новые стихи. VI — 134.

**Виктор Меньшиков.** Два стихотворения. X — 121.

**Марк Лисянский.** Это наш насущный день. Стихи. IV — 53.

**Набат: Расул Гамзатов** (перевел с аварского Яков Козловский), **Виктор Боков**, **Борис Кровин**, **Борис Олейник** (перевел с украинского Лев Смирнов), **Джубан Мулдагалле** (перевел с казахского Вл. Савельев), **Александр Николаев**, **Сергей Поделков**, **Павел Машканцев**, **Владимир Бут**, **Александр Коренев**, **Владимир Цыбин**, **Леонид Решетников**, **Владимир Соколов**, **Михаил Найдич**, **Сибгат Хаким** (перевел с татарского Равиль Бухараев), **Иван Петрухин**, **Юлия Друнина**. Стихи. V — 3, 76, 129.

**Александр Наумов.** Стихи. XII — 149.

**Борис Олейник.** Родная земля. Стихи. Перевел с украинского Лев Смирнов. II — 3.

**Сергей Островой.** Стихи. XII — 38.

Перекличка: **Юрий Беличенко**, **Александр Бобров**, **Зиновий Вальшенок**, **Вадим Попов**, **А. Давилевская**, **Иван Панкеев**. Стихи. II — 142.

**Анатолий Преловский.** Большая родина. Стихи. IV — 3.

**Родник: Уйгун**, **Джуманияз Джаббаров**, **Мирмухсин**. Стихи. Перевел с узбекского Сергей Северцев. X — 85.

**Владимир Савельев.** Дальняя дорога. Стихи. VI — 40.

**Владимир Семакин.** На Камушке-Каме. Стихи. VIII — 123.

**Иван Скала.** Новые стихи. Перевел с чешского Владимир Соколов. IV — 126.

**Сергей Смирнов.** Жигули. мои вы Жигули!. Поэма. I — 56.

**Владимир Соколов.** Новые стихи. II — 93.

**Николай Старшинов.** Пять стихотворений. VIII — 87.

**Лариса Тараканова.** Стихи. XI — 148.

**Иван Тарба.** Из новой книги «Волна и вершина». Стихи. Перевел с абхазского О. Дмитриев. IV — 112.

**Фарица Унгарсынова.** Да будет труженик в чести. Стихи. Перевел с казахского Владимир Пальчиков. III — 126.

**Ренат Харис.** Узлы. Стихи. Перевел с татарского Вадим Кузнецов. X — 3.

**Владимир Цыбин.** Стихи. XI — 96.

**Владимир Шленский.** Два стихотворения. XI — 95.

**Виктор Яковенко.** Родство. Стихи. X — 156.

#### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**Александр Кривицкий.** Старый и верный друг. I — 224.

**О. Наровчатова.** «Иных случайностей размер...». X — 201.

**Леонид Почивалов.** Галеты капитана Скотта. IV — 208.

**Н. Ф. Шубкин.** Будни словесника. Вступительное слово Сергея Залыгина. Публикация и примечания В. Н. Шубкина. VIII — 182.

#### ПУБЛИЦИСТИКА

**Георгий Береговой.** Космическая вахта. IV — 165.

**Анатолий Громыко, Владимир Ломейко.** Сон разума рождает чудовищ. X — 158.

**В. Емельянов.** Особая опасность. V — 174.

**Всеволод Овчинников.** Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием. I — 201; II — 150.

#### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Евгений Будинас.** Дом в сельской местности. XI — 166.

**Виктор Ильин.** Село мое Речное. III — 191.

**Олег Ларин.** Берег сюжетов. XII — 176.

**Александр Никитин.** Третий сектор. VII — 161.

**Вячеслав Пальман.** Неоплаченный долг. VIII — 158.

**А. Росляков.** Свое и чужое. I — 177.

#### В МИРЕ НАУКИ

**В. Полищук.** На общих основаниях. IV — 183.

#### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

**А. Гулыга.** Университетский город. XII — 198.

**Владен Кузнецов.** Монумент преступлению. XI — 192.

**Григорий Оганов.** Экран для бизнеса. IX — 186.

**Ермей Парнов.** Сатанинский круг. III — 211.

**Карэн Хачатуров.** Растоптанная свобода. XI — 198.

**Владимир Цветов.** Якудза. VI — 188.

#### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**Федор Абрамов.** Наедине с природой. Публикация Л. В. Крутиковой-Абрамовой. VII — 150.

**Александр Довженко** «Красота, которой мы служили...». Публикация, комментарии и примечания Людмилы Касьяновой. IX — 207.

**Илья Сельвинский.** На войне. Из дневников и писем родным. Публикация Ц. Воскресенской. XII — 163.

**Лион Фейхтвангер.** «...я-то не изменился...». Вступительная статья, перевод с немецкого, примечания и публикация Л. Миримова. IV — 155.

#### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

**Лилия Долгошева.** Память сердца. VIII — 155.

**М. М. Зощенко.** Из писем и дневниковых записей (1917—1921 гг.). Публикация, вступление и примечания Ю. Томашевского. XI — 211.

**В. Мещеряков.** Загадка Грибоедова. XII — 209.

**Андрей Никитин.** Испытание «Словом...». V — 182; VI — 211; VII — 176.

**Николай Паклин.** Внучка Толстого вспоминает. VII — 209.

**Леонид Резников.** Кризис аскетизма. X — 183.

**А. Шешин.** Сестра декабриста. II — 186.

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Л. Аннинский.** Ржаной хлеб летописца. II — 213.

**Сейфулла Асадуллаев.** Леонид Леонов: «Мы родились не для войны...». V — 207.

**Микола Бажан.** Мир героев Олеса Гончара. Авторизованный перевод с украинского К. Григорьева. I — 241.

**Владимир Бондаренко.** Незаживающая память. XII — 220.

**А. Бочаров.** В пользу глубины. Заметки о художественной правде. III — 224.

**Яков Варшавский.** Действующие лица. Заметки критика. XII — 226.

**Игорь Дедков.** Продленный свет. VII — 243.

**Игорь Золотусский.** Горизонт без конца. К 175-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. IV — 238.

**В. Камянов.** Постигание глубины. Мир Пушкина: новые работы о поэте. VI — 234.

**В. Литвинов.** Шолоховские уроки. Над страницами «Донских рассказов». V — 222.

**Алла Марченко.** Перечитывая «Маскарад». К 170-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. X — 228.

**Т. Мотылева.** Ответственность перед временем. XI — 230.

**Василий Новиков.** Действенность художественных открытий. II — 202.

**Союзу писателей — 50: Валентин Катаев.** Событие небывалое; **Мирсад Миршакар.** Идеи первого съезда живут и работают. V — 214. **Афзасий Коптелов.** Могучий аккумулятор творчества; **Савва Головановский.** Полстолетия назад. VI — 227.

**В. Каверин.** Заметки о Первом съезде писателей; **И. Эвентов.** В те дни; **Владимир Огнев.** Ровесник Первого съезда; **Евгений Винокуров.** Учителя и товарищи. VII — 215. **В. Кирпотин.** У истоков; **Иракий Абашидзе.** Незабываема Москва тех дней; **Александр Жаров.** Связь событий; **Тембот Керашев.** Могучий стимул; **Н. Мординов.** Так начиналось; **Назир Сафаров.** Ручьи и реки; **Лев Славин.** Горький и мы; **Александр Филаатов.** Мой творческий университет; **Виктор Шкловский.** Съезд писателей; **В. Попов, Б. Фрезинский.** «Есть у нас общая цель».

По следам одной неопубликованной переписки. VIII — 205.

**Ю. Суровцев.** Люди и время О современной исторической романистике. Статья первая. VII — 230. Статья вторая. IX — 231.

**Валерий Тимофеев.** Равняться на Корчагина. К 80-летию со дня рождения Н. А. Островского. IX — 221.

**В. Хмара.** Люди живут на земле. Современная проза о деревне. X — 214.

**Виктор Шкловский.** Диалоги с прошлым. I — 233.

**Б. Яковлев.** Слово, приравненное к делу. IV — 232.

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

### *Литература и искусство*

**Мargarита Алигер.** Душа поэта (Антал Гидаш. Утро весеннее, тополь седой...). IV — 252.

**О. Алякринский.** «Копни поглубже человеческую природу...» (Уильям Голдинг. «Шпиль» и другие повести. Айрис Мэрдок. Море, море. Роман. Грэм Грин. Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой). II — 242

**Л. Аннинский.** Воздухоплаватели чувств (Марина Тарасова. Колокольное дерево. Стихи. Марина Тарасова. Гориславль. Повесть и рассказы). VI — 261.

**Александр Басманов.** На службе русского искусства (Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники О Дягилеве. В 2-х тт. Д. Шмаринов. Дело жизни). I — 252.

**Татьяна Бек.** Лирика не одинока (Лев Озеров. Думаю о тебе. Стихотворения. Лев Озеров. Необходимость прекрасного. Книга статей). VIII — 249.

**Владимир Еременко.** Эхо крика (Тамаз Чиладзе. Повести). XI — 247.

**Виктор Ерофеев.** Памятник Артуру Рембо (Артур Рембо. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду). I — 255.— Аршином общим не измерить (В. Пискунов. Тема о России. Россия и революция в литературе начала XX века). IX — 249.

**С. Зенкин.** Судьба героя и судьба романа (Мишель Бютор. Изменение. Ален Роб-Грийе. В лабиринте. Клод Симон. Дороги Фландрии. Натали Саррот. Вы слышите их? Романы). III — 252.

**Татьяна Иванова.** От первого лица (Глеб Горышин. Чистая вода. Рассказы. Глеб Горышин. Родословная. Водопад. Запаны. Излука. Тридцать лет спустя. Глеб Горышин. По тропинкам поля своего. Странствия. Размышления). IV — 249.— Разрази меня децибел! (Молодежная эстрада. Репертуарный сборник для художественной самодеятельности). VII — 258.

**В. Кантор.** «Парижские письма» и их автор (П. В. Анненков. Парижские письма). XII — 248.

**А. Кондратович.** На стыке культур (Левон Мкртчян. «Да придут к нам благородные мысли со всех сторон...»). Статьи). X — 249.

**Вл. Костров.** Смысла живая основа (Леонард Лавлинский. Струги. Стихотворения и поэмы). II — 231.

**Виктор Кочетков.** Книга об Алексее Кольцове (Николай Скатов. Кольцов). X — 252.

**Ф. Кривин.** Путешествие в страну смеха (Сатира и юмор: стихи, рассказы, басни, фельетоны, эпиграммы болгарских писателей). VI — 257.

**В. И. Кулешов.** Над пушкинскими страницами (Г. П. Макагоненко. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836). V — 251.

**Александр Лаврин.** Полной мерой (Мария Петровых. Предназначение. Стихи разных лет). VIII — 251.

**Л. Левин.** На много лет вперед... (О. Бергольц. Избранные произведения). XII — 237.

**Г. Ломидзе.** Почерк писателя (Анатолій Медников. Избранные произведения в 2-х тт). X — 243.

**Анатолий Макаров.** К истокам народности (Иван Драч. Подсолнух. Стихотворения). IX — 243.

**Наум Мар.** Люди под жарким солнцем (Илья Гордон. Под жарким солнцем. Роман. Илья Гордон. Избранное). I — 250.

**Ярослав Мельник.** Поэт и переводчик (Николай Карпенко. С высоты поля. Стихи). IX — 247.

**А. Михайлов.** Движение таланта (Георгий Семенов. Утренние слезы. Рассказы). II — 228.

**Дм. Молдавский.** Люди, жаждущие мира (Клыч Кулиев. Махтумкули. Роман. Ходжанепес Меляев. Юность царевича). V — 239.

**Рафаэль Мустафин.** Биография духа (Рустам Валеев. Заботы света. Роман). II — 226.

**Вл. Новиков.** Труд слова (Виктор Соснора. Песнь лунная. Стихи. Виктор Соснора. Стихи). IV — 254.

**Лев Озеров.** Время. Жизнь. Песня (Михаил Матусовский. Избранные произведения в 2-х томах. Михаил Матусовский. Семейный альбом). V — 242.

**Лев Озеров.** Неприкосновенный запас (Яков Хелемский. Избранное). I — 247.

**Евгений Осетров.** Живут на свете Трудолюбовы (Юрий Грибов. Контеевские вечера. Юрий Грибов. Когда встает солнце). VII — 255.

**Анатолий Петрик.** Глубины крестьянской культуры (Василий Белов. Лад. Очерки о народной эстетике. Василий Белов. Избранные произведения. В 3-х тт. Т. 3. «Лад»). VIII — 246.

**И. Пятаев.** Живые души (Александр Борщаговский. Была печаль. Повесть. Рассказ. Александр Борщаговский. Портрет по памяти. Роман). XII — 241.

**Эдуард Провилвер.** На пути к единому (Имант Зиедонис. Поэма о молоке). XI — 253.

**Б. Рунин.** К вопросу о подлинности творчества (Мати Унт. Осенний бал. Повести и роман). II — 236.

**Иван Савельев.** В глубь памяти народной (Анатолий Софронов. В глубь времени. Роман в стихах в двух книгах). XI — 250.

**Людмила Скориво.** Таков этот творческий труд (Франц Таурин. Избранные произведения в двух томах). VI — 249.

**Владимир Солоухин.** Душа Японии (Н. Федоренко. Море и берега. Николай Федоренко. Кавабата Ясунари. Краски времени. Очерки). VI — 254.

**Наталья Старосельская.** Сорок лет спустя (Вацлав Билинский. Конец каникулам. Роман). IV — 257.

**В. Турбин.** Обретение дома (Григор Тютюнник. Огонек далеко в степи. Рассказы и повести). II — 232.

**Сергей Чупринин.** Равновесие сил (Александр Межиров. Проза в стихах. Новая книга). III — 242.— Труд вдохновения (Новелла Матвеева. Закон песен. Новелла Матвеева. Страна прибоа. Книга стихотворений). X — 245.

**Виктор Шкловский.** По следам Льва Толстого (Литературное наследство. Том 94. Первая завершенная редакция романа «Война и мир»). V — 245.

**Константин Щербаков.** Хорошо ли меня слышите? (Юлиу Эдлис. Избранное. Диалоги. Юлиу Эдлис. Юго-Запад. Повести. Юлиу Эдлис. Набережная). III — 247.

**Е. Юкина.** Достоинство человека (Анатолий Ким. Белка. Роман-сказка). XII — 245.

#### Политика и наука

**Ю. Азаров.** Этнография детства (Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков в народов Восточной и Юго-Западной Азии. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков Передней и Южной Азии). VII — 263.

**О. Алякринский.** Америка крупным планом (Очерки советских писателей об Америке). XII — 253.

**Р. Баладин.** По высшему счету (П. Г. Олдак. Равновесие природопользования. Взгляд экономиста. Диалектика в науке о природе и человеке. Человек, общество и природа в век НТР. Биология охраны природы). XI — 259.

**П. Батов.** Народный герой (А. Золотрубов. Буденный). II — 252.

**В. Бузов.** Патриот и интернационалист (Хо Ши Мин. Размышления об Африке. Евгений Кобелев. Хо Ши Мин). V — 258.

**Эрнст Генри.** Красная Роза (Игорь Минутко. Восхождение. Повесть о Розе Люксембург). VI — 262.

**Ал. Горловский.** Постигание времени (Писатель и время. Сборник документальной прозы). IV — 260.

**А. Грунт.** Последние месяцы Временного правительства (В. И. Старцев. Крах керенщины). V — 263. «Побеждены в масштабе всероссийском...» (Г. З. Иоффе. Колчакская авантюра и ее крах). XII — 251.

**С. Десятков.** Правда истории (Е. Н. Кульков, О. А. Ржешевский, И. А. Чельшев. Правда и ложь о второй мировой войне). V — 255.

**В. Елисеева.** Воздух тех лет... (Революционерки России. Воспоминания и очерки о революционной деятельности российских большевичек). III — 256.

**Е. Зайцев.** Эпилог с продолжением. (А. И. Полтораки. Нюрнбергский эпилог). II — 250.

**В. Казаков.** Осознание подвига (Летопись великой стройки). VII — 261.

**И. Кош.** Инициатива и контроль (К. Мудыбаев. Психология ответственности). VI — 264.

**А. Кондратович.** Поездки и портреты (Константин Серебряков. Дороги и люди). I — 258.— Когда прошлое оживает (Юрий Жуков. Крутые ступени. Записки журналиста). V — 261.

**В. Левин.** Найдена ли Атлантида? (А. Г. Галанопулос, Э. Бэкон. Атлантида. За легендой — истина). III — 258.

**К. Левитин.** Кибернетики спорят (Д. А. Поспелов. Фантазия или наука: на пути к искусственному интеллекту). I — 260.

**Л. Макаревич.** Секреты «братьев-каменщиков» (Джанны Росси, Франческо Ломбрасса. Во имя любви). VIII — 256.

**Александр Никитин.** «Жить, как все, а работать вдвойне» (Иван Васильев. Допуск на инициативу. Деревенские очерки). II — 246.

**М. Польский.** Вождь всех трудящихся (История рабочего класса СССР). XI — 257.

**Карен Свасьян.** «Побуждаю философствовать» (Арсений Гулыга. Шеллинг). IV — 262.

**С. Станкевич.** Актуальные уроки истории (История США. В 4-х тт. Том 1 (1607—1877)). VIII — 253.

**В. Харьковский.** Власть земли (Т. С. Мальцев. Думы об урожае. В 2-х томах). X — 255.

**Петр Черкасов.** «Действительно великий человек» (Н. Н. Молчанов. Дипломатия Петра Первого). IX — 255.

**Рита Шик.** Страна, устремленная в будущее (Э. Хайнрих, К. Ульрих. Вражда с первого дня. Три десятилетия провокаций против ГДР. В. Абызов, Г. Брок. ГДР: будни и праздники. П. А. Абрасимов. 300 метров от Бранденбургских ворот. Взгляд сквозь годы). X — 257.

**А. Яковлев.** Трудное и опасное десятилетие (Георгий Арбатов, Виллем Олтманс. Вступая в 80-е... Книга-интервью об актуальных вопросах современных международных отношений). IX — 252.

#### КОРОТКО О КНИГАХ

Н. Макарова.— Очерки русской литературы в Сибири. И. Роднянская.— Владимир Портнов. Равновесие. Избранные стихи. В. Л. Котовсков.— М. Б. Храпченко. Горизонты художественного образа. Я. Звездов.— А. Ф. Хренов. Мосты к победе. Д. Изборский.— В. Левин. Сви-

детели из Каповой пещеры. Ю. Михайлов.—Эдгар Чепоров. Как делаются сенсации. П. Черкасов.—В. О. Ключевский. Неопубликованные произведения. В. Буоров.—Л. Е. Бежин. Под знаком «ветра и потока». Образ жизни художника в Китае III—VI веков. Викентий Матвеев.—Даниил Краминов. Люди и ракеты. Александр Левиков.—Анатолий Аграновский. Совершенно не секретно. I—263.

Ф. Сетин.—Е. Долматовский. Зеленая брама. Лидия Мешкова.—Валерия Перуанская. Зимние каникулы. Повести. А. Белорусец.—Николай Амосов. Книга о счастье и несчастьях. Лев Разгон.—Ст. Рассадин. Круг зрения. Беседы об искусстве. В. Селезнев.—Г. А. Шахов. Игорь Ильинский. Т. Балашова.—Современное западное искусство. XX век. Проблемы и тенденции. Р. Баландин.—Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своем искусстве. II—265.

Н. Беккерман.—Леонид Жуховицкий. Только две недели. Повести. Петр Вегин.—М. М. Морозов. Стихи разных лет. Валерий Тимофеев.—Константин Трофимов. Так закалялась сталь. В. Шохина.—В. Вульф. От Бродвея немного в сторону. 70-е годы. Очерки о театральной жизни США, и не только о ней. Л. Финк.—В. И. Красов. Сочинения. Людмила Касьянова.—Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. А. Вишневский.—В. И. Переведенцев. Плачу долги, даю взаймы. Актуальные проблемы демографии. А. Панкин.—Редьярд Киплинг. От моря до моря. Перевод с английского В. Н. Кондракова. Е. Виттенберг.—Ю. К. Малов. Критика буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинского учения о руководящей роли коммунистической партии в социалистическом обществе. Ю. Алексеев.—А. Т. Гагарина. Слово о сыне. Воспоминания Анны Тимофеевны Гагариной, записанные с ее слов Татьяной Копыловой. Новомир Лимонов.—А. Дихтярь. Степь любит мужество. III—261.

Вл. Котовсков.—Мих. Соколов. Грозное лето. Роман. Николай Старшинов.—Владимир Карпеко. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Таир Асланлы.—Джабир Новруз. У земли-планеты. Стихи. Джабир Новруз. Стихи. Г. Петрова.—Любомир Фельдек. Синяя книга сказок. Бруно Томаи.—Евгений Ратнер. А главное — верность... Повесть о Мартыне Лацисе. Б. Багаряцкий.—Альберт Рис Вильямс. Жизнь доказала нашу правоту. Избранная публицистика. IV—265.

А. Коган.—До последней минуты... Константин Ваншенкин.—Александр Коренев. Взморье. Стихи. Юрий Хромов.—Валерий Винокуров, Борис Шурдалин. Наша с тобой «Звезда». Роман М. Шаталин.—В. И. Баранов, А. Г. Бочаров, Ю. И. Суровцев. Литературно-художественная критика. Ю. А. Трифонов.—Евгений Евтушенко. Война — это антикультура. V—267.

Вячеслав Кузнецов.—Владислав Шошин. Ленинградская симфония. А. Панков.—Владимир Шорор. Пошлите меня в разведку. Андрей Василевский.—Иван Твардовский. На хуторе Загорье. До-

кументальная повесть. Г. Воробьева.—М. Ефетов. Земля Новгородская. Документальная повесть. Андрей Зорин.—Человек читающий. Номо legens. Писатели XX в. о роли книги в жизни человека и общества. Эр. Ханпира.—Б. А. Серебренников. О материалистическом подходе к явлениям языка. Б. Сарнов.—Наталья Бианки. Обыкновенное чудо. О буднях хирургов-офтальмологов. VI—266.

М. Искольдская.—Тэтт Каллас. Коррида. Роман. Тоска по фиордам. Избранные новеллы. Андрей Арьев.—М. Гордин, Я. Гордин. Театр Ивана Крылова. Ю. Мельвиль.—Н. Е. Покровский. Генри Торо. Г. Беляя.—Очарованные книгой. Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. Вечные спутники. Советские писатели о книгах, чтении, библиофильстве. VII—268.

Юрий Лукин.—Савва Дангулов. Государева почта. Роман. Яков Белинский.—Петр Семинин. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Переводы. Георгий Ломидзе.—В. Александров. Сергей Михалков. Л. Захаров.—Линии наших рук. Из поэзии стран Юга Африки. Роман Белоусов.—Дмитрий Урнов. Приз Бородинского боя. Рассказы и повести. В. Филатов.—Леонид Панасенко. Сентябрь — это навсегда. Полуфантастические истории. А. Майкапар.—Б. Кац. Времена — люди — музыка. Документальные повести о музыке и музыкантах. Александр Проханов.—Наум Мар. ...А за окном зеленый лес! Диалоги с Константином Фединым. Л. Миронов.—Вадим Трубников. Крах «операции Полония». 1980—1981 гг. Документальный очерк. Л. Попов.—В. Н. Сашонко. Коломяжский ипподром. Документальная повесть о русском авиаторе Николае Евграфовиче Попове. Терентий Эм.—В. А. Парнес. Исаак Григорьевич Бейлин (1883—1965). М. Наринский.—П. П. Черкасов. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI—XX вв. VIII—260.

Наталья Беккерман.—Александр Лукьяненко. Судебная ошибка. Повесть. Андрей Василевский.—Леонид Вышеславский. Избранное. Стихотворения и поэмы. А. Курбатов.—Днепр — река героев. Ст. Рассадин.—Николай Любимов. Несгораемые слова. В. Хорольский.—Валентина Ивашева. Эпистолярные диалоги. Лидия Григорьева.—Анаит Парсамян. Признание. Стихи. Лев Разгон.—Невилл Шют. Крысолов. Роман. А. Пушкин.—Николай Черкашин. Траектория шторма. С. Яковлев.—О. А. Сайкин. Первый русский переводчик «Капитала». Вл. Россельс.—Любовь Руднева. Голос из глубин. Роман. А. Аванесов.—Игорь Ляпин. Стихотворения. З. Абдуллаева.—С. Бушуева. Полвека итальянского театра (1880—1930). С. Бушуева. Итальянский современный театр. В. Лобачев.—Гомер. Одиссея. Р. Саруханов.—С. Б. Базазьянц. Художник, пространство, среда. Монументальное искусство и его роль в формировании духовно-материального окружения человека. Художник и город. А. Носик, Б. Носик.—Б. М. Шубин. История одной болезни. Юрий Давыдов.—А. М. Станиславская. Политическая деятельность Ф. Ф. Ушакова в Греции. 1798—1800 гг. IX—259.

Алексей Бархатов.— Михаил Голденко. Избранные произведения в 2-х тт. Б. Сарнов.— Юрий Хазанов. Мой марафон. Рассказы и повесть. Александра Баженова.— Витауте Жилинскяйте. Вариации на тему. Юморески и иронические рассказы. Александр Носов.— В мире Лескова. Сборник статей. Н. Гайдук ова.— А. Мигунов. Судьба поэта. Литературно-критический очерк о жизни и творчестве С. В. Смирнова. В. Немцев.— Лидия Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. Г. Федоров.— Александр Тихомиров. Белый свет. Книга стихотворений. А. Белорусец.— Владимир Жуков. Избранное. Стихотворения, поэмы. Наталия Булгакова.— Из поэзии Нидерландов XVII века. Э. Челоров.— Владимир Ларин. Лондонский дневник. Анатолий Мазаев.— Ким Бакши. Судьба и камень. В. Сухнев.— Олег Мороз. Свидание с кометой. X — 261.

В. Непомнящий.— Анатолий Туров. Пастораль. Повесть. Ольга Свиблова.— Н. Дорошенко. Тысячу километров до Москвы. Рассказы. Г. Петрова.— Валерия Шубина. Невинный скворец. Повесть, рассказы. А. Андреев.— П. А. Николаев. Историзм в художественном творчестве и в литературоведении. М. Вольпе.— Меджа Мванги. Улица Ривер-роуд. Тараканий танец. Романы. В. Черный.— Б. И.

Краснобаев. Русская культура второй половины XVII — начала XIX века. А. Валентинов.— Станислав Михал. Вечный двигатель вчера и сегодня. Александр Калугин.— В. М. Меньшиков, П. В. Меньшиков. «Силы быстрого развертывания» во внешней политике США. XI — 265.

Андрей Мальгин.— Юрий Леонов. Желуди для красной конницы. Владимир Славецкий.— Марк Соболев. Напоминание. Книга стихов и прозы. С. Николаева.— Г. Трефилова. К. Паустовский, мастер прозы. Ст. Рассадин.— М. В. Сабашников. Воспоминания. Анна Илупина.— А. Солодовников. Ольга Лепешинская. С. Яковлев.— А. В. Калинин. Культура русского слова. Николай Горбачев.— Семен Борзунов. Михаил Алексеев. Встречи. Книжки. Размышления. Павел Сиркес.— Игорь Петрянов, Валентин Рич. Для жатвы народной. Документальная повесть. И. Бочаров.— Л. Кутаков. От Пекина до Нью-Йорка. Записки советского ученого и дипломата. XII — 257.

Из редакционной почты. II — 254; XI — 264.

Памяти Михаила Шолохова. IV — 270.

Памяти Валентины Филипповны Елисеевой. V — 271.

Книжные новинки: I — II — 272; III — IV — 271; V — XII — 272.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Избранные произведения. В 4-х тт. Т. 1. 646 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**В. Гришин.** Вопросы партийно-организационной и идеологической работы. Избранные речи и статьи. 398 стр. Цена 1 р.  
**В. Кардин.** Минута пробуждения. Повесть об А. Бестужеве (Марлинском). («Пламенные революционеры») 442 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**А. Русов.** Суд над судом. Повесть о Богдане Кнунянце. («Пламенные революционеры») 428 стр. Цена 1 р.

## «РАДУГА»

**Д. Гулев.** Темные алтари. Новеллы. Перевод с болгарского. 271 стр. Цена 1 р. 40 к.  
**П. Ланштейн.** Жизнь Шиллера. Перевод с немецкого. 404 стр. Цена 2 р. 10 к.  
**А. Хинг.** Конкистадор. Блудный сын. Женихи. Пьесы. Перевод со словенского. 271 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**Э. Штритматтер.** Избранное. Перевод немецкого. 607 стр. Цена 4 р. 10 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**А. Елкин.** Атомные алтари по тревоге. Документальная повесть. 271 стр. Цена 65 к.  
**И. Мележ.** Люди на болоте. Дыхание грозы. Романы из полесской хроники. 176 стр. Цена 55 к.  
**И. Падерин.** Избранное. В 2-х тт. Т. 2. 496 стр. Цена 2 р.  
**В. Шрайер.** Сон капитана Лоя. Роман и повесть. Перевод с немецкого. 383 стр. Цена 3 р.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Г. Каирбенев.** Крылатые годы. Стихотворения. Поэмы. Перевод с казахского. 239 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**Ю. Миямото.** Избранное. Перевод с японского. 503 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**Р. Музиль.** Человек без свойств. Роман. Книга 1. Перевод с немецкого. 751 стр. Цена 3 р. 90 к.  
**Х. Эрнандес.** Мартин Фьерро. Поэма. Перевод с испанского. 179 стр. Цена 1 р. 10 к.  
**«ИСКУССТВО»**  
**С. Андросов.** Андреа Верроккьо. 1435—1488. 289 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Л. Мельвиль.** Кино и «эстетика разрушения». 143 стр. Цена 55 к.

**Р. Шейко.** Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги. 359 стр. Цена 5 р.  
**Михаил Семенович Щепкин.** Жизнь и творчество. В 2-х тт. Т. 1. «Записки актера Щепкина». Переписка. Рассказы М. С. Щепкина в обработке современников. 431 стр. Цена 2 р. 50 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Махабхарата, или Сказание о великой битве потомков Бхараты.** Пересказала Н. Гусева. 222 стр. Цена 60 к.  
**В. Порудоминский.** Друг бесценный, или Восемь дней на пути в Сибирь. Повесть про декабриста Ивана Пущина. 287 стр. Цена 60 к.  
**В. Смит.** Час потехи. Стихи. Пересказал с английского В. Заходер. 20 стр. Цена 35 к.  
**К. Циолковский.** На Луне. Фантастическая повесть. 112 стр. Цена 45 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Б. Екимов.** Холощино подворье. Рассказы, повесть. 360 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**М. Львов.** Встречное движение. Новые стихи. 112 стр. Цена 55 к.  
**Б. Ондужава.** Стихотворения. 271 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**Б. Слуцкий.** Сроки. Стихи разных лет. 143 стр. Цена 55 к.  
**Ю. Трифонов.** Вечные темы. Романы, повести. 638 стр. Цена 2 р. 70 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Д. Кедрин.** Избранное. Стихотворения, поэмы, драмы. Пермь. Книжное издательство. 359 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**В. Колыхалов.** Кудринская хроника. Книга прозы. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 336 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**И. Нонешвили.** Сердцебиение Земли. Стихи. Перевод с грузинского. Предисловие Г. Маргвелашвили. Е. Евтушенко. Тбилиси. «Мерани». 165 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**М. Симашко.** Колокол. Исторический роман. Алма-Ата. «Жазушы». 336 стр. Цена 1 р. 70 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаются в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5  
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашкун (зам. главного редактора), Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора), Д. Мулдагалев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь), А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.09.84. Подписано к печати 02.11.84 г. А 02570.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-п. л.)  
26,83 уч.-изд. л.

Тираж 379 000 экз. (1-й завод 1 — 199 000 экз.) Зак. 3344.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636